

Н. Л. Пушкарева



## **Очерк первый**

### **Частная жизнь и повседневный быт женщины в допетровской России (X - XVII вв.)**

#### **I**

#### **«НЕ ХОЧУ ЗА ВЛАДИМИРА, НО ЗА ЯРОПОЛКА ХОЧУ...»**

#### **Брачный аспект частной жизни женщины: «самостоятельность» или «зависимость»?**

В рассматриваемую нами допетровскую эпоху большая, если не основная часть жизни женщин была жизнью семейной [1]. Вся гамма личных переживаний и чувств, присущих каждой женщине как индивиду, находилась в тесной связи с эмоциональным строем органической группы, к которой она принадлежала. Таким образом, факторы, оказывавшие влияние на возможность или невозможность вступления в брак (или в отношения, подобные брачным), являлись одновременно важнейшими доминантами, определявшими строй и содержание частной (личной) жизни любой женщины.

Едва ли не важнейшим из них представляется право женщины самостоятельно определять или оказывать влияние на выбор брачного партнера. В древнейшую эпоху, до конца X в., а отчасти и позже, вступление в брачные отношения обставлялось как «умыкание» женщины. Составитель «Повести временных лет» (XI в.), характеризуя этот брачный ритуал, отметил, что у многих племен, населявших землю Русь, было принято не просто умыкать невесту, но и добиваться ее согласия на это предприятие («с нею же кто съвещашеся») [2]. Подобное свидетельство – одно из наиболее ранних, говорящих о проявлении частных, индивидуальных интересов женщины. Вопрос о сохранении права женщины «съвещаться» в вопросе о замужестве – сложнее. Как и в западноевропейских пенитенциалиях, упоминавших умыкание по согласованию с невестой вплоть до конца IX в. [3], похищение по согласованию часто встречается в сборниках церковных наказаний (епитимий), составленных до XIII в. В позднейших же (XVII – XVIII вв.) «руководствах» для священников сведений о похищениях нет. В Петровскую эпоху преступления, связанные с умыканием, если и рассматривались в судах, не влекли за собой суровых взысканий [4]. Умыкание девушек с их согласия сохранилось как брачный ритуал в северных и зауральских землях, где в крестьянской среде и в XIX в. браки-«убегом» были частым явлением [5].

Проявление свободной воли женщины при выборе брачного партнера получило иной ракурс с утверждением брака-«договора». О вступающих в брак теперь договаривались родственники, чаще всего

родители, иногда – родители невесты с самостоятельным женихом [6]. Брак-«договор» опосредовал проявление «хотения» древнерусской невесты волей родных, которые и приносили «по ней, что вдадуче». Даже в XVII в. иностранцы отмечали, что «девицам не разрешается самостоятельно знакомиться, еще того менее говорить друг с другом о брачном деле или совершать помолвку» [7]. Но возможность сохранения своего «я» у древнерусских женщин все же имелась, причем с древнейших времен. На это косвенно указывают летописные эпизоды с полоцкой княжной Рогнедой, отказавшейся разувать «робичича» (X в.), Софьей Палеолог, «восхотевшей» выйти замуж за в. кн. Ивана III (XV в.), героиней «Казанской истории» (XVI в.) («по закону пригоже ей быти за ним, а дочь твоя за него захотела же»), а также знаменитой Февронией, обусловившей замужеством плату за лечение князя: «Аще бо не имам быти супруга ему, не треби ми есть его врачевати» [8].

Вряд ли стоит видеть в подобных единичных свидетельствах подтверждение реальной самостоятельности женщин в брачных делах. И все же в них выразилось стремление летописца выделить, отметить их, представить как личное побуждение согласие (или несогласие) исторических персонажей на предлагавшуюся им брачную партию. В поздних памятниках эта тема «разрабатывалась» авторами и современниками описываемых событий значительно подробнее. Например, в «Повести о Тверском Отроче монастыре» (XVII в.) герой просил отца «девицы, именем Ксении, вдасть» ее за него замуж, на что отец посчитал необходимым «вопросить о сем жены своя и дщери». При этом и герой, и отец девушки ссылались на обряд («яко же есть обычай брачным», «яко же подобает»). Ответ невесты на «въпрашания» отца и жениха свелся к предложению следовать во всех делах божественной воле («како Богу изволишу, так сие да будет»). Тем самым автор повести снял с девушки ответственность за принятое решение. В конце текста ответ Ксении предстал обычной женской хитростью, целью которой было «отдать ся за муж» повыгоднее [9].

Разумеется, мнение родителей и других родственников подчас определяло брачный выбор. По всем брачным вопросам (о женитьбе ли или о выдаче замуж) советовались прежде всего с женщинами-родственницами: старшими дочерьми (как то делал в. кн. Иван III Васильевич, рассуждавший в своих посланницах «служебнице и девке своей» – дочери Елене, к тому времени ставшей в. кнг. литовской, королевой польской – о том, «како бы ему пригоже сына женити» – конец XV – начало XVI в.) [10], сестрами или матерью («что ты ко мне писала о женихах, кои за Прасковью Андревну говорят, и в том как твой извол будет, сама проведывай. Проси у Содетеля своего милости, чтоб подал тебе приятеля добраго [примечательно отношение современника к вопросу о выборе мужа для сестры как приятеля для своей матери. – Н.

П.]. А за князь Осипова сына как твой извол будет, [но] за таким будучи – не утешиться!» [11]).

В известной норме древнерусского брачного права XII в. – о денежном штрафе в пользу митрополита «аще девка восхощет замуж, а отец и мати не дадут» – можно увидеть и своеобразное проявление женской индивидуальности (поддержку законом браков по взаимному согласию), и само по себе стремление девушек непременно состоять в браке, даже если родители еще не подыскали хорошей, с их точки зрения, «партии» [12]. Формула «аще девка захощет замуж» (ср. в памятниках XVII в. – «дошедши в совершенный возраст, восхотеста в законное сочетание мужеви ся вдати» [13]) наводит на размышления о мотивации подобного поведения со стороны женщин. Вероятно, с утверждением венчального брака вступление в него стало превращаться для человека (и женщины прежде всего) в «норму жизни». Этому немало способствовала церковь, смягчившая к XV – XVI вв. первоначальные аскетические требования и направившая усилия на обоснование нравственности венчального брака. В середине XVII в. староверка Ф. П. Морозова, отказавшаяся от «мирских радостей», не желала подобной судьбы сыну и смотрела на него не как на потенциального монаха, а как на обычного человека, которого «годно ему, свету» (т. е. Господу) «сочетать законным браком, как ему время будет», и надеялась, что «Бог подаст сыну супружницу на Спасение» [14].

Стоит отметить бытование обидного прозвища «вековуш» в отношении незамужних «дев»: в народе издавна считалось, что не выходят замуж лишь физические и моральные уроды. Как крик о помощи звучала челобитная одного москвича XVII в. просьбой пожаловать небольшую сумму, чтобы выдать замуж пятую «дочеришку», на которую после выдачи замуж старших сестер не осталось «имения» на приданое. Автор челобитной сформулировал свою просьбу коротко и без бюрократических штампов: «человек я бедной, богат [только] дочери» [15].

Многие присловья и пословицы XVII в. также свидетельствуют о том, что девичеству всегда предпочитался брак, и самая худая «партия» казалась неизменно привлекательнее унижительной участи старой девы («Без мужа жена – всегда сирота», «Жизнь без мужа – поганая лужа», «Вот тебе кокуй (кокошник, кика, головной убор "мужатицы". – Н. П.) – с ним и ликуй!») [16]. Косвенное упоминание о возможности семейных драм, инспирированных девичьими «хотениями», содержит «Устав князя Ярослава Владимировича», говорящий о возможности самоубийства девушки из-за брака поневоле, а также упомянувший казус «аще девка восхощет замуж, а отец и мати не дадут».

Казалось бы, с утверждением договорного брака право выбора своего «суженого» и, следовательно, возможность повлиять на

дальнейшую семейную жизнь, было для девушки весьма узким. Однако свидетельства живой действительности говорят о многообразии житейских ситуаций, связанных с замужеством и подчас неожиданными пожеланиями и решениями новобрачных. Известно: ранние (XII в.) договоры о помолвке с указанием размеров приданого включали определение размеров неустойки лишь в том случае, если свадьба расстроится по вине ветренника-мужчины. С XVI же в. появилась и формула взыскания штрафа с родственников несогласной на брак невесты. Разумеется, родные старались не допустить таких инцидентов. Редкий случай неожиданного своеволия невесты, проявившегося буквально накануне «решающего дня», рисует группа актов, связанных с замужеством княжны Авдотьи Мезенцевой, воспитанницы богатой бабушки Марфы (начало 1560-х гг.). Марфа, безмерно любя внучку, продала два села, чтобы выплатить «заряд» (штраф) обрученному с Авдотьей жениху, за которого влюбившаяся в другого внука отказалась выходить замуж. «И я, Марфа, заплатила ему 500 рублей слез ее ради», – сообщила Марфа в своей духовной, объясняя «исчезновение» из семейного имущества значительной части – двух сёл [17]. Любопытно, что народный обычай «отдаривания» жениха, пострадавшего от отказа невесты (как правило, караваем), существовал издавна и сохранился в текстах посадских повестей (например, в «Притче о старом муже и молодой девице» XVII в.: «Младому девица честь и слава, а старому мужу – коровой сала» – то есть откуп) [18].

О возможности заключения брака на основании личной склонности между дворовыми («кто кого излюбит») упоминал в своем сочинении, написанном в середине XVII в., Григорий Котошихин [19]. А современная его сочинению «Повесть о семи мудрецах» в образной форме обрисовала возможный диалог между матерью и дочерью, в котором дочь настаивала на своем выборе: «Рече ей мати: "Кого хочещи любити?" – Она же отвеща: "Попа". – Мати же рече: "Лутчи... дворянина, ино менши греха". – Она же рече: "Попа хошу"» [20].

Женщины, выходявшие замуж не в первый раз, несомненно, имели большие возможности свободного волеизъявления при замужестве и в раннее время, и в XVI – XVII вв. Вопрос о том, каким по счету было данное замужество в жизни женщины, был еще одной доминантой, определявшей эмоциональный строй супружеских отношений и частную жизнь женщин. Несмотря на церковные запреты, касавшиеся повторных (а тем более третьих, четвертых и т. д.) браков [21], жизнь брала свое: многие женщины вступали в брак далеко не один раз в жизни: даже законы некоторых земель позволяли новый брак «аще кто будет млад, а детей не будет от перваго брака, ни ото второго» [22]. Причем брачные сделки такого рода осуществлялись женщинами вполне самостоятельно, без согласования с родственниками и без

унизительного «осмотра», которому подвергались «юницы» [23]. Пример тому – новгородка Ульяница (XIV в.), адресат письма некоего Микиты: «Пойди за мене. Яз тебе хоцю, а ты мене. А на то послухо Игнато...» [24] Такая самостоятельность не противоречила стремлению вступающих в брак заручаться поддержкой и благословением родителей («абы милость родительскую получить», «блюстись», чтобы неожиданный брак не привел к тому, чтобы они «с печали померли») [25].

Поздние памятники, отразившие с большими подробностями жизнь и чувства людей, позволяют утверждать, что в то время отношение прихожан к тем, кто женился или выходил замуж повторно и даже в третий раз, было терпимым. «Повесть о семи мудрецах» (XVII в.) донесла до нас обращение к ее герою «боляр и воивод», обеспокоенных отсутствием «плода наследия держания царствия» и потребовавших найти «супружницу» и «посягнуть на второй брак». Обосновывая подобное решение, «боляры и воеводы» ссылались на «закон» («писано бо в законе: аще кому умрет жена, посягнути на вторую, аще вторая умрет – на третью посягнути»), а также на возраст потенциального жениха («ты в средней юности суще»). Таким образом, перед читателем рисовались мотивы возможного пренебрежения строгостью церковных предписаний и даже некоторой корректировки назидательных и нормативных текстов, в которых третий брак все еще квалифицировался как «законопреступление». Стоит вспомнить, что, описывая последствия второго и последующего браков, один из переписчиков назидательных текстов (XV в.) приписал великолепную бытовую зарисовку, характеризующую мотивацию запрета второго брака: «Второй брак бывает начало рати и крамоле. Муж бо, за трапезою седя, первую жену, вспомянув, прослезится, вторая же взъярится!» [26]

В «Повести о семи мудрецах» допустимыми представляли не только второй, но и третий браки. Это можно было бы отнести на счет ее переводного характера, не имея она мощной фольклорной подпитки. Фольклорные источники, особенно былины, содержат немало подтверждений тому, что уверенные в себе совершеннолетние женщины могли не только лично принимать решение о новом браке, но и самостоятельно свататься к понравившимся избранникам [27]. Автор «Повести о Еруслане Лазаревиче» (XUP в.) привел одну из вероятных причин «забывания» церковных норм и готовности жениться повторно: «смотрячи на красоту ея, с умом смешался, и забыл свой первый брак, и взял ея за руку за правую, и целовал в уста сахарныя, и прижимал ея к сердцу ретивому...» Мотивация «смены жен» в этом тексте настолько напоминает сегодняшний день, что не требует комментариев. Вряд ли такие источники выдавали желаемое за действительное: семьи формировались и распадались, в обществе же сохранялся примат фактора необходимости (роста населения) [28].

Еще один пример отношения к повторному браку «от живой жены» мы находим в письмах раскольницы Е. П. Урусовой. Ее муж, князь П. С. Урусов, развелся с нею в 1673 г. (мотивом, по всей видимости, были убеждения Е. П. Урусовой) и женился повторно. Сохранившиеся же письма раскольницы с щемящим душу обращением к детям («Говорите отцу и плачьте перед ним, чтобы не женился, не погубил вас») отражают противоречие нормы и действительности. Говоря о «погублении», Е. П. Урусова понимает преступление церковной и нравственной нормы единобрачия, предупреждая, что если дети дадут совершиться беззаконию (женитьбе отца), то «плакать» они станут «вечна» [29]. Наполненные болью и обидой слова оставленной женщины, равно как и слезы детей, не стали для князя аргументом и не заставили его поменять решение (что неудивительно), но то, что он не остановился перед преступлением нравственной нормы, внушаемой православием, женившись повторно, заставляет задуматься о действенности тогдашней «моральной пропаганды» [30].

Помимо возможности (или невозможности) самостоятельно определять избранника (в первый раз и далее), на частную жизнь вступающей в брак женщины могли оказывать влияние и иные факторы. Среди них, если следовать запретительным статьям брачного права, были также единоверство, отсутствие (или наличие) близкородственных связей (оба этих запрета почти не нашли отражения в памятниках, исходивших из народной среды [31], оставшись предметом обсуждения лишь православных священнослужителей [32]), социальный статус сам по себе (особенно небезразличный «холопям» и вообще социально зависимым) [33], а также смешение социальных различий.

Отношение к мезальянсам и со стороны служителей церкви, и со стороны «паствы» было негативным. Церковные деятели не уставали устрашать женихов тезисом о том, что «жена от раб ведома есть зла и неистова [34]». Действительно, вопрос о социальном и, следовательно, имущественном равенстве будущих супругов в браке мог стать определяющим при формировании семейно-психологического микроклимата. Это почувствовал еще Даниил Заточник (XII в.), предостерегший от женитьбы «у богатого тестя» на его непривлекательной дочке, видевшейся ему «ртастой и челюстастой» образиной. Женитьба на самостоятельной в имущественном отношении женщине ассоциировалась у Заточника с обязательностью дальнейшего подчинения ей [35]. Современные психологи часто трактуют «неподчинение (Власти» по меньшей мере как «претензию на нее» [36] (а потому неподвластность жены мужу вследствие ее имущественной самостоятельности действительно, как и опасался Заточник, была латентной формой подчинения главы семьи «женской власти»).

Мезальянс – женитьба на рабыне – как источник похолодаления

(утери высокого социального статуса) упомянут в «Русской Правде». Она отразила житейский казус: [37] холопка выступала как приманка в «силках» социальной зависимости.

Случаи благополучной семейной жизни князя и простолюдинки (или аристократки и «простеца») почти не нашли отображения в ненормативных источниках. Лишь как исключения можно привести взятые из литературы примеры браков краестьянки Февронии и князя Петра (XVI в.), «девки» Бовы-королевича и безымянного князя (которого Бова сам «выбрал и отдал девицу за князя замуж», XVII в.) [38]. Даже в идеализированном варианте «Повести о Петре и Февронии» мезальянс привел к политической драме. Поначалу князь утверждал, что «невозможно князю пояти тя в жену себе безотчества твоего ради», затем подчинился требованию «невежителницы» (дочери необразованного, «невежи». – Н. П.). Феврония была изображена в повести довольно настойчивой в своей идее неравного брака, в которой проявился стихийный эгалитаризм автора «Повести» Ермолая-Еразма [39]. Однако сам он не обольщался на предмет убежденности в нем современников, обрисовав столкновение идей преодоления социальных различий и традиционного осуждения мезальянсов как конфликт Петра с боярами. Последние, как известно, заявили: «Княгини Февронии не хоцем, да не господствует женами нашими!», потребовав изгнания бывшей крестьянки [40].

Описанная ситуация – один из примеров того, как факты частной жизни (социальное происхождение, мезальянс) могли трансформироваться, не найдя адекватного восприятия обществом, в факты жизни публичной. В памятниках XVII в. можно найти (и не однажды) вложенную в уста героев, принадлежавших к разным социальным стратам, негативную оценку любви в условиях неравенства («срамота», «понос», «неподобное дело») [41]. Напротив, семья, основанная на имущественном и социальном равенстве, восхвалялась: «Аз была дочь богатого отца и матери добрыя – был бы мне муж отца богатого, и была бы есмь госпожа добру многу, и везде бы[ла бы] честна, и хвална, и почитаема от всех людей» [42]. Отметим, что в XVII столетии отношение московитов к мезальянсам переменилось мало. В актах свидетельств таких браков не найти, а в литературных памятниках оценка их оставалась однозначно отрицательной. Скажем, в «Сказании о молодце и девице» гордая «боярская дочка» называет притязавшего на ее взаимность «молодца» «дворянином-оборванцем», «деревенской щеголиной» и всемерно подчеркивает, что она ему не ровня. И это при том, что герой «Сказания» – как становилось ясно читателю далее – был «сыном боярским», «княжим племянником», но выбитым какими-то крупными социальными событиями из привычного бытового уклада и обедневшим [43].



Об обращенности «брачных назиданий» именно к женщинам нет данных вплоть до конца XVII в. В отношении же мужчин отголоски темы «ищи ровню!» слышались не один раз. Для примера можно избрать поучение князя «отроку» (слуге) Григорию – в «Повести о Тверском Отроче монастыре»: «Аще восхотел еси жениться, да поимеши себе жену от велмож богатых, а не от простых людей, и небогатых, и худейших, и безотечественных [отчество на Руси и к концу допетровского периода осталось привилегией знатных. – Н. П. ]. Да не будеши в поношении и уничижении от своих родителей, и от бояр и друзей, и от всех ненавидим будеши, и от мене удален стыда ради моего!» Правда, сам поучающий женился в дальнейшем как раз не на ровне, а на крестьянке, которую до того полюбил Григорий. Так что рассуждения князя насчет «ровни» выглядели по меньшей мере лицемерием, а по большей – насмешкой над господствующей в обществе традицией не смешивать социальные различия в браках. Первый раз увидев невесту своего «отрока», девушку отнюдь не из богатых, он тут же «рече» ее жениху: «Изыди ты от мене и дажь место князю своему и изыщи ты себе иную невесту, иде же хочеши. А сия невеста бысть мне угодна, а не тебе!» Вероятно, такая ситуация была нередкой и ранее, но именно автор, живший в XVII в., когда «старина с новизной перемешались», когда появился интерес к внутренним переживаниям человека, представил дальнейшее развитие событий как трагедию: «отрок»-Григорий пережил душевную драму, ушел в леса и основал там монастырь.

Автору «Повести» пришлось при этом как-то мотивировать и поведение князя, объяснять его действия вспыхнувшей страстью, любовью. По словам автора, князь, едва увидев Ксению, немедля «возгорется бо сердцем и смятется мыслью» [44]. С другой стороны, нужно было представить в благородном свете и героиню «Повести». В современном обыденном сознании ее поступок не кажется привлекательным: она не вышла замуж за «плохого» жениха, подождав «хорошего». Однако в системе представлений человека XVII в. поведение ее выглядело не безнравственным (просватанная за бедняка-ровню, она сбежала к князю чуть ли не из-под венца), а, напротив, глубокоморальным. По мнению автора, Ксения изначально «провидела» свое предназначение, прислушивалась к внутреннему голосу и оттого представала «богомудрой» и «вещей».

Так что, подходя к источникам с позиций анализа истории частной жизни, трудно не увидеть в них иллюстрации выработанного житейским опытом подхода к браку, весьма отличного от церковного. В «Притче о старом муже и молодой девице»

(XVII в.) «старый муж, велми стар» перечислял «прекрасной девице» выгоды, которые ей сулил бы брак с немолодым богачом по расчету: «В дому в моем государынею будеши, сядет, моя миленкая, в каменной

палате, и начну я тебя, миленькая, согривати в теплой бане по вся дни, украшу тебя, аки цвет в чистом поле и аки паву, птицу прекрасную, и сотворю тебе пир великий, и на пиру велю всякую потеху играти, и начнут тебя тешить...» [45]. Таким образом, для смысленной и хорошенькой девушки удачное замужество могло стать «трамплином» в более высокий социальный пласт, что и вносило коррективы в систему бытующих представлений о том, где и как искать женихов.

Отчего же все-таки и церковные поучения, и народная мудрость («Свинье гусь не ровня», «Мил-добр, да мне не ровня», «Не терт-де калач, не мят-де ремень, не тот-де сапог не в ту ногу обут, не садится лычко к ремешку лицом») [46] предписывали вступающим в брак непременно искать себе «равного», «пару», «подобну себе»? Можно только предполагать, что выходцы из одного социального слоя, жившие в равном достатке, имели и одинаковые ценностные ориентации, что облегчало взаимодействие партнеров в создаваемой семье. Однако рассуждение уже упоминавшейся нами выше боярыни Ф. П. Морозовой о «супружнице» для сына заставляет заметить и иной ход рассуждений: «Где мне взять ("супружницу" сыну. – И. П.): из добря ли породы или из обышняя? Которые породю полутче девицы – те похуже (характером? – Н. П.), а те девицы лутче, котория породю похуже...» [47]. В этой житейской мудрости – отголосок мизантропии Заточника: «не женись на богатой», женись на равне или, как мечтала Морозова, на той, что «породю похуже».

Стоит заметить и другое: случаев венчанных, официально признанных мезальянсов в памятниках, зафиксировавших реальные исторические факты, очень мало. Закон требовал, если обнаруживались сожителства социально «свободных» жен и «холопов»-мужей, немедленно венчать их, с условием, что жена примет социальный статус супруга. Действительность, однако, была не всегда такой, как мечталось церковным дидактикам [48]. Вероятно, в древнерусском и московском обществе всегда существовало определенное число невенчанных, в том числе побочных семей, образованных «свободным» мужем и холопками [49], а также аристократками и людьми более низкого социального статуса [50]. летописи свидетельствуют, что «супружницы» (меньшицы) в таких семьях могли оказывать немалое влияние на мужей, что вызывало и глухой ропот, и явный протест (случай с Настаской, побочой женой галицкого князя Ярослава, обвиненной боярами в ворожбе, якобы повлиявшей на осложнение внутривластической ситуации в Галицком княжестве в XII в.).

Но не было ли высокое число таких «беззаконных сожителств, свинских, неблагословенных и нечистых» (их еще и посильнее ругали церковники) [51] отражением неодобрительного отношения к мезальянсам и самого общества, согласного считать «нормальным»,

«обычным» [52] подобные сожителства, но не согласного на официальную регистрацию прецедентов (венчание аристократов с простолюдинками)? Все примеры мезальянсов в русском быту допетровского времени – литературные [53]. В то же время нам не удалось найти свидетельств (за исключением эпизода с галицким князем в 1173 г.) того, что невенчанные браки и рождение незаконных детей сопровождалось общественным порицанием (хотя в имущественном отношении права их были очень узки). Если таковое и существовало, то, по-видимому, лишь в привилегированном сословии. Судебные документы и расспросные речи о «женках», не имевших венчаных мужей, но растящих в одиночку детей, свидетельствуют о терпимом отношении к ним свидетелей таких «браков» – соседей, знакомых [54]. Однако при всей терпимости общества норма диктовалась церковью. Не оттого ли ни от кого не зависимый «самовластный» монарх Петр Великий, «пустивший» законную жену Евдокию, десять лет не решался обвенчаться с дочерью литовского крестьянина Мартой Скавронской (будущей императрицей Екатериной I)?

В этом смысле, размышляя об отношении «окружающих» к официально зарегистрированным замужествам (венчаниям), представляется существенным и влияние возраста новобрачной на ее последующую жизнь в семье. Хотя митрополит Фотий, трезво оценивая, вероятно, физиологические препятствия, запретил в XV в. «венчать девочек менши пятнадцати лет», в стародавние времена правило это соблюдалось разве что житийными персонажами вроде Ульянии Осорьиной, которая была «вдана» мужу 16-ти лет [55]. Впрочем, и в крестьянской среде, «ока христианские нормы целомудренного «девства» еще только прививались, девушек старались выдавать замуж годам к 16 – 18-ти, когда они становились способными самостоятельно «выполнять нелегкие домашние обязанности по уходу за скотиной, готовке пищи и заготовке продуктов впрок [56].

Когда же брак преследовал политические цели, утверждают летописи, девочку могли выдать замуж и «младу сущу, осьми лет». «Достаточно яблока и немного сахару, чтобы она оставалась спокойной», – записал свои впечатления «немец-опричник» Генрих фон Штаден в середине XVI в. Он говорил о более чем юной (зато «очень хорошенькой») невесте – дочери кн. Владимира Андреевича Старинного Марии, – выданной замуж в 9 лет за 23-летнего герцога Магнуса [57]. Сумбека из «Казанской истории» (равно как и ее исторический прототип Сююн-бике) также была выдана замуж 12-ти лет, «млада, аки цвет красный» [58]. В XVII столетии нередко выдавали замуж и «на десятом году возраста», на рубеже XVII – XVIII вв. – в 13 лет. «Невеста родится – жених на конь садится» – говорила народная поговорка, подчеркивая традиционное неравенство лет вступающих в брак [59]. В царских семьях о совершеннолетию дочерей

сообщали, когда им исполнялось 13 лет [60]. Нет сомнения, что девочки, вышедшие из-под «власти» (опеки и авторитета) отца сразу же, без «переходного периода» становления личности и индивидуальности, попадали под опеку и авторитет мужа («я была у отца и у матери, а теперь – полоняничное тело, волен Бог да и ты со мною») [61]. Став женщинами в 12 – 13 лет, матерями в 13 – 14, они были в проявлении своих эмоций очень зависимы, уязвимы, несамостоятельны. Частная жизнь девочки-женщины растворялась в частной жизни новой семьи, однако блюстителей нравственности это не только не смущало, но и безмерно устраивало.

Влияние разницы возрастов новобрачной и ее супруга на частную жизнь женщины было множественным. Для большинства «юниц», вроде перечисленных выше, оно было шагом к усилению зависимости. Для «молодух» в самом расцвете сил оно закладывало основу будущих связей на стороне, когда пожилой жених «спаше с своею женою», «велми молодой», «не возможе ея утешити и возжеления ея похотного исполнити старости своя доля» (ср.: «коли меня, прекрасную девицу, поймешь, тело твое почернеет, уды твои ослабеют и плоть твоя обленитца, не угоден будешь младости моей и всему моему животу не утеха!» [62]). Составители популярных текстов XVII в. не сомневались, что именно «того ради» жены ненавидят стариков. «И начат им гордети (пренебрегать) и приучи к себе, греховного ради падения, некоего юношу, лепа зело (очень красивого)», – так оценивал (и не слишком осуждал!) итог брака «юницы» со стариком современник, обзывая последнего устами своей героини «старым мужем с вонючею душою, понурою свиньею» [63].

Наконец, житейскую ситуацию с молодой, но опытной женщиной и юнцом представляла любопытная вставка в топос «Беседы отца с сыном о женской злобе»: «Аще будет юн муж – она его оболстит, близ оконца приседит, скачет, пляшет и всем телом движется, бедрами трясет, хрептом вихляет и другим многим юнным угодит и всякого к себе [пре]лстит». Исследователи текста «Беседы» полагают, что данная вставка – несомненная «зарисовка с натуры», отражающая один из вариантов развития семейных отношений [64].

Сохранение невинности до брака могло оказать прямое воздействие на будущую жизнь девушки. Лишь девицы, «превозмогшие» «по естеству похоти мысль», могли оказаться царскими невестами и женами представителей клира. Желание девушек сохранить «чистоту» нашло отражение в сюжетах повестей XVII в., имевших хождение в посадской среде, где героини, попавшие в сложные ситуации, просили лишь об одном – «девство» при них «оставить ради вышняго промысла» [65]. Однако ни домосковские законы, ни церковные наставления XVI – XVII вв. не рассматривали девственность как брачное условие. С девиц, не

смогших «ублюстись», предписывали взимать штраф, непорочная же невеста считалась большей «ценностью», что и фиксировалось специально в тексте документов: «А дочеришка моя пришла за него, Василья, замуж без пороку чистым браком...» [66].

В то время, когда был составлен этот документ – в конце XVII в., – в Московии широко практиковался свадебный ритуал демонстрации «почестности» новобрачной с помощью кубка с просверленным дном (символизирующего невесту, утратившую девственность), а также осмотра ночной сорочки царской невесты; однако эти «действия» стали частью народного обычая далеко не сразу и отнюдь не вместе с принятием христианства [67]. Отношение к добрачным связям девушек в крестьянской среде оставалось терпимым [68], так как в ней сохранялось представление о браке как о виде гражданской сделки, лишь освящаемой благословением церкви (замужество с венчанием, но без свадьбы не считалось общественно признанным, в то время как свадебный пир без венчания позволял считать брак заключенным) [69].

Перечисленные выше доминанты, будучи одновременно брачными условиями, оказывали немалое воздействие на строй частной жизни женщин Древней Руси и москвиток XVI -XVII вв. Осталось сказать об еще одной из них, имевшей немалое влияние на самостоятельность или зависимость, «свободу» или «угнетенность» женщин в семьях допетровского времени. Речь идет об их праве на развод.

Возможность расторгнуть брачную сделку формально имели и муж и жена. Основным поводом к разводу считалось прелюбодеяние, но определялось оно для супругов различно.

Муж считался изменником, если имел на стороне наложницу и детей от нее. По словам очевидцев русского семейного быта XVII в., «прелюбодеянием (для мужчины. – Н. П.) считалась длительная связь с женою другого» [70]. Варианты «прелюб» описаны в источниках и довольно разнообразны – от побочных семей до брачных союзов из трех человек, упомянутых «Правосудием митрополичьим» (XIII в.) (статья о двух женах, живущих с одним мужем) или «Сказанием об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы» (XVII в.) (в которой два «сына красны» боярина Кучки «жыша со княгиной в бесовском вождедении, сотонинским законом связавшись, удручая тело свое блудною любовною похотною, скверня в прелюбодейсгвии») [71]. Формально, конечно, жена имела право потребовать развода, если могла доказать факт измены супруга, но разводных грамот такого рода от X – XVII вв. не сохранилось [72].

Женщина считалась «прелюбодеицей», если она только решалась на связь с другим мужчиной [73], на «чюжеложьство» [74]. Узнавший о ее вероломстве супруг не просто имел право, но и обязан был развестись (мужей, прощавших женам их измены, рекомендовалось наказывать

штрафом в пользу церкви – должно быть, далеко не каждый адюльтер влек за собой развод). Просьбы супругов о разводе по «вине прелюбодеяния», как правило, заканчивались прошением о разрешении нового брака (иногда с вполне конкретной избранницей), что заставляет заподозрить авторов грамот в злоумыслии [75]. Кроме того, отношение к «пущеницам» (разведенным женщинам) в привилегированной части общества было осуждающе-сострадательным, как к «порченным»: не случайно летописцы отметили факты, когда князья, воюя с тестями, «нача пущати» своих жен: это было равносильно оскорблению [76].

О том, насколько были распространены разводы в допетровское время, судить сложно. Еще труднее находить свидетельства того, какие чувства вызывало наличие права на развод (или отсутствие его реальной возможности) у людей того времени. Вероятно, частное право, регулировавшее семейные отношения в X – XVII вв., шло от конкретных казусов: разрушения семейной общности по тем или иным причинам. К ним, помимо прелюбодеяния, церковный закон XII в. относил бездетность брака, в том числе импотенцию мужчины: «аще муж не лазит на жену свою, про то их разлучити» [78]. Любопытно, что поздние памятники – литература XVII в. – зафиксировали искомое нами как исследователями частной жизни женщины допетровского времени отношение женщин к подобной возможности («идох за него девою сущи непорочна, и он же, старец, не спит со мною... поймите его и ведите к судиям, да исполнят над ним!» [79]). Но разводные грамоты такого рода не известны.

Еще одним поводом к разводу для женщины могла быть невозможность главы семьи «держати» (материально содержать) жену и детей. Образ такого рохли, да к тому же еще и пьяницы, пропившего все семейное добро, включая «порты» жены, оставил один из ранних памятников покаянной литературы [80.] С течением времени этот повод к разводу незаметно исчез из текстов канонических сборников. Зато появился (примерно в XIII – XIV вв.) новый мотив: пострижение одного из супругов.

Известный казус с Соломонией Сабуровой, с которой развелся в. кн. Василий III (1526 г.) – формально: по причине принятия ею схимы, фактически: из-за «неплодия» многолетнего брака, – свидетельствует, что для представителей церковных властей дилеммы в этом вопросе не было. Отсутствие детей в царской семье, ставившее под угрозу существование рода Рюриковичей, было «головной болью» кн. Василия и его окружения. Восточному же патриарху, к которому русский царь обратился с просьбой разрешить развод, эти тревоги не показались мотивом, веским для «разлоучения». Поскольку недостойные поступки со стороны Соломонии отсутствовали (летописец прямо указал, что развод был совершен «без всякой вины от нея»), князь заставил жену

принять постриг. Автор миниатюры в Радзивилловской летописи изобразил Соломонию, заливающуюся слезами, на фоне высоких стен монастыря, в котором ей суждено было прожить 16 лет. Андрей Курбский был позже возмущен тем, что Василий постриг Соломонию «не хотящу и не мыслящу о том». По словам Герберштейна, великая княгиня энергично сопротивлялась постригу, растоптала принесенное ей монашеское одеяние, что заставило Ивана Шигону (советника Василия Ш) ударить «ее бичом» [81].

Личная драма Соломонии не бралась в расчет ни бывшим мужем, ни вообще кем-либо. Сказать, что несчастная женщина относилась к своей «тяжкой болезни» безропотно, никак нельзя: сохранились «памяти» о том, как она пыталась вылечиться от «неплодства» [82]. Народная же молва и вовсе восстановила доброе имя пострадавшей, донеся до нас предание о том, что в монастыре княгиня-схимница родила сына Георгия [83].

Напротив, в кн. Василия за его отношение к Соломонии народ не раз поминал недобрым словом, называл «прелюбодеем» (хотя официальные источники перекладывали ответственность за недостойный поступок на бояр, якобы сказавших: «Неплодную смоковницу посекают и измещуть из винограда»). Тот факт, что долгожданный наследник (будущий Иван Грозный) родился у Василия и молодой польки Елены Васильевны Глинской не сразу, а лишь через три года после свадьбы, «простецы» интерпретировали как подтверждение «вины» князя, его неспособности продолжить род, упорно приписывая отцовство «сердешному другу» Елены Глинской – кн. Ивану Телепню-Оболенскому. Общественное осуждение развода великого князя с Соломонией выразилось и в том, что второй брак Василия многие считали «незаконным», предсказывали, что от него родится сын, который наполнит царство российское «страстми и печалми» [84]. Показательно также, что прецедент Василия и Соломонии не породил «волны» «разлоучений», оставшись осуждаемым и чуть ли не единственным явлением. Впоследствии Петр I, совершивший аналогичный поступок, долго не решался вступить в новый брак и старался поддерживать хорошие отношения с принявшей постриг Евдокией [85].

Оценивая соотношение «нормы» и «действительности» в вопросе о разводе, приходится признать исключительную ограниченность возможностей его для женщин допетровского времени, в том числе для представительниц царской семьи. Казалось бы, формально сама Соломония могла потребовать развода с Василием после трех лет бездетного брака, однако фактически случаев таких прошений от женщин нет; все обнаруженные ныне относятся к XVIII в., и лишь одно из них удовлетворено. Поступление же супруги в монашество давало полную уверенность в «благополучном» исходе дела (разводе): мужа не

стеснялись «подводить жен под монастырь» (не случайно эта идиома возникла в русском языке в XVII в.) [86]. Впрочем, народные поговорки зафиксировали возможность и обратной ситуации («От жен люди постригаются» [87]): вероятно, женщины с сильным и независимым характером могли внести существенные «коррективы» в представление о распределении «семейной власти».

Частную жизнь женщин допетровской Руси могли бы охарактеризовать примеры реализации их права на развод с мужьями-клеветниками, формально постулированного в XII в. (такую возможность давала бездоказательная «крамола» на их целомудрие, несправедливое обвинение в колдовстве, воровстве, убийстве, «любом злом деле»). Среди записок иностранцев есть упоминание о возможности для жены в России «разлучиться» с мужем и в случае, если он жестоко с ней обращался [88]. Нарративная литература приводит слова жен, измученных пьянством супругов: «Не моще терпети, всегда муж пьян приходит, дом наш разорился, с ним бы разошлася...» [89]. Но примеров прошений жен о разводе по этим причинам нет. Эту сторону частной жизни москвиток XVII в. особенно ярко характеризует поговорка, записанная в XVIII в.: «Женитьба есть – а розженидьбы нет» [90]. И не случайно в русском языке муж и жена с давних времен именовались именно «с[о]упругами» – людьми, «со[у]пряженными» браком, семьей как лошади одной упряжью [91]. Практическая затруднительность расторжения брака для женщины допетровского времени объяснялась и тем, что в случае положительного ответа она могла требовать возмещения мужем расходов по судебному процессу и получения большей части имущества «на содержание» [92].

Перед нами предстали, таким образом, доминанты, оказывавшие влияние на некоторые стороны частной жизни древнерусских женщин и москвиток XVI – XVII вв. Все они воздействовали на эмоциональный строй семьи, но степень и форма их влияния были разными в разные периоды существования супружеского союза. Едва ли не главной из них было право выбора брачного партнера, опосредованное – в течение всего рассматриваемого нами периода – волей родственников невесты. Важно отметить, однако, что на протяжении всех семи веков вместе с тенденцией «вмешательства» родственников и прежде всего родителей в частную жизнь их детей или подопечных постоянно сосуществовала и тенденция обратная – стремление решать эти вопросы «единолично», согласуясь, во-первых, с собственными эмоциями и склонностями и, во-вторых, руководствуясь просто стремлением девушки выйти замуж, в силу постыдности статуса старой девы.

Принимая решение о выходе замуж не один раз в жизни (как то предписывалось долгое время церковными нормами), отказываясь от «целомудренного вдовства», женщины в Древней Руси и Московии XVI -



ХУЛ вв. чаще всего осознанно шли на нарушение навязываемых сверху (но не общепринятых!) правил. Мотивами здесь были: либо бездетное первое супружество (поскольку и нормы светских законов – в отличие от аскетических запретов норм церковного права – в некоторых русских землях допускали это), либо – на поздних этапах, в XVI – XVII вв. – эмоционально-личные факторы. Отношение общества к повторным и последующим бракам женщин было в целом толерантным, а в каждом конкретном случае, в конкретной судьбе – индивидуальным.

Существенное значение в последующей замужней жизни женщины могло иметь социальное и имущественное равенство (или неравенство) породнившихся органических групп. Различные по характеру источники – от назидательных и летописных до судебно-правовых – демонстрируют возможные следствия отклонений от «нормы» (социального и имущественного равенства супругов): изменение социально-ролевых функций брачных партнеров в семье, ломку традиционной семейной иерархии, виктивное (провоцирующее на нарушение общепринятого) поведение одного из супругов, следствием которого мог стать, например, конкубинат. Подробное рассмотрение примеров мезальянсов позволило сделать вывод о неприемлемости их обществом. Оно готово было скорее допускать адюльтер, сожительство с социально-зависимыми, побочные семьи, нежели перmissивно реагировать на смешение социальных и имущественных различий в браках.

Определенное влияние на эмоциональный строй отношений в формировавшихся семьях могло оказать и соответствие (или несоответствие) возрастов женихов и невест. Их «сближенность» рождала большую эмоциональную привязанность, а разрыв – меньшую, готовя супружеские измены и вообще внутрисемейные конфликты.

Требование сохранения невинности до брака, активно пропагандировавшееся церковью, как показал анализ ненормативных памятников, соблюдалось не всегда, хотя действительно выполнение этого предписания могло дослужить для новобрачной «социальным трамплином» (стать боярской или даже царской невестой на смотринах) и оказать существеннейшее влияние на ее последующую жизнь в браке.

Наконец, на судьбу, внутренний мир и повседневный быт женщины могла повлиять (и влияла!) такая доминанта, как право на расторжение брачной сделки. Вне сомнения, если заключение ее было прямо зависимо от родителей вступающей в брак, то расторжение должно было быть делом сугубо личным, частным делом «мужатицы». Нормы древнерусского права предоставляли женщинам такую альтернативу супружеству как развод, однако документы сделок и вообще ненормативные памятники (литература, фольклор) свидетельствуют об исключительности таких примеров. В нормах светских и церковных

законов было перечислено немало поводов к «разлучению», и в этой иерархии первейшим было прелюбодеяние супруги. Для самих же «руссок» и московиток (да и их мужей) подобная иерархия была, как можно понять из ненормативных источников, отнюдь не безусловной, и значительно большее значение и распространение имели разводы по причине ухода одного из супругов в монастырь.

Перспектива жизни в монастыре как альтернатива обычной семейной жизни была в средневековой Руси и Московии XVI – XVII вв. достаточно, но не широко распространенной [93]. Двумя важнейшими, лиминальными фазами жизненного цикла женщины – замужеством и прекращением или расторжением брака – исчерпывалась вся ее взрослая, сознательная – иногда самостоятельная, иногда зависимая – повседневная жизнь [94].

## II

### **«А ПРО ДОМ СВОЙ ИЗВОЛИШЬ ВСПОМЯНУТЬ.**

#### **Повседневный быт в частной жизни женщины: работа и досуг**

В повседневном быту русского средневековья господствовали ценности, представляющиеся современному сознанию второстепенными: ведение хозяйства, надзор за челядью, рождение и воспитание детей. Вся эта сфера жизни людей зависела от женщин в куда большей степени, чем от их мужей, отцов, братьев. Это была сфера их «господства». Основную часть повседневного быта любой жительницы древнерусского государства и московитки XVI – XVII вв. занимала, работа, домашняя и вне дома.

Для всех представительниц непривилегированных слоев она была формой выживания, заполняя подавляющую часть дневного, а зачастую и вечернего времени. Она же составляла едва ли не главное содержание жизни женщин [1]. Большинство повседневных эмоциональных отношений и связей возникало в процессе выполнения ими различных производственных операций. Если церковные наставники домосковского периода понимали под воспитанием «дщерей» только заботу о том, чтобы они «не растлили девства» [2], если они не говорили о необходимости привлекать девочек к труду, то лишь потому, что включение их с раннего возраста в домашние работы было очевидным. К ним готовили с 4 – 5 лет, целенаправленно обучали с 7-ми [3] (в том числе и в среде аристократии). Появление в сборниках для назидательного чтения тезиса о педагогическом значении работы относится к сравнительно позднему времени, не ранее XVI в. [4], когда труд стал восприниматься как средство самообуздания и самовоспитания. Тогда же самоотверженная работа женщины стала

приравняться к самоотдаче в молитве [5], подвигу благочестия [6].

Составитель «Домостроя» (XVI в.), подробно расписав, как учить дочерей «всякому порядку, и промыслу, и рукоделию», невольно выразил собственную оценку роли «трудового обучения» в частной жизни матерей и воспитываемых ими девочек. Поздние нарративные тексты не случайно упоминали девичье «прилежание в предивенном пяличном деле», а также «хитро-ручное изрядство» и «шелковидное ухищрение» в контексте положительных характеристик юных невест [7]. Отмеченная Сильвестром рачительность хозяйки к каждому кусочку, крошке, лоскутку, воспитываемая в девушках с детства, показывает, насколько ценились в частной жизни человека допетровского времени все эти блага: еда, питье, одежда. Об этом же говорит и эпизод в «Повести о Петре и Февронии» (XVI в.), в котором бояре выразили возмущение поведением Февронии, стряхивавшей «в руку свою крохи» хлеба, «яко гладна»: Петр решил «искусить ю», раскрыл ее руку, чтобы убедиться в верности слов «некоего», которой «навадил» его «на ню» – и обнаружил в открытой руке супруги «ливан добровонный и фимиян», в которые чудесно превратились крошки [8]. В этой зарисовке житийного чуда – не только религиозные мотивы, не только исключительное уважение средневекового человека к еде, но и «увязанность» назидательной идеи беречь хлеб с образом женщины как воспитательницы.

Православная идея «воспитания работой» не противоречила и народной традиции, которой была свойственна поэтизация труда. Если в православных текстах труд часто подразделялся на престижный «мужской» (пахота, строительство) и не столь престижный «женский» (приготовление пищи, уход за скотиной, ткачество [9]), то народная традиция уважала любую работу в равной степени. В фольклорных и письменных источниках часты упоминания мужчин, занятых приготовлением пищи, и женщин, выполняющих «мужскую» работу. Такие сведения есть и в «Русской Правде» [в статье о вдовах, вынужденных пахать, чтобы выплатить подати], и в сказках, и в пословицах, и в этнографических описаниях конца XVIII в. Посетивший Россию в конце XVII в. посол Рима в Москве Я. Рейтенфельс вообще отметил, что «женщины трудятся на полях гораздо более, чем мужчины» [10].

. И все же с незапамятных времен существовали и безусловно женские занятия, и среди них – рукоделие. Не только крестьянки и незажиточные горожанки, но и боярыни, княжны, черницы в монастырях ткали, шили, вышивали. Работами «люботрудниц» – царицы Анастасии Романовой (первой жены Ивана Грозного) и царевны Ксении Годуновой (дочери царя Бориса) можно и сегодня любоваться в ризнице Троице-Сергиевой лавры. Не менее известны прикладные работы

знаменитой интриганки середины XVI в. Ефросиньи Старицкой, удаленной Иваном Грозным с политической арены в Воскресенский женский монастырь на Белоозере. Для ее неуемной энергии необходим был выход, и потому организация на Белоозере, а затем и в Горицком монастыре знаменитых золото-ткацких мастерских стала формой сублимации деловой активности княгини [11].

И хотя источники, отразившие отношение самих аристократок к их «женской работе» как особому виду труда, казалось бы, нет, нетрудно убедиться, что «хитроручное изрядство» требовало неформального, творческого отношения к делу. В отличие от представительниц низших социальных слоев, для которых труд был вынужденной необходимостью, женщины привилегированных сословий «прилагались» «ручному делу» не по экономическим мотивам. Для них, родившихся или принадлежавших к семье венценосцев, их «подружий» и боярынь, равно как для некоторых княгинь и княжон в провинции, в том числе «приимших мниший чин», неспешное и несуетное вышивание и золототкацкое дело превратились в особую форму самовыражения, проявления индивидуального вкуса и самоактуализации. Трудясь «каждо в своем звании неленостно», знатные аристократки руководили и сами участвовали в создании великолепных произведений прикладного искусства («руками дело честно своими робили») [12]. Так возникали образы, полные умиротворенности и спокойствия, выражавшие проникновенное понимание их исполнительницами идей христианской дидактики (в литературе таким образом была «тихо» ткущая Феврония, перед которой «заец скача», в золототкачестве – персонификации идей женской преданности, любви и веры – образы «жен-мироносиц») [13].

В середине XVII в. в русской литературе появились новые героини. Их поведение было окрашено непривычными красками, красками «живства» и «подвижности» [14]. Это изменение отчасти прослеживается в том, как стало изображаться отношение женщин к работе, причем именно не к мелочным домашним обязанностям, а к деятельности в широком смысле слова. Одна из повестей XVII в. утверждала невозможность успешной работы, когда «на душе мутитца», «делать ничего не хочет[ца]», косвенно признавая результативность лишь того труда, который превратился в душевную потребность [15]. Этой мысли вторила другая повесть, героиня которой «так стала жить и тружиться, что в подавление всем окольным людям», «с великою борзостию, с большим заводом» (побуждением других к таким действиям), так что окружающие «дивовались ее великому заводу» [16]. В отличие от женских образов, созданных фантазией и мастерством самоуглубленных вышивальщиц XV– XVI вв., женские образы русской фресковой живописи XVII в. создавались уже в ином «ключе», дополняя картину суетного,

мимотекущего и многомятежного мира. Лица их перестали быть безучастными и бесстрастными, а сами они оказались «захваченными оживленной деятельностью, находящейся в состоянии движения» [17]. Пользуясь языком Сильвестра, наставлявшего домохозяек, женщины середины XVII столетия стали хлопотуньями, которые «сами накако ж, никоторыми делы, опрочь немощи, без дела не были» [18].

Толчком к изменениям в литературе и искусстве второй половины XVII в. (за несколько десятилетий до петровских преобразований) послужили обстоятельства исторические: усиление втягивания женщин, прежде всего из дворянской среды, в дела управления поместьями, продолжение прерванной почти на век эволюции правовых норм, касающихся женского имущества, отмена ряда запретов. Известно, что домосковский период оставил немало свидетельств хозяйственной деятельности женщин: от берестяных грамот с поручениями слугам, долговыми и ростовщическими расписками, заметками о покупках и ценах на них (ранние – XII в., поздние – XIV – XV вв.) до многочисленных и разнообразных актов имущественных распоряжений замужних и вдовых княгинь и правительниц [19].

В дальнейшем, однако, число сделок несколько сократилось (что могло быть обусловлено формальным уменьшением числа самовластных правительниц в эпоху централизации), в том числе после запретительных указов 1552 – 1627 гг., исключивших женщин из числа получательниц определенных типов наследства в форме недвижимости [20]. Но именно тогда, вместе с возникновением и распространением условных земельных держаний, в России образовался значительный слой собственников недвижимости с особыми правами, жены которых (дворянки) стремились добиться законодательно оговоренного права пользоваться и распоряжаться семейными владениями.

Документы земельных сделок XVI – XVII вв. рисуют увлекательную и во многом неожиданную для нас картину активной хозяйственной и предпринимательской деятельности русских помещиц. Сами обстоятельства – постоянные и частые отлучки мужей на «государеву службу» – заставляли «жен дворянских» подолгу выполнять функции управительниц поместий, показывая себя властными и расчетливыми домодержницами. В пользу этого говорит количество сделок второй половины XVII в., заключенных женщинами от собственного имени и по поручению мужа [21]. Но если анализ соотношения частно-юридических норм и повседневной хозяйственной практики второй половины XVII в. не входит в задачи данного очерка, то влияние изменившейся роли и форм деятельности женщин привилегированного сословия на взаимоотношения с членами семьи, на роль женщин в ней можно попытаться представить на основании эпистолярных памятников. Написание даже частных писем подчинялось в допетровское время

определенному канону, поэтому поначалу трудно превозмочь досаду на их содержательное и эмоциональное однообразие. И все же даже те из них, которые были написаны писцами под диктовку и были всего лишь отчетами жен, сестер, дочерей, племянниц, «внук» о хозяйственных делах, отразили одновременно и индивидуальные чувства, стремления, переживания, и семейную стратегию в отношении имущества.

Судя по письмам, жены землевладельцев в столице и провинции занимались хозяйственными делами отнюдь не «с принуждением» и не «безучастно», как то показалось агенту английской торговой компании Джерому Горсею [22]. Напротив, они были «во многом имени крепкоблестителны» и никоей «тщеты» не творящими [23]. Многие из дворянок были собственницами и личных земельных угодий, не говоря уже об общесемейном недвижимом имуществе. И в то же время редкие из них располагали «прикащиками» или ключницами [24] (которые, кстати сказать, письменно отчитывались перед своими хозяйками о выполнении поручений) для выполнения управленческих функций. Чаще все вопросы им приходилось решать самим. Немалыми трудностями организационно-экономического характера диктовались жалобы женщин на неисполненность тех или иных распоряжений, отсутствие или нехватку денег, ими же объяснялся униженно-просящий тон писем (корреспондирующий с патриархально-иерархической идеей семейного этикета): «не покинь меня, да пожалуй при моей безголовной беде, да продай...»; [25] «не сокруши ты моей старости, не покинь меня с робяты: велел ты мне продать... а я... не продала»; [26] «и ты, государь мой братец, не покинь меня, бедная, а я надежна на божью милость и на твое жалованье, у меня, бедные, акромья твоего жалованья приятеля нет...»; [27] «ты, государь... изволил приказывать – так мужики по се время не сиживали, и что ты, государь, изволил послать, и того я, убогая, не видала, а что в памяти в петнадцати рублев – и тех писем нет, а я, убогая, живу в печалех своих, а крестьяне меня и девки не слушают...» [28].

«Субъективная модальность» [29] переписки мужчин и женщин второй половины XVII в. предстает совсем иной, когда в поле исследовательского анализа попадают послания самих «служивых» членам семьи – чаще всего женам и сестрам, реже – дочерям. Тон в них, как правило, уверенно-распорядительный: «Ты, сестрица, прикажи смотрет[ь], чтобы безоброчно рыбы не ловили, деньги изволь прислать не мешкав, прикажи половить рынки и на мою долю...»; [30] «те дела, сестрица, вам надобна, и делаем мы для вас: вам, сестрица, земля велми нужна, а купить нигде де добудем, и ты изволь прислать к нам...»; [31] «будет до масленицы отделаюсь – и я буду домой, а будет не отделаюсь – ко мне, свет моя, отпиши, много ли у нас...» и т. д. [32].

Однако и первая группа писем (от женщин к мужчинам), и вторая (от

мужчин к женщинам) свидетельствуют, что главы семейств почитали совершенно естественным оставлять дом и немалое хозяйство, в котором вечно кто-то «бегал», «не слушал», «не доправлял», «не сыскивал» [33], на попечение своих жен, сестер («а пожитками брата моего владеет жена» [34]), взрослых (замужних) дочерей с их мужьями. Скажем, кн. И. И. Чаадаев, передавая попеченье своим именем старшей сестре (в связи со службой), писал в 1670-х гг.: «А у тебя прошу милости, изволь домом моим владеть, как своим, без счета со мною. И жену свою вручаю под твою власть, что тебе угодно – изволь имать, ко мне о том вперед не пиши...» [35] Тем в большей мере доверяли Своим женам обширные хозяйства их мужья. «Живи, душа моя, как тебя Господь Бог разумом наставит», – писал он жене, перечисляя далее, какие дела нуждаются в безотлагательном решении [36].

Женщины же тоже принимали свое положение как должное. Тон их писем по экономическим вопросам, обращенных не к родственникам, а к посторонним людям, отличает сухая деловитость и лаконичность, рисующая их энергичными распорядительницами с мертвой хваткой («вели купит[ь]», «сохрани», «не пусти», «вели прислать») [37], ничем не отличными по стилю общения от их отцов и «супружников». Впрочем, чисто эмоциональную окраску некоторых отношений и связей собственниц и зависимых от них «людишек» тоже не следует сбрасывать со счетов: женщины были зачастую мягче и восприимчивее к чужой боли («ты, свет мой, будь к ним милостив, а что они позамешкали [с выплатами. – Н. П. ], так ты ведаешь, что они бедны и нужны...»; [38] «пожалуй, милостью своею обереги, надо бы в бедах призреть, а не избидеть бедной горкой вдовы и беспомощной и да и сиротки девочки моей, осталась сира и мала...» [39]).

Несомненно, «жены дворянские» (реже – вместе с дочерьми) [40], отвергнув, по словам летописца домосковского времени, «женскую немощь и взявши мужскую крепость» [41], занимались во время длительных отлучек мужей организацией всей (а не только экономической) жизни своего имения. Подобные «сухие» материалы, лишь изредка предваряемые индивидуальными «зачинами» («А про дом свой изволишь вспомнать...» – далее следовал отчет о выполненности распоряжений мужа) [42] или «наставлениями» («А жит[ь] бы тебе бережно [бережливо. – Н. Я.]...» [43]), как нельзя лучше характеризуют роль женщины в русской семье допетровского времени как эмоционально-организующего центра. Все сведения о совместной с мужьями (или по их «поручению») деятельности жен того времени говорят об умении супругов решать проблемы домашней экономики согласованно, в системе взаимоподдержки, соучастия. И женщины, как можно понять, очень часто становились самыми доверенными из близких в делах внутрисемейной и внесемейной экономической

стратегии.

Благодаря обширным родственным, приятельским и клиентурным связям княгини и дворянки ловко обустроивали различные сделки, защищали служебные интересы супругов, решая попутно и хозяйственные вопросы с практической сметкой, решительностью и самостоятельностью. Сама жизнь родила тогда поговорку: «Бес там не сообразит, где баба доедет» [44]. Кроме того, женщины, в меньшей степени зависимые от служебной субординации и принятых норм обращения с челобитными от «низших» к «высшим», легче могли «заступиться» о конкретной судьбе, «попечаловаться» о частной карьере. Достаточно вспомнить отношения протопопа Аввакума и царицы Ирины Михайловны, которую лидер старообрядчества считал в царской семье главной заступницей слабых, способной воздействовать своими просьбами и на царя. Убеждение в том, что именно женщина может просить представителей власти о чем-то, о чем несвойственно просить мужчине [45], сохранилось в русском обществе и много позже, например, во время определения судеб участников восстания 14 декабря 1825 г. В XVII в. это неписаное правило служебной и внеслужебной этики позволяло мужчинам просить своих жен «побить челом» кому-либо и не унижаться просьбой (а тем более – отказом на нее) самим [46].

Отправляя послания друг к другу, женщины запросто спрашивали о возможности служебных перемещений своих мужей и protege: «Не можно ль на Григорьево место Косагова?»; [47] «Умилосердися, побей челом о батюшке Матфее Осиповиче, указано [ему] быть в полуполковниках... А Федора Яковлевича (муж автора письма, стольник Ф. Я. Сафонов. – Н. П.) шток пожаловал избавил от такого чину...» [48]. Чувства «клановости», тесной родственной взаимоподдержки, корпоративности не только были основой многих подобных «тайных», «незримых» сделок между родственницами и «приятельницами» (которые на поверку также оказывались родственницами, только дальними) [49], но и цементировали московское общество нерушимостью «старых традиций» подобной взаимовыручки.

Особый строй отношений между женскими и мужскими представительницами одного семейного клана, отношений большой дружественности, взаимоподдержки и уважения к мнению «родичей» и «ближиков» (о которых очень ярко сказала тетка В. В. Голицына кнг. П. И. Одоевская: «не много у меня вас [родственников], мне ты, государь, что свое рождене (т. е. ты племянник, как родной сын. – Н. П.)» [50] – все эти связи и отношения просматриваются в переписке представителей московской элиты, например, семьи кн. В. В. Голицына – известного любимца в. кнг. Софьи Алексеевны (конец XVII в.).



В тексте писем его родственниц – матери, жены, тещи, дочерей – поражает стремление не просто получить конкретное распоряжение, но «знать доподлинно» обстоятельства экономико-правовой жизни соседних имений, да и столицы. «Свет мой, – писала, например, мать князя, кнг. Татьяна Ивановна, – здесь слух носится, что будет государев указ со всех вотчин ямать по полуполтини з двора, а со вдов и недорослей и с манастырей вдвое, да кои на службах, и с тех имать по полуполдине...» Терзаемая сомнениями, она просила подтвердить или опровергнуть этот «слух», «отписать» о том, «жаловать ли по-прежнему» в чем-то провинившегося Потапа Шеншина и т. д. [51]. «Другой пример – взаимоотношения кнг. Прасковьи Андреевны и Петра Ивановича Хованских. Судя по их переписке, П. А. Хованская запросто заправляла не только всеми повседневными делами, но и понимала толк в стратегии домашней экономики, давая советы о покупке или приобретении в «помес[т]ье» тех или иных земельных угодий. Иной раз в письмах ее прорывалось эмоциональное: «Пожалуй, отец мой, не мешкай! Кафтыревы о [по]мес[т]ье ныне промышляют, не мешкай, как бы не потерять! А наипаки всего насмешка их...» [52]. Насмешничество соседей казалось этой расчетливой и деловитой дворянке даже более существенным, чем материальные неудачи.

Стремление и, главное, умение некоторых женщин вмешиваться в служебные дела сыновей, мужей, племянников, в частности составлять протекцию родственникам и знакомым, – просто поразительны. Взрослые, женатые внуки, находящиеся на «государевой службе», как то видно из сохранившихся писем, зачастую оказывались в эмоциональной зависимости от окружавших их женщин, от их мнения или совета. Скажем, в письмах дворянской семьи Пазухиных (конец XVII в.) есть послания С. И. Пазухина дочери У. С. Пазухиной, в которых он выражал беспокойство тем, «што бабушка гневается» на него за то, что он неправильно провел кое-какие сделки. Правда, дочь горячо уверяла отца, что это его домыслы, что «бабушка и матушка [лишь] с печали сокрушаются», а не «гневаются» (и, кстати, предлагала для «снятия конфликта» купить «бабушке башмачки»), – но все равно эмоциональная оценка родственных связей здесь очень примечательна [53].

Проявления родового самосознания, убежденности в собственном авторитете проступали во многих просьбах матерей к сыновьям, изложенным в письмах. Скажем, в переписке кн. В. В. и Т. И. Голицыных мать не раз проявляла настойчивость в том, чтобы сын принимал под свое покровительство родственников, «знакомцев» и свойственников [54]. «Да поехал к тебе, свет, в полк Таврило Иванов сын Головкин, – писала как-то раз Т. И. Голицына. – А нет у тебя в полку свойственного человека никою, а се он ребенок молодой, и ты... пожалуй ево, напиши за собою, а сотню никуды ево не отдавай и в есаулы ево не напиши. А

приезжала ко мне о нем бита челом бабка ево старица из Вознесенского монастыря, потому что один уже он и есть, и плакала, и со слезами была челом о нем. И ты, свет мой, не преслушай моево письма, учини по моему письму...» [55] В этом отрывке – и характерный для русской ментальности примат родственного над правовым («ну как не порадеть родному человечку!»), и сохранение элементов «матриархальной ориентации» русской семейно-родовой организации (исключительное уважение к слову и мнению старших женщин семейного клана (бабки, матери, тетки), и неожиданно прорвавшаяся эмоциональность (сочувствие родственнице, у которой Таврило – единственный кормилец).

Аналогичные просьбы устроить судьбу, по-родственному обойти в каких-то случаях закон, содержатся и в женской переписке других семей того времени. Например, переписка жены полковника Ивана Алферьевича Барова Алены (? – отчество неизвестно) и жены кн. П. И. Хованского Прасковьи Андреевны (урожденной Кафтыревой) позволяет найти немало примеров подобных обращений («заступи своею милостью, чтоб он пожаловал его (мужа. – Н. П.), сверстал со старыми полковники...») [56]. С той же экспрессивностью выражена просьба тетки, кнг. У. И. Одоевской к племяннику – кн. В. В. Голицыну: «Писал ты, государь, ко мне, чтоб мне поговорить зятю, князю Ивану... чтоб к сыну твоему к князю Алексею был добр. И зятю моему к сыну твоему лихому быть не для чего, ведаешь ли... у меня вас не много, и зять мой князь Иван ей-ей рад, и сын твой, князь Алексей, за великим государем в походы ездит, и встречает, и провожает» [57]. Есть, конечно, и обратные примеры, огорчения, связанные с тем, что устроить дело по знакомству не удалось: «А надежи, государь, тебе и помочи не от ково нет, что и бьем челом о твоих делах всем, ин указу нет, ни от ково помочи нет...» [58].

Знанием мельчайших нюансов служебной жизни сына, его отношений с окружающими в придворном кругу отличались письма некоторых образованных матерей. Среди них – прежде всего – мать кн. В. В. Голицына, рассуждавшая о том, что на кого он «надеялся – от тех помочи мало», а впредь от таких-то «добра не будет», и от иных – «нет помощи немалые», а одному и вовсе «не быть в схожих товарищах». В итоге эта мудрая женщина не смогла сдержать восклицания: «Ты, мой свет, пишешь ко мне, что будто летось (в этом году. – Н. П.) от меня был в дураках! И ты, мой свет, от меня[-то] никогда не будешь в дураках, и я сама знаю, что де так» [59]. Воистину карьера государственного мужа, инициатора походов на Азов, символа мужественной рассудительности для его «полубовницы», правительницы России царевны Софьи Алексеевны, предстает в ином свете, если принять во внимание участие в этой карьере «мати» кн. Голицына! Переписка с нею сына по тематике

(хозяйство, служба) не располагала, казалось бы, к «нежностям», но отличалась тем не менее непоказной откровенностью и живостью.

Письма «домой» и «из дома», которые, как и деловые, составлялись В. В. Голицыным и Т. И. Голицыной на основе определенных топосов, принятых в то время клише, характеризуются большим количеством «бытовых картинок», житейских, личных признаний и оценок, превращающих общественное в частное.

Принимая близко к сердцу удачу и поражения в жизни взрослого сына, Т. И. Голицына призналась в одном из писем: «свет мой, ведаю то и сама: служба твоя – ...моя кончина» [60]. И правда: события, явления, происходившие в жизни известного деятеля и характеризующие ее общественную сторону, диффузно растворенную, переплетенную с проявлениями его индивидуальных интенций, переплавленные с его честолюбием, амбициозностью и т. п., оказались в эпистолярии событиями и явлениями не только его судьбы, но и, частной жизни его матери (ибо стали источником ее личных переживаний и раздумий).

Задумаемся: а были ли типичными или хотя бы распространенными подобные внутрисемейные отношения для женщин предпетровского времени (о более раннем периоде говорить сложно: частных писем, за редким исключением, не сохранилось)? Можно предполагать, что вникать в служебные дела мужей и сыновей, равно как задумываться о душе и самосовершенствовании, как предписывали церковные дидактики, могли себе позволить лишь представительницы праздной знати, для которой существовала альтернатива работе, хотя бы в виде чтения. «Между непрестанными хлопотами, стряпнёю, вычищиванием и вымыванием посуды, сбереженьем и припрятыванием лоскутков, мелких – в мешочках, покрупнее – в сверточках "Домострой" оставлял женщине немного минут для умственных занятий», – полагал столетие назад известный филолог и историк Ф. И. Буслаев [61]. Все женщины трудились от восхода до заката. Распорядок дня, описанный посетившими Русь в XVI – XVII вв. иностранцами, с ранним началом дня [62] и ранним отходом ко сну [час восхода считался началом дня, час заката – первым часом ночи] – был типичным и для элиты, и для «простецов» [63].

Обстоятельства же дальнейшего времяпровождения женщины в допетровском обществе, *entourage* ее частной жизни во многом зависели от социального статуса. В благочестивых зажиточных семьях, в том числе царской, где строго следовали поучениям [64], агиографическим образцам и «Домострою», день начинался с молитвы. Мужчинам «Домострой» наказывал не пропускать молитвенного пения «ни в вечерню, ни в заутреню, ни в обедню». Женщинам же, которым надлежало с первого лее часа хлопотать по хозяйству, автор милостиво позволял действовать «как вмести́мо, по рассуждению». В трудовых

семьях женщины, вероятно, успевали лишь перекреститься на образ и сразу приступали к обычным заботам [65]. Однако дидактическая литература, рисуя «злых жен», не следовавших предписаниям благочестия и «забывши[х] образу божию помолиться» поутру, напоминала о том, что такая забывчивость чревата душевным перерождением [66].

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

Завтрака у большинства женщин допетровского времени не было. «Раннего еды и пития не творите», рекомендовали церковные поучения, ориентируя прихожанок на аскетический образ жизни. В народе бытовало убеждение, что дневную пищу «надо заработать» («Солнышко на ели – мы еще не ели»). Один из литературных памятников XVII в. зафиксировал ситуацию, когда старшие в доме выразили удивление тем, что невестка имела «раннее и полуденное ядение» [67]. Действительно, большинство встававших рано, до света и до подъема остальных членов семьи, женщин, прежде чем начать «вседневные» хлопоты, могли позавтракать остатками вчерашней пищи, сохранявшимися теплыми в печи (в то время как для всей семьи завтрака не готовилось). В одной из церковных инструкций XVI в. упомянуты четыре трапезы (завтрак, обед, полдник и ужин), но, судя по тому, что даже в «Домострое» говорится лишь об обеде и ужине (при том, что вопросу регламентации домашнего питания уделена целая глава), женщины в допетровской Руси ели не более двух раз в день. Народная поговорка, известная с XVII в., утверждала также, что «ужин не нужен, был бы обед» [68].

Если утренняя еда считалась необязательной, то утреннее омовение – необходимым. Лечебники рекомендовали мыться розовой водой (отваром шиповника) или же «водою, в которой парена есть романова трава» (отваром ромашки) [69]. Те, кто следовал этим рекомендациям XVI – XVII вв., чистил и зубы «корою дерева горячаго и терпкаго и горкаго, на язык шкнутого (жесткого)». В педагогических сочинениях XVII в. особо указывалось, что чистить зубы для белизны квасцами или солью, а тем более порошком («яко же творят жены») – «деснам вредно есть», но в то же время предлагалось вычищать остатки пищи «костками из курячих голеней» (щеток не знали). Поскольку же «лицевая чистота», даже без «углаждения» специальными притираниями, почиталась «украшением лица женского», женщины из простых семей по утрам непременно «измывали себя». Те из них, кто страдал дерматитами, могли смешивать при умывании «мыльну траву» с чистотелом («корень истолкши класть в мыло – лице будет чисто и бело»). Церковные правила и наставления, нетерпимые ко всем попыткам женщин искусственно украшать свою внешность («мазаться» и «красится», «яко облизьяны»), осуждали все, в том числе оздоровительные средства ухода за кожей [71].

«Очистив ся от всякие скверны» (душевной – с помощью молитвы и осязаемой – «умыв ся чисто»), женщины всех сословий начинали свой будничный труд. И если для представительниц низших сословий это была физическая работа, зачастую грубая и тяжелая, то в более зажиточных семьях старшие женщины или, как их уважительно назвал составитель «Домостроя», государыни дома – были прежде всего

организаторшами и распорядительницами работы и быта своих слуг и помощников [72]. Автор «Домостроя», создавая образ идеальной, рачительной домоправительницы, имел, наверное, перед глазами пример своей семьи и матери – жены крупного вотчинника. «По утру восставши по звону», посоветовавшись с мужем «о устроении домовнем, на ком что положено и кому какое дело приказано ведати», государыня дома, по его словам, должна была «наказати» всем слугам и работникам «что устроить ести и пити про гость и про себя», и «купити на обиход», и «купив что, сметити». Сильвестр явно полагал, что в делах «сметы» хозяйка обязана была проявить расчет и дальновидность. За сметой следовали распоряжения рангом ниже – по поддержанию чистоты в доме, поручения мастерицам и швеям. Госпоже строго наказывалось «всегда дозирати и спрашивати слуг о... нужи и о всякой потребе» [73].

Слуги, служки и члены их семей относились автором текста к единому большому сообществу, «семие», о которой ее госпожа должна была «радеть» и «болезновать» – иначе «даст ответ Богу и мзды не получит». Более детальную разработку идеи «радения», его форм и глубины со стороны женщины, «радения» в зависимости от социального статуса окружавших, можно найти в «Казанской истории» (XVI в.): «к вельможам честь, и ко середним честь, а ко обычным милование и дарование, и ко всему народу бережение велие...» [74]. Здесь примечательно выделение в особую «статью» обязанности домодержицы быть щедрой дарительницей: милосердие в православной концепции вменялось женщине буквально в обязанность [75]. Особенно прочно этот тезис утвердился в русской этической мысли XVII в. [76]

Частная жизнь домодержицы, супруги главы семьи оказывалась, таким образом, теснейшим образом переплетенной с жизнью и судьбами не только кровных родственников, но и слуг-«домочадцев», о которых она должна была «попечение имети якож о своих чадах и о присных (родственников) своих» [77]. Существование подобных отношений как типично средневековых (и подобных линьяжным) относится исследователями семьи к аргументам в пользу отсутствия собственно частной жизни человека до начала Нового времени [78]. Однако текст «Домостроя» и поучений XVII в. [79] доказывает не столько отсутствие частной жизни индивидуума, сколько ее «встроенность» в повседневность многопоколенной семьи. Упоминание сугубо личностных переживаний человека, о которых госпожа должна была «дозирать» и «соболезновать» – «удовольствия», «обиды», «душевныя нужи» и т. п. – причем применительно к низшим сословиям свидетельствует о несомненности аналогичных и даже еще более сложных настроений и эмоций у представительниц более образованной части общества, наличию у них личной, частной жизни. В назидательных текстах слезы как реакция на жизненные невзгоды и заботы называются

«женским обычаем», реакция же на них мужчины (вложенная в уста женщины!) описывается иначе: «Мужческому сердцу достоин разумом рассудати о всякой печали, хотя что и печально припадет – того не допускать до сердца своего» (то есть большая эмоциональность женщин подспудно противопоставляется рассудочности мужчин) [80].

Идеальные отношения домоправительницы и слуг спустя полвека после Сильвестра были описаны автором «Повести об Ульянии Осорьиной». В ней подробно говорилось о том, о чем прежде умалчивалось (или подразумевалось) – о межличностных отношениях в семейном клане, объединяющем многих родственников, а также «вдов немощных» и слуг. В отношении к ним Ульяния (а в образе ее, как то характерно для идеализирующих жанров древнерусской литературы, «объединялось должное и сущее» [81]) проявляла лучшие качества характера. Она не только «удовляше рабы и рабыня пищею и одежею», сшитой «своима рукама» (это и ранее причислялось к кругу добродетелей), но и видела в каждом из «простецов» как бы равных себе людей. Что характерно: она «никого простым именем не зваше» (то есть не звала, как то было принято: «Ивашка!», «Гришка!»), ни к кому не обращалась с приказаниями по пустякам [не требовала, например, поливать ей воду на руки, когда она их мыла, не позволяла снимать с нее обувь («сапог разрешающа»)], «никого же [из рабов. – Н. П.] не оклеветаше» и даже когда один из слуг убил (!) ее сына, простила убийцу.

Идеализируя отношения домохозяйки с челядью, автор «Повести» подчеркнул, что Ульяния всегда шла на уступки «неразумным», принимая их вину на себя и оберегая их от гнева стариков Осорьиных (родителей мужа). При том, однако, умная и энергичная помещица не допускала праздности и лени своих подопечных, «дело им по силе налагаше», а когда «бысть глад крепок по всей Рустей земли» (голод начала XVII в.) – «распусти рабы на волю, да не изнурятся голодом». Но холопы не покинули хозяйку, «обещахуся с нею терпети» [82]. [Трудно домысливать мотивы действий идеальной домоправительницы, но не было ли ее решение о «раскрепощении» холопов тонким расчетом, способом как раз удержать их и не допустить роста недовольства, ведь повесть писалась вскоре после голодных бунтов 1601 – 1602 гг. ?]

«Повесть об Ульянии Осорьиной» дает и еще одну возможность проникнуть в мир эмоциональных внутрисемейных связей того времени – в рассказе о повседневных домашних заботах брачного сообщества из двух поколений, окруженного челядью. Автор повести представил Ульянию, казалось бы, полновластной хозяйкой (старики Осорьины «повелеста ей все домовное строение правити»), однако все продукты «оставил» в ведении свекрови! Последняя выдавала их, видимо, по счету и мере, для челяди и для самой Ульянии. Только «серебряниками» (зависимыми крестьянами, платившими оброк

серебряной деньгой) героиня повести распоряжалась сама, поскольку они были «жалованьем» ее мужа. Эта система отношений в семье оказалась воспроизведена в следующем поколении: у Ульянии к концу повести выросли сыновья, но главной распорядительницей утвари и недвижимости осталась она сама («взимаше у детей своих сребреники...») [83].

Подобное распределение семейных ролей, принятие такого «порядка», высокий авторитет матери в повседневной, в том числе хозяйственной, жизни семь» привилегированного сословия, отразившиеся в анализируемом литературном памятнике, заставляют задуматься о том, насколько справедлив расхожий стереотип, представляющий знатных москвиток XVI – начала XVII в. бесправными «теремными затворницами», «домашними узницами», прозябавшими в бесправии и темноте. Да и много ли было пресловутых теремов, зримо отделявших публичную сферу жизни москвитов от приватной?

Существование «теремов» и стремление «спрятать» в них москвиток в XVI – XVII вв. отмечено буквально всеми иностранными путешественниками, посетившими Россию в рассматриваемое время [84]. «Положение женщин весьма плачевно, – записал в середине XVI в. немецкий барон Сигизмунд Герберштейн. – Москвиты не верят в честь женщины, если она не живет взаперти и не находится под такой охраной, что никуда не выходит. Заключенные дома, они только прядут и сучат нитки, не имея совершенно никакого голоса и участия в хозяйстве». Герберштейну вторили француз Я. Маржерет («знатные россиянки находятся под строгим надзором: имея отдельные комнаты, они принимают посещения единственно от ближайших родственников, и только по особому благоволению муж выводит к гостю свою жену»), австрийцы Мейерберг и Д. Принц («девицы и жены, особенно у богатых, постоянно содержатся дома в заключении и никогда не выходят в общественные места»), литвин С. Маскевич, посол Рима Я. Рейтенфельс, британец Дж. Горсей [85].

В русских источниках понятие «женского терема» можно найти уже в былинах киевского цикла, но отличительной чертой домашнего быта московской знати терема стали не ранее середины XVI в. Среди причин возникновения затворничества называют распространение вместе с православием византийской феминифобии с ее представлением о женщине как о «сосуде греха», который следует держать взаперти во избежание соблазна. Иное объяснение предлагают те, кто связывает «терем» с влиянием ордынского ига: они представляют его формой убежища для уводимых «в полон» женщин либо усматривают здесь воздействие мусульманских нравов и обычаев (сомнительно: ведь у татар ничего подобного не было). Существует мнение, что к середине XVI в. женщины из среды московской элиты превратились в род очень



дорогого «товара», которым «торговали» родственники, заключая династические союзы, и потому сохранение невинности боярских и княжеских дочек в недоступных взору теремах стало формой «семейно-матримониальной политики». В определенной степени это представление о необходимости теремного уединения юных Московиток зафиксировали поговорки XVII в.: «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте», «В клетках птицы – в теремах девицы» [86].

В конечном же счете «теремное затворничество» возникло как результат воздействия целой совокупности причин, став причудливой смесью суеверий о «нечистоте женщины» (не случайно к строгости теремного уединения прибегали с того времени, когда у девочек наступали первые регулы и они становились «нечистыми») и религиозных представлений о необходимости самоочищения уединением и аскезой («терем как проявление древнего благочестия, ибо дом уподоблялся монастырю»). Расхожее представление о тереме как о «клетке» для жены, построенной, чтобы «самому пожинать плоды [ее] достоинств и быть уверенным, что она не у чужого бока», – высказал еще в начале XVII в. современник-англичанин [87] (ср.: «имея у себе жену велми красну, замыкаше ея всегда от ревности своя к ней, во высочайшем тереме своем, ключи же от терема того при себе ношаше» [88]).

У некоторых бояр и высшей знати женские части теремов представляли собой хоромы сравнительно просто (по сравнению с «передней» или «приемной палатой») обставленные (реже – западной мебелью, как в семье кн. В. В. Голицына, чаще резными дубовыми сундуками-«укладками», обтянутыми «рытым бархатом», и скамьями, обитыми итальянской тканью). У элиты это были комнаты, великолепно убранные золочеными кожами на стенах и ткаными шпалерами. Эти комнаты находились на некотором отдалении от общей жизни дома, часто – наверху, на втором этаже. Светлицы, в которых протекала дневная часть жизни боярыни, несмотря на кажущуюся роскошь убранства, имели маленькие окна и лучное освещение. Женские спальни – по сравнению с парадными спальнями основной части дома – не имели кроватей. Даже в самых зажиточных домах женщины почивали обычно на спальнях лавках или ларях, безо всяких кружевных простыней и подушек (их выставляли только напоказ в парадных комнатах), на «подголовках» со скошенной крышкой, служивших одновременно местом хранения драгоценностей. Спальня, светлица да внутренний двор для прогулок – вот то замкнутое пространство, на котором протекала жизнь некоторых «заключенных в тайных покоях» (выражение Г. Котошихина) княжон и боярышень [89].

Ни в каких слоях московского общества, кроме крайне узкой прослойки самых зажиточных бояр-горожан и приближенных к царю

княжеских фамилий, устройство подобного терема практически не было возможно. Обычные горожанки жили не в теремах и дни проводили не взаперти, а на «торжищах» [90], в хлопотах по хозяйству, в мастерских, на огородах. Это было характерно не только для московского периода, но и для более раннего времени. Выразительной иллюстрацией к дискуссии о «свободе» и «несвободе» древнерусской женщины в семье и ее частной жизни является приписка [91] в тексте одного из «Прологов» (XV в.): «Плечи болят. Похмелен (повторяется трижды. – Н. П.). Пошел бы в торг, да кун нет. А попадья ушла в гости...» [92] Тем не менее теремной образ жизни представительниц российской столичной элиты, отличный от «модели быта» европейских женщин того же ранга и той же поры, не мог не поразить путешественников-иностранцев [93]. Но так ли хорошо укрывал терем боярских и княжеских дочек от житейских соблазнов?

В том, что «монастырский уклад» домашней жизни мог быть нарушен, убеждает эпизод с выбором боярышни-невесты царю Ивану Грозному: уже после смотрин (!) она оказалась «лишенной девства» и потому выбыла из конкурса [94]. В семьях не столь высокопоставленных теремной уклад нарушался, наверное, еще чаще. Особенно показательны в этом смысле нарративные и эпистолярные источники середины – конца XVII в., в частности, письма подьячего Арефы Малевинского к сестре дьякона Анне (г. Устюжна) 1680-х гг. Сколь ни присматривали за девушкой и ни держали ее взаперти, но, «как два часа ночи пробьет», она убежала из дома, чтобы свидеться с Арефой, отчаянным соблазнителем, склонившим Анницу к тайной связи. О таких, как Анница, и было сложено, вероятно, присловье: «Стыд девичий до порога» (терема) [95].

В отличие от писем представителей придворных кругов (В. В. Голицына и его семьи), а также от «грамоток» провинциальных помещиков и помещиц (супружеской переписки), письма Арефы – а дело его хранится и по сей день в Архиепископском разряде Собрания грамот и актов РНБ в Петербурге – начисто лишены этикетных условностей. Они скорее являются любовными записками: в них отсутствует обращение к корреспондентке, много описок и повторов, свидетельствующих о том, что писались они тайно и наспех. Кроме того, адресатка была, вероятно, недостаточно грамотна: начало всех писем Арефа писал полууставом (как и мы сейчас стараемся писать детям печатными буквами), который к концу записки переходил в скоропись. В отличие от обычного зачина, типичного для переписки высших сословий – «свет мой, государь (государыня)», в «грамотках» Арефы сразу излагалась суть, а обращения могли бы составить целый список ласковых имен: «серцо мое», «надёжа моя», «друг моя», «люба» [96]. Казалось бы, как могла девушка сомневаться в искренности чувства Арефы («не могу, друг, терп[е]т[ь]»), «уж я головы своей не щажу», «я бы,

хотя скажи, на ножь к тебе шел, столь мне легко», «выдь, тошно мне болно стало», «что ты надо мною зделала», «разве смерть моя с тобою разлучит»), как могла не поверить его признаниям, переходящим в угрозы («не отпишешь – я и сам стану достават[ь] тебя!»)?

Между тем облик соблазнителя, а не просто влюбленного, потерявшего от страсти рассудок, проступает в тринадцати записках Арефы (писем Анницы не дошло) довольно ясно: то он просит «повидатца» поскорее, поскольку его «посылают в волост, долго не быть», то ему необходимо «ехат с сыном молит[ь]ся» (он еще и отец к тому же!), а то и вовсе он извиняется, что не вышел на свидание, поскольку «в бане проспал»(!). Можно только догадываться, какие переживания вызывали у Анницы подобные откровения.

Укор Арефы – «впрям ныне ты меня водишь в узде!» – более уместен в устах прожженного сердцеда, нежели искренне любящего человека. Арефа упрекал Анницу, что она с сомнением относилась к бурным излипаниям его чувств («я на тебя сердит, что ты словам не веришь», «ты надо мною смеется») и утверждал, что, когда он шел с одного из свиданий, «идучи-то все плакал» («а ты мне не виришь, виришь чмутам (сплетникам. – Н. П.), ей уж не могу жить»), однако даже нам, спустя три с лишним столетия, описания его «роковых страстей» кажутся нарочитыми, а поведение девушки – отказ выходить к любовнику по первому его зову («омманула, не пришла»), скупость чувств («остудилас [ь] со мною») – разумным.

Как можно понять из дела Арефы, к которому приложены данные письма [97], этот подьячий, хотя и писал в своих записках Аннице, чтобы она ускользала из дому «бережно», выходила на свиданья (то в огород, в «родивонов хмельник», то в баню, то «на сарай») непременно одна, без наперсниц («не емли содому-то с собой»), в то же время не слишком боялся огласки своих интимных дел. Чего не скажешь об Аннице, учитывая нравы того времени. А Арефа только в письмах сокрушался, что «над ним грозятся больно», в действительности же не особо растерялся даже тогда, когда его «письма дьякон (то есть брат Анницы) видял, мне сказывал».

Взбешенный такой наглостью, Михаил (брат девушки), чтобы спасти ее честь, задумал «поимати» Арефу на месте преступления. Когда Арефа каким-то образом (? – по судебному акту неясно) проник в клеть к Аннице, где она спала вместе со своей сестрой Федоркой, последняя выскочила из постели и сумела запереть Арефу с сестрой. После чего расторопная Федорка устремилась к дьякону и дьяконице, те позвали соседей в свидетели. Увидев в клетке целую «содому» (толпу), Арефа попросил себе чернил и бумаги и написал на себя сговорную запись (трудно судить по ней о его семейном статусе, но наличие у него сына, упомянутого в одном из писем, говорит о том, что сын был либо вдовец,

либо «пущеник», разведенец). Текст записи обязывал Арефу взять Анницу в жены «не позже первого воскресенья после крещенья», «в нынешнем во 1686 году». «А буде не возму ея за себя», расписался в своем поражении Арефа, «взять сему дьякону на мне заставы пятьдесят рублей» (за пять рублей можно было тогда купить лошадь) [98]. А жениться же Арефа не собирался. Брату Анницы пришлось добавить в суд. На суде Арефа додумался отказаться не от сговорной (столько свидетелей!), а от своих писем «другу» и «надеже» своей, сказав, что «рука не его». Действительно, почерки сговорной и любовных записок не похожи. Конец биографии этого ловкого сутяги, сумевшего улизнуть из-под венца и от судебной расправы, неизвестен. То же можно сказать и о судьбе обманутой им Анницы: отголосок ее томлений, страданий и жалоб покинутой «молодцем» девушки, можно услышать в редком для XVII в. тексте любовной песни: «Не может меня миленкой ныне навидети, да не токмо навидети – не хочет про меня и слышети...» [99].

История Анницы и Арефы имела аналоги с казусами, описанными нарративной литературой. Торжество умного и изворотливого «ябедника» (сплетника, сделавшего «ябеды» средством выкачивания денег, рэкетира ХУП в.) над старым укладом жизни с его теремами и системой отношений, в которых все решали старшие родственники, рисует и знаменитая «Повесть о российском дворянине Фроле Скобееве» (кон. XVII в.). Главный герой ее – бедный новгородский дворянин, соблазнитель очередной Анницы (Аннушки) – на этот раз дочери царского стольника Нардина-Нащекина, человек, вполне годящийся в «прыгели» и «товарыщи» Арефе. Правда, цели у Фролки были иные: не избежать невыгодного брака, а, наоборот, заполучить богатую невесту, устроить житейское благополучие («жить роскошно») [100].

Повесть подробно описывала способ овладения девичьим сердцем и не только им: подкуп «мамки», проникновение в терем в девичьем наряде и головном уборе, опасную (для целомудренной девушки) игру «в жениха и невесту» и ее логическое завершение (растление девства). Как и Арефу, Фрола мало интересовали эмоциональные коллизии объекта его притязаний, а важно было добиться своего («и йе взирая ни на какой себе страх, был очень отважен и принуждением разстлил ее девичество»). Аморальность, цинизм и жизненный практицизм в сочетании с неразборчивостью в средствах, сближающие Арефу, Фрола и других похожих на них московских ловеласов [101], выглядят особенно непривлекательно на фоне характеров их избранниц. И если частная жизнь Анницы по письмам и судебному делу Арефы восстанавливается с трудом, то сложная и неоднозначная фигура Аннушки Нардиной-Нащекиной сравнительно подробно выписана автором «Повести».

Вероятно, отнюдь не «в великом страхе» прослыть обещанной

(хоть Аннушка и упрекнула мамку: «что ты, проклятая, надо мною сделала», имея в виду подкуп), но, «возымевав любление» к осквернителю (ставшему тотчас в ее глазах «мужественным человеком»), она «вложила жалость в сердце» и отказалась «скрыть» насильника «в смертное место». И даже более: девушка стала сообщницей Фрола в его предприятии. Пробуждение инициативы, сознание права на самостоятельное устройство семьи, отсутствие родовой спеси (Аннушка – из «родовитых», а Фрол – из «безродных») – все это были новые черты поведения женщины в подобных обстоятельствах, которых не найти у героинь литературных памятников XV – XVI вв.

Однако подобная «индивидуализация», все это «новое» в поведении женщины было огрублено безразличием Аннушки к эмоциональному миру тех, кто недавно определял ее судьбу, – родителей. Уверенная в своей правоте, не испытав и тени «великого сомнения», она «учинила по воли мужа своего», разыграв перед посланцем стариков притворную болезнь, заставившую их «пребезмерно о дочери своей соболезновать». Когда тайный брак Аннушки с Фролом (уже сам по себе бывший неслыханной дерзостью для «теремной затворницы») раскрылся перед стариками Нардинами, заставив их огорчиться, Аннушка не подумала даже не то что «просить отпущения вины своей», но даже внутренне раскаяться. Между тем мать ее «сожалела дочери своей», «не ведала, что и говорить», «горко плакала!» Как не понять беспокойства женщины, «летами весьма древней», раздраженной, беспомощной в своих сетованиях: «Чем ему, вору, кормить ее, [если] сам, как собака, голодный!»

Читателю известен счастливый конец истории Фрола и Аннушки: жизнь «в великой славе и богатстве», беспечная, сытая, доставшаяся не плодами трудов праведных, а хитростью. Жизненный идеал бывшего «плута и ябедника» и его избранницы, попавшей из рук «батюшки» в руки «света-государя», предприимчивого Фролки, оказался в конечном счете тем же, что и у блюстителей дарины – Нардиных-Нащекиных, которых они одурачили [102]. Но этот идеал – «роскошная жизнь» – был достигнут не соблюдением обычных правил, а, напротив, решительной ломкой «теремных» запретов и традиционных обычаев, просуществовавших не менее века. И роль в этом процессе самих женщин (девушек), их стремления к самостоятельному решению вопросов, касавшихся их судеб, как можно понять, была весьма велика.

Тфемное уединение ощущалось многими из них как тюремное: не случайно австрийский барон Мейерберг называл времяпровождение московских аристократок «жалким» и сочувствовал княжнам, которые, «заключенные во дворце, терпят постоянную муку в девственности своей плоти и ведут жизнь, лишаящую их отрады в самых милых между людьми именах и в самых нежных чувствах» [103]. Не эта ли лишенность

«самых нежных чувств» заставляла княжон и боярынь мастерской Софьи Палеолог вышивать по краю церковной пелены шелковую вязь: «Да молчит всякая плоть...» (1499 г.)? [104]. Не оттого ли и героине одной из повестей-сказок XVII в., запертой в тереме и «в унынии зелном пребывашей», часто снился сон, «якобы она спала с ним [незнакомцем. – Н. П.] на едином ложе и любовастася (была ласкаема. – Н. П.) во сне сладостно»? [105]. Трудно утверждать, но, может быть, следствием подобных грез были картины, описанные современником Мейерберга Адамом Олеарием. Затворницы теремов в Московии, полагал он, «сняли с себя всякий стыд» и «навыкли» весьма «бесстыдно» завлекать наивных «мужчин в свои обиталища, показывая через окна комнат весьма странные положения и виды» [106].

Возвращаясь от теремов к характеристике бытового уклада и частной жизни представительниц привилегированного социального слоя, можно заметить, что строгость содержания в тереме была прямо пропорциональна высоте положения его обитательниц. И если «вседневная комнатная жизнь» значительной части аристократок того времени была далека от затворнической, то в том, что «обряд царицыной жизни» был именно таким, как описали иностранцы, сомневаться почти не приходится. Первые попытки изменить сложившиеся правила относятся к концу XVII в., когда мать, сестра и сноха Петра I стали выезжать перед народом в открытых повозках, участвовать в «публичных увеселениях», – это тогда вызывало удивление [107].

Впрочем, частная жизнь цариц тоже была, вероятно, не совсем такой, какой ее описали иностранцы и опиравшийся на их «записки» знаменитый книгоучей XIX в. И. Е. Забелин. «Предметом для размышлений» цариц и их окружения были по утрам не только «женския рукоделия» и богомолье, но и доклады о разных делах [108], которые они принимали по ведомству Постельного приказа: определение расходов, выдача, покупки, а также рассмотрение челобитных, чаще всего от женщин же. Значительную часть обращений к царицам составляли просьбы о благословении на брак (особенно среди приближенных ко двору), назначении вдовьего или «кормиличного» [109] пенсионера или его повышении, о крещении в православную веру (царицы часто выступали восприемницами новокрещеных и богато их одаривали) [110].

Разумеется, возможности общения цариц и их окружения были тем не менее весьма ограничены. И не только «терема», но и сама традиция, да и натуральная экономика способствовали замкнутости женского мира, отсутствию сферы реализации социальных талантов женщин. Найти примеры противодействия женщин идеологическому прессингу (насаждению идеи «затворничества»), расширения ими возможностей

самовыражения, в том числе в публичной сфере, применительно к XVI – XVII вв. достаточно сложно. Все примеры такого рода исключительны: великие княгини Елена Глинская, Ефросинья Старицкая, Ирина Годунова... Но все же и в среде московского боярства, и в среде «простецов» женщины, вероятно, искали пути социальной самореализации, в том числе с помощью простого расширения круга знакомств.

Несмотря на множество хлопот в течение дня, все они – соседки, родственницы, «знакомицы» – стремились к более частому общению, обсуждению всех новостей, к пустым, казалось бы, пересудам. Этим объясняются и традиционные для москвиток присылки друг другу «гостинцев»: получение их было поводом «отписать» благодарность, обсудить новости («челом тебе бью на твоём любительном приятстве, на орехах, а тебе, [го]сударыне моей [посылаю] соленой рыпки, чтоб тебе, государыня, с любящим тя кушать на здравие...») [111].

Разумеется, женское общение не всегда было столь невинным. Не случайно Иван Грозный в одном из писем назвал слушанье «непригожих речей» «женским обычаем», а женские сплетни («женьскы слова») – поводом ко многим раздорам, «недружбе». Его оппонент князь Андрей Курбский тоже не отставал в критике женской склонности к сплетничанью, сказав, что все проявления грубости в письмах государя похожи на «лаянье» кумушек («яко неистовых баб песни...») [112]. Дидактическая литература относилась «многоглаголенья» к «ненавидимым», но неискоренимым порокам, а плохих жен неизменно представляла как «глаголящих» и потому «все укоряющих и осуждающих». Элементы церковной дидактики попали и в посадскую литературу, где можно встретить поучения отца сыновьям, сводящиеся к требованию «не сказывати жене правды ни в чем» – именно по причине женской болтливости [113].

Фольклор донес до нас не столь однозначную оценку «многоглаголенья», сколь церковные тексты. Пословицы XVII в. подчеркивали важность общения, особенно доброжелательного: [114] «Живое слово дороже мертвой буквы», «От приветливых слов язык не отсохнет» [115]. В любом случае, неослабевавшее внимание и церковнослужителей и современников к женскому «глаголенью» и их сплетням-«сказкам» подтверждает существование внутренней сферы в жизни любой семьи, сферы, закрытой для соседней, а потому еще более интересной для них. Даже клевета («крамола», «крамольное лаяние») на «знакомцев» или родственников, к которой как к средству, равному нанесению телесных повреждений, нередко обращались древнерусские горожанки и москвитки XVII в. в борьбе за защиту собственных интересов, являлась в то время средством привлечения внимания к каким-то деталям частной жизни их «оппонентов», причем деталям

действительно или мнимо скрываемым. И наоборот, клеветническое [116] или основанное на «реальных наблюдениях «бесчестье» «женишки, матери и сестер» какого-нибудь добропорядочного москвитя становилось подчас грозным оружием против всей его семьи и рода в целом, так как «выносило на показ» то, что не было предназначено для постороннего глаза [117], например, недостойное поведение супруги или способ получения ею «дополнительных доходов» со «скверноты и непотребства» («и тот крестьянин Митка Матвеев вдовы Феколку бил и бранил матерною бранью, называл ее блядкою и своднею – то наша и скаска...» [118]).

Для частной жизни женщин любое общение имело первостатейное значение. В период отсутствия mass-media повседневный и отчасти случайный обмен информацией был для них формой социализации, особенно в период детства и юности. Да и в годы замужества женщины в Московии любили поболтать. О том свидетельствуют «скаска» и «распросные речи», касающиеся всевозможных слухов, бродивших по Москве в беспокойное время. «И пришед она Овдотья в Верх, сказывала то слово подругам своим мастерицам Анне Коробанове, Орине Грачове, Степаниде Петрове, да и не одна она Овдотья то ело во от Марьи слышала, слышала с ними то слово писица Ненила Волонская... и т. д.» – приведенный отрывок дела по извету М. Сनावидовой – типичный образец передачи сплетен московскими кумушками XVII в. [119].

Назидательные памятники, в том числе «Домострой», упоминали вслед за средневековыми учительными текстами (и, разумеется, в осуждающем тоне) женскую болтовню, призывая женщин «чужих вестей не сказывать», но в то же время все они признавали гостеванье (от «вечорок» до званых обедов и пиров) одной из важнейших форм общения, в том числе женского [120]. В «Домострое», как известно, было подробно описано, как следует приглашать и принимать гостей, как самим ходить в гости. Это еще одно свидетельство того, что строгое теремное уединение касалось далеко не всех аристократок.

Гостеванье – «кровеносная система социально-психологического общения» [121] – всегда увязывалось у москвитов [122], как то описано иностранцами и самими современниками, с трапезой, дневной (в высших сословиях, ибо временем обеда традиционно считался полдень) или вечерней (после трудового дня) [123]. В среде московской аристократии и царской семье женщины не садились за стол с мужчинами, ели отдельно, на своей «половине». Также было принято и во многих крестьянских домах, где женщины лишь подавали еду, а сами ели позже, довольствуясь тем, что останется [иные из жен, оголодав, делали «похоронки на еству и питие», тайники от мужа]. «Домострой» косвенно упомянул о таком порядке и во избежание его рекомендовал мужьям не отделяться от жен во время еды, а женщинам, особенно «коли



гости [с]лучятца, лучшее платье переменить и за столомъ сесги». Все эти «зарисовки с натуры», сделанные автором «Домостроя», достаточно ярко характеризуют, по крайней мере, внешнюю сторону отношений супругов XVI – XVII вв.

Принарядиться и подкраситься к приему гостей считала своим долгом каждая хозяйка: не случайно в письмах женщин – где говорится о покупках тканей или одежды – всегда четко определялось назначение покупки: «расхожее» платье или «на выход» [124]. Да и вообще мир женщины-аристократки предпетровского времени трудно представить вне красочного мира ее одежд. Как и в более ранние эпохи, костюм для москвитки имел не только функциональное, но и знаковое значение (выдавая ее принадлежность к определенному социальному слою, семейный статус, а также происхождение). Огромное значение имел и эмоционально-эстетический смысл «сугубых одеяний» московских красавиц. Не случайно в летописных и иных нарративных памятниках эпохи средневековья часто нет сведений о внешности женщины, но можно обнаружить детальное описание ее костюма [125]. В переписке женщин конца XVII в. [126] просьбы о покупках тканей и аксессуаров одежды занимают не меньшее место, чем в переписке Новгородок XII – XV вв. [127]. Редким (как и поныне!) было понимание мужьями жен в вопросах приобретения новых украшений или дорогих нарядов. И все же примеры такого рода встречались и три столетия назад: «А ожерелье твое пришлю, а у жены моей нынешний год ожерелья не будет – купить не на что, разве а впредь будет, как с домом расплатимся... Мне, свидетель Господь, не до покупок: надобно долг с шеи сбить» [128]. В этом отрывке из письма царского окольного можно усмотреть свидетельство внимания к жене, к ее «хотениям», причем касающимся не необходимого, а явно излишнего, баловства, прихоти.

Принарядившись, женщины, собиравшиеся в гости, почитали необходимым «нащипать брови», хотя пировать они по традиции допетровского общества должны были отдельно от мужчин («А боярыни также обедают и пьют промеж себя, а мужского полу у них не бывает никогда», «с мужским полом, кроме свадеб, не обедают, разве которые гости бывают самые сродственные»). Единственным и недолгим общением с «мужеским полом» во время пиров был поразивший многих иностранцев «поцелуйный обряд». Да и его, по правде сказать, совершали лишь с самыми почетными гостями. В разрешении и даже настойчивости хозяина, предлагавшего гостю в середине пира поцеловать хозяйку дома или невесток (не девушек!) «в уста», приезжим виделось противоречие с тем, что этим женщинам воспрещалось сидеть за одним столом с мужчинами [129]. На деле никакого противоречия не было: муж просто как бы «делился» принадлежавшим ему и зависимым от него «богатством» с дорогим гостем.

Судя по литературным памятникам, запрет пировать вместе с «мужеским полом» касался лишь боярского сословия. В среде обычных горожан женщины часто участвовали в шумных застольях, заканчивавшихся потасовками и даже драками (такой казус обрисован в одной из челобитных кадашевца Ю. Федорова: «была, государь, у меня добрых людей пирушка, а Кузма пришел ко мне через плетен[ь] насилством, не зван и учал гостей моих бесчестить, а женишку мою бранил и позорил всякими непотребными словесы, и сестришок моих бранил...») [130].

Впрочем, и особых «женских пиров» во времена Московии тоже «творилось» немало. В сатирической литературе XVII в. описаны «частыя пиры на добрых жен», «на своих сестер», на «потребу» которых хозяйка приберегала денег, чтобы «купити брашну» и «веселие велми творити» [131]. «И она, Арина, пьет и бражничает и дома не живет недели по две, и приходит ко мне со многими людьми неведомо какого чину пьянским делом и женишку мою, напивался допьяна, бранит», – жаловался государю в 1663 г. некий С. С. Голев, «холоп твой, садовник» [132].

Женщины в московских семьях были главными хранительницами традиций гостеприимства и хлебосољства московитов, отмеченного буквально всеми иностранцами. Поразившие некоторых из них кулинарные изыски (жаркое из вымоченных в уксусе и пряностях лебедей или «малиновый мед») [133] были результатом повседневного женского творчества в области искусства приготовления пищи, обмена кулинарными «хитростями» между женщинами-соседками. Русские просветители XVII в. в своих педагогических сочинениях настаивали на том, что умение стряпать, домашние секреты в этой области должны передаваться от матерей к дочкам «измлада». Так оно и было. Правда, в обычные дни женщины подавали к семейному обеду блюда довольно простые: каши, хлеб (пироги), но привередливые западные вельможи нашли и в них «вкус не без приятности». Общим правилом было «ести без довольного объядения, лучше часто помало, неже единости много» [134]. Православная литература проповедовала вегетарианство, и довольно строгое: во всяком случае Мария, мать св. Сергия Радонежского, когда была «сим непраздна», «постом ограждался, всякыя пища тльстыя ошаявся, и от мяс и от млека, и рыб не ядаше, хлебом точию, и зелием и водой питашеся» – и была вознаграждена рождением святого, который продолжил постничество своей матери: отказывался от груди («никакоже съсцу касашеся»), когда мать его была «от мяс питаема» [135].

Трудно утверждать, что подобное благочестие было нормой. Постились многие, но праздники во всех, а особенно «именитых», семьях считали нужным «чтить» обильными яствами [136]. Те, кому нечем было отметить «Христов праздник», умоляли прислать «к Светлому дни, чем

росговетца» [137]. Так что в «святой день» вся семья отъедалась до отвала [138]. После частых постов, от которых иные из женщин были «чуть живы» [139], скудной и однообразной повседневной пищи (когда женщины порой воровали еду «для того, что безмерно хотелос[ь] в то время есть») [140], в разрешенные дни все старались наесться, и женщины в том числе. Учительная литература меж тем без устали твердила о грехе обжорства, используя для этого фольклорную мудрость. «Сводный патерик» XV в. отразил, впрочем, и такой нюанс отношения к еде как к первейшему благу, «перекрывающему» другие жизненные «удовольствия», как предпочтительность трапезы перед интимными отношениями. Вложив в уста целомудренной вдовушки вопрос: «Се трапеза и одр, что повелевавши преже сотворите?» – компилятор патерика ответил словами ее поклонника, друга покойного мужа: «Дажь преже вкусити, пониже помысла не имам, что еси жена от одержащего глада (дай поесть, а то от голода не разберусь, что такое женщина. – Н. 77.)...» [141].

С особенным пафосом духовные пастыри московитов XVI – XVII вв. осуждали даже не обжорство, а женское пьянство: «не ежь лакомо, но первой не пей с похотью» [142]. О том, что этот порок наложил свой отпечаток на частную жизнь женщин, сообщили многие авторы путевых заметок о Московии [143]. Существовал он и в домосковской Руси, найдя отражение в образе «злоречивой и у пьянчивой» злой жены и исповедных вопросах епитимийных сборников [144].

В популярном с XV в. «Слове Кирила Философа» Хмель выступал как живое лицо и поучал против пьянства жен: «Аще познается со мною жена, какова бы ни была, а иметь упиватися, учиню ея безумницею и воздвижу в ней похоти телесныя...» Православные проповедники и писавший свой труд в русле их идей Сильвестр (XVI в.), призывая жен «отнюдь никако же никакими делы» не пить «ни вино, ни мед, ни пиво», а тем более водку «допьяна», были озабочены здоровьем тех, кому надлежало рожать здоровое потомство. Житийная литература прямо связывала воздержание от хмельного питья с рождением и воспитанием благочестия в ребенке, начиная с внутриутробного периода: «И егда в себе сего носяще, сим непраздне сущееи, от пьянства отинудь въздръжашесея, но вместо пития всякого воду единую точию, и то по оскуду, испиваше...» [145] Винокурением дома рекомендовалось заниматься только мужчинам [146].

Однако благими намерениями церковнослужителей была вымощена дорога к кабакам, в которые женщины часто наведывались, в торги, где продавалось хмельное питье, и в дома зажиточных московитов, где ежедневно варилась брага. Челобитные XVII в. полны сообщениями о «пьяных женках» («а приехала она пьяна...», «а лежала за огородами женка пьяна») [147]. Заезжий немец Олеарий настолько часто встречал в

Московии молодых и старых женщин, упившихся до беспамятства, что посчитал это «обыденным». Придя в гости, соседки, знакомые и родственницы хозяйки, по традиции, пили ровно столько, сколько требовали пригласившие (скоро сделаться пьяной было постыдным). И все же ситуации, когда после женских пирушек гостей в бессознательном состоянии везли домой их слуги, были очень частыми [148].

Причиной обыденности женского пьянства в XVI – XVII вв. была сохраняющаяся скудость духовной жизни женщин, безрадостность досуга, безысходность жизни с нелюбимыми, тяжесть повседневного труда. Поговорки и присловья, записанные в XVII– XVIII вв., отразили это с беспощадной объективностью («Страшно видится, а выльется – слюбится», «Где кабачок – там мой дружок», «Нет такого зелья как баба с похмелья» и др.) [150]. В городах, где еще в домосковское время (если верить французскому Жильберу де Лануа) получили распространение и питейные заведения, и проституция, с формированием особого стиля городской жизни, в котором свою роль играли «некие кощунницы», ублажавшие танцами, и не только ими, «тех, кто хочет за ничто бросить деньги» [151], в котором женщины на базарах «одновременно с торговлею предлагали покупателям кое-что иное» – женское пьянство превратилось в настоящий социальный бич [152]. В описаниях городской жизни XVI в. нередки упоминания о том, что в питейные заведения, ища отвлечения от монотонной и нелегкой действительности, тянулись прежде всего «мужатицы». Слушая в кабаках «скверный песни неких кощунниц», которые «имуще гусли и сопели и ина бесовские игры, перед мужатицами скача», женщины искали в песнях и нескромных танцах отдохновения и забвения своей униженности, обретения ощущения «вольной воли» [153]. В одной из расспросных речей «наузниц и обавниц» 1641 г. имеется сообщение, что к ним обращался сын некой горожанки Ман[ь]ки Акимка с просьбой дать какое-нибудь средство, «для того что мать-де его пьяна» [154].

В не меньшей степени пьянству была подвержена и женская часть царева и царицына двора. Придворный врач царя Алексея Михайловича Самуил Коллинз сообщил в одном из своих писем, что худых женщин в боярских семьях часто спаивают, следуя «варварскому обычаю лежа поить водкой, чтобы женщины толстели» [155].

Хотя иностранцы и утверждали, что пьянство москвиток было делом обычным, все же оно не исчерпывало послеобеденного досуга женщин, особенно в деревнях. В будние дни работающий человек, а тем более «баба» с ее семейными заботами, не могли позволить себе напиться посреди дня. Зато полуденный обед и любимый всеми полуденный семейный отдых были обязательными, оказывая несомненное влияние на «бюджет времени» женщин. После обеда жизнь в Московии, по

крайней мере в городах, замирала [156]. Но если у мужчин послеобеденный сон продолжался иногда до 3 часов [157], то женщины если и спали, то меньше, занятые обычными домашними хлопотами. Они не могли себе позволить посетить в это время, хоть на часок, баню (что делали мужчины), хотя париться любили, придавая омовениям большое значение (эстетическое, гигиеническое, оздоровительное) [158]. Лечебники, использовавшиеся народными целительницами (певучая и эмоциональная женская речь слышится в их текстах в уменьшительных суффиксах названий трав и снадобий [159]), а также простые наблюдения, передававшиеся изустно, сохранили описания десятков способов прогреваний и притираний распаренного в бане тела. Обычай «баенной воды» (которую собирали женщины, натерев тело пряником, а затем омыв его; после бани такую воду давали пить мужьям, «любви деля»), сохранялся и в XVII в., несмотря на запреты, во всех социальных слоях [160]. Посадские повести и сказки непременно упоминают свадебную «мыльню», а в одном из текстов сообщается, что во время ее невеста не только устроила омовение, но и «помазала ся благоуханными масть-ми» [161].

Банились женщины в парилках (как семейных, так и, с XVII в., «общественных»), как правило, вечером. После полуденного сна или отдыха у всех «бывали снова занятия часов до шести», а с наступлением сумерек жизнь замирала и появлялась возможность досуга. В среде городской элиты домашние бани имели специальные женские отделения, а для царицы и царевен за перегородкой в дворцовой бане были сооружены специальные «полки», а позже и особое помещение. В среде «простецов» женщины банились после трудового дня, не смущаясь присутствием мужчин. Очень часто одно банное помещение использовалось одновременно несколькими семьями [162], так что все подробности жизни семей соседей, в том числе хворей и здоровья жен, дочерей и челяди, были на виду. Запрет церковного собора 1551 г. «мужьям и женам, монахиням и монашенкам париться вместе», осуждение того, что это делалось «без зазору», действовал на простой народ слабо. Женщины наравне с мужиками выскакивали из бани «без стеснения голая» на улицу, не заботясь о любопытствующих зеваках, бросались зимой в снег, а летом – в холодную воду, затем вновь возвращались в баню [163].

Прошло не одно столетие, прежде чем в общественных банях были выделены «мужские» и «женские» половины и дни. Иностранцы, которых банные обычаи русских поражали с незапамятных времен («не мучими никим же, сами ся мучат»), к XVI в. вынуждены были признать, что эти обычаи способствуют закалке организма, позволяя женщинам ходить «в нестерпимые морозы босоногими, точно гуси» [164]. Функции банщиков в банях, устроенных «для дорогих гостей», также обычно возлагались на

женщин. Это отметил Олеарий, которому очень понравился русский обычай «отряжать» для банного дела хозяйку дома или ее дочь, которым поручалось не только выстелить пол бани еловым лапником, но и угостить гостя «несколькими кусками редьки с солью и прохладительным напитком» [165].

Особая роль бань в повседневной жизни женщин допетровского времени объясняется тем, что они были местом, где принимали роды [166], лечили больных. Испокон веков заболевшие начинали с самолечения домашними средствами, знание которых, как можно убедиться из фольклорных текстов, долгое время было прерогативой женщин. Врачебную практику русских женщин в допетровскую эпоху могут довольно ясно представить так называемые «лечебники», ведь на основе их в XII – XVII вв. готовились домашние снадобья, выращивались или просто собирались лекарственные растения, составлялись новые сборники-«травники». Именно к бабам-знахаркам, а не «к попови на молитву» носили женщины своих заболевших детей. Об этом свидетельствуют епитимийные сборники, да и переписка [167]. Именно женщины-целительницы были типичным образом русской агиографии («язвенных многих своима рукама омывая, целяше и о исцелении Бога моляше») [168]. В поздних фресковых росписях и миниатюрах конца XVI – XVII в., на которых только и можно разглядеть обычных людей, занятых обычной работой, немало изображений женщин, оказывающих помощь страждущим [169]. Их роль как хранительниц рецептов народной медицины нашла отражение и в поэзии Симеона Полоцкого (XVII в.) [170].

Травники XVI – XVII вв., описывая наиболее распространенные болезни и применяемые для их лечения средства, позволяют представить некоторые подробности частной жизни женщин. Перечень женских хворей того времени красноречив: у бедных это «надсада», «грызь» (грыжа) [171], «утомление», «сухотная» (чахотка), «трясца» (лихорадка), у богатых – «вычищение животу» (рвота) от переедания, и у всех, к несчастью, масса гинекологических заболеваний [172]. Терапевтическая помощь женщины-врача для большинства средневековых русов и москвитов требовалась очень часто. Даже переписка членов царской семьи конца XVI – XVII в. убеждает, что болели все, и болели часто, – и правители, и члены их семей, в том числе сами женщины [173]. Средства избавления от страданий приносили иногда весьма слабый эффект [174]. «Женки», обладавшие способностью «заговаривать» болезни и вообще врачевать – а некоторые обладали этим умением с «девственной юности», обученные матерями и бабушками, – прославлялись и в фольклоре, и в литературных произведениях [175]. Однако вечный страх перед болезнями все равно сопровождал всех женщин допетровского времени от рождения до

смерти – подчас безвременно рано обрывавшей жизнь и княжны или царской дочери, и безвестной горожанки. Больниц или каких-либо «общественных» лечебниц в допетровской России не было. Женщины рождались, болели и умирали дома.

Таким образом, частная жизнь женщины X – XVII вв. была чаще всего жизнью домашней. Дом и окружавший его двор, «приусадебье» были тем пространством, где она проводила большую часть времени. Чаще всего дом был местом жительства рода мужа. Если для мужчины брак был повторным, дом принадлежал, как правило, ему самому. Реже наблюдался матрилокальный принцип домашнего устройства.

Основное место в домашней жизни женщин занимала работа по дому и вне его. Для многих она была формой выживания. Альтернативы работе и «вседневной» занятости, как показали нарративные и документальные памятники, почти не было даже у скупающих взаперти княжон и боярышень. Все занимались ежедневно «хитроручным изрядством». Отношение самих женщин к вынужденности ежедневного труда плохо просматривается в источниках. Отношение же окружающих и близких к женской работе отразили многие памятники: от дидактических, видевших в ней средство обуздания «страстей» и «воспитания» в женщинах необходимых с их точки зрения качеств, до фольклорных, которым была свойственна поэтизация любого труда.

Особое отношение к женской «активности» в хозяйственной деятельности, оценку самими женщинами собственной самостоятельности в организационно-экономических делах можно почувствовать, только обратившись к источникам личного происхождения (все они – поздние, конца XVII в.). Письма дворянок и представительниц княжеских и боярских родов, а также послания в их адрес от мужей, братьев, отцов позволили заметить явную динамику изменения в частной жизни женщин предпетровского времени, возрастание значения работы не «по принуждению», а с «веселием» и желанием внести лепту в благосостояние семьи. Отсутствие памятников личного происхождения от более раннего времени не позволяет говорить с определенностью, когда же именно достаток имения и дома, достигнутый умениями и «разумом» его хозяек, стал осознаваться ими как значимость и ценность. Вполне возможно, что «крепкоблюстительные» хозяйки домосковского времени, прежде всего новгородские своеземицы, воспринимали свой вклад в семейное житие аналогично, но источников такого рода от X – XVI вв. до нас не дошло.

Между тем именно в XVII в. – если судить по эпистолярным памятникам – женщины-домовластительницы стали особенно эмоционально воспринимать свои и мужнины неудачи на организационно-экономическом поприще, стремились к совместному с супругами решению всех дел, в том числе служебных (карьерных)

вопросов мужей, активно помогали им в этом и соперничали любым мелочам. Эмоциональное обогащение жизни, рожденное обмирщением духовной культуры, сказалось и в этой области. Формально признавая мужей «главными» во всех сферах, в том числе в делах всевозможных приобретений, всячески подчеркивая их главенство и свою от них зависимость, женщины (матери, жены, сестры) осуществляли фактическое господство в домашней сфере.

Весь распорядок дня семьи – все домашние хлопоты со стирками, уборками, пропарками, приготовлением пищи и заготовкой продуктов, организацией работы челяди и другими заботами – требовал постоянного вникания женщин во все мелочи. Частная жизнь женщины допетровского времени, подробно регламентированная «Домостроем» XVI в., оказывалась поэтому тесно сплетенной с частной жизнью ближайших родственников (мужа, детей, родителей мужа или своих собственных), слуг и приживальцев (приживалок, «подсоседок»), да и «подружий»-соседок. Без этих людей, общения с ними (даже в форме распоряжений, приказаний и контроля за их выполнением) трудно представить себе женщин как X – XV вв., так и московского времени. Иерархия отношений огромного числа родственников и челяди всеми воспринималась как должное, однако некоторые литературные памятники XVI – XVII вв. позволили почувствовать большую сопричастность частной жизни женщин – «государынь дома» жизни домашних слуг и родственников, более явную, нежели у их мужей, отцов, братьев, эмоциональную привязанность.

Семь веков истории России допетровского времени вместили в себя такое уникальное для европейской истории явление, как теремное затворничество знатных женщин XVI – XVII вв. Оно оказало, разумеется, немалое влияние на строй их частной жизни. Лишив возможности активно самореализовываться вне дома, затворничество в теремах требовало от тех, кто оказался в зависимости от этой превратившейся в традицию новации, поиска иных сфер применения своего творчества. Одной из таких сфер, как обнаружили иконографические памятники, стало создание золото-ткацких произведений.

Однако даже строгие рамки неписаных законов и традиции теремного уединения москвиток XVI – XVII вв., как то заметно по документальным, эпистолярным и литературным источникам, могли быть нарушены. Главным мотивом подобных нарушений служили личные, индивидуальные интенции «женских личностей», готовых – по разным причинам (любовь, страх осуждения за нарушение запрета, желание освободиться от опеки родственников) – сломать рамки постулированных норм. Кроме того, «теремное затворничество» коснулось лишь узкого слоя московской (столичной) аристократии, а устройство женского терема в других сословиях оказывалось



практически невозможным.

«Повседневность» обычной московской горожанки, а тем более крестьянки, как раннего времени, так и XVI – ХУЛ вв., была наполнена постоянным ее общением с соседями и «подружьями» – во время работы и на досуге. Никакие попытки церкви ограничить сферу женского общения, особенно во время осуждаемых церковью пиров и шумных празднований, не могли искоренить стремления женщин приобщаться таким образом к социальной жизни. Женские пиры и женское пьянство, помимо функции социализации, являлись своеобразным компенсаторным механизмом, способом ухода от беспросветной тяжести жизни, повседневных тревог и забот, создававших в душах женщин «очаги» постоянного беспокойства за судьбы близких, прежде всего – детей.

### III

#### **«МИЛОСТЬ СВОЮ МАТЕРИ ПОКАЖИ, НЕ ЗАБУДЬ...»**

***Семейный аспект, частной жизни женщины: материнство и воспитание детей.***

Многочадие в допетровской Руси выступало как категория «общественной необходимости»: только оно могло обеспечить сохранение и приумножение фамильной собственности, только оно гарантировало воспроизводство: многочисленные болезни и моровые поветрия уносили десятки тысяч жизней. Поэтому и православная церковь на протяжении веков [1] упорно формировала идеал женщины – многодетной [2] матери. Вне сомнения, подобное упорство сказалось и на складывании определенного отношения к женщине в обществе, на представлениях о границах ее возможной самореализации, о ее «предназначении».

Духовная жизнь раннего русского средневековья (X – XIII вв.) отмечена сосуществованием двух традиций – светской и церковной [3]. В отношении материнства и материнского воспитания светская («народная») традиция, опиравшаяся на обычное право, отражала выработанную поколениями систему отношений между родителями и детьми, старшими и младшими. Церковная («православная») традиция брала начало в христианской этике и отличалась стремлением внедрить в сознание прихожан постулаты «праведного», с точки зрения православных идеологов, отношения матерей к детям и детей к матери.

Первая традиция, удачно названная американским «историком детства» Д. Херлихи «традицией любящего небрежения» [4], была достаточно типична для раннесредневековых обществ. В Древней Руси она нашла отражение в сборниках епитимий и покаянных вопросов, связанных с наказаниями за такие преступления как инфантицид, заклад

и залог детей. О фактической же распространенности их в указанное время нет данных [5]. Картины частной жизни семей «простецов» X – XIII вв. состояются из известных по епитиминикам случаев удушения младенцев в общей постели, их убийств по небрежению родителей. Они могут служить определенным доказательством того, что в Древней Руси ребенка «берегли», но «берегли недостаточно», а дети в доме «одновременно как бы и присутствовали, и отсутствовали» [6]. К тому же они рисуют не слишком привлекательный, с современной точки зрения, образ матери того времени.

Некоторое представление об отношении к материнству в X – XIII вв. дает ранняя иконография Рождества Богородицы и вообще всех изображений Мадонны с младенцем. С точки зрения отображения в ней материнской любви, эта традиция весьма сдержанна: в иконах и фресках домонгольского времени не найти умиления по отношению к ребенку. Детей в русской иконописи принято было изображать как маленьких взрослых, со строгими, недетскими, невеселыми ликами. Составители правовых кодексов относились к ним без особого снисхождения и скидок на возраст: в нормативных памятниках Древней Руси нет никаких особых (более легких) наказаний за совершение проступков несовершеннолетними [7].

Отношение к детям в простых семьях было обусловлено обстоятельствами отнюдь не личностными: лишний рот в семье был для многих непосильной обузой [8]. В пословицах о детях, записанных в допетровское время, отразилось двойственное отношение к ним, в том числе, вероятно, и матерей: «С ними горе, а без них вдвое» – и в то же время обратное: «Без них горе, а с ними вдвое» или «Бог дал, Бог взял». В некоторых русских колыбельных песнях XIX в. (корнями уходящих в давние времена), присутствовало даже пожелание смерти ребенку, если он был рожден «на горе» родителям. Этот мотив можно найти чуть ли не в 5% общего числа колыбельных [9]. Те же причины лежали в основе различного отношения в семьях к сыновьям (как к желаемым «гостям») и дочерям (как к нежелательным). В древнейших текстах назидательного сборника «Пчела», бытовавшего в различных вариантах в XI – XVIII вв., встречается афоризм «Дъчи отцю – чуже стяжанье» (примечательно, что дочь рассматривается здесь как «чужое сокровище» одного лишь отца, не матери). У В. И. Даля этот афоризм звучит так: «Дочь – чужое сокровище» («Сын домашний гость – а дочь в люди пойдет»).

Приведенные примеры говорят о возникновении традиции патрилокальности еще в домонгольское время и в то же время косвенно свидетельствуют о предпочтении, отдаваемом издавна сыновьям перед дочерьми. В тех же дидактических текстах, но XIII – XIV вв., можно встретить уже иную, личностно-эмоциональную мотивацию любви и предпочтения отцов и матерей к сыновьям и дочкам, сильно

отличающуюся от текстов домонгольского времени: «Матери боле любят сыны, яко же могут помагати им, а отци – дщерь, зане потребуют помощи от отец» [10]. Герменевтика этого текста заставляет сделать вывод о различии жизненных позиций отца и матери в семье: мать искала в ней защиту (в лице сына), а отец – нуждавшихся в защите (дочь). По-видимому, однако, отнюдь не личностные, а именно экономические причины рождали «власть родителей над детьми» в раннесредневековой Руси. Вопрос лишь в том, переходила ли она во всех семьях в тот «слепой деспотизм без нравственной силы», о котором писал когда-то Н. И. Костомаров, а вслед за ним нынешние западные исследователи «истории детства» в России? [11].

Анализ нарративных и фольклорных памятников позволяет утверждать, что подобный вывод был бы несколько поспешным. Тенденции «небрежения» детей, особенно девочек, в средневековой Руси постоянно (с X в.) противодействовала воспитательная работа «отцов духовных», стремившихся утвердить среди прихожан идеалы христианской нравственности, внедрить идеалы «благочестивого родительства», материнской любви, категорически запретить любые попытки матерей избавляться от детей – как с помощью контрацепции, так и путем откровенного убийства.

Попадание на страницы епитимийных сборников целого списка вопросов и наказаний детоубийцам и «женкам, еже в утробе имеют, а родити не хотят», – говорит как о сравнительной распространенности таких случаев, так и о предосудительности подобного поведения с точки зрения церковной морали. Легко представить себе, как измученные частыми родами женщины вставали перед дилеммой – рожать или не рожать очередное «чадо» и, приняв отрицательное решение, обращались с просьбами «отъять плод» к знахаркам. Именно они знали различные «зелья», от которых женщина могла «извергнуть» при небольших сроках беременности, лечебники же – даже поздние – не упоминают их составов, вероятно, «секреты» такого рода передавались изустно [12]. За сугубо интимным решением женщин постоянно и весьма пристрасно наблюдал глаз «отца духовного», каравшего за все, что «чрез естества совершено быша», как за детоубийство («аще зарод еще» – 5 лет епитимьи, «аще образ есть» – 7 лет, «аще живое» – 15 лет поста и покаяний). Тем не менее частота упоминаний об абортах и «извержениях» говорит о том, что интимная сторона жизни женщин того времени более регулировалась ими самими, нежели церковными деятелями [13]. Аборт и в петровское время был главным средством регулирования рождаемости. Исповедники подробно выспрашивали у прихожанок, «[с]колько убили в себе детей» [14], выполняя тем самым роль медиатора между частной жизнью индивида и интересами государственного значения.

Об отношении мужей к вопросам контрацепции, к сохранению их женами очередного ребенка или избавлению от беременности сведений в русских епитимийниках и других источниках нет. Безразличие мужей к здоровью беременных жен характеризуют епитимьи, налагавшиеся на них в том случае, если выкидыши у их жен случались от побоев домашних («аще муж, риняся пьян на жену, дитя выверже»). Подобные случаи избавления от ребенка не были наказуемыми для женщин: церковь, хорошо осведомленная о нюансах супружеских отношений, в них в таких случаях не вмешивалась – ни в X – XV вв., ни позднее [15].

Неустанная регламентация церковными дидактиками интимной жизни супругов сопровождалась интенсивными проповедями в защиту многочадия. Настойчивое постулирование идеи о том, что дети являются благом для любой семьи и главным «оправданием» присутствия в ней женщины, привело к тому, что уже в X – XIII вв. отсутствие детей стало считаться большим горем («велико зло есть, аще не родятся дети, сугуба брань»). Обращения «жунок, кои хочут родити детя» к «бабам - идоломолицам», знавшим «чародеинные» средства избавления от этой напасти, вполне объяснимы. Среди исповедных вопросов встречается упоминание о «детской пупорезине» (пуповине), о «ложе детинном» (плаценте), о «семейной скверне», которые ворожеи использовали для приготовления снадобий от бесплодия. Чаще всего их смешивали со отварами трав, имевшими антисептические характеристики (омелой, ромашкой) [16]. Поразительно, что в повседневном быту не только X – XV, но и XVI – XVII вв. к «бабам»-чародейницам, знавшим средства усиления детородной функции, и у «простецов», и у представительниц привилегированного сословия, было больше доверия, нежели к обученным иноземным «дохтурам» [17]. Умение женские «недуги целити» во все времена считалось «даром» [18].

Какими бы событиями ни была полна реальная жизнь женщины того времени (а свидетельств ее дошло так мало), но памятники древнерусской литературы, в том числе тексты травников, зелейников, лечебников, а также учительные сборники говорят о внимании и заботе к беременным женщинам, проявляемым со стороны церковных идеологов. С давних времен через тексты покаянных книг XII – XIII вв. церковь освобождала беременных женщин от земных поклонов, непосильной работы, подчеркивала опасность потребления в их положении хмельных напитков.

После родов, происходивших, как правило, в бане, женщина «рождешая» считалась «нечистой» в течение 40 дней, что исключало возможность тесного общения с ней в эти пять недель. Церковные нормы исключали в послеродовое время и супружескую близость, что снижало вероятность инфицирования женского организма и объективно способствовало сохранению здоровья женщины [19].

В народной традиции, воспевавшей многочадие, отсутствие детей считалось горем. Церковная традиция при всем воспевании безбрачия и девственности, также рассматривала бездетные браки как неблагополучные. Летопись сохранила восклицание одного князя, горько сетовавшего на то, что в его семье нет детей: «Бог не дал своих родити, за мои грехы» [20]. Рождение детей рассматривалось и в светских, и в церковных памятниках как главное предназначение женщины, как ее основная работа. Беременную в народе [21] называли «непраздной» [22], и термин этот сохранялся в фольклоре столетиями. В частных письмах представительниц привилегированного сословия чаще употреблялось слово «беременная» («Отпиши, матушка, ко мне, беременна ль ты?» – весьма частая фраза в письмах от женщины к женщине, особенно родственнице) [23].

Рождение детей, а тем более частые роды, да еще в бедной семье, были в X – XVII вв. тяжелой женской долей. «Живот болит, детей родит», «Деток родить – не веток ломить» [24] – эти пословицы вряд ли сочинялись мужчинами, не знавшими тягот вынашивания и родов. Вне сомнения, их авторы – женщины. Нередкими были преждевременные смерти матерей при рождении очередного «чада» [25]. Рожали часто, порой чуть ли не ежегодно, а выживали немногие: 1–2 ребенка (иногда называется цифра 2 – 4) [26]. Большинство детей умирало во младенчестве. В памятниках личного происхождения XVII в. можно встретить сведения о семье из пяти человек (муж, жена и трое детей) как многодетной («человек добр и жена его добра, только он семьист, три мальчики у него») [27].

Само слово, термин «матерство» (материнство) было известно по источникам с XI в., но в них с трудом можно обнаружить какие-либо проявления чувств матерей к рожденным ими «чадам». Единственное, что можно установить на основании древнейшего свода законов – «Русской Правды» (XI в.) – так это прямую связь материнства со сложными имущественными отношениями в семье. Они влияли на частную жизнь всех ее членов. По закону мать могла принять (и часто принимала) на себя опекунические функции, получая единоличное право распоряжаться общесемейным имуществом, а также право наделять (или лишать доли) выросших отпрысков. При этом она сама могла выбрать, к кому из детей она питает наибольшую привязанность: «аще вси сынове будут лиси (выгадывающие), дочери может дата (наследство. – Н. П.), хто ю кормит». Древнерусский закон ставил, таким образом, имущественные отношения в семье в зависимость от индивидуально-психологических: характер распределения общесемейной собственности между наследниками мог отражать степень привязанности к ним матери [28]. Но живые, не скованные рамками литературных топосов свидетельства такой привязанности найти в

ненормативных памятниках раннего средневековья (летописях и литературе, агиографии) довольно трудно.

И все же даже в скупых на эмоции летописях сохранились имена, которые давали матери детям: «Сладкая», «Изумрудик», «Славная», «Милая» [29]. Любопытен тот факт, что в летописях сохранились только ласковые прозвища девочек, что противоречит идее предпочтения, оказываемого – если судить по покаянной литературе – сыновьям. Ласковые имена и прозвища формировали «человечность» в семейных отношениях, да и самого человека с определенными чертами характера и манерой поведения. Отфильтровав факты реальной жизни, авторы летописей и литературных произведений XI – XIII вв. оставляли лишь то, что нуждалось в прославлении и повторении – положительные примеры для назидания. Поэтому описанные в летописях грустные расставания родителей с дочерьми, выходящими замуж и покидающими родительский дом, выразительно характеризовали семейные отношения родителей как отношения любви и заботы («и плакася по ней отец и мати, занеже бе мила има и млада») [30].

Сравнительно долго (почти до XIV в.) держалась на Руси традиция давать некоторым детям не «отчества», а «матерства» (Олег Настасьич, Васильке Маринич), так как родство по матери считалось поначалу не менее почетным, чем родство по отцу [31]. Эта отличительная черта древнерусских семейных отношений содержала отголоски матриархальной ориентированности семейно-родового сознания и вместе с тем была формой проявления уважения к матери и женщине в обыденной жизни, аналоги которым трудно обнаружить в Западной Европе.

Выросшие сыновья, как правило, оставались жить в родительском доме; мать жила по традиции с младшим из них. По свидетельству литературных памятников и некоторых дошедших до нас писем, дети обязаны были платить матерям теми же чувствами любви и заботы, которые они получали в детстве. Уже один из самых ранних дидактических сборников – Изборник 1076 г. – содержал требование беречь и опекать мать. Постепенно этот постулат православной этики стал нравственным императивом и народной педагогики. «Моральный облик» выросших детей стал определяться их заботой о матери [32], ставшей больной, немощной, «охудевшей разумом» [33]. В нарративных памятниках можно найти немало примеров мудрого благословения матерями повзрослевших сыновей, ставших административными и государственными деятелями, на совершение разных благородных поступков; летописи доказывают сохранявшуюся эмоциональную зависимость детей от матери, взаимосвязь их личных переживаний не только в детстве, но и на протяжении всей жизни [34].

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

Пренебрежение нравственными ориентирами материнского воспитания осуждалось и церковью, и светским уголовным правом. Согласно норме светского законодательства, защищавшей женщину в конфликтных ситуациях (и тем самым вмешивавшейся в частную жизнь), сына или пасынка женщины, решившегося избить мать, следовало наказывать «волоостельскою казнью» (вплоть до пострижения в монашество) [35]. Трудно сказать, часто или редко вменялось такое наказание. Но в новгородской берестяной грамоте № 415 (редком памятнике уголовного права XIV в.) сохранилось письмо некой Февронии судебному исполнителю Феликсу: «Поклоно от Февронее Феликсу с плацою. Убиле мя пасынке и выгониле мя изо двора. Велише ми ехать городо или сам поеди сею. Убита есею» [36]. Обращение Февронии в суд говорит об ее осведомленности о своих правах, отсутствии смущения в «обнародовании» факта семейной жизни (довели!). Вся ситуация дает яркий пример семейной ссоры, роли бытовой «разборки» в частной жизни людей того времени, подтверждает наличие вечного «конфликта поколений». Акт представляет инициатором ссоры молодого человека (пасынка), что наводит на размышление о том, что представители сильного пола (особенно молодые) чаще, чем женщины, вели себя девиантно. О том же свидетельствуют глухие упоминания об убийстве мачех пасынками в летописях [37]. Казусов убийств матерей дочерьми не встретилось, что, конечно, не исключает их существования.

Для церковных деятелей, бдительно следивших за частной жизнью всей паствы, но в особенности – князьями и боярами, важно было не просто отметить (и осудить) подобные «отклонения» от идеала бесконфликтных отношений между матерями и детьми, но и найти объяснение, мотивацию аморальности, чтобы искоренить само явление. Так, митрополит Иона в своем послании детям кнг. Софьи Витовтовны, «не повинующимся матери» (1455 г.), предположил, что их поступки вызваны «грехом, оплошением или дьяволиим наваждением, или молодостю...». Он угрожал детям наложением «духовной тягости в си век и в будущем»: «докеле в чювство приидут» [38].

Сочиняя назидание, митрополит невольно выразил пристрастность к теме материнского воспитания. Можно предположить, что перед его глазами был пример его собственной судьбы, он вспоминал некую «вдовицу», ставшую ему самому матерью. Иону, еще в отрочестве осиротевшего, она «матерьски поболевъши о нем, воспита», относясь всю жизнь «ахи истовая родительница». Та же вдовица отдала впоследствии Иону «некому диакону» для изучения грамоты и священных книг [39], задав направление формированию его личности.



Вся церковная литература домосковского времени (X – XV вв.) была пронизана идеями святости материнского слова и мудрости материнского воспитания, сладко-благодными рассказами о материнской любви и уважении детей к матери. Мать (равно как и жена, например кнг. Ефросинья Ярославна – прототип героини «Слова о полку Игореве») представлялась авторами древнерусских «повестей», «слов» и «плачей» готовой скорбеть о погибшем сыне (муже), но не способной унизиться до трусости или склонить свое «чадо» («света-государя») к неблаговидному поведению, в частности, самосохранению ценой позора. Средневековая русская аристократия не выработала собственного идеала женственности, отличного от народного, поэтому высокодуховные образы матерей равно встречаются и в фольклорных, и в более поздних литературных произведениях (как светских, так и церковных) [40].

Некоторые расхождения между народным и аристократическим идеалами материнства при одновременном сближении каждого из них с этической традицией православия стали появляться лишь в эпоху позднего средневековья и раннего Нового времени (XVI – XVII вв.). Этот период внес немало нового в отношения матери и детей в силу зарождения, а затем быстрой эволюции процесса обмирщения духовной культуры москвитов, что и позволяет соотнести историю материнства в Древней Руси – одну из важнейших сторон частной жизни женщин того времени – с аналогичными процессами в Западной Европе.

Автор одной из известных концепций истории детства, американский историк Л. Де Моз, назвал первые два этапа в западноевропейской истории родительства и детства этапами господства «инфантицидного» и «бросающего» стилей в отношениях между родителями и детьми. «Бросающий» стиль стал, по его мнению, анахроничным в Европе уже к концу XIII в. С XIV столетия этот американский психоаналитик начинал отсчет нового этапа в отношениях между детьми и родителями, в том числе матерями. Новый стиль отношений он называл «амбивалентным» и полагал, что он господствовал в XIV – XVII вв. «Амбивалентный стиль», по словам Л. Де Моза, характеризовался «дозволением ребенку входить в эмоциональную жизнь его родителей», но «исключал, однако, его самостоятельное духовное существование». Все это сопровождалось, как думал историк, «беспощадным выколачиванием своеволия» как злого начала в ребенке [41].

При всей схематичности построений Л. Де Моза, которые не раз критиковались в западной науке [42], его рассуждения не лишены определенной наблюдательности. Во всяком случае, русская литература – светская и церковная, эпистолярные и документальные памятники XVI – XVII вв. позволяют отметить этот постепенный переход в истории

русского материнства и материнской педагогики к «амбивалентному» стилю отношений. Заметим только, что начался этот процесс в России не ранее эпохи складывания единого государства, то есть в XV – XVI вв.

Многие тенденции церковной дидактики и народной педагогики, наметившиеся в домосковское время – осуждения контрацепции, небрежения к детям, строгих наказаний за детоубийство и попытки к нему, – сохранялись. Традиция восхваления бесконфликтных отношений между матерью и детьми, причем отношений несколько асимметричных (уважительных со стороны именно детей к матери, без «обратной связи» – уважительности отношения матерей к интересам детей), продолжала развиваться и в эпоху Московии.

Но появилось и новое. В зажиточных, сравнительно образованных сословиях отношение матерей к детям становилось все более содержательным. На этот процесс оказывали влияние разные факторы: и экономические, и культурные, и личностные. В то же время в немалой степени отношения матерей и детей в семье зависели от общего числа «чад»: на мальчиков-первенцев и единственных детей смотрели как на продолжателей дела предков, а потому относились сравнительно бережно. Первенцев в семье ждали, на них возлагали надежды как на наследников родового имущества, родового имени. Например, в. кн. Василий Иванович (1505 – 1533) так мечтал о сыне, что, как известно, пошел на развод с кнг. Соломонией, дочерью боярина Сабурова, и женился на молодой польке Елене Глинской. Когда она родила ему долгожданного наследника, а это был будущий царь Иван Грозный, Василий Иванович не только повелел заложить известную церковь Вознесения в с. Коломенском под Москвой (такой жест «вписывался» в рамки обычного поведения главы княжеского рода), но и безмерно пекся о здоровье ребенка. В письмах он требовал от супруги постоянно «отписывать» ему все подробности жизни малыша: «и о кушанье Иванове, что Иван сын коли покушает – чтоб мне то ведомо было» [43]. Вне сомнения, мать хлопотала над первенцем с еще большим рвением.

Забота о здоровье «чад» оставалась главным содержанием частной жизни большинства москвиток раннего Нового времени. Способами излечения их от хворей, рекомендациями по гигиене и вскармливанию были наполнены многочисленные «лечебники» и «травники» XV – XVI вв. Тема детских болезней проникла тогда и на страницы дидактических текстов [44], а в переписке появились свидетельства неподдельной тревоги родителей по этому поводу («Да писала еси ко мне... что против пятницы Иван сын покрячел... что у сына у Ивана явилось на шее под затылком место высоко да крепко, что гною нет, и то место у него поболает... И ты бы с боярыни поговорила, что таково у сына явилось и живет ли таково у детей малых?..» [45]).

Новой в церковно-учительской литературе стала в XVI – XVII вв. и тема

материнского воспитания, а предметом особых размышлений – его методы. В период раннего русского средневековья вопрос о педагогических методах ставился лишь применительно к отцовскому воспитанию сыновей, причем предполагалась известная строгость. В памятниках X – XV вв. часто встречалось пожелание «наказати» сыновей, что означало «учить» их, «воспитывать». Современный смысл слова «наказать» в значении «карать» появился в русском языке не ранее XVII в. [46]. Тема «сокрушения ребер» и «наложения ран» как способа выработки послушания и покорности нашла законченное выражение в «Домострое» с его развернутым обоснованием системы физических методов воздействия. Однако и «Домострой» имел в виду воспитание отцом сыновей. Матери поднимать руку на чад – сыновей, а тем более дочерей – не полагалось; ей отводилась другая роль и другое место в сложной семейной иерархии. Ясно видно это противопоставление в фольклоре [47]. Тем не менее в записях пословиц XVII в. встречается присловье «Учен жену бьет, а дrouchен (неженка. – Н. П.) – матушку», в котором можно видеть не только прямое назидание, но и фиксацию частоты ласковых отношений (баловства) со стороны матерей и соответствующих им методов воспитания [48]. (Ср. также в «пословицах добрых и хитрых и мудрых»: [49] «Дети балуются от маткиного блинца, а разумнеют от батькиного дубца».) [50]

В назидательной литературе подчеркивалось, что в деле воспитания само слово в устах матери должно быть достаточно действенным. Вероятно, в семьях аристократии (на которые в первую очередь и были рассчитаны тексты поучений, в том числе «Домостроя») так оно и было. Известно, сколь велика была роль образованных матерей и вообще воспитательниц в судьбах некоторых русских правителей. При отсутствии системы образования и повсеместном распространении домашнего обучения многие из княгинь и вообще женщин привилегированного сословия, будучи «гораздо грамотными», «словесного любомудрия зело преисполненными», брали все образование детей на себя. [51]

О том, насколько достигало цели пожелание церковнослужителей с помощью одного только разумного материнского слова вырабатывать у детей «автоматический моцион нравственного чувства» [52], то есть любви и уважения их по отношению к родителям, судить трудно. Литературные и эпистолярные источники XVI– XVII вв. донесли до нас лишь «лакированные» картинки взаимоотношений матерей и детей.

Внести коррективы в эту благостность могли бы, очевидно, судебные документы, фиксирующие конфликтные ситуации, но их довольно мало.

Вместе с тем различные нарративные памятники, а также иконография позволяют представить определенное развитие,

некоторые изменения даже в самой идеализированной, «незамутненной») картине материнства и материнского воспитания. Они возникли в XVII в. и отразили те трансформации в частной жизни, во взаимоотношениях матерей и детей, во взглядах москвитов на материнство, которые привели к появлению новых явлений в семейной педагогике – возрастанию роли матери в социализации детей.

Особая радость красок, их «веселие» в иконографии Рождества Пресвятой Богородицы определялась появившимся в православии к XVII в. особым отношением к деторождению, прославлением его «светоносности», «непечалия», величия [53]. В живописных сюжетах на эту тему XVI – XVII вв. родительская любовь стала выступать как соучастие (избражение присутствующего в комнате роженицы отца девочки, распахнутых дверей, проемов, окон – по поверью, это облегчало роды), как объединяющее семейное начало (подробно вырисовывалось «ласкательство» Иоакима и Анны с малюткой Марией, купание ее ими в резной купели) [54]. Апофеозом же идеи воздаяния светоносной материнской любви, окрашенной православной благоговейной печалью, стал иконописный сюжет «Успения Богородицы», в котором персонифицировалась тема спасения материнской души, изображаемой в виде спеленутого младенца, которого Спаситель держал на руках [55].

По-иному в XVII столетии стали смотреть и на беременность. Хотя и «срамляясь» своих желаний, беременная женщина (хотя бы в кругу своих близких) стала стремиться обратить внимание окружающих на «особость» своего состояния, требующего, в частности, определенного ритма питания: «Егда не родих детей, не хотяше ми ясти, а егда начях дети родити – обессилех и не могу наястися» [56]. Будто в подтверждение народного присловья «Горьки родины, да забывчивы» [57], в найденном нами письме к детям одна из матерей XVII в. вспоминала; «Носила вас, светов своих, в утробе и радовалась, а как родила вас – [и вовсе] забыла болезнь свою материю...» [58] Во многих семьях женщины по-прежнему рожали практически каждый год (даже в XIX в. считались обычными 9 – 10, реже 6–8 рождений на каждую женщину). Повседневность московитских семей XVII в. точно отразила поговорка: «Бабенка не без ребенка, не по-холостому живем, Бог велел» [59].

Частые смерти детей накладывали свой отпечаток на отношение к ним матерей: у одних боль от их утрат притуплялась [60] («На рать сена не накосишься, на смерть робят не нарожаешься») [61], у других – вызывала каждый раз тяжелые душевные потрясения [62]. Во многих письмах русских боярынь и княгинь конца XVII в. сообщения о смертях детей окрашены сожалением и болью, в них проскальзывает горечь потери и ласковое отношение к умершим («пожалуй, друг мой, не

печался, у нас у самих Михаилушка не стало»; [63] «в печалех своих обретаюся: дочери твоей Дари Федотьевны [в животе] не стало...»; [64] «ведомо тебе буди, у Анны сестры Ивановны, Марфушеньки не стало в сырное заговейна...») [65].

Церковная проповедь любви к своим «чадам», требование «не озлобляти, наказуя», обосновывающая обязательность и «обратной связи» – любви детей к матери («мать в чести дер жи, болезнуй о ней»), все чаще находила отклик в душах москвитов. В наставлениях церковных деятелей не было противоречия народной традиции, которой во многих семьях определялись межличностные отношения [66]. В дошедших письмах родителей к детям невозможно встретить даже грубоватого обращения к ним, сплошные «Алешенька», «Марфушенька», «Васенька», «Утенька», «Чернушечька» [67], «Андрюшенькино здоровье» [68]. В переписке конца XVII в. просьбы отцов к матерям «содержи, свет мой, в милости мою дочку...» [69] были нормой (в приведенном обращении наводит на размышления только слово «моя» – не шла ли здесь речь о ребенке от первого брака?).

Новое время рождало новые нюансы отношений. Мягкое понимание неразумности ребенка, его несамостоятельности, незащитности заметно в обращении одной из матерей XVII в.: «Костенку жалуйте, не покиньте, а он еще ничего не домыслет – децкое дело!» [70] В более ранние эпохи такое отношение к детям – как к малым, неразумным, к кому надо проявлять терпение и понимание, прощать слабости – найти невозможно.

Упоминания о том, что дитя «блюли с великою радостию», «никуды единого не оглушали», говорят о возросшем внимании к «чадам» [71]. В частных письмах XVII в. легко найти проявления материнской радости и гордости, восхищения действиями и умениями детей. Например, жена стряпчего И. С. Ларионова Дарья Ларионова писала в письме мужу в 1696 г. о маленькой дочке: «у нас толко и радости, что Парашенька!» – и добавляла ниже: «...А Парашенька у меня девочка изрядная, дай Господи тебе, и как станем тебя кликать – и она также кличет, и нам [этот ее лепет] всего дороже...» [72]. В другом письме та же Д. Ларионова сообщала супругу о том, что дочка приготовили специально для него подарки и послали с «людми»: «Катюшка колечко золотое, а Парашинка – платоник: колечко изволь на ручке своей носит[ь], а Парашенкиным платочком изволь утиратца на здоров[ь]е...» [73]. Подобные строчки – прекрасное доказательство того, какое место в повседневности женщины и вообще в ее душе занимало все, что было связано с заботой о детях.

Давно оспоренный многими западными историками тезис о том, что в доиндустриальное время «дети больше работали, чем играли» [74], не находит подтверждения и в истории русской семьи предпетровского

времени. Хотя церковные дидактики требовали воспитания детей в строгости, безо всяких игр и развлечений, хотя автор «Домостроя» настаивал: «не смейся к нему, игры творя» (т. е. не улыбайся, когда играешь с ребенком) [75] – жестокосердных матерей, способных строго запретить детские игры, и детей, лишенных «материя ласкателства», было немного [76]. Пока напитанные православной дидактикой тексты велели детям быть «небуявыми», «от смеха и всяких игр отгребатися», улицы русских селений и городов наполнялись гамом играющих детей, а сорванцы затевали проказы, от которых шарахались не только «духовные отцы», но и обычные горожане. Даже служители церкви замечали, что и самых благочестивых (вроде Ульянии Осорьиной) «сверстницы многажды на игры и на песни нудили» [77].

Перечисление детских игр XVII в. в исповедных вопросах и сборниках светского и церковного права, в сочинениях Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого (а среди этих игр известны «салки», «взятие снежного городка», шумные игры с хлопаньем в ладоши, игры в ножички, «мечик» (мяч), лапта, «кубарики», «скакания яко коник или саранча травная, обе нозе совокупив и на единой ноге» и т. п.) заставляет думать, что игры ребятишек XVII в. не слишком отличались от современных. Во многих письмах можно встретить упоминания о том, что матери просили сыновей не столько не играть, сколько не слишком «резвиться».

Примеры такого рода можно обнаружить в переписке старообрядцев, в том числе в письмах весьма строгого в делах воспитания протопопа Аввакума к его жене Настасье Марковне: «Орину привезите, а у вас бы жила смирно, не плутала, а буде станет плутать – и вы ее смиряйте» [78]. Вероятно, обращаясь с подобными просьбами, родители припоминали обычные проказы своих «чад», что подтверждается строчкой в одном из писем того же Аввакума. Призывая жену воспитывать дочек в смирении, не слишком о них «кручиниться», он, однако же, обмолвился в одном из писем: «Увы, чадо дарагое, уж не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки неково погладить...» [79]. Умиленное воспоминание старого воспитателя позволяет задуматься о внутренней борьбе в душах дидактиков (бывших как личности натурами эмоциональными), о несовпадении жизни с проповедуемыми ими постулатами.

Упомянутые в письме Аввакума «лошадки» – известная мальчишечья забава; девочки же в Московии XVII в. предпочитали другую подвижную игру – «скакание на досках». Ее упоминала поговорка того времени, отразив сетования матерей-воспитательниц на непоседливость дочерей: «Мать по дочке плачет, а дочь на доске скачет». Зимой и летом девочки и девушки любили также качание на качелях и веревках, катания в санях, телегах, колясках, хороводы. В последних нередко

принимала участие не только молодежь и дети, но и значительная часть взрослых [80].

Таким образом, общение матерей и их «чад», начавшись во время трудовой части дня, продолжалось и во время досуга. И если способы развлечения и отдыха главы семьи и вообще мужчин в доме могли оказаться для детей неподходящими (посещение кабаков, азартные игры, кулачные бои – правда, дети присутствовали и там), то женские традиционные игры и забавы не только не исключали участия ребятишек, но и способны были развить в них «борзость», «обучение телесе», ловкость – все это подтверждается материалами лубков XVIII в. [81]. У представителей образованных сословий формы совместного досуга матерей с детьми были иными. В них занятия «каллиграфством», грамотой и чтением составляли часть повседневного досуга. Радость общения матерей с детьми во время таких занятий («мати его велми радовашеся о разуме сына своего») [82] была важным элементом частной жизни образованных женщин. «И в доме у тебя, государь, все, дал Бог, здорово, – писала одна дворянка своему мужу, помещику В. Т. Выдомскому, в конце XVII в. – Ведомо тебе, государь, буди, я сынишко твои[го] учу десятую кафизму...» [83]. О духовном воспитании дочерей беспокоился и Аввакум в одном из писем жене, Настасье Марковне («а девок, свет, учи, Марью да Акилину...») [84], а также «духовная дочь» Аввакума Е. П. Урусова [85]. А в одном из писем жены стольника И. С. Ларионова Д. Ларионовой содержится просьба к мужу быть внимательнее к дочке и хотя бы немного отвлекаться от служебных забот: «Пиши, друг мой х Катюшке грамотки уставом (печатными буквами, а не скорописью. – Н. П.), хотя [бы] неболш[и]е...» [86].

Занятия матерей с детьми грамотой приносили свои плоды: подраставшие дети могли вести переписку с отсутствовавшими дома отцами и другими родственниками. Письма же самих матерей, волею обстоятельств оказавшихся оторванными от своих «любезных чад», отличает исключительная эмоциональность, свидетельствующая о нежной привязанности. «Ох, мой любезный Васенька, – обращалась, например, к сыну знаменитая раскольница Е. П. Урусова в одном из предсмертных писем, – не видишь ты моего лица плачевного, не слышишь моего рыдания смертного, не слышишь, как рыдает сердце мое, а тебе и душа моя сокрушаетца!» Какими только словами не называла мать своего «друка», предчувствуя скорое расставание навсегда: «ненаглядный», «нинасмотренный», «утроба моя возлюбленная», «утеха и радость моя», «любезный мой, мой радостной» [87].

До нас не дошли другие материнские «епистолии» не только более раннего, но и того же времени, которые были бы столь же свободны от шаблона, как письма Е. П. Урусовой. Но примеры подобных эмоциональных обращений матерей к детям можно найти в

литературных памятниках того же XVII в.: «О чадо милое, только и утехи – ты, наша радость и веселие старости нашей, что ты един. Хочешь от нас прочь отъехать – ты нам убийца будешь обоим...» Буквально тем же настроением пропитано письмо реального исторического лица, некоей Авдотьи Дмитриевны, сыну и невестке (также XVII в.). Освобожденное от обязательных многословных обращений и благопожеланий, оно выглядит так: «Буди тебе, свет мой, Бог не изволит видетца – и ты меня поминай, а я не чаю видетца с вами, светы мои, потому что мы стали оба древны, и на вас, светы, наше благословление». Возвращаясь от этого письма вновь к цитированному выше литературному памятнику, заметим строки, равно применимые к отношениям в семье Авдотьи Дмитриевны, героини одной из посадских повестей XVII в.: «И тако отпустиша его с великим плачем и с рыданием, и жалостно бе отпуск его всему княжению их...» [88].

Анализ переписки Е. П. Урусовой с ее детьми позволяет почувствовать, что к дочкам матери нередко могли быть не столь привязаны, сколь к сыновьям. Раскольница называла дочек «любезными» и «собинными» (любимыми), «ластовицами златокрылыми» и «светами ненаглядными», но не делилась с ними своей болью, вызванной решением ее бывшего мужа жениться вновь. Письма Е. П. Урусовой говорят об индивидуальном, внутреннем предпочтении матери именно к сыну, трудно объяснимом, но эмоционально понятном [89]. Предпочтение одним детям перед другими существовало «от веку»: достаточно вспомнить жену волынского князя Владимира Васильковича Ольгу – четвертую дочь брянского князя Романа, которая, по словам летописца, была ему «всех милее» и который именно ее называл «милая моя дочь» (XIII в.) [90].

Занимаясь воспитанием детей, вне зависимости от предпочтения, выказываемого матерью одним детям перед другими (вероятнее всего, скрываемого, так как в источниках трудно найти прямые свидетельства подобного девиантного поведения: «полагалось» любить всех одинаково), матери, особенно вдовы, чувствовали свои обязательства и ответственность перед всеми «чадами» до их совершеннолетия. «Едина капля слез матерних много прегрешений и клеветы загладит» – фиксировала подобные отношения назидательная «Пчела». Народная мудрость трансформировала этот афоризм в поговорку: «Материнская молитва со дна моря вынимет» [91]. Крохотная зарисовка, «кар танка из детства» героя «Повести о Горе-Злочастии» (XVII в.), пропитанная поразительной нежностью воспоминаний о материнской заботе, заставляет думать, что автор «Повести» «списывал» ее со своих личных чувств и переживаний [92]. Такие чувства можно найти и в письмах Е. П. Урусовой о том, как она «болезновала» за своего «Васеньку», когда он был маленьким: «Али забыл ты слезы мои и рыданье мое, любовь и ласку



мою, как я рыдала по тебе, как видела тебя на смертном одре, не дала я покоя очима своима ден и ночь, и держала тебя, своего друга, на руках своих и амывала слезами» [93].

Если судить по текстам челобитных на имя государя, написанных в конце XVII в., легко заметить, что матери в Московии часто были главными защитницами интересов и здоровья своих «сынишек» и «дочеришек», которых приходилось отдавать «в учение» в чужие дома («Отдала я, сирота ваша, сынишку своего Антошку Микифору сыну Усенкову на шесть лет, и в ту шесть лет выучит... сынишка моего живописному мастерству. И он, Микисрор, сынишка моего учал битъ нестерпимыми побои, напрасну и з двора от себя сослал... Пожалуйте меня, сироту, велиге тово Микифора допросит, чего он моего сынишка не учит...» [94] – жаловалась одна мать. Другая вторила ей: «Отдала я, раба ваша, сына своего Козму Моисеева в научение пению нотному мещанину Тимофею Степанову, а он, государь, не похотел сына моего учить пению нотному, учал бит[ь] и увечить...» [95]). Отдавая детей «в учебу», матери продолжали сопереживать их успехам и неудачам, стремились защитить их от невзгод.

Подобные заботы вначале об учебе, а затем о служебных и финансовых делах уже взрослых и самостоятельных сыновей, о благополучии и бесконфликтности семейной жизни дочерей сопровождали весь жизненный путь многих и многих матерей, относившихся к делам своих «чад» как к своим собственным. На своих энергичных и разумных родительниц сыновья часто оставляли все хозяйство, все имения, так что матери (особенно при отсутствии жен) были главными их распорядительницами. Прочитируем еще раз в качестве источника переписку Голицыных. «Свет мой, – писала, например, мать в. кн. В. В. Голицына кнг. Т. И. Голицына в 80-е гг. XVII в., – здесь слух носится, что будет государев указ со всех вотчин имать по полуполтини з двора, а со вдов и недорослей и с монастырей вдвое, да кои на службах, и с тех имать по полуполтине...» Терваемая сомнениями, она просила подтвердить или опровергнуть этот «слух», «отписать» о том, «жаловать ли по-прежнему» в чем-то провинившегося Потапа Шеншина, рассказывала о ценах на товары [96]. Судя по письмам Т. И. Голицыной, она владела немалой информацией, знала торговую конъюнктуру, проявляла настойчивость во всех вопросах, связанных с делами семейного клана («фамилии») Голицыных, требовала, чтобы сын принимал под свое покровительство родственников, «знакомцев» и свойственников, видя в этом перспективу их «помочи».

Будучи точно осведомлена о мельчайших подробностях служебной жизни сына, Т. И. Голицына предлагала ему не пренебрегать ее собственным житейским опытом, рассуждала в своих «эпистолиях» о том, «от кого помочи мало» – а от кого ее ждать, от «кого добра не будет»

– а кому и вовсе не следует «быть в схожих товарищах» с ее любимым Василием. На одно из замечаний В. В. Голицына (оно до нас не дошло, но, вероятно, этот государственный муж позволил себе посетовать на вмешательство мамы в сферу, далекую от ее компетенции) мать ответила: «Ты, мой свет, пишешь ко мне, что будто летось (в этом году. – Н. П.) от меня был в дураках! И ты, мой свет, от меня[-то] никогда не будешь в дураках, и я сама знаю, что де так» [97].

Воистину карьера этого политика, инициатора походов на Азов, символа мужественной рассудительности для его «полубовницы» – правительницы России царевны Софьи Алексеевны, предстает в ином свете, если принять во внимание участие в ней его «матери» – Т. И. Голицыной. Нежностей и особенной душевности в письмах Голицыных не найти, да и сама тематика (хозяйство, служба) не располагала, казалось бы, к ним; тем не менее они отличались непоказной откровенностью и живостью. Написанные с учетом принятых тогда правил, содержавшие определенные «клише» в зачинах и концовках, «эпистолии» Голицыных отличались тем не менее большим количеством «бытовых картинок», личных признаний и оценок, в которых частное «перетекало» в общественное. События, явления, происходившие в жизни известного деятеля и характеризующие ее общественную сторону, диффузно растворенную, переплетенную с проявлениями его индивидуальных интенций, переплавленные его честолюбием, амбициозностью и т. п., оказались в эпистолярной ситуации событиями и явлениями не только его судьбы, но и частной жизни его матери (ибо стали источником ее личных переживаний и раздумий). Приняв близко к сердцу очередные неприятности в жизни сына, Т. И. Голицына призналась в одном из писем: «Свет мой, ведаю то и сама: служба твоя – ... моя кончина» [98].

Насколько распространенной или, напротив, исключительной была подобная интенсивная и откровенная переписка между матерями и взрослыми сыновьями в России XVII в.? Судя по дошедшим до нас от того времени документам, письма родителей, в частности матерей, адресованные маленьким детям, были нечастыми, это направление в эпистолярном жанре еще только зарождалось. Письма же взрослых сыновей матерям и матерей сыновьям в известной степени характеризовали эмоциональную близость между ними в течение нескольких столетий [99]. Однако эмоционально богатой, разнообразной, яркой переписка матерей и сыновей стала лишь во второй половине ХУП в. [100].

Взрослые дети считали нравственным долгом помнить о материнском доме, писать туда письма, интересоваться здоровьем «родительницы»: «Пожалуй, матушка [форма обращения к свекрови. – Н. П.], прикажи ко мне черкнуть, жива-ль мама и здорова ль она доехала...» [101]. Очень

выразительно признание царя Алексея Михайловича в одном из писем к матери: «А твоего день рожества по чину [мы] честно пиروвали, точию о том оскоблилися [были огорчены. – Н. П.], что лицом к лицу не видалися, но духом с тобою [мы] всегда нераздельны николи же» [102]. В те же годы было написано письмо И. И. Чаадаева своей племяннице, кнг. П. А. Хованской (к тому времени уже замужней и «матерой», то есть имеющей своих детей), в котором он поучал ее: «Милость свою к матери покажи, не забудь...», призывая ее почаще писать домой [103].

Современник семьи кн. Хованских, некий Ф. Д. Маслов, называл дом своей матери истинно «праведным» и просил маму почаще «писать про свое здоров [ь]я, а мне бы», – говорил он, – «слышать про твое здоров[ь]я, радоватца...» Ниже он сообщал, что «послал милости твоей икорки к сырной недели – извол[ь] кушат[ь] да радоват[ься]...» [104]. Однако, как и во все времена, старики родители и, особенно часто матери, ласково пеняли своим выросшим чадам за редкость писем: «Досадно мне, свет мой, что ты к нам не пишешь ни о чем...»; «что ты ко мне не пишешь про свое здоровье, а про мое не спрашиваешь, али тебе, свет мой, не надобна?» [105] (типичный упрек матерей к сыновьям, но не к дочерям и невесткам, отличавшимся, судя по письмам, большим вниманием в силу большего количества свободного времени, в отличие от сыновей, занятых на службе).

При чтении документов личной переписки XVII в. невольно возникает вопрос о соответствии целей и результатов материнского воспитания в России XVII в. Неудивительно, что у образованной, умной, наблюдательной, блестяще владевшей словом кн. Т. И. Голицыной вырос сын, сосредоточивший в своих руках руководство важнейшими государственными делами, причем сделал это, не принадлежа к царской фамилии. Другой пример «соответствия» дидактических интенции и «плодов воспитания» – поступок «выборного головы» г. Мурома Дружины Осорьина. Мать воспитала его в строгом уважении к нормам христианского благочестия, в стремлении быть милостивым и справедливым. Признательностью сына матери за ее «труды добродетельны и подвиги» стала в 30 – 40-е гг. XVII в. инициированная Дружиной запись биографии Ульянии в литературной форме, близкой к агиографической [106]. Сын окружил мать – обычную женщину, мирянку – идеалом святости, выражая тем самым благоговейное почтение к ее замечательным душевным качествам.

Многочисленные источники свидетельствуют, что основные моральные, а также религиозные нормы усваивались детьми именно в общении с матерью. Примеров тому можно найти немало – и в агиографии, да и в других нарративных памятниках [107]. Есть они и в поучениях детям, написанных старообрядцами, например, Аввакумом («не обленись, жена, детей понужати к молитве»), а также его «дщерью

духовной» Е. П. Урусовой («не резвися, имей чистоту душевную и телесную, ведай, мой свет, блудники в огне вечно мучатся, и ты берегися от той погибели, буди кроток и смирен, буди со мной во единой вере истинной...») [108]. Любая мать в любом древнерусском литературном или фольклорном произведении требовала от «чада» «блустися» плотских наслаждений и «зело огорчалась», если ее «моление» и «епистолия» не доходили до адресата. Ни в одном письме, ни в одном литературном сюжете предпетровского времени не найти примеров того, чтобы мать склоняла ребенка к недостойному (в современном понимании этого слова) поступку [109]. Нет таких примеров и в судебных актах.

В реальной жизни каждая мать ежедневно стояла пред выбором «средств воздействия» на свое «чадо» и, вероятно, далеко не всегда предпочитала слово физическому наказанию. Педагогическая литература XI – XVII вв. такого выбора, однако, не давала, настаивая непременно на воспитании мудрым словом («Бий первее словом, а не жезлом» [110]) и «собственным образцом» («Уча учи нравом, а не словом» [111]). Многие образованные женщины, читавшие подобные поучения, проверяли эти педагогические методы на собственных детях. Так, уже упоминавшаяся выше раскольница Е. П. Урусова учила сына умению прощать и не держать в душе «тяготы» в ответ на недостойное поведение его родителя и своего бывшего мужа. Она умоляла «Васеньку» простить решившего второй раз жениться отца и «возлюбить» мачеху, а о себе писала: «меня на нерекай уш себе матерью, уш я не мать тебе, буде ты возлюбишь нынешнюю, новую» [112]. В письмах этой женщины не было ни самоуничижения, ни радости страдания: она умела сама быть великодушной и советовала учиться прощать сыну, велев ему «возлюбить» новую мать. Но нельзя не учитывать другого: сама Е. П. Урусова собственный выбор сделала, предпочтя отдать себя целиком служению божественной идее, а не ребенку, и отказалась даже от наречения себя матерью.

В «Повести о семи мудрецах», созданной современником (или современницей?) Е. П. Урусовой, представлен не житийный идеал, но житейски умудренная женщина, которая также учила дочь умению сопереживать и не держать зла на мужа. По мнению матери в этой повести, прощение недостатков и проступков со стороны супругов должно укреплять их семейные отношения, получая в качестве основы искренность и доверие («искуси мужа своего виною, аще ли ты простит – и ты люби» [113]). Ту же тему материнской дидактики можно найти и в других источниках: она отражала стремление матерей учить дочек (часто уже взрослых, замужних) быть гибкими в ссорах, компромиссными с супругами и родственниками, даже если они «кручинны и немилостивы», уметь сохранять преданность и верность

семье, «и во веки тако» [114].

В то же время судебные документы XVII в. донесли до нас различные случаи внутрисемейных конфликтов, в которых тещи – матери взрослых дочерей – выступали не благолепными проповедницами смирения, терпения и прощения, а защитницами интересов своих дочек, готовыми и пригрозить, и добиться осуждения по закону, и даже «обавить» – напустить «кликотную и ломотную немочь» на зятьев, обижающих их «собинных» любимиц [115]. Судя по сообщению одного из судебных актов, зять был настолько напуган угрозами тещи, что не побоялся «внести сор из избы» и рассказать про семейный конфликт соседям. Та же тема защиты матерью благополучия дочери отражена в строке песни XVII в., грозящей «плохому» зятю проклятьем: «Коль ты ее покинешь – и сам же ты загинешь, с великия кручины...» [116].

Материнская педагогика XVII в. предполагала и такой метод воспитания, который словами источников можно назвать «смыслом благим»: церковная и светская педагогическая литература призывала матерей учить детей прислушиваться к внутреннему голосу совести и разума и отталкиваться от него, а не от «словес божиих почитаемых» [117]. Убежденность же в том, что черты «норова» человека формируются под влиянием устоев семьи, выразил в одном из писем «милостивой матери» царский окольный И. И. Чаадаев. Он писал домой, что не советует выдавать сестру за сына некоего Осипа, поскольку в самом отце «немного приятства, кроме вражды... не веселож», «да и сына чают, – утверждал он ниже, – что все в него ж будет...» [118] (т. е. «Яблочко от яблони недалеко падает»).

Матери учили своих чад умению ладить не только с родственниками, но и с другими домочадцами, слугами и, конечно, друг с другом – качеству, необходимому в их дальнейшей самостоятельной жизни [119]. О дружественных отношениях сестер с братьями немало говорилось и в летописях XII – XV вв., но в них не найти примеров редкостной душевности, характерной для XVII в. То же можно сказать и об эпистолярных памятниках [120]. Рано осиротевший царь Алексей Михайлович называл свою старшую сестру, царевну Ирину Михайловну, «мамушкой», выражая тем самым признательность за ее заботу [121]. В беде – «разорении», смерти близких – выросшие дети, братья и сестры, ожидали друг от друга помощи и участия. В частной жизни москвитов действовала сила родства, и нужда в ней особенно ощущалась в чрезвычайных обстоятельствах. «Хотя на час изволь отпустить ко мне сестру Агафью Ивановну, – просила у некоего Ф. Д. Маслова его "своячина" А. Стремоухова. – И чужие в таких бедах посещают, а она [что ж], меня не посетит в таком горе?...» [122].

Чувства родственной близости братьев и сестер друг к другу подчеркивались и формировались в семьях именно матерями,

«цементируя» семейно-родственные связи. Роль мудрого материнского воспитания в детях склонности к взаимоподдержке и заботе друг о друге легко выявляется по источникам [123]. «Буди ласков к сестрам и утешай их, и слушай их во всем, и не печаль их, и не досаждай им, буди ласков к ним, только у них и радости, что ты один», – просила одна из матерей, наставляя сына православно-этическими сентенциями. В другом письме мать наказывала и дочкам: «Любите друг друга и брата берегите, всему доброму учите, говорите ему ласково...» [124].

Но всегда ли подобные нравственные постулаты – любви, «тихости», послушания, целомудрия, внедряемые в детские души матерями, – воплощались выросшими чадами в жизнь? Семья семье рознь, так что и отношения, и судьбы матерей и детей складывались в них по-разному. Из судебных дел XVII в., которые почти никогда не упоминали о добродетелях, но зато подробно описывали пороки, известны примеры жестокого обращения сыновей с матерями («а свою мать бьют же, ругают и за косы таскают...») [125]. Примеры несоблюдения нравственных норм материнского воспитания содержали и фольклорная, и литературная традиции, приводя случаи разных жизненных невзгод, ожидающих «непокоривых чад».

Особенно выразительна в этом смысле стихотворная повесть «О Горе-Злочастии», главный герой которой пытался жить, как ему «любо есть», «забыв», что «мати ему наказывала». Мать учила героя этой повести «не ходить в пиры и братчины», «не прелщатся на добрых красных жен», бояться глупых, опасаться «поноса некчемного» (пустого доноительства), не «думать» украсть, ограбить, обмануть, лжесвидетельствовать и т. д. – и за это «молодцу» обещалось, что его «покрыет Бог ото всякого зла». Но «молодец» не внял увещаниям и пустился, что называется, во все тяжкие. В итоге – к нему «привязалось» Горе-Злая-Участь (Горе-Злочастие), он разорился, был обокраден, «ястикушати стало нечево», вынужден был отказаться от невесты, затем бежать в «чужу страну, далну, незнаему», но Горе-Злочастие всюду неотступно за ним следовало. Избавиться от этой напасти «молодец» смог, лишь приняв схиму [126]. Текст повести четко обрисовывал круг девиантных поступков и жизненных наказаний за них, могущий быть своеобразным «справочником» отклонений от обычного: разорение, голод, безбрачие, эмиграция. [127]

Мать в «Повести о Горе-Злочастии» представлена предугадывающей несчастную судьбу сына. Подобные отношения – иррациональную связь между матерью и ребенком – можно было бы отнести к проявлениям биологического в материнстве, видеть в ней выражение тесной связи между женщиной-матерью и ее «чадом», большую – по сравнению с отцом – эмоциональную зависимость, чувствительность. И если любовь и заботу матерей к родным детям некоторые социопсихологи относят к

проявлениям «биологического», то изъявление аналогичных чувств к приемышам – абсолютно социально [128]. Челобитные XVI – XVII вв. о подкинутых младенцах отражают сочувствие к ним, призыв «смиловатися» [129]. Наличие у матерей и бабушек любимчиков среди «примачек» говорит о равнодушии, об эмоциональной связи поколений, зиждившихся отнюдь не только на «зове крови» [130]. Стоит подчеркнуть, что эта тенденция не была рождена веком обмирщения, когда «старина с новизной перемешались»: еще в XIII в. волынский князь Владимир Василькович беспокоился о судьбе «приимачки» Изяславы, «иже взял бо есмь от матери в пеленах и вскормил», а затем «миловах аки свою дочь родимую» [131].

О том же говорят свидетельства особых отношений, складывавшихся между «чадами» и их воспитательницами («мамками») в княжеских и боярских семьях. «Мамки» не были биологическими родительницами, они лишь «пестовали» малышей. Но живая связь, возникавшая между ними и между их подопечными, подтверждала записанную в XVII в. пословицу: «Не та мать, что родила, а та, что вырастила». Привязанность детей к «мамкам» (кормилицам и воспитательницам) сохранялась в некоторых семьях на всю жизнь, замещая собой эмоциональную связь ребенка с родной матушкой (как то было у маленького Ивана Грозного с его мамкой, Аграфеной Челядниной, заменившей ему и рано умершего отца, и увлеченную государственными заботами мать) [132].

В памятниках XVII в. кормилицы часто изображались поверенными в делах своих воспитанников и воспитанниц, покровительствующими их любви, устраивающими свидания [133]. «Пожалуй, матушка, прикажи ко мне черкнуть, жива ли няня, верной наш тайный посол? – писала некая А. Г. Кровкова своей родственнице. – Всем от меня челобитье. Нянюшка [в другом письме выясняется ее имя – Ларивоновна, а также имя "мамушки" – Долматовна], забыла ты меня, не пишешь про свое здоровье!» В конце письма – приписка, где очень по-детски (между тем как автор его – замужняя женщина, жена М. О. Коврова) выражена просьба: «Пришли ко мне гостинцу, коврижичек...» [134]

Особую роль в «смягчении нравов», создании обстановки душевного тепла, сопереживания, проникновенности играли в русских семьях бабушки, от всего сердца «болезновавшие» о малых «чадах». (Ср. в пословицах: «Дочернины дети милее своих», «С моей бабусей никого не боюся: бабуся-щиток, кулачок-молоток».) [135] Внуков в великокняжеских семьях – особенно в случае военной угрозы – часто отправляли на воспитание к дедушке и бабушке, где они жили долгие годы [136]. Пребывание внуков у бабушек иногда исключало призыв этих выросших «деток» на государеву службу («я и отпросился: поход-де дальней, мне надеятца не на ково, бабушка меня не изволила и отпустить... [137]).

Длительное существование неразделенных семей, являющееся отличительной чертой развития семейных структур в России по сравнению с Западной Европой [138], способствовало сохранению значительной роли в них пожилых женщин. Немало содействовал тому и культ предков: согласно народным верованиям, духи умерших родственников покровительствовали внукам [139], оберегали их, а внуки, в свою очередь, должны были «ревновать» (восхищаться, воспевать) тех, кто был до них. Нарративные и фольклорные источники свидетельствуют, что бабушки относились к малым детям даже с большим вниманием и заботой, нежели утомленные повседневным нелегким трудом матери [140]. Бабушки – в отличие от матерей – в силу возраста были лишены значительной части личных интересов, а потому жили в нравственном отношении «благочестиво». Отсутствие упоминаний об отношении бабушек и внуков (внучек) в более ранние эпохи может быть связано с тем, что в домосковское время многие бабушки до своих внуков просто не доживали, так как продолжительность жизни была очень короткой [141].

В переписке XVII в. упоминания о бабушках весьма часты. Нередко о них говорится в связи с посылкой гостинцев и подарков внукам, свидетельствующих о том, что старые женщины хорошо знали вкусы «малых ребят» («послала Андрюшеньке да Наташеньке восемь игрушечек сахарных, чтобы им тешиться на здоровье. Не покручинься, надежда моя, что немного» [142]).

Выросшие женатые внуки предпочитали в ряде обстоятельств (оброчные льготы!) проживать с матерями и бабушками по матери [143]. Еще в «Житии Михаила Клопского» (конец XV – первая треть XVI в.) была обрисована ситуация, в которой возмужавший герой, посадник Немир, полностью доверявший в своих политико-административных делах лишь «пратеце Евфросинье» (то есть бабушке его жены), ездил к ней советоваться в монастырь, пренебрегая при этом иронией окружающих, подсмеивавшихся над тем, что он «думает ж жонками» [144]. В письмах женщин конца XVII в. упоминания о совместном житье внуков с бабушками [145] попадают еще чаще, подтверждается это и актовым материалом [146].

Взрослые, женатые внуки, находившиеся на «государевой службе», как то видно из сохранившихся писем, зачастую оказывались в эмоциональной зависимости от окружавших их пожилых женщин, в частности – бабушек, от их мнения или совета. Приведем еще раз пример из писем дворянской семьи Пазухиных (конец XVII в.). Там есть послания С. И. Пазухина дочери У. С. Пазухиной, в которых он выражал беспокойство тем, «што бабушка гневается» на него за то, что он неправильно провел кое-какие сделки. Дочь горячо уверяла отца, что это его домыслы, что «бабушка и матушка [лишь] с печали сокрушаются»,



а не «гневаются» (и, кстати, предлагала для «снятия конфликта» купить «бабушке башмачки»). Здесь примечательна эмоциональная оценка родственных связей [147], а также воспитанное в детях уважение к старшим.

Подводя итоги вышесказанному – роли материнства и материнского воспитания в частной жизни женщин Древней Руси X - XV вв. и Московии XVI - XVII вв., - следует отметить, что поддержание теплых, эмоциональных отношений в русских семьях допетровского времени являлось значимой и важной составляющей повседневного быта и эмоциональной жизни представительниц всех социальных слоев. Несомненно, что отношение самих женщин к выполнению ими их, как полагала церковь, предназначения – быть матерью – в разных семьях (неразделенных и малых, городских и сельских, зажиточных и бедных) в разные периоды истории было амбивалентным: и само вынашивание детей, и, тем более, рождение и воспитание их считались и благом, и тяжелой обязанностью.

Поскольку многочадие в допетровской Руси выступало как категория «общественной необходимости», частная жизнь в этом вопросе выходила за рамки личных взаимоотношений людей. Многодетность обеспечивала сохранение и приумножение фамильной собственности, передачу родового имени, гарантировала воспроизводство. И православная церковь, и народный обычай с равным упорством формировали идеал женщины – многодетной матери, для которой рождение и воспитание детей были подчас единственно возможной формой самореализации.

Буквально вся частная жизнь женщины допетровского времени была сосредоточена на детях. И если представительницы аристократии, родив своих «чад», могли отдать их в дальнейшем на руки кормилицам, то на матерях из среды «простецов» с первого дня рождения ребенка лежали обязанности по вскармливанию, выхаживанию, ограждению от заболеваний, воспитанию. Представления о материнском воспитании, о его содержании и эмоциональной окраске менялись от столетия к столетию медленно, но неуклонно. При этом X – XV вв. характеризовались сосуществованием и некоторого «небрежения» к ребенку, предоставляющего ему и матери большую «свободу», с «запретительной» тенденцией. Церковь активно вмешивалась в частную жизнь женщин и материнское воспитание, настаивая на внедрении с детства постулатов православной этики. В то же время и светская и церковная традиции в равной степени возвеличивали и, можно сказать, поэтизировали воспитательные функции женщины-матери, в равной мере способствуя выработке своеобразной «нормы» в межличностных детско-родительских связях.

Нравственный и культурный облик женщин и вообще людей

средневековья и раннего Нового времени, как мы его представляем сейчас, складывался в сфере частной жизни. Человек мог не занимать ни постов, ни должностей, не участвовать ни в каких политических баталиях, но иметь семью, круг соседей, размышлять о приземленном или вечном – и все это в пределах сферы его личного обособления, быть может, не всегда осознаваемой. Поэтому частная жизнь отдельного индивида, конкретной женщины могла быть и сугубо интимной, и связанной с социальными процессами и явлениями. В любом случае, однако, роль контитуитета отношений с матерью – в детстве ли или во взрослом возрасте – в рамках частной (семейной) жизни, оказывавших влияние на формирование вначале взглядов на мир, а затем на проверку их «соответствия» сложившимся представлениям – была очень велика. Это утверждение можно признать верным с учетом фактора социальной среды (ибо в семьях «простецов» воспитание детей происходило стихийно, во время труда и досуга, а в семьях аристократии этот процесс благодаря дидактической литературе направлялся православными идеологами). Имела значение и форма органической группы (семья, род, клан), к которым принадлежали мать и ее ребенок.

Определенная стабильность позитивной динамики развития частной сферы жизни древних русов и московитов, если судить по истории материнства, была связана с особенностями русской семейной организации, характеризовавшейся явной устойчивостью межпоколенных связей, значительной ролью старших женщин в доме (бабушек), уважительным и внимательным к ним отношением со стороны детей и внуков. Это особенно хорошо прослеживается на поздних (XVII в.) материалах. В педагогике матерей и бабушек объединялись постулаты православия и народные традиции, и таким образом – опять-таки в частной сфере – церковный идеал превращался в народно-религиозный. Постепенно, но не ранее конца ХУЛ в., на передний план в материнском воспитании, в отношениях матери и детей и, следовательно, в частной жизни всех женщин выдвинулись факторы личностно-эмоциональные, которые как «элементы», как «ростки» существовали и ранее, когда материнская любовь была, можно сказать, делом индивидуального усмотрения и социально вероятным, хотя, возможно, и не слишком распространенным явлением (X – XV вв.).

Отношения матерей и детей в Древней Руси и в Московии XVI – XVII вв. приобретали определенную индивидуально-личную остроту в конфликтных ситуациях, которые могли быть вызваны нарушением детьми общепринятых норм (нравственных или, например, какими-то проступками в сфере уголовного права), а также неординарностью ситуации (например, в случае редкого, но все же случавшегося в XVII в. развода родителей или когда в семье, бывшей долго бездетной, наконец появлялся ребенок). Впрочем, и примеры бесконфликтного развития

отношений между матерями и детьми в Московии XVII в. позволяют прийти к выводу о том, что уже в то время «нормой» постепенно становились внимательные, доверительные и уважительные отношения между родительницами и их «чадами».

Увеличение удельного веса эмоциональности в семейно-родственных отношениях шло параллельно с процессами обмирщения духовной сферы, ростом значимости и ценности частных, личных переживаний, появлением характерных черт индивидуализма и гуманизма. Можно полагать, что развитие этих процессов влекло за собой большую «социальность» в биосоциальных отношениях матерей и детей, их большую осознанность и глубину, ответственность друг за друга, а это, в свою очередь, являлось свидетельством теснейшей связи материнской дидактики с общими ориентациями культуры, с межпоколенной трансмиссией ее традиций и ценностей.

#### IV

#### **«ДОБРУЮ ЖЕНУ НЕУДОБЬ ОБРЕСТИ...»**

#### ***Супружеская роль в частной жизни женщины в X-XVII вв.***

Роль женщины в древнерусской семье и семье раннего Нового времени (XVI – XVII вв.) не исчерпывалась только ролью домохозяйки и матери. Немалое значение в ее частной жизни имело само супружество и, следовательно, выполнение женщиной функций жены, стремление ее быть женой доброй. Противопоставление злой и доброй жены прошло буквально «красной нитью» через все средневековье и сохранилось в Новое время вместе с неисчислимым количеством всевозможных «слов» и «бесед», «поучений» и проповедей на эту тему. Казалось бы, подобный сюжет – не более чем общехристианский топос, к тому же хорошо изученный! Однако сквозь дидактические тексты православных компиляторов можно разглядеть детали жизни реальных женщин того времени. Разумеется, православные проповедники были прежде всего обличителями пороков, не склонными анализировать действительную ситуацию и уж тем более реальные женские эмоции.

Однако пристальный анализ церковных текстов, касающихся описаний добрых и злых жен, позволяет заметить постепенные изменения, обусловленные динамикой формирования и, можно сказать, «усложнения идеалов», определенной сменой акцентов. Рассмотрение литературной эволюции образов доброй и злой жен проливает свет на историю изменений в умонастроениях людей, живших за несколько веков до нас, в том числе – трансформации в отношении к частной сфере жизни, и в отношении к ней современников.

Известно, что православная концепция характеризовала добрую

жену прежде всего как женщину работающую, «страдающую», как хорошую хозяйку. Идеал супруги был ориентирован на женщину профессионально не занятую, но усердно работающую «по дому», которая к тому же «чада и челядь питает», «чинит медоточное житие» и «много користи» (выгоды. – Н. П.]. Даже в чистой стилизации литературных эпизодов, повествующих о работающих добрых женах, чувствовалось значение и ценность в семейной жизни того времени женщины житейски умудренной, умеющей «вести дом». С другой стороны, ориентируя на поиски доброй жены, учительная литература XII – XVII вв. ставила на первое место, конечно, не материальный фактор (семейное благополучие, достигнутое благодаря трудолюбию женщины), а факторы нравственно-идеологические. В первом ряду здесь была религиозность (добрая жена должна была быть «боящейся Бога», богобоязненной), далее следовал фактор социальный (от доброй жены ожидалось добровольное отречение от каких-либо дел вне семьи) и моральный: под доброй женой разумелась жена покорная («покоривая», «смирная», «тихая»), безоговорочно согласная на признание своей второстепенности по сравнению с мужем, а потому верная, преданная ему при любых обстоятельствах. Авторы церковных поучений исходили также из определенных эстетических представлений и ценностей (добрая жена рисовалась ими красивой внутренней красотой, «светом ума и тихости») [1].

Образы добрых жен в нарративных светских памятниках домонгольского и монгольского времени (X – XV вв.) не столь часты, как можно было бы думать. При этом все они статичны и прямолинейны. Частная жизнь выдающихся женщин Древней Руси, которые в силу свершенных ими «деяний» вполне могли бы считаться добрыми женами – от княгини Ольги до жены Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны – почти не поддается реконструкции. Все известные княгини и правительницы предстают в летописях как бы *en face* (как в ранней русской иконописи, где изображение лишено объема и перспективы) – в наиболее значительных поступках, символических и лаконичных высказываниях. Как это ни удивительно для женских образов, – долженствующих, казалось бы, быть более эмоциональными, – они изображены лишенными душевных терзаний (хотя и могущими испытывать муки телесные), вне какой-либо «психологии возраста», в каком-то идеальном, вневременном состоянии. Многие замечательные женщины выписаны яркими красками (в. кнг. Ольга, галицкая кнг. Всеволожая, черниговская кнг. Мария), но без тонов и полутонов, создающихся противоречиями внутреннего мира человека. Даже внешние индивидуальные свойства большинства летописных княгинь и княжон (в отличие от их мужей, отцов, сыновей) стерты. Их и домыслить-то сложно.

Как ни трудно было воссоздавать психологические характеристики древнерусских правителей – это все же оказалось возможным [2]. Проникнуть же в мир индивидуальных интересов их жен нельзя: в летописях они буквально «невидимы», так как однохарактерны [3]. У всех достойных подражания русских князей, если судить по летописям, в семье был полный лад, «любое велика», и ни одна злая жена своими поступками и норовом не подпортила им «характеристики». Читатель должен был полагать, что каждому «хорошему» князю, наделенному врожденным капиталом добродетелей, автоматически удавалось обрести и добрую жену, которую церковные поучения именовали «венцом мужу», его «веселием» и «чястью блага» [4]. Летописцам удавалось поразительным образом не «проговариваться», не сообщать подробностей личной жизни этих добрых жен. Нет сомнения, что для идеала любви, прекрасного вымысла о беспрекословном смирении, верности и самопожертвовании было мало места в трезвых материальных и политических расчетах русского средневековья, причем в среде аристократии (о которой и шла речь в летописях) – особенно. Но именно этот идеал летописцы и заставляли переживать, создавая образы и образцы ирреально-благостной, одухотворенной любви.

Отфильтровав факты реальной жизни, авторы летописей и литературных произведений XI – XIII вв. оставляли для потомков лишь то, что нуждалось в прославлении и повторении. Поэтому частная жизнь добрых жен во всех древнерусских летописных текстах – это не фиксация деталей индивидуальных судеб, а образно-символическая конструкция определенных идей – нежной заботливости («велику любовь имеяше с князем своим, ревнующи отцю своему») или, например, проникновенного понимания государственных тревог находившихся рядом мужчин («сдумав со княгинею своею и не поведав сего мужем своим лепшим думы») [5].

Матери, жены, сестры запечатлены помогающими сыновьям, мужьям, братьям, скорбящими о них («и плакася о нем мати его, и вси люди пожалиша си по нем повелику»), принимающими постриг вслед за ними («видивше княгиня его приимши мниший чин, и пострижесе сама»), оплакивающими их после смерти (воспринимающими смерть в бою с врагами как должное и предпочитающими смерть плену и бесчестью – как Евпраксия Рязанская, которая, узнав о смерти мужа, «ринуся из превысокого храма своего с сыном на средю земли и заразися до смерти»). В свою очередь, князья изображались проявляющими великодушное уважение к помыслам и решениям их «милых лад» (например, волынский князь Владимир Василькович прямо выразил это в завещании, разрешая княгине своей «милрой Олго» поступать «как ей любо», «а мне, – заметил он, – не восставши смотреть, что кто имет

чинити по моем животе»). Но в большинстве случаев воспитывающе-воспевающий стиль летописного «реализма» скрыл от нас мотивы тех или иных (зачастую героических) женских поступков, отношений к ним окружающих. Индивидуальное воспринималось как чужое. Чужое же – сознание, убеждения, побуждения – отрицалось составителями литературных и летописных памятников, поэтому и детали частной жизни, тем более жизни женской, никого не интересовали [6].

Памятников частной переписки эпохи средневековья дошло так мало, сохранность комплекса (берестяных грамот) столь удручающая, что возможность реконструировать женские характеры, обратившись к другим по характеру источникам, практически отсутствует. Из памятников личного происхождения сохранилось лишь несколько берестяных писем, позволяющих приблизиться к интимному миру женщин русского средневековья [7]. Их авторы не пытались анализировать охватившие их чувства; они, конечно, любили и страдали: вероятно, иначе, чем современные люди, но не менее остро. Два наиболее выразительных признания горожанок домосковской Руси, написанных на обрывках бересты, дают простор фантазии исследователя.

«Что за зло ты против меня имеешь, что ко мне не приходил? Если бы тебе было любо, ты бы вырвался и пришел. Никогда тебя не оставлю. Отпиши же мне...» – взывала безымянная новгородка XI в. «[Како ся разгоре сердце мое, и тело мое, и душа моя до тебе и до тела до твоего и до виду до тво]его, тако ся разгори сердце твое, и тело твое, и душа твоя до мене, и до тела до моего .и до виду до моего» – второй образец любовной записки, также, возможно, принадлежащий руке женщины уже XIV в. Выплеснувшиеся из искренних и нежных женских душ, эти послания были написаны не представительницами высокообразованной элиты, а простыми горожанками. Особенно потрясает по-женски беззащитная и в то же время литературно безукоризненная последняя фраза письма XI века: «Буде я тебя по своему неразумию задела, и ты почнешь насмехаться – судия тебе Бог и моя худость» [8]. Воистину, как бы ни наполняло «каждое время все ключевые понятия человеческой жизни, в том числе брак, любовь, счастье, своим неповторимым содержанием» [9], здесь сквозь частный случай мы пробиваемся к Личному, которое вечно [10].

Приведенные письма с их обезоруживающей откровенностью позволяют еще раз усомниться в том, что летописные панегирики добрым женам «отождествляли должное и сущее», хотя это и характерно для идеализирующих жанров литературы [11]. «Сущее», как следует из текста посланий, могло быть куда более эмоционально насыщенным, чем представляется после чтения летописей и других нарративных памятников. Но как почувствовать, «нащупать» его? Черты реальности,

мимолетные штрихи частной жизни женщин средневековой Руси, их отношений с близкими и далекими нашли отражение и в церковных учительных памятниках. Но не в лубочно-упрощенных образах добрых жен, а в образах жен злых, отразивших детали реального поведения, раскрывающих сложность женского «нрава», помыслов и поступков многочисленных «дщерей» и «женок». Изображая отступления от должного, всего того, что не попало на столбцы летописей, церковные дидактики стремились понять побудительные мотивы и причины поступков, и в этом стремлении проявлялась подлинная глубина и смелость психологических наблюдений.

Дихотомия средневекового сознания отразилась, как известно, в прямом противопоставлении злой жены ее антиподу – жене доброй. Технический арсенал ходячих представлений о злой жене позволял компиляторам назидательных текстов изображать ее весьма жизненной. В отличие от добрых жен, жен злых требовалось рисовать «пороздными» (т. е. праздными) – «потаковщицами» собственной «лености», о которой проповедники говорили, что она «гореи (хуже. – Н. П.) болезни». «Ленивые и сонливые», злые жены рисовались к тому же всегда безалаберными, не умеющими «беречь» и «вести» дом. Оба эти порока оказывались в концепции православных дидактиков тесно связанными с избранным злыми женами образом жизни – свободным и независимым. Свободным от моральных ограничений в сфере интимных отношений, как в браке, так и вне его (злые жены - «прелюбодейны и упьянчивы»); свободным – в отношении к собственной внешности (злая жена в «поучениях» и «словах» всегда красавица, знающая себе цену, да к тому же еще и «мажущаяся», «красящаяся»). Злые жены, полагали авторы поучений, всегда «не покор ивы» («владеют мужем», «не работав – работяг»), самостоятельны в суждениях («меют дерзновение глаголяить», «все корят, осуждают», они «хул я щии» и «закона не знающии»), сомнительно религиозны и даже стихийно атеистичны («ни священника чтят, ни Бога ся боят», «в церкви смеются», «глухи на спасение»), потенциально склонны к проявлениям социального протеста («великой пакости и великим исправлением») [12].

Нетрудно почувствовать, что образ злой жены и вообще тема женщины как олицетворения пороков потребовали от компиляторов средневековых текстов краткости, меткости, афористичности, вытекающих из острой психологической наблюдательности [13]. Чего стоит поучение «не стретай (не встречай) жены сничавы (красивой), отврати очи: любодаянъя бо жены во высоте очью (любодаяние женщины – в глубине ее глаз), невод – сердце ея, сети – уды ея, и ловление – беседы ея, осилы устенными (силками уст своих) заведет во блуд...» [14].

Главное, что пытались доказать церковные дидактики читателю их

сборников, – это наличие взаимосвязи между «пороками» женщин и тем главным, что могло нарушить устанавливаемые ими нормы поведения, то есть страстями – особыми наклонностями души, обладающими способностью к подавлению иных сторон человеческого «естества». Любые эмоции, вне зависимости от «знака» их психологической окраски (страх, гнев или любовь) [15], были объектом неустанной борьбы и церковных дидактиков, и писавших в их русле летописцев. Те, кто отличался неумением «чуять ся», «внимать се[бе]», «победить ся» – а женщин среди них было, если судить по филиппикам в адрес злых жен, чуть ли не большинство, – автоматически попадали под град осуждений. Женщины с их повышенной эмоциональностью представляли под пером православных дидактиков самыми «неустойчивыми», самыми частыми жертвами страстей [16]. Уже в XII в. Даниил Заточник заметил у злых жен гордость, зависть к чужому благополучию и красоте, честолюбие, склонность к изменам, злословие, лживость [17].

«Страстнбе состояние» женщины рисовалось церковнослужителям как ее занятость «тварным бытием», как одержимость им, полная в нем укорененность («защитница греха, людская смута, заводила всякой злобе, торговка плутоватая»). В этом усматривался отказ злых жен от Спасения. Мы не знаем большинства имен тех, с кого «списывались» женские пороки для создания образа злой жен [18]. Но то, что для современного человека предстает в характеристике ее как показатель самостоятельности и независимости («ни ученья слушает, ни церковника чтит, ни Бога ся боит, ни людей стыдит, но все укоряет и всех осуждает»), то для проповедников X – XIV вв. выглядело как рабство, как «плен страстей» (пороков), как «несвобода» индивида, чьи действия и поступки предсказуемы и просчитываемы [19]. Этимология слов «страстница» (XI в. – страдалница, несчастная), «страстотерпица» (слово «страсть» в его втором значении – ужас, кошмар [20]) содержит напоминание о той негативной оценке, которую православие давало женской (и вообще человеческой) эмоциональности, часто захватывавшей область гендерных отношений.

К концу XIV – XV в. в русской общественной и религиозной мысли появились тенденции к более углубленной разработке идеи «страсти», эмоционального «неспокойствия». В качестве орудия борьбы с ними служители церкви по-прежнему использовали слово: как обличительное, так и увещательное. Создававшие свои поучения церковные авторы стремились писать «невидимо на разумных скрыжалех сердечных», а не на «чувственных хартиах» [21] – но «женская тема» была слишком раздражающим и одновременно слишком значительным сюжетом. Вполне вероятно, что причиной тому явилось учащение случаев прямого вмешательства женщин в сферу мужского господства – политику [22]. И хотя описание женской индивидуальности



по-прежнему ограничивалось отнесением ее в одну из двух категорий (доброй или злой жены), тем не менее авторы XIV – XV вв., впервые «заглянувшие» во внутренний мир своих героинь, сделали первую попытку понять, а где возможно – объяснить, их переживания, хотя бы даже «женской слабостью» [23].

Рожденные этим стремлением психологические построения выдающегося церковно-политического деятеля конца XV в. Нила Сорского о иерархически подчиненных «периодах» развития страсти («прилог» – простое влечение, которое является началом «помыслу», «сочетание», «сложение», «пленение» и собственно «страстное вжеление») [24] подводили итог раздумьям на эту тему современников. И переводы греческих текстов («Девгениева деянья» с его ярким, запоминающимся образом Стратиговны), и оригинальные русские тексты того времени («Слово о житии в. кн. Дмитрия Ивановича» с плачем Евдокии, а также «Житие Сергия Радонежского», запечатлевшее образ матери святого, Марии) отобразили желание «изречь неизречаемое», выразить словесно многообразие настроений и душевных движений, их саморазвитие [25] и таким образом вызвать у читателей если не симпатию, то по крайней мере эмпатию («вчувствование»). Это и позволяет приоткрыть завесу над духовным и душевным миром некоторых представительниц образованной части русского общества – в той мере, в какой он виделся авторам житий, «повестей» и «слов» того времени.

Одной из главных черт душевного мира русской женщины «на пороге Нового времени» – как и человека вообще – была и оставалась в XVI – XVII вв. повышенная эмоциональность. То, с чем продолжали борьбу церковные дидактики, оказалось неискоренимым. Но экспрессивность действий героинь уже не затушевывалась, а даже подчеркивалась в литературе длинными речами (плач Евдокии занимает в «слове» несколько страниц). Правда, считать эти «речи» княгинь проявлениями их характеров, а тем более вообще женской индивидуальности, было бы большой натяжкой.

Склонностью к аффектации отличались не только сами княгини, попавшие на страницы литературных произведений, плачущие, многословно восклицающие, живописующие «буйными словесы» свои патриотические или родственные чувства, но и те, кто эти эмоции записал и донес до нас (а это, кстати сказать, были в основном мужчины). Отчасти учительные тексты и созданная в их «ключе» светская литература были призваны разряжать высокий накал страстей, заставляя читателей сопереживать душевным мукам жен, отправлявших супругов на войну с «супостатами», оплакивавших их в случае смерти. Подобные сюжеты (за неимением каких-либо описаний повседневной любви, ласки и семейного благополучия) оказывались «соединительной

тканью» между идеалом и реальностью, содержа «штрихи», «вкрапления» деталей частной жизни женщин XIV - XV вв.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

Исключительная выразительность и точность слова, сила родственного чувства и любви к отчей земле, приписанные автором «Сказания о Мамаевом побоище» московской княгине, «проводы деяющей» («победи супротивных супостатов», «не сотвори так же, как раньше, когда великая битва русских князей на Калках») [26], сравнения погибшего мужа с затравленным и раненым зверем («подобие и о тебе ныне збысться, великий княже: бысть яко медведь ловит тя, напряже лук свой, и постави тя яко знамение на стреляние») [27], неутешные рыдания и одновременно высокая оценка социальной значимости «деяний» супруга («многы страны примирил еси и многы победы показал») [28] в силу их повторяемости в разных литературных памятниках [29] наводят на мысль о топосе, однако в тексте «плачей» много личного. При существовании определенных норм обращения к мужьям («мой свет», «мой господине») в текстах попадаются и иные, полные удивительной нежности: «сыкровище живота моего», «животе мой драгий (жизнь моя бесценная. – Н. П.)», «месяц мой светлый», «свете мой светлый». В экспрессивных восклицаниях вдов («горким гласом, огненыя слезы от очию испущающи, утробою распаяющи, в перси своими руками бьющи») нам не найти упоминаний об их чувственном «прилоге» к погибшим, но есть очень личные слова об объятиях («како ты обойму...»). Отношение русских княгинь к супругам исчерпывается исключительно платонической любовью, зато какой! Телесное совокупление, если верить агиографам того времени, было для них просто излишним: «Любовнику душа – в теле любимаго, обеима едина душа бе две теле носяще...» [30].

Тесно примыкающее к платонической любви чувство умиления близким человеком – еще одна краска в палитре эмоциональных состояний женщин предмосковского времени [31]. В восхищении красотой, «нравом», благочестием, «деяниями» мужа или сына, вложенном именно в женские уста автором «литературной обработки» эпизодов, случившихся в действительности, выразилось стремление сделать их более «жизненными» и правдоподобными.

Умиление близкими и платоническая любовь к ним опосредовывались в душах женщин того времени определенной эмоционально-нравственной атмосферой православного мироощущения, в которой ведущую роль играла преданность Богу (с характерными для нее эмоциями «трепета», «страха», «удивления», «ужаса» [32]). «Проработанность» деталей отношений героинь с их супругами (или женихами, сыновьями), как они представлены в литературных (светских, церковных) произведениях, объясняется стремлением авторов текстов приблизиться к пониманию сложного

переплетения «душевного» и «духовного», как их различал и представлял Иоанн Дамаскин. Именно он говорил о позволительности «благого прилога» и отрицал «любовь без смирения и страха», требовал «помыслы на полезный переводити» [33]. «Любовнось» в смысле направленности на другую личность благодаря «страху божию» должна была в идеале быть переплавлена в «радушное участие», в наслаждение самоотвержением, которое считалось ступенью «богоподобия».

Оценка реальных жизненных поступков некоторых выдающихся женщин и их характеров, частные детали и акценты, выделяющие их судьбы, могли при этом весьма отличаться друг от друга в разных исторических памятниках. Так, приоритеты частной жизни в кнг. московской Евдокии Дмитриевны (? – 1407) совершенно по-разному представлены «Словом о житии Дмитрия Донского», где она изображена готовой на немедленное самоубийство из-за смерти мужа («вкупе жих с тобою, вкупе и умру»), и летописью, подчеркнувшей, что княгиня далеко не сразу приняла даже постриг, так как вполне мирски, житейски чувствовала ответственность за судьбу детей [34]. Любопытна и неожиданная проговорка в тексте «Сказания» о супруге Дмитрия Донского: для нее, сравнительно рано овдовевшей, сохранение верности памяти умершего мужа рассматривалось как «изнурение плоти воздержанием» [35].

В разных по происхождению источниках по-разному рисуются и детали личной жизни, например, тверской княгини Ксении Юрьевны, жившей в конце XIII в. В источниках можно найти самые полярные ее характеристики: от «богомудрой» и благочестивой матери-воспитательницы кн. Михаила, научившей его «святым книгам» (мальчик родился уже после смерти отца, и мать была для него всем), от женщины, целиком «ориентированной» на семью и не имевшей личных амбиций, V до хитровой героини «Повести о Тверском Отроче монастыре» (созданной, правда, в ХУП в.), где Ксения была представлена удачливой и дальновидной невестой, выбравшей богатого жениха и отвергшейся от брака с неродовитым «отроком» [36].

Но даже в тексте одного и того же памятника, в абрисе той или иной женской индивидуальности в XV – XVI вв. стали проявляться удивительно сложные (для того времени) психологические рефлексии. При столкновении искренних, живых эмоций (влюбленности) с каноном чувствования, возможным лишь по отношению к божественному, женская душа представала в удивительном, по сути – оксюмороном [37] сплаве душевных переживаний. Пример тому – событие, приключившееся с героиней «Девгениего деяния»: «И слышавши того гласа, дева бысть ужасна и трепетна (обычно это эмоции "исполненности" "страхом божиим". – Н. П.), к оконцу приниче – и узре Девгения и вселися в ню любовь», о которой она позже пожаловалась:

«ум ми исхити...» [38].

Страсти в жизни людей (и женщин особенно), как были вынуждены с сожалением признать церковные и светские авторы, не исчезли ко времени «полной победы» православного мировоззрения, не исчезли, но, напротив, приобрели необычайную экспрессивность [39] и еще большую полярность. На одной стороне продолжали концентрироваться благочестие, нищелюбие и милосивость, вера, смирение и преданность, на другой – гнев, зависть, гордость, уныние и все «сласти житейская» [40]. Как и в домонгольское время, «хорошему» правителю «полагалась» смиренная и верная жена, которая должна была «подъукрадовати страсти» [41], а «хорошей» стране «зело разумна и мужествена властодержица», предпочитающая не выходить замуж («не посягну присовокупитися мужеви»), чтобы «попечение велие» иметь не о себе, а о «народе» [42] (какой сплав «приватного» и «публичного»!). Напротив, неумение «разуметь ся», как и ранее, осуждалось. Для человека, наделенного административной властью – внушали проповедники, – предосудительно любое «скорбие», чем бы оно ни было вызвано. Пример тому – переводная греческая повесть «Александрия», в которой «скорбие» жены правителя изображено как ее недостаток, хотя причиной ее было бесплодие («смущаще царьскую славу и богатство») [43].

Утверждение стиля «психологической умиротворенности» XV в. [44], неоспоримо связанного с распространением на Руси исихазма (учения о возможности слияния, безмолвной и тихой исихии человека с Богом), способствовало воплощению в литературе и живописи соответствующих женских образов. Выше уже говорилось о сюжетах золототкачества и их аналогах в литературе. Новый художественный подход и литературный прием были очередными попытками погасить или хотя бы приглушить внутреннюю активность женщин причащением к подобным образам и формам жизнедеятельности. Ведь XV – первая половина XVI в. – эпоха, родившая целую плеяду блистательных и образованных политических деятельниц и правительниц (Софья Витовтовна, Мария Ярославна, Софья Палеолог, Анна Васильевна рязанская, Марфа Борецкая, Елена Ивановна и, наконец, Елена Глинская).

Подробности их частной жизни – такая же тайна для нас, как переживания и чувства их предшественниц X – XIV вв. Ни писем, ни автобиографий от них не дошло. Однако светские литературные и некоторые типы церковных памятников позволяют представить ту духовную атмосферу, те умонастроения, которые создавали «ментальную ауру» деятельности этих «женских личностей».

Примечательно, что дидактические памятники XVI в. зафиксировали – в описаниях, правда, злых жен как более характерных героинь – новую черту в поведении женщин, в мотивации их поступков: стремление к

обладанию положительным имиджем в глазах окружающих, небезразличие к оценке их действий в кругу общения: «Хочет убо жена, дабы въси [её] хвалили, любили и почитали. Аще ли иную похваляют – то она возненавидит и вменяет в недружбу. И всегда хочет ведати и поучати и умети. Аще же не умеет и не знает, глаголет: умею и знаю!» В этой короткой зарисовке – отголоски новых интенций, характерных для «женской личности» эпохи становления российского «самодержавства»: желание не только «быть», но и «слыть», ревностное соперничество, стремление к преобладанию, главенству [45]. Все эти черты характеризовали личностное начало, так называемую «бытийную динамику» [46]. Тема достоинства человека, его права на выбор собственного пути («самовластия», свободы его души), прозвучавшая в творениях некоторых восточнославянских писателей конца XV – XVI в. [47], могла бы быть отнесена и к женщинам, однако далеко не все из авторов, точнее – редкие из них, ставили вопрос о праве женщины на самостоятельное чувство.

Тем не менее идея «духовного разума» – живой частицы божественной истины в каждом человеке [48] – прямо коснулась оценки возможности духовного раскрепощения женщины при сохранении ею «боголюбия». Такой спектр эмоциональных связей показали «Повесть о Петре и Февронии» и современные ей литературные произведения, отразив новые нюансы идеальных отношений женщин с их близкими (мужьями). Именно тогда в православной дидактике произошло некоторое отступление от идеи «второсортности» женщины, казавшееся поначалу неслыханно новым, почти еретическим. Особую роль в этом сыграли произведения православного публициста XVI в. Ермолая-Еразма – автора «Повести о Петре и Февронии» и еще нескольких сочинений, в которых он «неизменно выступал против бесчестования и умаления женщины» [49]. «И женеск бо пол чловецы наричутся, – писал он. – Яко же миру без муж не-возможну быта, тако и без жен» [50].

Смена акцентов: с безоговорочного осуждения или пренебрежения, «незамечания» женщин – к усилению пропаганды их роли как жен и матерей, с фиксирования биографий одних только выдающихся «жен» земли Русской, к пробуждению интереса к простым, ничем не примечательным «женским личностям», интересным лишь своей характерностью для эпохи – была вызвана не гуманизацией культуры (хотя такие предположения высказывались) [51] или, по крайней мере, не только ею. В эпоху Грозного и Годунова странно было бы ожидать утверждения гуманистических идей. Чувственные проявления любви у представителей иных культур как вызывали осуждение у видевших их «москвитов» в XV в. [52], так и продолжали критиковаться россиянами много позже (и в XVIII в.). Переориентация православных проповедей с идей аскетизма на идеи целомудренного брака [53], с запрета женщинам

«тешиться до своей любви» и кар за любое «ласкательство» – на воспитание умения отличать богопротивные желания (например, «удовольствия» [54]) от разрешенных, допускаемых во имя чадородия и многочадия, – была связана с молчаливым признанием «неисправимости» женщин и человека вообще и в то же время – с желанием вовлечь даже злых жен в лоно православного вероучения. Именно таким путем рождался идеал «простой жизни» с ее радостями умеренности, здоровья, труда и супружеской любви, не обремененной волнениями и «хотениями».

Отсутствие эпистолярных или автобиографических источников, исходящих от женщин XV – XVI вв. (за исключением царской переписки) [55] – серьезное препятствие в реконструкции их частной жизни. И все же литературные памятники позволяют почувствовать, насколько «объемнее» и сложнее стали образы добрых жен, отношение к их частной жизни. В идеальных супругах их мужа – если верить летописцам и сочинителям авторизованных переводов греческих текстов – стали ценить не только «лепоту лица», «тихость», верность, но и «разум». Таков, например, герой «Александрии», который «безмерную красоту лица ее (Роксаны. – Н. П.) видех», оказался «прельщен» не столько ею, сколько «женскою мыслию устрелен бысть» [56]. Феврония в ранних вариантах известной повести была представлена «в простоте» и «всей лепоты» лишенной. В поздних списках это недоразумение было снято переписчиками, и она стала изображаться, «цветящей душевною добротою», «со многим разумом». В загадках Февронии («Сего ли не разумеешь?») стало просматриваться фольклорное озорство Василисы Премудрой [57]. Успех в предпринимательских делах некоторых житейных героев-мужчин в посадских повестях оказался увязанным с тем, что они «думали ж жонками» [58].

В текстах переводных повестей, ставших самостоятельными в силу интерполяций авторских ремарок и фольклорной мудрости, распространялась (прямо противоречащая сентенциям Заточника и «слов») идея «соблюдения» государства с помощью «изрядной и мудрой жены». Тем самым решительно отрицалось прежнее утверждение о том, что будто бы «женам несть лепо в мужские вещи входить» [59] и что «высокоумие» женщины является ее «погрешением» [60]. И если в летописях домосков-ского времени жены князей чаще всего отличались «невмешательством» в их государственные дела, то в исторических повестях XVI в. развился и углубился мотив «положительного», благотворного влияния женщины на мужа-политика (например, кнг. Анастасии Романовой на своего мужа, Ивана IV, которого она «на всякия добродетели наставляя и приводя») [61]. Симптоматично, что русский переводчик западноевропейских новелл о «хитростях женских» (XVII в.) оставил в стороне все сюжеты, в которых говорилось о женской

глупости [62].

Разум как путь к «мысленному согласию», а последнее – как предпосылка любви, в том числе любви супружеской [«от вражды бо любовь произойти не может, любовь бо от мысленного согласия начало водит»; [63] «не дружися, чадо, с глупыми, немудрыми» [64]], заставляли внести коррективы в прежние представления об отношениях мужа и жены, о семейной иерархии, о содержании самого понятия «любы» (любовь). Значение «разума» и «премудрости, еже давая Бог» в частной жизни не только благоразумных добрых жен, но и «блудниц», «сожителниц мужей непотребных», стало подчеркиваться составителями популярных в городской среде «повестей» и переводных новелл в сюжетах о «покупках» разума [65].

В древнерусском языке под «любовью» разумелись обычно привязанность, благосклонность, мир, согласие. Никакого чувственного смысла в это слово не вкладывалось, как и в слово «ласка», подразумевавшее лесть, милость, благодеяние, но не акт любовных действий [66]. Не было в русском языке и слова «нежность» в современном нам значении: первые употребления зафиксированы лишь во второй половине XVII в., равно как и проявление чувственного оттенка в словах «ласкота», «ласкати» («лащу») [67]. Для выражения чувственных отношений между мужчиной и женщиной в древнерусском языке существовали иные понятия, которые никогда не употреблялись летописцами в характеристиках отношений между супругами: «любосластвовать», «любоплотовати» (с XI в.) – получать чувственное наслаждение [68], «дрочити» [69] – нежить или находиться в ласке у кого-либо («дроченами» называли неженку без различия пола [70]. Существенная разница имела и между понятиями «поцелуй» (откорня цел благопожелания быть целым и здоровым, поцелуи чаще всего были ритуально-этикетными) и «лобзанье» (от «лобъзь» губа) – о последнем дидактические тексты если и вспоминали, то с осуждением [71]. Все свидетельства «любви» между супругами в княжеской среде, относящиеся к периоду до середины – конца XVI в., – весьма слабое доказательство «любви» между ними в современном нам понимании, но, они, безусловно, доказывают наличие согласия в их семьях, их (по крайней мере внешней) малой конфликтности.

В памятниках церковного происхождения, относящихся к домосковской Руси, не было описаний любовных отношений (даже в осуждающем тоне), хотя злые жены и представлялись поглощенными «похотью богомерзкой», «любодеицами» и «блудницами», для которых «любы телесная» рисовались более существенными, нежели духовная основа брачного союза [72]. Но трудно даже предположить, что интимные удовольствия не имели огромного значения в частной жизни женщин того времени. При общей бедности духовных запросов,



непродолжительности досуга, неубедительности нравственных ориентиров, предлагаемых церковнослужителями в качестве жизненного «стержня», физические удовольствия были для многих женщин едва ли не первой ценностью. «Любы телесныя» в этом смысле мало отличались от желания досыта наесться [73].

В конце же XVII в. в церковных и светских памятниках появились описания [74] чувственных отношений между людьми, которых не было раньше [75]. Едва ли не первым произведением русской литературы, щедро и зримо обрисовавшим любовную историю, была «Повесть о Савве Грудцине». Юный герой ее был представлен объектом соблазнения опытной женщиной – «третьим браком приведенной» купчихой, женой некоего Бажена, приятеля отца Саввы. Впервые в светской, а не в назидательной церковной литературе отобразились сложные чувственные переживания, став облагораживающим возвышением любопытства и пересудов до уровня литературной формы.

Ранее (и буквально «от веку») главным образом церковные дидактики настаивали на том, что женщины более сексуальны, нежели мужчины [76], и что в браке (а также вне его!) именно «жены мужей оболцают, яко болванов» [77]. Литература XVII в. продемонстрировала «усвоенность» подобных идей паствой: автор повести не скупился на эпитеты «скверного блуда» жены Бажена из «Повести о Савве Грудцине». Между тем сами компиляторы церковных учительных сборников несколько смягчили критическую сторону своих проповедей – во имя новых задач, и прежде всего – во имя идеи целомудренного супружества.

Это «смягчение» выразилось в постепенном «размывании» границ образов доброй и злой жены. Женофобские церковные сочинения по-прежнему подробно рисовали портреты обавниц (т. е. чаровниц)-еретиц, хитрых, блудливых и крадливых. Судебные акты о посягательстве на чужое имущество, челобитные с сообщениями о «приблуженных» детях, жалобы на чародейные, наузы, (колдовство) родственниц, дошедшие от XVI, а особенно от XVII в., подтверждают, что злые жены не были только плодом больного воображения церковных дидактиков. Не встречались лишь примеры одновременного присутствия у одной женщины, какой бы злой она ни была, всего сонма приписываемых злой жене пороков. Вполне добрая жена при экстремальных обстоятельствах – ущемлении ее достоинства (обиде, клевете, измене ей самой или ее близким, например, дочери) – могла, как замечали ее современники, обнаружить себя не терпеливым «агнцем», а злой женой.

Шагом к изменению представлений о женщине в XVII – начале XVIII в. стало признание допустимости ситуации, при которой безнравственный поступок совершался не «девкой-кощунницей», не коварной

обольстительницей, а мужчиной. Это можно обнаружить в «Сказании о молодце и девице» (XVII в.), построенном на сюжете совращения невинности прожженным сердцеедом. Вероятно, несмотря на разработанность законов, карающих за растление, а также массовость подобных примеров, случаев реальных наказаний за подобные проступки было в Московии не слишком много. Во всяком случае, автор «Сказания», равно как и сочинитель «Повести о Фроле Скобееве», меньше всего сочувствовали женщине («невзирая ни на какой ее страх») [78] и скрыто восторгались решимостью мужчин. Их половая активность, как это в целом типично для доиндустриальных обществ [79], была предметом столь же пристального внимания, что и воинские доблести. До женских ли тут было чувств!

С другой стороны, именно в литературе раннего Нового времени начало формироваться представление о существовании в среде «обышных» людей – мирян, а не иноков – женщин высокодуховных и высоконравственных. Начало этому процессу было положено хрестоматийным эпизодом «Повести о Петре и Февронии» с зачерпыванием воды по разные стороны лодки («едино естество женское есть»). Впервые в истории русской литературы назидание, касавшееся интимно-нравственных вопросов, оказалось вложенным в уста женщины. Сам же брак Петра и Февронии, окруженный в «Повести» массой мелких бытовых подробностей, создававших ощущение его «жизненности», достоверности, вырисовывался как образцовый (по церковным меркам) супружеский союз [80]. И союз этот был основан не на плотском влечении, а на рассудочном спокойствии, поддержке, верности и взаимопомощи [81]. На примере рационального поведения женщины – существа «по жизни» очень эмоционального – автор «Повести» добивался двойного эффекта: доказывал, что лишь «тот достоин есть дивленья, иже мога согрешите – и не согрешит» [82] (то есть «живет в браце плоти не угождая, соблюдая тело непричастным греху» [83]), и одновременно показывал, что в преодолении разных плотских «препятств» [84] содержится принципиальная достижимость подобного идеала, и кем – женщиной!

Морализаторский момент в повести ничуть не мешал «воспитанию чувств», в том числе любовных, ведь аскетизм Февронии касался не жизни «всех и каждого» (это понимали, должно быть, и современники), а лишь редкостного «подвига». Образ Февронии дополнял ряд ярких и острохарактерных героинь русской литературы XVII в. Но он и противостоял им. Будучи принципиально не массовым (как то было характерно и для древнерусской агиографии), он был в то же время смягчен отходом от крайностей.

Таким образом, анализ древнерусской светской и церковной литературы под углом зрения истории супружества, точнее –

характеристики его «предельных» в своей «положительности» и «отрицательности» проявлений (образов добрых и злых жен), отразил с известной условностью пути превращения «девиантного» поведения или поступков, противостоящих норме, выходящих за ее рамки, в условно принимаемые, а затем признаваемые. Обличая пороки злой жены, церковные проповедники оказались вынужденными подробно анализировать различные житейские ситуации, сопоставлять их с каноническими нормами и текстами, анализировать их. Высокая степень концептуализации женских эмоций, равно как эмоций, вызываемых женщинами, отразившаяся в назидательных текстах XV в. (от восприятия, «прилога» как первопричины эмоции до детальных описаний ее внешних проявлений), подробные «характеристики» женской натуры (склонности к аффективному выражению чувств, большей эмоциональности любых переживаний) способствовали обогащению мира чувств (вначале образованных аристократов, а постепенно и простолюдинов), в том числе и прежде всего в семейной жизни, частной сфере. Обогащение же мира чувств с неизбежностью вело к гуманизации общества, его культуры.

Одновременная пропаганда «психологической умиротворенности», кульминация которой пришлась на XVI в. (а это была попытка «погасить» идеологическим путем активность женщин как в частной сфере, так и в публичной), несмотря на всю ее «искусственность», также принесла свои плоды. Она способствовала повышению общего нравственного уровня общества. Православные этические нормы, проникнув в сознание простолюдинов и контаминировавшись с народными, традиционными, способствовали формированию народно-религиозного идеала супружества и доброй жены. О рождении новых черт женской эмоциональности в эпоху раннего Нового времени можно судить и по тому, что к XVI в. идеальной основой супружеских отношений стал считаться «духовный разум» женщины, «совестливое понимание» ею семейной иерархии, подчинение главе семьи по собственной воле, готовность считать и видеть себя ведомой. Одним из путей формирования женского идеала, соответствующего православной этике, стала в позднее средневековье и в эпоху Московии XVI – XVII вв. традиция приписывания добрым женам многочисленных, разнообразных, а главное, принципиально достижимых добродетелей и создание женских образов, олицетворяющих, как ни парадоксально это звучит, мужскую совесть.

В итоге же можно заметить, что взгляды и оценки древних русов X – XV вв. и московитов XVI – XVII вв., их воззрения на частную жизнь своих «подружий», «лад», «супружниц» прошли длительную эволюцию от осуждения богатого мира женских чувств к его постепенному признанию. Литературный материал – как светский, так и церковный –

отразил эти трансформации. Переход от статичных, «вневозрастных», однохарактерных в своей благостности или, напротив, порочности образов добрых и злых жен древнерусской литературы к сложным, эмоциональным, неоднозначным, а порой и страстным женским натурам литературы XVI, а особенно XVII в., происходил под влиянием тех изменений и процессов, которые двигали «женской историей» (и отечественной историей вообще). На этот переход оказали влияние многие факторы: «спады» и «взлеты» в динамике выдвиганий на политическую арену деятельных и энергичных «женских личностей», изменения в правовом сознании, связанные с формированием автократического государства, а также сама динамика социокультурных изменений [85].

## V

### **«СВЕТ МОЯ, ИГНАТЬЕВНА...»**

#### ***Интимные переживания в частной жизни женщины. Любовь в браке и вне его***

Шестивековая история древнерусской литературы (X – XVI вв.) в значительной степени подготовила новое восприятие супружеской и, шире, социальной роли женщины, все те изменения в умонастроениях россиян XVII в., которые были связаны с обмирщением и гуманизацией культуры предпетровского времени.

Было бы наивным, однако, судить по литературным произведениям (в частности по «Повести о Петре и Февронии») о «смягчении нравов» народа в целом. Бытовые подробности интимной жизни женщин эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова, могущие быть воспроизведенными – хотя и с известной приблизительностью – с помощью сборников исповедных вопросов, епитимийников и требников, представляют картину, диаметрально противоположную романтически-возвышенному полотну, созданному Ермолаем-Еразмом. Речь идет даже не о «грубости» нравов, но о примитивности потребностей людей, в том числе женщин. Вся эротическая культура (если она вообще была в России XVI – XVII вв.!) оставалась сферой мужского эгоизма.

Сексуальная жизнь женщины в браке – если она подчинялась церковным нормам – была далеко не интенсивной. На протяжении четырех многодневных («великих») постов, а также по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам «плотногодие творити» было запрещено. Между тем в литературных памятниках предпетровского времени можно обнаружить довольно подробные описания нарушений этого предписания: «В оном деле скверно пребывающе, ниже день воскресенья, ниже праздника господня знаша, но забыв страх божий всегда в блуде пребываше, яко свинья в кале валяшесе...» [1]. Частые и

детальные констатации прегрешений подобного свойства (названных в епитимийных сборниках «вечным грехом») создают впечатление о далеко не христианском отношении прихожанок к данному запрету. Недельные воздержания показались невыполнимой мечтой проповедников и одному из путешественников-иностранцев XVII в. [2].

Мечтая победить «соромяжливость» (скромность, стыдливость) прихожанок, «отцы духовные» требовали от них подробной и точной информации об их интимной жизни. В то же время, противореча себе, они учили, что «легко поведовати» может только морально неустойчивая злая жена [3]. На одной из ярославских фресок XVII в. изображена «казнь жены, грех свой не исповедавшей». Судя по наказанию (змеи-аспиды кусают ее «сосцы»), грех этой «кощунницы» имел прямую связь с интимной сферой [4]. Между тем к началу Нового времени отношение к «соромяжливости» женщины ужесточилось [5]. Проповедники стали настаивать на предосудительности любых обнажений и разговоров на сексуальную тему [6], запрещали изображать «срамные» части тела [7]. Повторение идей об извечной женской греховности попала и в популярные произведения светской литературы, в которой стала пропагандироваться идея постыдности «голизны»: «аще жена стыда перескочит границы – никогда же к тому имети не будет его в своем лице» [8].

Такого взгляда на обнажения, особенно в отношениях с законной супругой, невозможно даже предположить в среде «простецов»: пословицы говорят о разумной естественности в таких делах («Стыд не дым, глаз не выест», «Стыд под каблук, совесть под подошву») [9]. Тем не менее литературные произведения XVII в. настаивали на аморальности, постыдности демонстрации тела, на том, что девушке и женщине «соромно» раздеваться при слугах-мужчинах, особенно если это слуги «не свои» («како же ей, девичье дело, како ей раздецца при тебе? – Так ты ей скажи: чего тебе стыдиться, сей слуга всегда при нас будет...») [10].

Тогда же, в XVI – начале XVII в., в назидательных сборниках появилось требование отдельного спанья мужа и жены в период воздержанья [11] (в разных постелях, а не в одной, «яко по свиньски, во хлеву»), непременно завешивания иконы в комнате, где совершается грешное дело, снятия нательного креста [12]. Эпизод «Повести о Еруслане Лазаревиче», рассказывающий о том, что герой «забъи образу божию молиться», когда «сердце его разгорелось» и он «с нею лег спать на постелю», позволяет предположить, что и для «мужей», и для «женок» нормой являлась непременно молитва перед совершением «плотногодия» [13]. Достаточно строгим оставалось запрещение вступать с женой в интимный контакт в дни ее «нечистоты» (менструаций и 6 недель после родов) [14]. Применение контрацепции («зелий») наказывалось строже абортов: аборт, по мнению православных

идеологов, был единичным «душегубством», а контрацепция – убийством многих душ [15].

Наказания и штрафы за контрацепцию и аборты возрастали, когда речь шла о внесупружеских интимных связях москвиток. Подобные «приключения» нередко разнообразили их частную жизнь, хотя «прелюбы» (адюльтер) карались строже «блуда» (сексуальных отношений вне брака) [16]. Тем самым подтверждалась патриархально-иерархическая основа семейных отношений: жена-изменница выставляла мужа на посмешище, нарушая традицию подчинения (в тексте одной из повестей XVII в. это выражено в восклицании одной из «согрешивших»: «Владыко, [яз] не сотворих любодейства, ниже помыслех на державу (власть. – Н. П.) твою...» [17]). О том, что авторы нравоучений о злых женах-прелюбодейницах и блудницах списывали их портреты с натуры («такое сотвори, еже не любиши ей мужа своего, но возлюбиши еси того» юношу, «мужа же своего не хотя и имени слышати»), говорит немалое число летописных и иных рассказов [18], а также колоритные изображения греховных связей на поздних фресках [19].

Сопоставление текстов сборников исповедных вопросов, фольклорных записей (пословиц) и литературных памятников конца XVI – XVII в. с целью анализа интимной сферы частной жизни москвиток приводит к выводу не столько о «сужении сферы запретного» в предпетровской России [20], сколько о расширении диапазона чувственных – а в их числе сексуальных – переживаний женщин того времени [21]. Переживаний, которые все так же, если не более, считались в «высокой» культуре «постыдными», греховными (в России XVII в. сформировался и канон речевой пристойности) [22], а в культуре «низкой» (народной) – обыденными и в этой обыденности необходимыми [23].

О расширении собственно женских требований к интимной сфере частной жизни в XVI – XVII вв. говорят прямо описанные эпизоды «осилья» такого рода в отношении мужчин («он же не хотяще возлеши с нею, но нуждею привлекая и по обычаю сотвори, по закону брака») [24], описание «хитрости» обеспечения у мужчины «ниспадаемого желания» [25], а также нетипичная для более ранних текстов исповедной литературы и епитимийников детализация форм получения женщинами сексуального удовольствия – позиций, ласк, приемов, приспособлений, достаточно откровенно описанных [26] в церковных требниках, составлявшихся по прежнему, казуальному, принципу [27]. Обращает на себя внимание и признание одной из литературных героинь матери: «Никакие утехи от него! Егда спящу ему со мною, на ложи лежит, аки клада неподвижная! Хощу иного любити, дабы дал утеху телу моему...» [28].

Не стоит, однако, думать, что все эти проявления чувственности

русских женщин были какими-то новациями или тем более заимствованиями из других культур. Новой была лишь их фиксация в текстах, предназначенных для домашнего чтения. Ранее ничего подобного, даже в осуждающем тоне, в литературе найти было нельзя, так как дидактики рассуждали по принципу: «Съ юзиме плоти (когда утесняется плоть. – Н. П.) – смиряется сердце, ботеющу сердцу (когда сердцу дается воля. – Н. П.) свирипекют помышления» [29]. Чтобы не допустить этого «свирипенья» женских помыслов, в текстах не допускались не только какие-либо «пехотные» описания, но и намеки на них.

Впрочем, если задуматься, эротический субстрат смысла некоторых литературных эпизодов довольно легко вычленяется из вполне невинных текстов. Так, скажем, в «Повести о Василии Златовласом» имеется подробно выписанная сцена с участием женщины, которую трудно охарактеризовать иначе, чем садо-эротическую: «полату замкнув на крюк, сняв с нее королевское платье и срачицу и обнажив ю донага, взял плетку-нагайку и нача бити ее по белу телу... и потом отдал ей вину и приветствова словами и целовав ю довольно, потом поведе ю на кровать...» [30]. Приведенная сцена находит прямое соответствие с текстом «Домостроя» и «Поучением» Сильвестра сыну Анфиму (XVI в.), хотя ранние тексты выписаны более целомудренно: «наказуй наедине, да наказав – примолви (успокой. – Н. П.), и жалуй (пожалей. – Н. П.), и люби ея...» [31].

Вне сомнения, все попытки разнообразить и оптимизировать интимные отношения причислялись церковными деятелями к тому, что «чрес еСТЬСТВО сотворено быша» [32]. И тем не менее в посадской литературе стали встречаться упоминания о том, что супруги на брачном ложе «играли», «веселились», а «по игранию же» («веселью») «восхоте спать» – маленькая, но важная деталь интимной жизни людей, никогда ранее не фиксировавшаяся [33].

Кроме того, в том же XVII в. появились и «послабления», касавшиеся интимной сферы. Реже попадались запрещения супругам «имети приближенье» по субботам, исчезло требование абстиненции во время беременности женщины, а также по средам и пятницам [34], за сексуальные контакты женщин вне дома стала накладываться меньшая епитимья [35]. Изменение отношения к физиологии нашло отражение и в знаменитой книге «Статир» 1684 г., настаивавшей на «равенстве» всех частей тела, каждая из которых – «равна главе и ту ж де восприемлет честь», и в некоторых детализированных описаниях женского тела в посадских повестях: [36] «Ему велми было любо лице бело и прекрасно, уста румяны... и не мог удержаться, растегал платие ее против грудей, хотя дале видеть белое тело ее... И показала красота не человеческая, но ангельская» [37]. Трудно даже вообразить себе, что вид обнаженной

женской груди мог быть назван «ангельскою красотою» столетием раньше!

Городская литература XVII в., будучи основанной на фольклорных мотивах, едва ли не первой поставила вопрос о «праве» женщины на индивидуальную женскую привязанность, на обоснованность ее права не просто быть за-мужем, но и выбирать, за-каким-мужем ей быть. Вся эта литература – яркое свидетельство продолжавшегося освобождения жителей Московии от морализаторства и ханжества [38], освобождения от «коллективного невроза греховности» [39]. Однако женщин эти процессы – как то было характерно и для Европы раннего Нового времени [40] – коснулись в меньшей степени, чем мужчин. Действительно, литературные афоризмы XVII в., сблизившись с народной мудростью, оказались трансформированными ею, обогащенными общечеловеческим опытом. Поэтому в памятниках ХЛШ в. женщины уже не произносили лаконично-символических фраз (как в летописях), а общались живым человеческим языком: «Поди, скажи мамке...», «Полноте, девицы, веселицца!», «Ну, мамушка, изволь...» [41]. В произведениях XVII в. уже не найти прежнего осуждения чувственных, страстных женщин; [42] напротив, эмоциональные натуры стали изображаться и высокодуховными (Бландоя, Магилена, Дружневна), а их чувства к избранникам – прекрасными и величественными в своем накале: «Иного супружника не хощу имети!.. [43] – И рекши то, заплакала горко, и от великой жалости упала на свою постелю, и от памяти отошла – аки мертва – и по малом времени не очьхнулась...» [44].

В то же время во многих памятниках, в том числе в «Сказании о молодце и девице», соединившем чувственность, язвительный цинизм и элегантную символику, а также в «Повести о Карпе Сутулове» и «Притче о некоем крале» женщины по-прежнему представляли только как «фон» в молодецких утехх, как объекты [45] плотских страстей, как жертвы обмана или уловок соблазнительей, чьи поверхностные чувства становились для наивных и доверчивых «полубовниц» причиной серьезных личных драм [46]. Ни в посадских повестях, ни в благочестивых книгах XVII в. не появилось сколько-нибудь заметных следов подлинного участия к женщине, к ее слабости и к тем горестям и опасностям, которые сулила ей любовь.

Примечательно также, что именно к женщинам в исповедных книгах XVII в. (да и в более ранних) были обращены вопросы, касавшиеся использования приворотных «зелий»: мужчины, вероятно, рассчитывали в любовных делах не на «чародейные» средства, а на собственную удаль [47]. С другой стороны, вполне может быть, что в эмоциональной жизни мужчин страстное духовное «вжеление» играло значительно меньшую роль (по сравнению с физиологией), нежели в частной жизни москвиток. Именно ради своего «влечения» женщины, если верить



епитимийникам, собирали «баенную воду», «чаровали» над мужьями по совету «обавниц» «корением и травами», шептали над водой, зашивали «в порты» и «в кроватку», носили на шее «ароматницы» и «втыкали» их «над челом». Иногда, впрочем, они обходились средством более приземленным и понятным – хмельным питьем: «и начат его пойти, дабы его из ума вывести» [48].

Образ злой жены как «обавницы и еретицы» подробно обрисовала «Беседа отца с сыном о женской злобе» (XVII в.), отметив, что умение «сбавлять» (колдовать) перенималось многими женщинами еще в детстве: «Из детская начнет у проклятых баб обавничества навикать и вопрошати будет, как бы ей замуж вытти и как бы ей мужа обавить на первом ложе и в первой бане... И над ествою будет шепты ухищряти, и под нозе подсыпати, и корением и травами примещати... и разум отымет, и сердце его высосет...» [49]. В то время подобных «баб богомерзких» было, вероятно, немало, если только в одном следственном деле такого рода – деле «обавницы» Дарьи Ломакиной 1641 г., чаровавшей с помощью пепла, мыла и «наговоренной» соли, упомянуто более двух десятков имен ее сообщниц. В расспросных речах Дарьи сказано, что она «пыталас[ь] мужа приворотить» и «для мужа, чтобы ее любил», она «сожгла ворот рубашки (вероятно, мужа. – Н. П.), а пепел сыпала на след». Кроме того, знакомая наузница Настка ей «мыло наговорила» и «велела умываца с мужем», «а соль велела давати ему ж в пите и в естве». «Так-де у мужа моево серцо и ревность отойдет и до меня будет добр», – призналась Дарья. Ворожею Настку также допросили, «давно ль она тем промыслом промышляет», и Настка созналась, что «она мужей приворачивает, она толко и наговорных слов говорит: как люди смотряца в зеркало – так бы и муж смотрел на жену, да не насмотрился, а мыло сколь борзо смоеца – столь бы де скоро муж полюбил, а рубашка какова на теле бела – стол[ь] бы де муж был светел...» [50].

Как отметил в середине XVII в. А. Олеарий, московитки потчевали своих «сердечных друзей» кушаньями, «которые дают силу, возбуждающую естество» [51]. К тому же времени относятся первые записи народных заговоров («Как оборонять естество», «Против безсилия», «Стать почитать, стать сказывать»), тексты которых позволяют представить «женок» того времени если не гиперсексуальными, то, во всяком случае, весьма требовательными к партнерам в интимных делах [52]. На вторую половину XVII в. приходятся также изменения в иконографии – изображения обнаженного женского тела с характерными для того времени деталями, отражающими сексуальность женского облика: вьющимися волосами, большой грудью [53].

Однако ни в иконографии, ни в русских литературных источниках XVII в. так и не появилось ни сексуально-притягательных образов мужчин, ни подробно выписанных картин женской страсти. Изображение

проявлений чувственной женской любви по-прежнему сводилось к целомудренным словам о поцелуях, объятиях, незатейливых ласках («оного объа и поцелова...» [54], «добрая жена по очем целует и по устам любовнаго своего мужа» [55], «главу мужу чешет гребнем и милует его, по шии рукама обнимаа») [56]. Чуть больший простор фантазии исследователя могли бы дать первые записи лирических песен конца XVII в., однако и в них, при всех ласковых словах («дороже золота красного мое милое, мое ненаглядное»), не найти чувственного оттенка [57].

Единственным произведением русской литературы раннего Нового времени, ярко отразившим перемены в области собственно женских чувств, была переводная «Повесть о семи мудрецах», дополненная компилятором некоторыми национальными фольклорно-сказочными деталями. Ни в одном современном ей произведении (а «Повесть» бытовала, начиная с 10-х гг. XVII в.) не содержались столь подробные картины «ненасытной любви» женщины, столь яркие описания соблазнения ею избранника: «Посади[ла] его на постель к себе и положи [ла] очи свои на него. "О, сладкий мой, ты – очию моею возгорение, ляг со мною и буди, наслаждался моей красоты... Молю тебя, свете милый, обвесели мое желание!" И восхоте[ла его] целовати и рече: "О любезный, твори, что хочещи и кого [ты] стыдишеся?! Едина бо есть постеля и комора!" И откры[ла] груди свои и нача[ла] казати их, глаголя: "Гляди, зри и люби белое тело мое!.."» [58]. Вероятно, лишь в «Беседе отца с сыном о женской злобе» – в описании поведения, разумеется, злой жены - можно найти что-то аналогичное: «Составы мои расступаются, и все уди тела моего трепещутся и руце мои ослабевают, огонь в сердце моем горит, брак ты мой любезный...» [59].

Отношение исповедников к каждой подобной «перемене» в области женских чувств и интимных притязаний было, разумеется, негативным. Единственной их надеждой воздействовать на поведение «женок», предостеречь и остановить их была апелляция к совести. Это вносило особый оттенок в характеристику «методов работы» православных священников с паствой. В нескольких переводных текстах русские переводчики в тех местах, где речь шла о суровых наказаниях, назначенных женщинам за проступки, «поправляли» западных коллег и дополняли текст обширными интерполяциями на тему совестливости («нача ю поносити: како, рече, от злого обычая не престанеши...» – или, например, «О, колико доброго племени и толиким отечеством почтенная, в толикое же уничижение и безславие прииде! Не презри совету...» – и т. д.) [60]. Вероятно, они полагали, что многократное повторение тезиса о постыдности греховных стремлений к плотским удовольствиям раньше или позже даст результат. Однако сами женщины рассуждали иначе, переживая только лишь оттого, что «плотногодие»

может привести к очередной беременности: «Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили» [61].

Если же сопоставить тексты церковных требников и епитимийников с литературой и эпистолярными памятниками того времени, легко заметить, что признания значимости интимной сферы для частной жизни москвиток, особенно для представительниц привилегированных социальных страт (их поведение было в большей степени сковано этикетными условностями) [62], в XVII в. так и не произошло. Оно не проникло и в их переписку – тексты, так или иначе предназначенные для «обнародования», поскольку многое писалось ими не «собственноручно», а лишь диктовалось. Письма дворянок второй половины XVII в. лишены нервного накала и, с языковой точки зрения, выглядят довольно стандартными, поскольку их главной целью был не анализ собственных чувств, не стремление поделиться ими с адресатом, а повседневные семейные дела, главным образом хозяйственные [63].

В то же время, если в литературе рубежа XVI – начала XVII в. разум женщины воспринимался как основа истинной супружеской любви, то в памятниках середины и второй половины XVII в. можно усмотреть впервые поставленный вопрос о возможности конфликта в душевном мире женщины между страстью и разумом (которого не могла почувствовать, например, слезливо-идеальная в своей бесстрастности Феврония или же не менее близкая житийным трафаретам, восхваляемая своей вознесенностью над бытом Ульяния Осорьина). Подобные примеры можно найти в отношении Дружневны к Бове-королевичу [64], в некоторых фольклорных сюжетах, а также – хотя и с большими трудностями – в материалах переписки.

Так, по нескольким письмам Ф. П. Морозовой можно восстановить историю ее страсти (отнюдь не религиозной), непонятным образом ускользнувшую от внимания исследователей. Речь идет об истории взаимоотношений известной раскольницы с юродивым Федором («нынешние печали вконец меня сокрушили, смутил один человек, его же имя сами ведаете» [65]). В одном из писем к боярыне Аввакуму проговорился, что в молодости этот Федор отличался «многими борьбами блудными», как, впрочем, и другие раскаявшиеся с возрастом сторонники и сторонницы старообрядчества [66].

В конце 1668 г. приют этому юродивому был дан в московском доме Ф. П. Морозовой. Что там произошло между Федором и Федосьей Прокопьевной – можно только догадываться, но дело закончилось тем, что Федор был изгнан. Аввакуму вся история с его «духовной дщерию» оказалась известной, он был рассержен и тем, что Морозова вообще «осквернилась», и тем, что, видимо, потерпев поражение в отношениях с мужчиной (Ф. П. Морозова, правда, представляет дело как собственную победу: «как я отказала ему, он всем стал мутить меня, всем оглашал, и

так поносил, что словом изречи невозможно»), избрала недостойный совестливого человека путь опорачивания имени Федора в глазах их общего духовного учителя. Этому оказались посвящены несколько ее писем: [67] «Я веть знаю, что меж вами с Федором зделалось, – отвечал на них Аввакум. – Делала по своему хотению – и привел бо дьявол на совершенное падение. Да Пресвятая Богородица заступила от дьявольскаго осквернения, союз тот злый расторгла и разлучила вас окаянных... поганую вашу любовь разорвала, да в совершенное осквернение не впадете. Глупая, безумная, безобразная, выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия... Да не носи себе треухов тех, зделай шапку, чтоб и рожу ту всю закрыла...» В конце письма Аввакум просил Морозову не «кручиниться на Марковну» (свою жену, от которой у Аввакума не было секретов), сказав, что «она ничего сего не знает; простая баба, право...», и убеждал боярыню, в духе христианского смирения, помириться с обидчиком Федором («добро ти будет») [68].

В литературных источниках тема борьбы между страстью и разумом в женской душе предстает еще более острой – как «уязвление» («скверному смешению блуда») [69], как «разжигание плоти», с которым не может справиться «велми засумне-вавшийся» разум [70]. Главный и единственный выход из подобной тупиковой ситуации назидатели-проповедники видели в сознательной готовности женщин «не покладаться», жить «по разлучении плотнем» [71], ведь люди «обышняя», не то чтобы оправдывали «зов плоти», но отнеслись к нему терпимо. Даже Аввакум, узнав об одной попадье, изменившей супругу, написал: «И Маремьяне попадье я грамотку с Иваном Архиповым послал – велю жить с попом. Что она плуствует?» – то есть не стал ханжески поучать и назидать [72].

К какому типу жен - злой или доброй - следовало бы отнести Ф. П. Морозову и попадью Маремьяну? По старой «классификации» непременно к типу жен злых. С точки же зрения новых представлений XVII в., оценка поведения этих двух «женок» не могла быть столь однозначной. Литературные образы женщин, прямо названных в текстах добрыми женами, стали объемнее и глубже, а оценка современниками «уступок плоти» становилась менее категоричной. Эпизоды частной жизни всех женщин – именитых и безвестных, злых и добрых - стали получать мотивационное обоснование, представать в подробностях, немислимых ранее.

Скажем, к одному из переводов польской новеллы переписчик добавил от себя «послесловие», касающееся сомнительности тезиса об идеальности даже добрых жен: «Не во всем подобает и добрым вериги, ни крепкую в них надежду полагати», сокрушаясь ниже, что и добрые жены могут довести до того, «еже с мискою ходити по торговищу» [73]. Ту же мысль пытался донести словами родительского назидания

лирический герой «Повести о Горе-Злочастии»: «Не прельщайся, чадо, на добрых красных жен» [74]. В одном из сборников польских новелл русский переводчик решил смягчить картину, обосновав мотивацию семейных скандалов: в польском оригинале говорилось о битье мужем жены без повода, без «вины от нее»; в русском – переводчик изобразил мужа, «.понемногу казнившего» свою супругу, и «казни» его представлены как необходимая самооборона от «злоречия и псова лаяния» этой женщины. Судя по ее характеристике, она как нельзя лучше оправдала бы прозвище «Досадка» – такое прозвание крестьянки было найдено нами в переписной книге одной из новгородских пятин конца XVI в. [75]. Переводчик польских новелл («жартов») добавил в конце текста, как бы «от себя», житейский вывод: «Ни дароношением, ни лагодным глашением угодити ей не смог. Печали полное житие!» [76]. Подобных колоритных «прибавок» на тему о женских качествах и характерах немало в текстах переводных повестей XVII в. (например: «Дивен в скором домышлении род женский!» [77] или «Не ищи тамо злата, где не минешь блата!», «Жена, огонь, море ходят в одной своре!» [78]).

Добрые жены в русской литературе XVII в., став менее одноплановыми и однохарактерными, несколько потеснили жен злых, но образы последних не только сохранились в светских и церковных памятниках, но и тоже модифицировались, стали более «объемными», жизненными. Их, например, стали реже рисовать «злообразными»: напротив, в «беседах о женской злобе» XVII в. зафиксировано отношение к ним прежде всего как к молодым красоткам, кокеткам, «прехитро себя украшающим» [79]. Тем более это характерно для популярных переводных повестей, в которых бывшие злые жены стали рисоваться смыслеными, практичными и умеющими добиться желаемого. Таким женщинам могли уже нередко принадлежать симпатии авторов, переводчиков и читателей [80].

И одновременно добрые жены стали часто рисоваться «изрядными» красавицами, способными возбудить «вожделень», «огнь естественный, не ветром разгнещаемый» [81], «скорбь сердца» в разлуке, «неутешное тужение» [82]. Между тем всего несколько столетий назад церковь усиленно навязывала иное представление (житейски, впрочем, не лишённое оснований и потому попавшее в поговорку): «Жена красовита – безумному радость» [83].

Отличия во внешнем облике добрых и злых жен стали группироваться вокруг красоты естественной (имманентно присущей доброй жене) и красоты искусственной (присущей жене злой, добивавшейся своей неотразимости традиционными женскими способами: «чернотию в очесах», «ощипанием вежд», косметической «румянотию», «учинением духами», яркими,

возбуждающе-«червленными» одежаниями [84]). Однако даже в литературе XVII в. не сложилось сколько-нибудь определенного эталона женской красоты: все авторы ограничивались простой констатацией типа «ничто же в поднебесней точно красоте твоей» [85]. В источниках же, помимо литературных, например, в переписных и оброчных книгах, было принято, как и ранее, фиксировать не привлекательные детали женской внешности, а изъяны и даже уродства.

Единственное качество злых жен, которое осталось глубоко осуждаемым в менталитете москвитов XVII в., – это женское вероломство, склонность к обманам и изменам, причем именно изменам супружеским. Настойчивое приписывание именно «слабому полу» склонности к непостоянству и легкомыслию заставляет видеть в текстах о злых женах XIV – XVII вв. защитный покров мужского себялюбия. Именно поэтому «женка некая» (жена Бажена), обманывавшая мужа со своим «полубовником» Саввой в «Повести о Савве Грудцине» или, например, жена купца Григория, «впадшая во блуд с неким жидовином», «бесноватая» Соломония из одноименной повести оказались наделенными авторами-мужчинами безусловными отрицательными характеристиками. Но появилось и отличие от ранних, домосковских текстов: «уловление» женой «юноши к скверному смешению блуда», измена Григорьевой «женки», сожителство Соломонии со «зверем мохнатым» – все это изображалось теперь не как побуждения беспутных от природы женщин, а как вмешательство в их судьбы «диавола-супостата» [86].

И одновременно находчивость, смекалка, «ухищрения» (ранее характеризовавшие лишь «хитрости» злых жен), проявленные в умении устоять под напором поклонников и сохранить верность истинно доброй жены, стали в XVII в. попадать в посадскую литературу уже как образцы для подражания [87]. Лучший пример тому – частная жизнь «купцовой женки» Татьяны Сутуловой («Повесть о Карпе Сутулове»). Практичная, смелая, с пробудившейся инициативой, деятельная, активно охраняющая свой семейный очаг и ничуть не похожая на своих предшественниц, добрых жен из Прологов и псевдозлатоустовых «слов», эта героиня русской жизни XVII столетия предстала перед современниками полной противоположностью уныло-назидательной в своей добродетельности Февронии. Весь сюжет повести был закручен вокруг добивающихся расположения Татьяны поклонников, каждый из которых мечтал с нею «лещи» («Ляг ты со мною на ночь...»). Автор повести впервые в русской литературе изображал женщину не возмущающейся настойчивостью похотливых мужчин, не одержимой праведным гневом, но посмеивающейся над ними и даже извлекающей выгоду из всего этого «предприятия». «Подивившись» хитрости супруги, муж «велми хвалил» ее не только за «соромяжливость», но и за умение

сделать свой «целомудренный разум» источником весьма значительного денежного «примысла» [88].

Даже в «Беседе отца с сыном о женской злобе», занимательный потенциал которой стал решительно перевешивать нравоучительные сентенции, в образах злых жен фигурировали теперь уже хитроватые «женки», похожие на веселых и энергичных женщин из повестей. Примеры и увещевания, «беседы» и «слова» способны были предостеречь одних только неопытных юнцов и «юниц» от опасностей романтического флирта. Но и они не скрывали теперь его греховной сладости. Встречаемостью, похожестью реальных прототипов на литературные образы злых жен из «Беседы», Татьяны Сутуловой, любовницы Саввы – жены Бажена эти произведения были обязаны долгой жизнью.

С сочувствием к проделкам наглого Фрола и Аннушки обрисовал автор «Повести о Фроле Скобееве» обман ими родителей, поскольку речь в повести шла не об обмане законного мужа, а о притворстве перед лицом «всего лишь» прежних властителей судьбы девушки, Нардиных-Нащекиных [89]. Таким образом, сочувствие слабости женщины, нарушившей некоторую житейскую мораль общества (она презрела теремное заточение или отказалась от признания власти отца над ее судьбою), парадоксальным образом содействовал укреплению идеала супружеской верности. Понимаемый как верность прежде всего жены, издавна пропагандируемый церковной литературой, да и народной мудростью, этот идеал приобрел в XVII в. не только дополнительное обоснование, но и новые краски.

Верность супруги стала пониматься как нравственный постулат, как предпосылка «согласного жительствова во владелстве и в дому», отсутствие ее – как «погыбель и тщета» любого, самого крепкого и богатого домохозяйства. Подобные отношения в семье прямо проецировались на государственную систему: «несогласие» и «несогласное жителсгво» в государстве уподоблялись неверной жене, той стране, где властитель не смог добиться «согласия», а потому обещалась «погыбель и тщета», как и семье с неверной женою [90].

Кроме того, нравственный идеал верности супругов «до гроба», причем верности, основанной не на бесстрастности и холодной рассудочности (как у Петра и Февронии), а на искреннем, живом, отнюдь не религиозном чувстве, – постепенно совмещался с народным, находя отражение не только в переводной литературе, но и в городских повестях [91], в которых стала акцентироваться тема незаменимости избранника для любящего сердца женщины: «Твори, господине, еже хочещи! Аз тебе передаю и дом весь... Аз бо с тобою вечно хочу жиги!» [92] (ср.: «Образ (портрет. – И. П.) твой сотворила, чтобы мне зрети на него и твою любовь во всяк час поминати» [93]).

Размышляя над возможностью «воспитания» жены, даже жены злой, образованные современники царевны Софьи и царицы Натальи Кирилловны, кнг. Татьяны Ивановны Голицыной и других активных и деятельных женщин конца XVII в. стали высказывать предположения о том, что «сварливую и гневливую» жену можно «преходить разумом», прилагая его «пластыри» на поведение, а не «учащая раны» и не «бия жезлом», как предлагалось столетием раньше [94]. Вопрос об обоснованности стереотипного восприятия русской семьи допетровского времени как семьи тиранически-патриархальной, в которой глава рода не только мог бить, но и в самом деле постоянно бил свою супругу, требует специального рассмотрения на основе сопоставления свидетельств разных по происхождению и бытованию памятников. Добавим, что в эпистолярных источниках не найти ни подтверждения, ни опровержения этого ставшего трюизмом утверждения. Вероятнее всего, такие детали быта – как сор из избы – в письма не выносились, оставаясь «за их рамками».

О том же, что в семьях допетровского времени мужа часто били и мучили своих жен, что это было нормой семейных взаимоотношений, современные историки судят на основе судебных актов, источников церковного происхождения (текстов о злых женах) [95], а также по некоторым сообщениям путешественников-иностранцев и «Домострою». Вне сомнения, в средние века, когда вся жизнь людей была наполнена насилием, вряд ли можно было ожидать от семейных отношений исключительной душевности. Это утверждение, по-видимому, верно и для супружеских связей, и для взаимоотношений родителей и детей. Материалы судебных дел, начиная с XI – XII вв. (в том числе берестяных грамот), подтверждают многочисленность бытовых конфликтов, в которых муж избивал жену [«И он, Иван, в таких молодых летех пьет, и напився пьян свою жену бьет и мучит, а дому государь своего не знает, у Ивана жена да сын всегда в слезах пребывает...»; [96] «тот Артемий Михайлов, забыв страх божий, пьет, а свою жену, а мою племянницу, безпрестанна мучит, и что было за нею приданова – то все пропил...» [97]]. От судебных памятников [98] не отставали литературные. Но в отличие от первых, зафиксировавших ситуации, казалось бы, беспричинных семейных конфликтов, посадские повести XVII в. довольно точны в описании мотивации мужской несдержанности: чаще всего это «чужеложество» и «скверное хотение» (к «блуду» вне брака) законной супруги [99].

Впрочем, достаточно известны и исповедные вопросы женам об «ответных ударах» в ответ на обиды мужей («Не хватала ли мужа в бою за тайные уды? – 1 год епитимьи, 100 поклонов в день»), наказания за мужеубийство (закапывание в землю по плечи) и «драку по-женьскы» в светских законах (укусы, «одеранье», матерное «лаянье» и «рыканье» и т.



п.) [100]. Не случайно Олеарий отметил, что «нрав русских лишь сначала оказывается терпеливым, а потом ожесточается и переходит к мятежу» [101]. Примеры такого ожесточения и сопротивления женщин обрыдлой беспросветности судьбы, образу жизни, который они часто не вольны были выбирать, сохранили судебные документы [102].

Однако можно ли сказать, что те отношения мужей и жен допетровского времени, которые отразились в ненормативных источниках, исчерпывались лишь чувствами злобы и соперничества, мести и желанием властвовать, гнева и досады? Разумеется, нет. И в то же время несомненно, что от женщин – если судить по литературе и другим письменным памятникам – в большей мере ожидалось высоконравственное, благочестивое поведение. Свою высокую мораль они должны были выказывать как природную данность, в то время как мужчинам допустимо было прийти к признанию традиционных норм морали ценой тяжелых ошибок и жизненных заблуждений («Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцине»). Женщины в русской литературе XVII в. практически никогда не рисовались путешествующими, обретающими жизненный опыт вне дома, «выпрямляющими» свою душу в борениях и соблазнах многокрасочного и разноязыкого мира. Напротив, даже в XVII в. они изображались неизменно сидящими дома, ожидающими и в этой стабильности вырабатывающими в себе нравственные качества (или, напротив, использующими «соломенное вдовство» в собственных интересах). Мужчинам же, напротив, было позволительно странствовать и в странствиях набираться ума и опыта, в том числе морального.

В какой мере доходило до адресатов назидание церковнослужителей оставаться, как и прежде, тихими, спокойными, «отгребающимися» от мирских соблазнов, – судить сложно. Фольклор с беспощадной наблюдательностью подтвердил значительную роль «сердешных друзей» на стороне в частной жизни «мужатиц» XVII в. («За неволею с мужем, коли гостя нет», «Не надейся, попадья, на попа, имей своо казака», «Чуж муж мил – да не век с ним жить, а свой постыл – волочиться с ним») [103]. В посадской литературе примеры «неисправного жития» с «чюжими женами», мужей, «запинающихся», как Савва Грудцин с женой Бажена, «в сетях блуда» с «полубовницами», – стали буквально общим местом [104]. Появились (в литературе, а не только в переводных текстах исповедных вопросов) даже образы замужних распутниц, «зжившихся дьявольским возжелением» с двумя, а то и тремя мужьями («Сказание об убиении Даниила Суздальского») [105].

Челобитные, да и письма того времени пестрели сообщениями о «выблядках», которых замужние крестьянки и горожанки могли «приблудить» или, как выражался протопоп Аввакум, «привалять» вне законной семьи («а чей сын, того не ведает, а принесла мать ево из

немец [Немецкой слободы в Москве. – Н. П. ] в брюхе...» [106]). Это не говорит, разумеется, о том, что ценность супружеской верности и лада в семье снизилась. [107]

Песни, литературные произведения [108], пословицы, сборники писем продолжали рисовать весьма благостную картину внутрисемейных отношений, причем не только в великокняжеских и царской семьях [109]. Но стоит учесть и то, что дошедшие до нас письма дворянок и княгинь, наполненные обращениями типа «поклон с любовью», «душа моя», «друг мой сердешный», ничуть не исключали возможности существования и для этих женщин, и особенно для их мужей связей на стороне. И, как показывают литературные источники, возможности таких греховных отношений в предпетровское время даже возросли [110].

Продолжая поиск изменений в отношении москвитов XVII в. к личной жизни их «подружий» и «супружниц», стоит вновь вернуться к изменениям образов доброй и злой жен, их парадоксальным сближениям, контаминациям. Так, именно в XVII в. некоторые детали эмоционального мира злой жены стали постепенно как бы «передаваться» жене доброй. Например, в ранних церковных и светских памятниках такая черта женщины как говорливость, языкастость характеризовала не лучшие свойства ее характера. Теперь же современники, наблюдавшие за добрыми и злыми женами, так сказать, в жизни, заметили, что «поклоны niskи, словеса гладки, вопросы тихи, ответы сладки» и «взгляды благочинны», случалось, принадлежали вовсе не ангелам во плоти, а двуличным, хитрым «аспидам» в женском обличье [111]. И напротив, умение владеть словом, разговорчивость, открытость вкупе с дружелюбностью женского характера постепенно стали превращаться во все большую ценность. Во всяком случае, в конце XVII в. упоминание о том, что героиня была «людцка» (т. е. общительна) превратилось в стигмат, «опознавательный знак» жены доброй [112]. Другой пример передачи индивидуальных качеств от злой жены к доброй можно найти в анализе их психической реактивности: в ранних памятниках бурные чувствования никогда не были прилагательны к добрым женам; в XVII же веке описания благонравных и верных жен, отличающихся острой эмоциональной реакцией, стали вполне обычными («и так долго кричала, что у ней голова заболела», «лежала, аки мертва», «и едва не заплакала для того, что невдогад ей было...», «и от великой радости залилась слезами» и др.) [113].

Требование, относящееся к доброй жене и не раз упомянутое в назидательных сборниках, «не кручиниться», сохранять ровное и «радосное» настроение (ибо уныние считалось греховным) оказалось в определенной степени реализованным в переписке членов царской семьи. В письмах, дошедших от великих княгинь Анны Михайловны,

Ирины Михайловны, Софьи Алексеевны, а позже Прасковьи Федоровны, Екатерины Алексеевны, Екатерины Ивановны, не найти жалоб на неблагополучие, «несчастье». Вероятно, причина этого в том, что частная жизнь этих женщин не ощущалась ими в полной мере как область их личной душевной неприкосновенности, оттого, что написание писем и затем их прочтение адресатом было все время опосредовано посторонними (писцами). В одном из своих писем домой царь Алексей Михайлович извинился: «Не покручиньтесь, государыни мои светы, что не своею рукою писал, голова в тот день болела, а после есть лехче...» [114]. «Рука» же самих княгинь и царевен, а также представительниц московского боярства совсем редко присутствовала в их письмах – хотя сама переписка с родными и близкими была интенсивной [115].

В отличие от представительниц столичной элиты, их современницы-дворянки писали свои письма сами – с ошибками, повторами, недописками, сетованиями на обиды и неустроенность [116]. Искренность, открытость, безыскусность выражения переживаний были нормой в народной среде, однако от конца XVII в. крестьянских писем не сохранилось [117].

Воссоздание адекватной картины частной жизни людей предпетровской России осложнено и некоторыми, вероятно, вневременными, особенностями переписки как источника. Московиты (мужчины), обращаясь в письмах к своим матерям, женам, сестрам, как правило, не сообщали ни о чем, кроме своих служебных успехов. Весьма редко в своих посланиях они сетовали на внеслужебные обстоятельства (как правило, погоду или дороги), еще реже – характеризовали деловые или личные качества каких-либо людей. Сообщая о своем здоровье, они очень формально интересовались делами и здоровьем близких (удивленный вопрос некоего Д. И. Маслова в письме к жене: «Чева не пишете? табе б обо всем писать ко мне про домашне[е] жит[ь]е...» – скорее исключение, нежели правило) [118]. Большинство же мужей выражали в письмах к женам обычно надежду, что «все, дал Бог, здоровы», или вставляли в текст письма «этикетную» формулу с требованием «отписывать» о здоровье и «без вести» не «держат[ь]» [119]. Зато они страницами излагали всевозможные поручения: кого куда «послать», с кем не «мешкать», что «велеть делать» и кому «побить челом» [120]. Так что, если искать проявления частной жизни по переписке мужчин (а ее объем намного превышает число дошедших от того же времени писем женщин), фактов собственно личной жизни в них можно просто не найти.

Редкое письмо мужчины к женщине содержало что-либо выходящее за пределы принятого топоса, в том числе неформальные обращения или, тем более, домашние прозвания, прозвища. Поэтому даже слова

«Душа моя, Андреевна» вместо общепринятого «жене моей поклон» [121] (ср. в «Сказании о молодце и девице»: «Душечка ты, прекрасная девица!») представляются редким свидетельством неформальной ласки и теплоты. Не менее трогательно выглядит обращение некоего Ф. Д. Толбузина к жене: «Другу моему сердечному Фекле Дмитриевне с любовью поклон!» – и ниже: «Душа моя, Дмитриевна...» Наконец, лишь у Аввакума в его письмах единомышленницам можно встретить еще более мягкое и сердечное обращение к адресаткам: «Свет моя, голубка!», «Друг мой сердечной!», сравнение их с «ластовицами сладкоголосыми», «свещниками» (светильниками. – Н. П.] души [122].

Женщины же – натуры куда более эмоциональные и «ориентированные» на дом, семью, близких, не имевшие к тому же никаких собственных служебных интересов, – писали в своих «епистолиях» о том, что их волновало, казалось значимым и важным [123]. Даже благопожелания в женских письмах выглядели менее стандартизировано: «Желаю тебе с детьми вашими здравия, долгоденствия и радостных утех и всех благ временных и вечных (курсивом выделены нетипичные для таких топосов слова. – Н. П.)...» Эмоциональность женских писем точно подметил протопоп Аввакум, бывший сам человеком отнюдь не бесчувственным. О посланиях Ф. П. Морозовой он сказал, что хранит их и перечитывает, и не по одному разу: «Прочту, да поплачу, да в щелку запехаю». Над письмами мужчин того времени вряд ли можно было «поплакать» [124].

В письмах же женщин отражалась буквально вся их жизнь. Помимо хозяйственных дел, о которых уже говорилось выше, они писали о «знакомцах старых» и о родственниках («и про меня, и про невестку, и про дети»), высказывали пожелания «поопаси свое здоровье», мягко упрекали («Никита да Илья Полозовы говорили мне, что ты, мой братец, был к ним немилостив, и хотя они за скудостью своею на срок не поспеют, ты, братец, прегрешения им того не поставь и милостию своею их вину покрой»). Во многих письмах явственно ощутим мотив беспокойности здоровьем близких («слух до нас дошел, что мало домогаешь, и мы о том сокрушаемся») [125].

Наконец, как и сегодня, многие письма матерей, жен, сестер были написаны в связи с высылкой подарков и гостинцев; кому, как не женщинам, было знать вкусы своих близких: «Хошь бы малая отрада сердцу – гостинцы...»; «челом бью тебе, невестушка, гостинцом, коврижками сахарными, штобы тебе, свету моему, коврижки кушать на здоровье. Не покручинься, что немного...»; «а послали мы тебе осетрика свежего, и тебе б его во здравие есть, да в брашне груш, три ветви винограду, полоса арбуза в патоке, 50 яблоков...» [126]. В одном из писем мать сообщала сыну о посылке ему в подарок «скатерти немецкой, а другой расхожей», пяти «полотениц с круживами», да семи «аршин

салфеток», прося одновременно: «И ты, свет мой, на ней кушай, не береги, а нас не забывай...» Это «не берега» весьма характерно: оно выдает хозяйское, бережливое отношение матери к добротным вещам.

Внутрисемейные отношения авторов писем и их адресатов, своеобразную внутрисемейную иерархию можно особенно ясно почувствовать, обратившись к анализу обращений в них. Уменьшительными именами (Грунька, Улька, Маря – от Марьи и т. д.) называли себя жены в письмах к мужьям, младшие женщины (невестки, племянницы) в письмах к старшим [127], младшие сестры в письмах к старшим сестрам («сестрице Федосье Павловне сесгришка твоя Грунка Михайлова дочь челом бьет»). Свою зависимость от братьев пытались подчеркнуть уничижительным сокращением собственного имени их сестры, подчас – старшие или одногодки: «Братцу питателю Гаврилу Антипевичю сестра твоя Прасковья челом бьет» [128]. В то же время и братья, когда ставили целью добиться от богатых замужних сестер некоторой денежной поддержки, предпочитали в письмах обращения типа: «Милостивая моя государыня сестрица Маря Гавриловна, Митка Кафтырев челом тебе бьет...» [129] (то есть обращались по имени-отчеству). Матери в письмах к сыновьям (даже взрослым) именовали себя аналогично: «От Матрены Семеновны сыну моему Петру Фомичю...» [130]. Так же звали своих матерей и сыновья в письмах к ним, добавляя иногда – для «уважительности»: «Здравствуй, государыня моя матушка Агафья Савельевна со всем своим праведным домом!» [131]. Обращаясь в посланиях к своим супругам, они, однако, называли их только по имени («От Михаила Панфилевича жене моей Авдоте») [132], и разве что в царской переписке можно найти уважительное обращение к супругам и сестрам по имени-отчеству.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

Наконец, равенство обращений отправителей писем и адресатов соблюдалось в том случае, если это были зять и теща («государю моему свету зятю Михаилу Панфилевичю теща твоя Марица Ондrejaновская жена Никифоровича») [133]. Редкую ситуацию, при которой зять называл себя уменьшительно-уничижительно «Род[ь]ка», а тещу – уважительно, по имени-отчеству «государыней-матушкой Аграфеной Савельевной» удалось встретить лишь в родном письме. Объяснение необычному «феномену» содержится в тексте самого послания – автор его, судя по всему, малость «поиздержался»: «Пожалуйте, ссудите меня на службу великих государей деньгами, не оставьте моего прошения, а я на премногую вашу милость надежен во всем...» [134].

Судя по письмам невесток к свекровьям, младшие женщины обращались к старшим только по имени-отчеству и с прозвищем «матушка», сами же именовали себя полным именем без отчества («Аксинья», но не «Оксюшка»), зато с неизменным упоминанием семейной принадлежности («Иванова женишка Ивановича Аксинья») [135] (зависимость невесток от своих свекровей во внутрисемейной иерархии любого социального слоя зафиксировали и пословицы) [136].

Любопытно, что литературные произведения, современные приведенным письмам, не позволяют сделать подобных наблюдений над ситуативными особенностями употребления имен: в повестях и «словах», жартах и переводных новеллах употребляются лишь полные имена, реже – имена-отчества (и только, как правило, мужчин).

В посадской литературе XVII в. хорошо ощущается утвердившийся стереотип описания «хорошей семьи» как семьи, где главенство мужа непререкаемо, где жена присутствует и ощущает себя непременно замужем, именуется супруга «богом дарованным пастырем», «любезным сожителем», чью «волю во всем» жена «творила и преисполненный дом соблюдала» [137]. Это позволяет видеть в письмах представительниц московской аристократии с бесконечными вводными обращениями («свет мой, государь мой», «сердешный друг» и т. п.) литературно-этикетные корни – в большей степени, нежели эмоциональные. Кстати, мужья обращались к ним обычно просто по имени-отчеству.

Значительно слабее, нежели отношения «власти» и «подчинения», отразились в источниках личного происхождения иные женские эмоции, весьма подробно описанные в литературных памятниках того времени. Среди них в первую очередь стоит выделить грусть в разлуке с законным супругом, мотив «скуки без любимого» и радость встреч после расставаний. Правда, восторженные восклицания типа «Откуда мне солнце возсия?», слезы радости от долгожданной встречи произносили и проливали (и в литературе, и в письмах) одни только женщины [138]

мужчины были скупее по части чувств [139].

Письма россиянок конца XVII в. позволяют особенно остро почувствовать, как тосковали жены без мужей в разлуке. Одна из них писала мужу: «Обрадуй [нас], дай нам очи [твои] видит[ь] вскоре, а мы по тебе, государе своем, в слезах своих скончались...» [140]. «Прошу тебя, друк мой, пожалей меня и деток своих, – будто вторила ей другая. – А у меня толко и радости, что ты, друк мои, Бога ради, не печался. И ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскучик камки, и я тое ка-мочку стану носит, будто с тобою видятца...» [141]. Приведенные строки взяты нами из письма жены стряпчего И. С. Ларионова, которого, как можно понять из текстов писем, жена искренне и нежно любила. В другом письме она жаловалась, что супруг «изволил писать» о своем «великом сомнении» в ее чувствах и заверяла, что ей было бы достаточно «хотя б в полтора года на один час видятца» – и то бы она была «рада» [142]. Можно предположить, что исключительная преданность интересам семьи и любовь к своим семейным «государям» была у рода Ларионовых традиционной. Известны, например, письма родственницы Д. Ларионовой, Е. Ларионовой (жены брата И. С. Ларионова, Тимофея), которые проникнуты чувством страха перед одной только возможностью потерять в силу разлуки душевную близость с мужем: «Тебе, государю моему, слезы мои – вада! Я, государь, вины не знаю пре[д] тобою, за што гнев твой мне сказывал! Я и сама ведаю, что немилость твоя ко мне. Кабы милость твоя ко мне – все бы не так была. Я и писать к тебе не смею, потому что мои слова тебе, государю, не годны...» [143]

Столь часто встречающийся в посадской литературе XVII в. сюжет «тужения» («По все дни лице свое умывает слезами, ждучи своего мужа...»; «Нача сердцем болети и тужити», «и по нем тужа, сокрушается», «и от слез с печали ослепла», «уже с печали одва ума не отбыла» [144]) находит подтверждение в письмах – и, конечно, не в письмах умевших скрывать свои эмоции государственных мужей, а их верных жен [145]. По письмам мужчин трудно догадаться, насколько они «тужили» вдали от родного дома и жены: слишком условно-формализованы их вопросы супругам и дочкам о «многолетнем здоровьи». Чувства же женщин проступают в эпистолярных памятниках достаточно четко. «А Домне скажи от нас благословение, – просил дворянина Тимофея Саввича неустановленный адресат в 1687 г. – И чтоб она, Домна, о Дмитрие в печали не давалась, а что она об нем велми тужит – и то она делает не гораздо, он, Дмитрией на государскую службу поехал, и он, Дмитрией ездит [туда] не по один год...» [146].

Между тем как было не тужить дворянкам! Одна из них, уже упоминавшаяся здесь А. Г. Кривкова, жаловалась: «Я в печалех своих едва жива по воли Божьи: Матфей Осипович идет на службу марта в день

под Чигирин. С печали сокрушаюсь, как быть – и ума не приложу» [147]. Женское сердце не зря тревожилось: в архиве князей Хованских содержится письмо с сообщением о том, что М. О. Кровков, о котором беспокоилась его жена, был привезен из-под Чигирина «замертво»: «едва жив лежит на смертной постеле, што обротим с боку на бок – то и есть, а сам ничем не владеет, ни руками, ни ногами» [148]. Бесхитростный рассказ дворянки Кровковой может быть домыслен словами одной из героинь «Повести о семи мудрецах», современной приведенному выше письму: «Уподоблюся убо яз пустынолюбней птице горлице и стану всегда жиги на гробе мужа своего...» [149].

Именно женщины, на чьи плечи оказывалось взваленным все «домовнее управление», то есть дворянки, купеческие дочки и «купцовы женки», писали нередко очень искренние, лишенные этикетных условностей письма. И хотя народная молва относилась к «добродетелности» представительниц купеческого сословия довольно скептически («вещь дивна и поистине сумнительна, поиже жены их купеческия множае в домех без своих мужей пребывают, нежели с мужьями жителствуют»), тем не менее житейский опыт подсказывал таким часто отсутствовавшим мужьям, что единственный способ добиться искренней верности супруги – это верить ей, подчеркивая самому свою преданность («дах ей волю по своей воле жиги, и како может, сама себе да хранит»). Тонкий психологизм был не чужд посажанам XVII в.: «Еже, вспоминая жены своя, смехотворно глаголати (насмехаться) или, ведая их безпорочное житие, за них не поручится – то бо есть сожителницы своей самое презренье и немилосердие» [150]. Таким способом, очень умно и ненавязчиво автор городской повести вел воспитание «добрым примером», как бы беря его в то же время из жизни [151].

Еще одна краска в палитре чувств женщин предпетровской России – жалость к более слабым и призыв «сожалитися», обращенный в письмах к мужьям или отцам. Как и городские повести, сплошь и рядом упоминающие о ситуациях, когда женщины не могли не «сожалитися», когда кто-то «горко и зелне плакуся» или «во хлипании своем не возможе ни единого слова проглаголити» – что вообще-то относится к средневековому литературному топосу, – письма дворянок XVII в. тоже часто содержат просьбу «быть милостивым» и тем самым «не погубить» слабого [152].

Умение сочувствовать, казалось бы, не знакомое мужчинам, жаловавшимся, что у них и «своего оханья много» [153], прекрасно характеризует родственные связи и дружеские отношения женщин того времени. Именно женщины в своих письмах советовали мужьям быть душевнее, сочувственнее, внимательнее: «Отдай грамотку детям ево, – просила Т. И. Голицына своего сына, В. В. Голицына, – и разговори их от



печали, что волею праведного Бога сестры их не стало, что в девицах была, и племянницы их не стало – у Домны, у Парфеньевны меньшей дочери...» [154]. Видимо, сами «супружники» эмоциональной проникновенностью не отличались, за исключением ситуаций, связанных со смертью матерей: «Ведомо тебе буди, Прасковюшка (редкое по нежности обращение. – Н. П.), [что] матка наша Ульяна Ивановна переселилася во оные кровы, и ты, пожалуйста], поминай [ее со] своими родителями...» [155].

Женщины для выражения подобных «скорбей» находили слова еще менее будничные, еще более выразительные: «В своих печалех насилу жива. Насилу и свет вижу от слез...» И хотя речь в ее письме шла о смертельной болезни мужа, добавляла сочувственно: «А и ваша разоренья мне, истинно, великая печаль, а помочь нечем...» [156]. В ином письме – ответе одной из представительниц царской семьи на сообщение мужа о болезни – жена выражала неподдельную тревогу: «Ты писал еси, что, по греху нашему, изнемогаешь лихорадкою. И мы, и мать наша... зело с плачем [соболезнуем и скорбим]» [157]. Не стоит, однако, обольщаться на предмет индивидуальной эмоциональности тех, кто писал процитированные письма, переоценивать адекватность их сострадания несчастью. В иных письмах побег крестьянина и объявление им «ничейной» земли своею приводили дворянок, если судить по их восклицаниям, в те же эмоциональные состояния («крестьяне искали ево целой ден, не нашли, убежал, и я от кручины той чут[ь] жива...») [158].

Однако анализируя изменения, произошедшие в эмоциональном мире русской женщины за несколько столетий, стоит выделить одно, характерное именно для XVII в. Так, говоря о милости к бедным или убогим, героини литературных произведений и авторы писем мужьям и отцам, написанных в XVII в., не были уже по сути ни слабыми, ни слабохарактерными. В то же время и по форме, и по сообщаемой информации они выдавали себя за слабых, называли себя, как некая А. Г. Кровкова, «нищими и безпомощными» [159], «бедными, безродными, безпомощными», как жена стряпчего Д. Ларионова [160], а зачастую, стремясь вызвать к себе жалость, напрямую хитрили: «я теперь сира и безприятна, не ведаю, как и выдраться, как чем и пропитаться с людишками до зимы». И это – в то время, как реальное положение дел было далеко от безрадостного, когда сами женщины были весьма далеки от разорения – в том числе и кнг. А И. Кафтырева, письмо которой процитировано выше [161]. Но в XVII веке уже оформилось восприятие женщины как «слабой», «ведомой» – и представительницы «слабого пола» ему подыгрывали.

Когда «интересы дела» требовали некоторого преувеличения, женщины ничуть не смущались ложью. Например, в спорном деле

москвичек, живших в середине XVII в., Анютки и Марфы Протопоповых (первая из которых вдова И. Д. Протопопова, а вторая – его мать), не поделивших наследство, обе женщины в расспросных «скасах» именовали себя «бедными», в то время как речь шла о «рухледи» на тысячи «рублев». В их случае примечательно, что «молодая» семья (А/ и И. Д. Протопоповых) жила вместе со старшим поколением «не в разделе», что и позволило старшей женщине («свекре» Анютки) захватить все наследство, включая приданое невестки, ее наряды и драгоценности [162].

Разумеется, когда речь шла о действительно страшных и трагических событиях в жизни семьи или в конкретной женской судьбе (гибель дома, детей, близких), женщины глубоко и остро переживали, страдали, «громко вопяше»: [163] поводов к тому оставалось по-прежнему хоть отбавляй. Но лишь в близких по стилю к житейным и некоторых переводных произведениях (типа «Повести об Ульянии Осорьиной» и «Повести о Петре Златых Ключей») сохранялся старый мотив религиозного «страха и ужаса» (Ульяния изображена страшящейся одиночества и темноты, пугающейся «бесев», а героиня «Повести о Петре» – впавшей «в великий страх и трепет», с «ужасающимся сердцем» от мысли, что «попорочит» род свой непослушанием родительскому слову [164]). Между тем даже в письмах таких современниц Ульянии, как деятельницы старообрядчества, мотив страха от собственной беспомощности, зависимости оказывался, как ни странно, затушеван. Он практически вовсе отсутствовал в «эпистолиях» «обышных» женщин, опровергая давний стереотип об исключительной религиозности москвиток [165], хотя в клаузуле писем непременно содержался топос о бессилии отдельного индивидуума перед лицом Господа.

Москвитки XVII в. представлены литературой своего времени размышляющими. Этот мотив, к сожалению, трудно уловить в письмах. Однако в посадских повестях упоминания о том, что кто-то из женщин «нача мыслити в себе», «размышляти, како бы уллучити желаемое», стали встречаться все чаще. В письмах же никто из женщин – ни царевны, ни княгини, ни дворянки – не признавались своим близким в том, что они о чем-то раздумывали [166], – если не считать хозяйственных расчетов да беспокойства о здоровье близких. Единственное исключение – сообщения в женских письмах о снах, как правило, страшных, пугающих («помнишь ли, свет мой, сон, как буйволы пили из моря воду, и свиньи их поели...»), о которых после свершения какого-либо неприятного события вспоминали как о предзнаменовании [167]. Несколько большую сосредоточенность на собственном внутреннем мире можно найти лишь у деятельниц старообрядчества. Анализ «жизненных сценариев» Ф. П. Морозовой, М. В. Даниловой, Е. П. Урусовой сквозь призму их ценностных ориентации, отразившихся в письмах, равно как

исследование уединенного самосовершенствования женщин в монастырях, «моделей жизни» одиноких женщин и вдов, могут внести дополнительные детали в общую характеристику частной сферы и личных судеб женщин допетровской России. Но эти темы требуют особого рассмотрения.

Типическая же жизнь женщины в Древней Руси и в России XV – XVII вв. отличалась преданностью семье. Именно поэтому вопросы, связанные с отношением к женщинам как «подружиям», «ладам», «супружницам», и самих женщин к их близким, законным мужьям и «сердешным друзьям», будучи отнесенными к «норме» (семейной жизни или ее подобию вне рамок брака), как нельзя лучше характеризуют становление и развитие эмоционального мира вначале русов, а затем московитов XVI – XVII вв. В ряду эмоциональных переживаний, непосредственно связанных с жизнью женщины как супруги и в то же время претерпевших значительную эволюцию за многовековой период, едва ли не на первом месте стояли переживания, связанные с сексуальной сферой. Трансформации в отношении к ней – как со стороны церковных проповедников, так и в некоторой степени «обычных людей» – были за рассматриваемые X – XVII столетия наиболее видимыми и характеризовались медленным признанием самоценности этой сферы частной жизни. Правда, в патриархально-маскулинизированном обществе, коим являлась Древняя Русь и Московия XVI – XVII вв., женщины почувствовали это изменение несколько в меньшей степени, по сравнению с мужчинами. Ранний (домосковский) период осуждения всего чувственного и избегания разговоров о нем родил устойчивый для всего европейского средневековья образ злой жены – «обавницы», «кощунницы», «блудницы» – источника греховных вожделений. Образ этот был популярным и в православной Руси, и в Московии, содержа и концентрируя в себе подавленные желания, тайное признание важности физиологической стороны брачных отношений и роли в них женщин.

Осознание сексуальности как части самовыражения личности, расширение и усложнение диапазона переживаний женщины в интимной сфере, новое восприятие плотской любви как «веселья» и «игранья», проявившиеся в некоторых памятниках предпетровских десятилетий, – были предпосылками «чувственного индивидуализма» в семейных отношениях, их физиологического и психологического обогащения, оказавшего переломное влияние на частную жизнь русских женщин.

Мир чувств русской женщины XVII в. – был ли он ориентирован на семью и мужа или же был связан с «полубовниками» вне рамок брака – был миром надежд на «милость», был наполнен ее ожиданием, попытками добиться любви – как признания своей единственности –

любыми средствами, в том числе «чародейными». Несмотря на все попытки церковных идеологов укрепить духовно-платоническую основу семейного единства, жизнь брала свое: «плотское» имело огромную значимость в индивидуальных женских побуждениях. Отражением борьбы «разума» и «плоти» стало появление в русской литературе XVII в. чувственных образов женщин, а в памятниках переписки и актовом материале, современных литературным произведениям, – свидетельств «роковых страстей», возбуждаемых и переживаемых ими. При этом в дидактической литературе изображение борьбы разумного и чувственного в душе женщины предпринималось именно с целью доказательства достижимости победы разумного. Напротив, и в фольклоре, и в посадских повестях XVII в. конфликт женских чувств и самоограничения сводился в конечном счете к уступкам «плоти».

К XVII в. относятся и изменения в восприятии некоторых деталей супружеской роли женщины, отобразившихся в парадоксальном сближении, медленной «диффузии» характеров злой и доброй жен. Литературные, дидактические, эпистолярные источники того времени зафиксировали изменение отношения к уму, инициативности, красоте, общительности женщины, превратив все эти качества в положительные характеристики, имманентно присущие добрым женам - в то время как в средневековье они считались «принадлежностью» жен злых (хотя и с некоторой вариативностью: не ум – но «хитрость», не инициативность – но «неубоязнь», не красота – но «украшательство», не общительность – но «болтливость»). Усложнение понятия нормы в «классификации» женских характеров сохранило, однако, резко негативное отношение к женской неверности, категорическое осуждение супружеских измен в церковной дидактике. Тем не менее ряд памятников XVII в. содержит сведения о распространенности внебрачных связей, адюльтера, а также о значительной роли, которую могли играть в частной жизни женщин их «сердешные друзья» вне брака.

Тем не менее необходимо признать, что проповедь супружеского «лада и береженья», столетиями не сходящая со страниц назидательных книг и церковных амвонов, дала в эпоху, когда «старина с новизной перемешались», свои плоды. Семейная переписка второй половины XVII в. сохранила живые и взволнованные голоса княгинь и дворянок, искренне и нежно любивших именно своих законных мужей. Письма этих женщин, умевших проявлять живое сочувствие и деятельное участие в делах и заботах своих благоверных – «свет-государей», как они их именовали, являются неоспоримым доказательством утвержденности в сознании, по крайней мере, этой образованной части общества, идеалов православной этики. О том же говорят и зачины в письмах, отразившие наличие и стойкость семейной иерархии, а также тон изложения женских писем и их содержание.

Добровольное согласие жены быть не перед мужем, а замужем, то есть не притязать на главенство в семье, означало, если судить по переписке, признание мужа защитником, душевной и материальной опорой для себя и детей. Разумность и психологическую тонкость добровольного согласия женщин на свою второстепенность в семье позволяет почувствовать сопоставление писем жен к мужьям, в которых они называли себя «слабыми», «бедными», «безпомощными», и деловой переписки, в которой вырисовываются женские образы отнюдь не безвольные, а весьма деятельные и активные.

Любовь в понимании образованных женщин России конца XVII в. ассоциировалась с преданностью интересам семьи и детей, «тужением» в разлуке с мужьями и радостью встреч с ними, соперечиванием заботам и делам близких, умением доверять и сохранять верность, горестным участием в бедах и утратах. Эти характеристики и человеческие качества побуждали женщин к размышлениям и оценкам собственной «самости». Появление такого интереса – интереса самих женщин к своему внутреннему миру – открыло путь к возникновению элементов женского самосознания, усиливавшихся и крепших вместе с ростом индивидуализма.

## **Очерк второй**

### **ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ (XVIII - начало XIX в.)**

Кардинальные преобразования уклада российской жизни, которыми начался XVIII век, не могли не изменить и семейно-бытового статуса россиянок различных социальных страт.

Иностранцы, побывавшие в Восточной Европе накануне петровских реформ – Самуил Коллинз, Яков Огрейте, Яков Рейтенфельс [1], – еще писали о России как стране «теремного затворничества» девушек и женщин, во всем зависевших от отцов и мужей, не имевших права ни показаться на людях, ни проявить как-нибудь свои желания [2]. Но в дневниках и путевых записках тех западных наблюдателей российского быта, которым посчастливилось стать очевидцами решительных действий Петра I, взявшегося, по его словам, за «народное полирование» (культурное совершенствование народа), отразились совсем иные впечатления.

Немецкий путешественник Г. Шлейссингер, описавший Россию начала XVIII в., назвал «пустой басней» утверждение его предшественников о том, что русские девушки «вообще не смеют показаться публично».

Описывая большой рынок, находившийся перед стенами московского Кремля, он заметил среди торговцев немало женщин разного возраста. Наблюдение Шлейссингера подтвердил чешский иезуит Иржи Давид. «Женщины появляются, где много публики и притом в большом количестве, – записал он, прибыв в Москву в 1699 г. – Сидят на лавках, продают шелка, ленты и так далее, разгуливают в шубах, плавно шествуют в высоких башмаках...» [3].

Стоит, однако, учесть, что эти наблюдения иностранцев фиксировали образ жизни отнюдь не представительниц московской аристократии. Между тем именно им – княжнам и дочерям боярским – пришлось испытать на себе все «прелести» воспитания и времяпровождения в недоступных постороннему взору теремах. Поэтому при сопоставлении семейно-бытового статуса женщин допетровского времени и Петровской эпохи большее значение имеет сообщение секретаря австрийского посольства в Москве И. Корба. 1 марта 1699 г., отметил он, на пиру и последовавшем за ним празднике в честь Бранденбургского посла впервые участвовали женщины, в том числе «принцесса Наталья» (Алексеевна, сестра царя). Правда, по его же словам, они пока еще только «смотрели на танцы и шумные забавы, раздвинув немного занавеси», разделявшие две комнаты. И все же И. Корб полагал, что «этот день сильно ослабил суровость обычаев русских, которые не допускали доселе женский пол на общественные собрания и веселые пиршества». Он же отметил, что «теперь... некоторым было позволено принять участие не только в пиршестве, но и в последовавших затем. танцах...» [4].

Ломка традиционных представлений о женщине, ее правах, роли, значимости и месте в семье происходила одновременно с первыми шагами по реформированию повседневного быта верхушки российского общества. Первым следствием реформ для женщин привилегированного сословия было внешнее изменение их облика. Указами Петра I 1700 – 1701 гг. было введено в обязанность носить одежду европейского кроя [5]. К 1 декабря 1701 г. женщинам предписывалось сменить весь гардероб и заменить его «венгерским и немецким костюмом». С тех, кто не подчинится указу царя, было велено «брать пошлину деньгами, а платье (старомодное. – Н. П.) резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь, дававшие, по словам И. Г. Корба, «полную свободу раздаваться в толщину» [6], было приказано сменить на «образцовые немецкие женские портища», т. е. платья с корсетом и юбками до щиколоток, а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами и корнетами. [7]

Следующим шагом было реформирование модели поведения. Законодательные предписания 1696 – 1704 гг. о публичных празднествах вводили новые формы общения: обязательность участия в торжествах и

празднествах всех россиян, в том числе «женского пола». Поначалу эти акты государя были восприняты настороженно самими женщинами. Но не прошло и нескольких лет, как российские дворянки осознали все преимущества «удовольствий общества», которые с осуждением описал кн. М. М. Щербатов в своем знаменитом сочинении «О повреждении нравов в России» (1789 г.) [8].

Указ 1718 г. с той же безапелляционностью, что и предыдущие законы и распоряжения царя-реформатора, ввел для российских дворянок обязательность участия в ассамблеях – «собраниях не только для забав, но и для дела, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и женскому». В 1725 г. аналогичное распоряжение было сделано царем относительно ночных балов [9]. Дж. Перри в своих «Записках о бытности в России» полагал, что своеобразные идеи русского государя были вызваны его заботой о том, чтобы «было приятно русским господам» [10]. И действительно: дамам на ассамблеях и балах (которые велено было устраивать преимущественно в зимнее время, и каждый столичный вельможа хоть раз в сезон принимал у себя светское общество [11]) не только позволялось, но и предписывалось оставаться до утра [12], танцевать «без разбору». Любой присутствующий мог пригласить на танец и знатную даму, и государыню, и царевен Анну и Елизавету. «Особенно дамы танцевали с большим удовольствием», – свидетельствовал в 1722 г. очевидец подобных балов камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, отмечая одновременно, что многие из них весьма «любезны и образованны» [13].

Совместные для обоих полов «веселья» устраивались по личному указу Петра во дворце и просто на улицах или за городом [14]. «Девушек на выданье» Петр распорядился вывозить «в свет» в сопровождении старших родственников. Таким образом, разительно переменились сами формы знакомства молодежи из зажиточных семейств. Юные барышни могли теперь встретить будущих избранников не только на традиционных «вечерках», но и на балах, ассамблеях, во время торжественных празднеств, уличных гуляний. Да и замужние женщины перестали считать зазорным совместное гостеванье с лицами мужского пола [15]. Ф. В. Берхгольц отмечал, например, в своем «Дневнике», что на одном из празднеств насчитал «до тридцати хорошеньких дам, из которых многая мало уступали нашим в приветливости, хороших манерах и красоте» [16]. Ниже он упомянул о хорошем знании многими из них иностранных языков [17].

В средних слоях столичного населения, например в среде гвардейского офицерства, танцевальные вечера с 30-х гг. XVIII в. стали организовываться вскладчину. Мужчин на них пускали за определенную плату, для женщин же был вход свободный [18]. Сказывалось отсутствие средств у женской части молодежи, медленное утверждение привычки к

светским развлечениям, живучесть старой традиции замкнутости и «домашности» женского мира, а также недостаток женского населения в столице [19]. Однако вплоть до конца XVIII столетия в среде провинциального российского дворянства танцевать на вечерах считалось более подходящим лишь незамужним «юницам». «Одни только девицы и танцевали, а замужние женщины – очень немногая, вдовы – никогда. Вдовы, впрочем, редко и ездили на балы», – писала, вспоминая о нравах конца 90-х гг. XVIII в., мемуаристка Е. П. Янькова [20].

Тем не менее участие в танцевальных вечерах стало к середине рассматриваемого столетия структурным элементом дворянского быта (особенно столичного). Без «дам» не мог состояться, разумеется, ни один бал. Кроме того, со второй половины XVIII в. все более или менее состоятельные горожанки – и не только дворянки, хотя по преимуществу именно они стали постоянными посетительницами театров. Всего несколько десятилетий назад в придворной «комедийной хоромине» женщины могли смотреть спектакли лишь из специальной ложи с окошком, чтобы быть незаметными присутствующим [21]. Со временем же посещение женщинами театров вошло в обиход [22].

Однако и старые представления о разрешенном и запрещенном давали себя знать: многие «благовоспитанные» барышни в 30-е гг. XVIII в. пытались себя «сохранить от излишнего гулянья» (Н. Б. Долгорукая), «наблюдать честь» [23]. Уже в середине столетия это выглядело анахронизмом. Балы и танцы превратились в излюбленную форму досуга зажиточной части российского общества – как столичной, так и провинциальной. Описания балов сохранились во многих воспоминаниях русских дворянок – большинство из них, вспоминая молодость, отмечало, что каждый бал таил в себе возможность новых встреч, решения судеб и каждый «ожидался с нетерпением» [24] – особенно молодежью [25].

Большую роль, нежели столетием раньше, стали играть в дозамужней жизни россиянок свахи – от их участия и умения зачастую зависела женская судьба. Сваху «необходимо-нужно было иметь» в особенности купеческим дочкам, поскольку отцы их (по воспоминаниям) доверяли в первую очередь именно «сватушням» («первобытной, миллион раз осмеянной и все-таки очень живучей форме брачной конторы») [26], а не подсказкам жен, родственниц и самих девушек [27]. Обращение к свахам не было особенно принято в дворянском сословии (хотя, например, М. В. Данилов женился как раз с помощью свахи), но было нормой в среде мещанской и купеческой [28]. Умение «знакомить между собой подходящие семьи, которые без этого бы никогда бы не сошлись» [29], держать на примете «подходящих» невест, быть осведомленными об их приданом, добиваться (за скромную плату) согласования сторон – все это отвечало именно женским умениям, женским чертам характера,



особым навыкам. В России профессия сватуны (свахи) была профессией сугубо женской [30]. По обычаю, родители невесты должны были хотя бы раз отказать свахе, отговариваясь тем, что «невеста не доросла до замужества» или что «приданое еще не готово». Иногда сватовство тянулось месяцами, а порой и «более года» [31] – но в этой долговременности был свой резон. Жених и невеста знакомились друг с другом – когда по рассказам, а когда и «вживую», встречались в многолюдных местах и наедине.

В начале XIX в. новые формы времяпровождения россиянок, казавшиеся поначалу лишь игрой в европейскую жизнь, постепенно стали ею самой. Это решительно изменило бытовой уклад и повседневность многих российских аристократок. Но было в них, равно как в семейно-бытовых отношениях и связях российского дворянства, с каждым годом трансформировавшихся, немало и традиционного, выработанного столетиями.

## I

### **«КАКИЕ НОНЧЕ БРАКИ БЫВАЮТ...»**

#### ***Условия замужества и порядок заключения брака***

Венчальный брак в XVIII – начале XIX в. стал основной формой заключения брачных уз в России. Это не означало, конечно, что нецерковные замужества девушек, браки «убегом» и «уводом», исчезли вовсе. Если в центральном районе страны «браки уводом или тайком бывали крайне редко» [1], то в среде «простецов» в отдаленных от центров северных и сибирских губерниях, где действовали нормы не столько писаного, сколько обычного права, невенчанные замужества и «беглые свадьбы» были весьма частыми [2]. При этом далеко не всегда «скрадывание» девушки происходило с ее согласия [3].

И все же когда в России XVIII столетия говорилось о замужестве по всем правилам («замужестве добром»), то имелся в виду венчальный брак и соблюдение всех условий и обрядов по «большому чину».

Как и в допетровскую эпоху, при выборе спутника жизни огромное значение для девушки имела воля родителей. Однако ее «укрывание» от жениха, «неизвестность» стали во всех сословиях, а уж тем более в сословии «благородном», – просто ритуалом. Это хорошо почувствовал уже в начале XVIII в. Г. Шлессингер. «Жених видит свою невесту повседневно и знает ее очень хорошо, – писал он. – И вообще церемония сватовства происходит так же, как у других народов, разве только невеста в это время укрывается в отдельной горнице или в другом месте» [4]. В то же время, как пережиток старой традиции «укрывания» невесты в дворянских семьях, существовало неписаное правило, по которому родители препятствовали слишком частым

свиданиям юноши и девушки до венчания: «в тогдашнее время не такое было обхождение, в свете примечали поступки молодых девушек... тогда не можно было так мыкаться, как в нынешний век», – вспоминала воспитанная по старинке требовательная к себе и к окружающим кнг. Наталья Долгорукова [5].

Ее современница М. С. Николева, подтверждая слова княгини, записала (рассказывая о 10-х гг. XIX в.), что, «по понятиям того времени, вести переписку невесте с женихом» в дворянских семьях «не считалось строго приличным» [6]. В семьях непривилегированных сословий (например, у капиталистских крестьян) представления о том, что «пристало» девушке, а что – нет, были еще более строгими. Например, крестьянский сын Н. Шипов, оставивший воспоминания о своем детстве в 10-е гг. XIX в., отметил, что «тогда существовал в крестьянском быту старинный обычай: девушка на возрасте, особенно невеста, не могла в родительском доме видеть лицом к лицу чужого мужчину, а была обязана, как скоро увидит гостя, идущего к ним во двор, закрыться платком, выбежать в другую избу или даже запрятаться под перину...» [7]. Таков был обычай. Но в действительности возможности добрачного знакомства были у девочек и девушек из крестьянских семей весьма широкими. Все они вели напряженную трудовую жизнь, участвовали в полевых работах, промыслах, «встречались на улице (у дома, в поле, на погосте), в праздники – на хороводах и играх, зимой... на посиделках» [8], «виделись каждый день, но мимолетно» [9].

Уже в петровское время и родители-дворяне стали больше учитывать желания и личные склонности вступающей в брак, тем более что ее согласие на него стало иногда фиксироваться в тексте брачного договора. Петр I, распорядившийся делать это, руководствовался не столько эмоциональными факторами, сколько соображениями государственной пользы («...не любящиеся между собою соупружествуют... и по сиевому началу житие тех мужа и жены бывает бедно и ...детей бесприжитно...» [10]). Традиция приоритета родительского решения, согласия родителей невесты на ее брачный выбор [11] сохранялась в форме ритуала [12] с исключительной твердостью. Брак без родительского благословения считался в крестьянской семье не «добропорядочным» [13]. Для девушки особенно значимым было благословение матери [14], но информаторы, описывавшие крестьянский быт по поручению Русского географического общества (середина XIX в.) [15], отмечали, что «большинство родителей из жалости и боязни за судьбу детей благословляли и таких из них, которые поступали против их воли» [16].

И все же требование обязательности родительского благословения, сопряженное с малолетством вступающих в брак девушек, обеспечивало – и для крестьянок, и для дворянок – исключительное значение власти

старших: родителей, а после замужества – мужа. Примечательно, что матери, готовя дочерей к выполнению ими роли жен, недвусмысленно наставляли их повиноваться воле мужей. «Ты уж не от меня будешь зависеть, а от мужа и от свекрови, которым ты должна беспредельным повиновением и истинною любовью, – наставляла в 1772 г. юную А. Е. Лабзину ее мать, благословляя девушку на брак. – Люби мужа твоего чистой и горячей любовью, повинуйся ему во всем...» [17].

Примечательно, что в тех случаях, когда совета и благословения спросить было не у кого, девушки с большой тревогой и сомнениями решались на самостоятельное решение вопроса о замужестве, относясь к нему как важнейшему жизненному событию, как бы ощущая непоправимость возможной ошибки [18].

Традиция повиновения дочерей родителям, а жен мужьям, которая выработывалась православной моралью в течение столетий, привилась, в конечном счете, очень прочно. Дела о браках без согласия родных оставались подсудны патриаршему, а с появлением Синода – общему духовному суду [19]. Позже браки без согласия старших родственников влекли за собой не столько церковные взыскания, сколько главным образом высокую конфликтность отношений между «старой» и «молодой» семьями. О ней, в частности, рассказывала Е. Р. Дашкова своей знакомой англичанке К. Вильмот, ссылаясь на опыт свекрови, вышедшей замуж за кн. Дашкова без согласия родственников, в частности – матери. К Вильмот весьма образно заключила, что «радужные перспективы» молодой пары, отравленные постоянными ссорами свекрови с невесткой, превратились в «надгробный памятник» браку послушников традиции [20].

И все же, проникнув и закрепившись в умонастроениях россиян, традиция приоритета родительского решения в вопросе о браке вступила в Петровскую эпоху в противоречие с некоторыми прогрессивными социальными побуждениями. Это противоречие и породило не существовавшую ранее традицию предварительного обручения новобрачных, призванную заменить прежний брачный сговор [21] (сговор продолжал бытовать, но только в крестьянской среде, и сговорные записи заменились устным соглашением родителей с обеих сторон). Законодательно обоснованный порядок обручения просуществовал с 1702 до 1775 г. С конца же ХУШ в. обручение как особый юридический акт перестало существовать, превратившись в необязательный обрядово-этический ритуал [22]. Период между обручением и венчанием законодательно не регламентировался и мог быть от нескольких недель до полугода [23].

Петр I, для которого понятие «государственной пользы» стояло выше всех остальных, запретил специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) насильственную выдачу замуж и женитьбу [24]. Вполне вероятно, что к

такому решению побудил Петра его собственный «фальстарт» – неудачный первый брак с Евдокией Лопухиной, навязанный будущему императору родственниками. Так или иначе, но государь повелел, чтобы каждому венчанию не менее чем за шесть недель предшествовал особый период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе» [25]. С 1702 г. самой невесте (а не только ее родственникам) было предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить сговоренный брак, причем ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом бить» [26]. Брак по любви получил таким образом значительно больше шансов состояться.

Тем не менее современник этих указов Ф. В. Берхгольц записал, что когда во время одного венчания в 1722 г. священник задал вопрос молодым: «желают ли они вступить друг с другом в брак и добровольно ли согласились на него», – то «во всей церкви раздался громкий смех». На расспросы автора о причине веселья ему ответили, что «жених оба раза отвечал и за себя, и за невесту». Осуждая неблагопристойность подобного поведения и жениха и гостей, Ф. В. Берхгольц невольно зафиксировал формальность церемонии получения согласия новобрачной [27].

В действенность распоряжений, касающихся ненасильственности брака, не слишком верил, однако, даже сам умудренный житейским опытом император. Незадолго до своей смерти, чтобы быть последовательным в решениях, Петр дополнил церемонию бракосочетания новой формальностью: родители должны были клятвой подтвердить, что выдают дочерей замуж не «неволею» (1724 г.). Порядок этот распространялся на знатных персон, шляхетство и разночинцев в городах [28]. Это ничуть не противоречило направлению развития морали и педагогических интенций составителей церковных проповедей того времени [29], как, впрочем, и воззрениям передовых сподвижников и просто современников Петра [30]. Однако вскоре после смерти императора решение о «тяжком штрафовании» родителей, «детей своих к брачному сочетанию нудивших» и «брачивших без самопроизвольного их желания», довольно быстро забылось, и принудительные браки во всех – даже в дворянском – сословиях продолжали оставаться весьма распространенными, особенно когда матримониальные планы родственников были увязаны с материальными расчетами.

Поскольку многие родители-дворяне тяготились опасностью штрафа за принуждение детей к браку, в 1775 г. петровский указ был отменен официально [31]. Многие мемуаристки и мемуаристы XVII – XIX вв. отмечали, что насильственные браки были очень распространены.

Для представительниц непривилегированных сословий весьма часто «доказанное преступное деяние... наказывалось выдачею несчастных преступницы в замужество за какого-нибудь уроды...» [32].

Для крепостного сословия это считалось рядовым явлением. А. Н. Радищев называл это «изрядным опытом самовластья дворянского над крестьянами» и сокрушался: «Они же (крепостные), друг друга ненавидя, властью господина своего влекутся на казнь». М. В. Ломоносов дополнял писателя: «Где любви нет – ненадежно и плодородие» [33]. Однако интересы «государственной пользы» заставляли законодателей думать о воспроизводстве населения. Государственные указы 1722, 1758 и 1796 гг., регулировавшие брачную жизнь крепостных, меньше всего учитывали интересы вступающих в брак женщин. Все они определялись лишь рациональными соображениями. Помещики обязывались выдавать крепостных девушек замуж, чтобы не «засиживались в девках до 20 лет» [34]. Детализируя и конкретизируя положения официального законодательства применительно к своим вотчинным правам, А. П. Волынский рассчитывал действовать методом поощрения («давать от двух до пяти рублей, дабы женихи таких девок лучше охотились брать»), а кн. М. М. Щербатов [35] и гр. Н. П. Шереметев – напротив, более испытанным методом устрашения: крепостных девок, «коим минет 17 лет», «а замуж не пойдут» – «таковых всех высылать на жнитво и молотьбу казенного хлеба сверх тягловых работ отцов и братьев и высылкою на работы отнюдь никого не обходить...» [36]. В имениях кн. А. Б. Куракина в 90-х гг. XVIII в. разрешено было штрафовать «девок», не вступивших в брак, причем даже не к 20 (как предписывалось законом 1796 г.), а к 13 – 15 годам (из расчета 5 рублей в год) [37]. С солдатской прямоотой решал брачный вопрос своих крепостных и гр. А. В. Суворов, также понизивший брачный возраст «девок» до 15 лет, невзирая на жалобы крестьян, мол, «все будут женаты не по любви, а по неволе» [38].

Крестьянские браки в пределах одной вотчины еще могли быть заключены под влиянием личной склонности. Но любовь «на стороне», увлечение крепостного девушкой, принадлежавшей другому помещику, рождала, за редким исключением, одни трагедии [39]. Редкие владельцы зависимых душ (вроде П. А. Румянцева) позволяли крестьянкам выходить замуж «по собственному произволению» [40]. Большинство исходило из возможности заключения браков исключительно в пределах собственных вотчин [41]. «Вдов и девок на вывод не давать под жестоким наказанием, понеже оттого крестьяне в нищету приходят, все свои пожитки выдают в приданые и тем богатеются чужие деревни», – мотивировал подобные действия помещиков В. Н. Татищев [42]. К 10-м гг. XIX в. стремление выходить замуж (и жениться) в пределах своего села или ближайших деревень превратилось в стойкий обычай (в то время как в допетровское время требование избегать близкородственных

браков находило отражение в пожелании «искать невесту за семь деревень») [43]. Информаторы Русского географического общества сообщали в середине XIX в., что «выдавать на сторону замуж девицу означало что-то неладное», например, скрытые пороки жениха, его семьи или его родителей [44].

Тем не менее со временем тенденция согласования интересов родителей, родственников и близких с мнением самих вступающих в брак все-таки усилилась. Г. С. Винский в мемуарах, названных «Мое время» (середина XVIII в.), отмечал, что его родители заключили брак «по взаимной сердечной склонности», и видел в последней причину «прочного членоустройства, чистой крови и здоровых соков» их детей [45]. Старшая современница Г. С. Винского графиня В. Н. Головина (урожденная Голицына) вспоминала, что ей «несколько раз делали предложение, но каждую партию» она «тотчас отвергала», пока ей не встретился ее избранник [46]. Известная мемуаристка XVIII в. Н. Б. Долгорукова, хотя и следовала поначалу мнению родственников, нашедших для нее удачного жениха, в дальнейшем пошла наперекор их советам. «...Когда он был велик – так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласиться не могла» [47]. Однако стоит учесть последствия для девушки столь явного проявления самостоятельности: в решающий для ее судьбы момент – отъезд в Сибирь с опальным мужем – все ее родственники (кровные и по свойству) отвернулись от нее, никто не только не помог материально, но и не пришел проводить [48].

В «Дневнике» купеческой девушки начала XIX в. (точнее, в мемуарах, литературно стилизованных под дневник) можно отметить новый «шаг» в становлении женского права на самостоятельный выбор будущего спутника жизни. В нем содержится подробное изложение переписки («тайных цидулок») и «мечтаний о нем», добрачных отношений с будущим супругом – абсолютно платонических, но свидетельствующих о глубине и остроте переживаний [49]. В некоторых мемуарах дворянок и купеческих дочек можно найти описание «хитростей», к которым прибегали девушки, чтобы избежать деспотической непреклонности родителей в вопросе о замужестве и тем самым обеспечить себе брак «по выбору сердца» [50]. С 10-х гг. XIX в., если судить по мемуарам, юные дворянки, хотя и полагались в решении своей судьбы на волю родителей, имели тем не менее немало «веры в собственные силы и свою звезду на пути сердечного романа» [51].

Конечно, во многих дворянских семьях, а тем более в купеческих (отличавшихся грубостью нравов) [52], вопрос о замужестве и брачном партнере решали по-старому – родители и родственники будущей невесты (по «совету людей искусных, а паче надежных родственников и свойственников») [53]. Это отметил в своем дневнике и Ф. В. Берхгольц

[54], и живший в конце XVIII – начале XIX в. Е. Ф. Комаровский. Последний посватался в рекомендованные ему «дом и семью», был «обласкан» будущей тещей, но «дочери ея» вплоть до последних дней перед свадьбой «не видал» [55]. Его современник, купец И. А. Толченев, выбрал сыну невесту, позволив ему лишь трижды увидеться с нею до свадьбы, причем от первых «смотрин» до венчанья «по соизволенью и убежденью родителя» прошло чуть более недели [56]. Трудно сказать, насколько близкими душевно могли стать отношения между потенциальными супругами, едва знавшими друг друга до свадьбы; «однако определяющую роль играла в них традиция, обязывающая полюбить избранника или избранницу. «Любила я его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела, нежели он мне женихом стал», – вспоминала о своем отношении к будущему мужу – «Иванушке» (Долгорукому) Н. Б. Шереметева [57].

Весьма характерно в этом смысле поведение первой невесты Г. Р. Державина – Екатерины Бастидоновой. До 34 лет поэт не был женат, хотя его окружало немало знатных и богатых невест, и лишь в 1743 г., пораженный красотой девушки (дочери португальца), он решил посвататься к ней. Описывая тот день и себя самого (в третьем лице), Г. Р. Державин вспоминал: «Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, и осматривал комнату, прибор, одежду и весь быт хозяев». Сочтя недостаточным согласие матери Екатерины, он решил переговорить с самой девушкой, но добился от нее лишь признания, что вопрос об их совместном будущем целиком в руках ее «матушки» («от нея зависит») [58].

Об определяющей роли родителей в решении вопроса о замужестве упоминали и другие авторы, в том числе в позднейших мемуарах: А. Е. Лабзина [59], М. В. Данилов [60], А. П. Керн [61], Н. В. Басаргин [62], а также англичанка Марта Вильмот [63]. «Не сказав ни слова» будущей супруге, урожденной А. П. Буниной (во втором браке Елагиной – известной хозяйке литературного салона второй трети XIX в.), посватался в 1805 г. к родителям невесты И. В. Киреевский [64]. М. А. Дмитриев (1796 – 1866) в своих мемуарах «Мелочи из запаса моей памяти» отметил, что решение главы семьи, касающееся замужества и женитьбы, могло перевесить и доводы разума, и надежды на карьеру: достаточно было одного соображения отца, что дочь выдается «за хорошего человека и богатого дворянина», чтобы бракосочетание состоялось, и скорейшим образом [65].

Выбирая для дочерей спутников жизни, родители прежде всего полагались на собственный жизненный опыт; на человека без состояния они часто смотрели как на «бьющего баклуши», «пустого», и порой жестоко таким образом просчитывались. Именно так обстояло дело с неудачным сватовством к Грушеньке Янковой гр. Ф. П. Толстого,

ставшего впоследствии и тайным советником, и вице-президентом Академии художеств, но поначалу, в молодости (ему было около 30), не произведшего впечатления на родственников девушки. Меж тем «Грушеньке он очень нравился», – вспоминала позже мать [66].

Иногда матери препятствовали браку симпатизировавших друг другу молодых людей исключительно по причине сохранения традиции «очередности» выдачи замуж («могу ли я отдать меньшую, когда старшие две сестры не замужем?»). Таким образом некоторые матушки могли «терзать», по словам мемуаристки, молодых людей годами, не позволяя даже «проплатить на мать или пугнуть ее» [67]. Аналогичный пример, в котором роль препятствующей принадлежала уже старшей сестре, привела в своих воспоминаниях С. В. Скалой [68]. В крестьянском быту традиция выдавать замуж по старшинству трансформировалась в обычай одевать младших сестер хуже, чем старших, даже «не пускать поводу до выдачи старшей замуж» [69]. Традиция очередности выдачи замуж нашла косвенное отражение и в поговорках («Через сноп не молотят, через старшую молодку не дают») [70], а также в сюжетах русских сказок, где младшая дочь, как и младший сын, представлены обычно (особенно в завязке сюжета) плохо одетыми, незаметными, непримечательными.

Несогласие в вопросе о замужестве с мнением родителей, как и ранее, заставляло многих юных девушек совершать неожиданные и предосудительные, с точки зрения господствующих представлений о морали, поступки. Так, например, семейное предание семьи Державиных сохранило историю младшей сестры Д. А. Дьяковой (жены поэта) – Марьи Алексеевны Дьяковой, которую родители не хотели выдавать замуж за некоего Н. А. Львова, впоследствии ставшего талантливым архитектором. Семейный биограф Державиных И. Хрущев писал впоследствии, что девушка «вышла к Николаю Александровичу (Львову. – Н.) тайком через окно, поехала за женихом, да и обвенчалась с ним, тайком же вернулась к родителям прямо из церкви и стала жить у них по-прежнему, до поры до времени не объясняя о случившемся браке...» [71]. Аналогичную историю любви и тайного венчанья (из-за несогласия матерей жениха и невесты) кн. А. Ф. Щербатова и княжны В. П. Оболенской (конец XVIII в.) рассказал на страницах своих воспоминаний П. А. Вяземский; [72] о возможности непризнания «тайного брака» офицера и юной барышни упомянула в своих мемуарах М. С. Муханова [73]. И все же супружеских союзов, заключенных «супротив воли» родителей и родственников, было немало [74], хотя многие из них кончались для молодых неопытных девиц драматически, а порой и трагически [75].

Что касается возраста невест, то в начале ХУШ в. была сделана попытка отойти от старой традиции низкого брачного возраста невест:



Указ о единонаследии 1714 г. определял 17 лет как возрастной ценз девушек при вступлении в брак [76]. Однако обычай выдавать замуж рано, в 12 лет, когда девочки были не-самостоятельными и зависимыми не только от воли, но и от житейского опыта родителей, продолжал сохраняться, несмотря ни на какие указы. Церковные правила по-прежнему обязывали «сродичей» женить девочек и вообще детей без задержки, едва те «войдут в возраст»: «Всякому родителю подобает сына своего женить, егда скончается возрасту его 15 лет, а дочери 12 лет» [77]. Таким образом, указ о повышении брачного возраста невест до 17 лет нарушал не только традицию, но и церковную (византийскую) норму права. Как и в XVII в. [78], в петровское время законодательные установления о брачном возрасте невест мало кем соблюдались.

В середине, а особенно в конце XVIII в. [79] несовпадение живучей традиции и законодательства стало особенно явным. Указ Синода 1774 г. вернулся к старой практике, понизив брачный возраст девушек до 13 лет [80]. Петровское новшество оказалось нежизнеспособным: большинство дворян, не говоря о других сословиях, выбирало себе в XVIII в. 12 – 13-летних жен. Известный мемуарист Андрей Болотов сообщил, что он сватался к 12-летней невесте и сыграл свадьбу через год после сватовства [81]. Князь Юрий Долгорукий женился на одиннадцатилетней девочке [82]. Датский посол Юст Юль отметил в своих записках, что жене воеводы, у которого он гостил, не было и 12-ти [83]. Аналогичные сообщения можно найти в письмах секретаря английского посольства Л. Вейсброта [84], Даже сам Петр I объявил о совершеннолетию своей дочери Елизаветы (будущей правительницы России), когда ей исполнилось 12 лет [85]. Что и говорить о «простых» подданных! В «нежном» возрасте – 12-ти лет – вышла замуж за известного ученого А. М. Кармышева А. Е. Лабзина [86], бабушка Е. П. Яньковой – княжна Мещерская [87], преподавательница Смольного института г-жа Лафон [88]. Примеры могут быть легко умножены: 26-летний дворянин Г. С. Винский [89] женился на 15-летней девочке; его современница Е. Р. Дашкова писала, что «в 15 лет полюбила и вышла замуж», родив в положенный срок первого ребенка, в 16 лет – второго [90]. В 22 года она уже овдовела (мать Екатерины Романовны тоже, кстати, выходила замуж за кн. Дашкова 15-летней) [91].

В начале XIX столетия брачный возраст девушек определялся законом в 16 лет [92], но это по-прежнему не всегда совпадало с брачной практикой. В этом смысле любопытно сообщение С. Т. Аксакова о том, что его дед, ужаснувшись несчастливому браку своей воспитанницы, выданной хитростью замуж за «проходимца» М. М. Куролесова, «погрозил, что разведет Парашу с мужем по ее несовершеннолетию» (девушке было 14 лет). И лишь подложное метрическое свидетельство, показанное ему священником, в котором

говорилось, что «Прасковье Ивановне семнадцатый год», «лишило его всякой надежды на расторжение ненавистного ему брака» [93].

Тем не менее в начале XIX в. в дворянской среде обнаружилась тенденция к повышению брачного возраста. Родители известного мемуариста Г. С. Винского обвенчались, когда им было, соответственно, матери – 16 лет, а отцу – 21 год [94]. Повышение брачного возраста отметили также П. Г. Березина (вышла замуж в 19 лет); В. Н. Головина (стала невестой в 20 лет), сестра М. В. Данилова Анна [95]. В начале XIX в. представительницы привилегированного сословия выходили замуж, как правило, в возрасте от 17 до 23 лет [96], хотя бывали исключения [97]. Примечательно, однако, что при упоминании возраста юной незамужней девушки в мемуарах стало употребляться словосочетание «ей было уже 17 лет» – если речь шла о возрасте совершеннолетия [98]. Кстати сказать, мемуары купеческих девушек тоже позволяют отметить повышение брачного возраста в начале XIX в. [99].

Девушки в крестьянских семьях XVIII – начала XIX в. выдавались замуж, как правило, не позднее 18–20 лет. Пословица «Мука – не тесто, пока не перемесится, девка – не невеста, пока не перебесится» [100] свидетельствовала о том, что одна из ранее существовавших причин ранних замужеств (стремление сохранить «девство») стала не столь определяющей.

Разница в возрасте между невестами и их будущими супругами составляла, как правило, от одного до трех лет (старше оказывался мужчина) [101]. В то же время брачные партнеры дворянок и купеческих дочек могли быть им совсем не парой по возрасту – пожилыми, а то и просто старыми (как то отразилось на известной картине В. В. Пукирева «Неравный брак» – 1849 г.). Ф. В. Берхгольц еще в 20-е гг. XVIII в. упомянул о свадьбе пожившего и много повидавшего князя Ю. Ю. Трубецкого («имеющего внучат восьми и девяти лет») и 20-летней барышни. Один из «птенцов гнезда Петрова» фельдмаршал Б. П. Шереметев женился на 25-летней вдове с двумя детьми – А. П. Нарышкиной (урожд. Салтыковой), когда ему исполнился 61 год и его старшая дочь от первого брака была 40-летней матерью нескольких детей [102]. О таком же несоответствии возрастов жениха (ему исполнился 51 год) и невесты (едва достигшей 17-летия) написала в своих записках и Н. Н. Мордвинова (правда, немолодой возраст супруга не помешал этой паре иметь 11 детей, из которых 8 дожили до совершеннолетия, создали собственные семьи) [103]. Знаменитый государственный деятель екатерининской эпохи И. И. Бецкой «перед заходом солнца» (ему было 75 лет) всерьез увлекся юной выпускницей созданного по его же инициативе Смольного института – 18-летней Глашей Алымовой (Г. И. Ржевской), надеялся на брак с нею, а когда узнал, что она влюблена в А. А. Ржевского, просил «хотя бы на два года» отложить свадьбу, но жить в его доме [104]. И таких примеров

много [105].

Любопытно, однако, что, несмотря на распространенность браков пожилых мужчин с молоденькими барышнями, общественное мнение все-таки полагало их «неравными». «Серьезные» брачные намерения, а тем более любовные интриги между «юницами» и теми, кто «по возрасту годился в отцы не только» им, но и их «старшим сестрам», – одинаково считались предосудительными: [106] «При неравенстве лет может ли быть взаимное чувств услаждение?» [107]. Такое отношение к бракам молодых с пожилыми было общераспространенным, кроме исключительных случаев, когда болезнь или физический недостаток одного из супругов требовал заботы и содержания со стороны другого [108]. В то же время в законах XVIII в. был зафиксирован (на основе Кормчей книги) и максимальный возраст для вступления в брак – 60 лет [109]. Крестьяне считали «уместным» брак мужчин «не старше» 50 лет, женщин – 45 [110].

Описанная тенденция – брачности пожилых мужчин и молодых, а порою даже юных женщин – сохранялась и позднее. Например, Д. А. Дьякова вышла в 1795 г. замуж за 52-летнего Г. Р. Державина, когда ей не исполнилось 30-ти («соединение долженствовало основываться более на дружбе и благопристойной жизни, нежели на нежном, страстном сопряжении», – полагал поэт и признавался, что он «совокупил судьбу не пламенную романтическую любовью, но благоразумием, уважением и крепким союзом дружбы» [111]). «Хорошенькая собой, с большими карими глазами и чудными густыми ресницами девица Кудрявцева», «едва вышедшая из пансиона» (следовательно, ей было не более 16–17 лет. – Н. П.), выйдя замуж за кн. А. А. Трощинского, «казалась скорее дочерью его, чем женой», и «странно было видеть, как она прибегала – истинно как дитя – и спрашивала у него позволения идти гулять или надеть платье...» [112]. Спустя десятилетие 17-летняя дворянка А. П. Полторацкая была выдана отцом замуж за 52-летнего генерала Керна, который, по ее словам, был ей «так противен», что она «не могла даже говорить с ним» [113].

Иначе сложились отношения в семье Ф. П. Львова, двоюродного брата архитектора Н. А. Львова: несмотря на то, что юная жена была моложе вдовца с несколькими детьми на 22 года, она сумела заменить им мать [114]. Аналогично: счастливый брак ожидал «немолодого, некрасивого и ничем не примечательного князя Щербатова» с Е. Нарышкиной – «замечательно красивой, кокетливой и весьма легкомысленной» девочкой-девушкой, бывшей моложе его более чем вдвое [115]. В те же годы 18-летняя купеческая дочь Татьяна Полилова была выдана замуж за квартирмейстера Павловского полка Ф. И. Григорьева, которому шел 38-й год [116], и была счастлива.

Обратная ситуация – брачности немолодых женщин с молодыми

мужчинами – практически не просматривается в дворянском сословии. Единственный пример несоответствия в возрасте подобного рода – замужество 34-летней С. В. Капнист (причем замужество первое!) с 28-летним преподавателем Полтавского кадетского корпуса В. А. Скалоном. Любопытно, что, несмотря на подробное изложение мельчайших деталей чужих биографий в своих воспоминаниях, С. В. Капнист-Скалон обошла вниманием и этот факт, и само описание позднего замужества, ограничившись лишь будничным: «устроилась и моя судьба» [117]. Наверное, вопрос о замужестве долго был мучительным для мемуаристки (ведь в то время 20 – 22-летние дворянки считались уже перестарками, привередницами [118], а в крестьянском быту их звали прокисшими невестами, однокосками, вековушами) [119].

Отношение к брачному возрасту в непривилегированных сословиях также претерпело существенные изменения за рассматриваемое столетие. Уже к 1711 г. (когда проводилась одна из переписей населения) ранние браки в деревне становились все более нечастыми. Крестьяне, выдавая дочек замуж, руководствовались больше хозяйственными мотивами, нежели эмоциями: управиться с тяжелыми полевыми работами, уходом за скотиной, многими домашними промыслами могли лишь те, кто был достаточно зрел и обладал физической силой [120]. Иной вопрос – о праве родственников или родителей (а тем более помещика) выдавать девушек замуж за кого угодно и в каком угодно возрасте. В 1761 г. М. В. Ломоносов с негодованием писал о том, что «в обычай вошло... малых ребят, к супружеской должности неспособных», женить «на девках взрослых», так что «часто жена по летам могла бы быть матерью своего мужа» [121]. Русские юристы XIX в. полагали, что в ХУШ в. подобные ситуации были рядовыми [122]. В свое время они вызвали гневное возмущение А. Н. Радищева [123]. Но в быту они были рядовыми. Не случайно появление в фольклоре сюжета о жене, которая носила своего мужа в переднике, отбивала от уличных мальчишек [124], а также присловий типа «Вспмге, бабушка, наука, не ходи замуж по внука!» или «Не ходи сорок за двадцать!» [125].

Следствием возрастных несоответствий в крестьянских браках было распространение снохачества, описанного англичанином У. Коксом в 1778 г., в том числе в его «обратном варианте», изложенном путешественником С. Текели (сожительстве тещ с зятьями) [126]. Даже в середине XIX в. попытки снох жаловаться на старших мужиков в семье, заставлявших вступать с ними в интимные отношения, заканчивались в лучшем случае ничем, а в худшем – наказанием пострадавшей (якобы «за клевету») [127]. Сам крестьянский мир реагировал на снохачество равнодушно и простодушно, говорили: «сноху любит» [128].

Относительно других условий замужества, помимо описанных выше

(ненасильственности брака, согласия на него родителей и соблюдения брачного возраста), – то они мало изменились за рассматриваемое столетие.

Так, священники по-прежнему требовали отсутствия кровного родства между женихом и невестой [129]. Церковное правило о воспрещении браков с людьми, приходящимися друг другу свойственниками или родными (вплоть до шестого «колена» или степени родства), утвержденное «Уставом о брацех» в XV в. [130], никто не отменял. Известны случаи, когда Синод категорически воспрещал браки между родственниками пятой (запрещенной) степени родства [131]. Во всяком случае, он решительно настаивал на соблюдении епископами обязанности определять степень родственных отношений вступающих в брак, даже если «искусные люди» умело скрывали их [132]. Лишь в 1752 г. именным указом императрицы повелевалось не допускать браков только в «действительно возбранных степенях родства» и обнаружилось стремление к ослаблению брачных запрещений [133].

Мемуарная литература XVIII– начала XIX вв. позволяет усомниться в действенности запрета близкородственных браков (а тем более внебрачных связей между двоюродными и троюродными «сродниками»!) [134], равно как и браков между людьми, связанными свойством. Так, А. Е. Лабзина в первом браке была замужем за воспитанником («благоприобретенное родство»!) своего отца – А. М. Кармышевым, который в открытую, у нее на глазах, сожительствовал со своей племянницей; [135] А. П. Керн вспоминала, описывая свое детство в первые годы XIX в., о браке писателя Ф. П. Львова с его кузиной («Какие нонче браки бывают... Известный нам всем Ф. П. Львов женился на своей двоюродной сестре Львовой, имея 10-х детей от первой жены...») [136]. Известно дело 1776 г., поданное в Св. Синод, с просьбой не расторгать брак с двоюродной сестрою умершей жены: просьба признать это супружество была удовлетворена [137].

В то же время в некоторых источниках встречаются упоминания о том, что наличие родства становилось тяжелейшим препятствием при возникновении сердечных привязанностей. В случае обращения к митрополиту за разрешением близкородственного брака, прошения такого рода – особенно от «уважаемых лиц» – чаще всего тем не менее удовлетворялись. Так, в 1812 г. митрополит Филарет разрешил брак пожилого П. С. Протопова с его двоюродной племянницей, воспитывавшейся им же в его же доме («...избавите молодую пару от греха, а сего господина сохраните от самоубийства...») [138]. В народе в отношении девушек, приходившихся дальними родственницами женихам, действовало правило: «Четвертое колено – из ряду вон, к венцу вези смело!» [139]. Иронизируя над церковным запретом близкородственных браков, крестьяне сочинили немало поговорок,

отражавших допустимость браков между людьми, связанными дальним родством [140]. Однако близкие родственники, в том числе троюродные сестры-братья и люди, связанные духовным родством, обычно не «брачились»: «Аще кто со сродники плод сотворит – то чадо не здраво же будет» [141].

Как и в допетровское время, имелись ограничения на количество замужеств в жизни. Четвертый брак, если он заключался кем-либо, считался недействительным: замужество по-прежнему разрешалось только три раза в жизни. Формально продолжало действовать правило о двухгодичной (в случае повторного брака) и трехгодичной (в случае замужества в третий раз) епитимье [142], но, как часто она налагалась и насколько была строгой, сказать трудно. В исключительных случаях – вроде описанного М. М. Щербатовым [143] – на третий брак требовалось специальное разрешение, например, от высшей церковной власти (Синода) или от императора. Не стоит, однако, думать, что подобных примеров почти не было.

Хроника рода Мариных сохранила историю Марфы Антипьевны Мариной, родившейся в конце XVII в., прожившей 130 лет [144] и бывшей замужем четыре раза – «с разрешения митрополита» [145]. В фольклоре сохранилось присловье «Да она уже третьего мужа донашивает», свидетельствующее о том, что замужества по третьему разу встречались не только в «образованном сословии», где дворянки могли испросить письменного разрешения церковных властей [146]. Чаше, впрочем, можно встретить известия не о втором, третьем и т. д. замужествах, а о женитьбе во второй или в третий раз [147].

Ограничение количества женитьб и замужеств, установленное православной концепцией, полагавшей каждый новый брак уступкой человеческой «слабости» (неспособности оставаться верным памяти первого мужа или жены), вступало – как и ранее – в противоречие с естественным ходом вещей. Решившиеся на заключение повторного брака нередко бывали вынуждены делать это тайно. Скрыть подобный поступок было нелегко и причиняло «несносное огорчение и несогласие между семействами» [148]. Поэтому глубоко верующий и искренне любивший свою первую жену Г. Р. Державин женился повторно через полгода после смерти своей «Плениры», мотивируя этот поступок, по словам М. А. Дмитриева, следующим: «...не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат» [149]. Весьма часто необходимость вторичного замужества возникала от невозможности прокормить детей от первого брака или могла быть вызвана конфликтами с родственниками умершего мужа [150].

Новый брак, новое замужество считалось предпочтительнее внебрачных связей – и уже не только духовными идеологами, но и

самим русским обществом. Однако примечательно, что русское образованное сословие признало одновременно и ценность брачной неискренности, «неискусобращения». Именно такой термин был выбран мелкопоместным дворянином Г. С. Винским для определения причин «истинного благородства и счастья» детей, рожденных в супружеских союзах «молодых, здоровых родителей» («дети порочной любви редко бывают добрыми существами», резонерствовал он) [151].

Как свидетельствуют документы Духовной консистории Синода, в течение XVIII – начале XIX в. по-прежнему строго соблюдалось правило, по которому нельзя было вступать в брак «от живого супруга» (то есть, скрывшись от одного, венчаться с другим). Духовный регламент 1721 г. предписывал «без утайки» доносить о всех «сомнительных» браках в «духовный коллегийум» [152]. Если обвенчанные скрывали, что один из них уже женат, то брак – как и в случае заключения его в четвертый раз – считался недействительным. Большое число документов, рассказывающих о таких личных драмах, говорит об их распространенности [153].

Не менее строго, чем в допетровское время, соблюдался в России XVIII – начала XIX в. и сословный характер брака. После введения в действие Табели о рангах (1722 г.) социальный статус женщины стал определяться чином ее отца (если она была не замужем) или мужа. Поэтому в документах XVIII – начала XIX в. появились слова «полковница», «бригадирша», «статская советница», «тайная советница». Женщины, находившиеся в придворной службе (число их было очень незначительно), стали обладательницами придворных званий (рангов) и даже получили возможность надеяться на «служебный» рост, вплоть до высшего женского придворного чина – обер-гофмейстерины, бывшей в ранге фельдмаршала [154].

Несмотря на то, что сам Петр I женился на неразведенной жене шведского солдата, да еще с сомнительным прошлым [155], все его указы 1702 – 1723 гг. ставили целью привязать подданных к своим сословиям [156]. Требование ненарушения сословных границ обеспечивало одновременно поддержание традиции имущественного равенства будущих супругов. Одной принадлежности обоим потенциальных брачных партнеров к «аристократическим фамилиям» было, как правило, недостаточно, так как и их родители, и они сами мечтали «устроить дела так, чтобы нужда не отравила обоюдного счастья». [157] Поэтому избранник юной дворянки, как правило, принадлежал к той же социальной страте, что и она сама, и был обеспечен примерно так же, как и ее родня (юношам рекомендовалось искать «себе равных или паче низше себя») [158]. «...Неравные браки не были... часты, – вспоминала в конце XVIII в. Е. П. Янькова, – каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми равными себе по рождению и по воспитанию и не братался со

встречным и с поперечным...» [159].

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)



Муж, как и в допетровские времена, «сообщал» жене свое состояние: лишь в 1815 г. был отменен порядок, по которому свободная женщина, вышедшая замуж за крепостного, не утрачивала свою свободу и сохраняла высокий социальный статус [160]. Неравные браки приобретали законную силу лишь в исключительных случаях [161]. Современники Петра разделяли точку зрения государя на принципиальную недопустимость браков «подлых» людей с «благородными», да и в отношении людей своего же социального ранга рассуждали с известной осторожностью: «Не ищи честнее (знатнее. – Н. П.) себя, наипаче же богатой беги» [162].

«Несовпадение» сословных статусов жениха и невесты приводило, как правило, к тому, что «кратковременные любовные шашни на том и кончались» (Г. Р. Державин). Женщина низкого происхождения, рассуждал дворянин М. В. Данилов, «которая в любовницах хотя кажется и приятна, в женах быть не годится за низостью своего рода» [163]. Тем не менее по закону жена-недворянка, выйдя замуж за дворянина, могла в принципе стать ею [164]. Неизвестно, правда, насколько частыми были браки, подобные браку гр. Шереметева со своей крепостной (актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой). Между тем портрет ее – кисти И. П. Аргунова – запечатлел измученное лицо крестьянки, ставшей графиней, носящей наследника шереметевских миллионов и тем не менее несчастной [165].

Обратная ситуация была редка в еще большей степени. Дворянин, «будучи небольшого чина и небогат», не мог рассчитывать на брак с обладательницей большого состояния, а если она к тому же была красавицей – и подавно [166]. Тем более не могла ничем кончиться любовная связь дворянки и простолюдина. Выйдя за него замуж, дворянка должна была потерять свой высокий социальный статус [167]. Екатерина II отменила это правило: дворянка в любом случае могла сохранить за собой свое дворянское происхождение, но не могла «передать» его ни мужу, ни ребенку, который не мог наследовать матери в недвижимости [168] (рожденный от крепостного, он оставался крепостным [169]). Исключения случались, но крайне редко [170]. Напротив, бастарды, рожденные от отца-дворянина и матери-простолюдинки, могли получить в жизни многое – от имущественных пожалований до дворянского титула [171].

Разумеется, жизнь постоянно рождала личные драмы, связанные с различием социального, сословного и имущественного положений. Так, А. Т. Болотов, влюбившись без памяти в бесприданницу, благоразумно отказался от брака с ней, «делая себе превеличайшее насилие и со слезами почти на глазах выгоняя из головы лестные и приятные

воспоминания» [172]. Аналогичное душевное переживание было знакомо и поэту Антиоху Кантемиру. Избранница его сердца, в отличие от случая с А. Т. Болотовым, княжна Варвара Черкасская была сказочно богата, и мать девушки «ждала кого-нибудь из сынов Юпитера», иронизировал Кантемир, «чтобы выбрать себе зятя, достойного ее чрезмерного тщеславия» [173]. (Старания матери, к слову сказать, увенчались-таки успехом!) [174].

Обедневшие дворяне, принадлежавшие к «старым» фамилиям, вынуждены были искать себе невест «с хорошим состоянием» и одновременно с «большим родством» [175]. Сплошь и рядом удачная женитьба на девушке со связями обещала успешную карьеру [176]. М. В. Данилов – незаурядная личность, артиллерийский офицер, не лишенный литературного дара и немало рассуждавший о «счастьи», – побрел к своему браку проторенным путем. Трезво подсчитав доходы предполагаемой невесты, он отметил, что она ему «понравилась... заочно, потому что богата» и принадлежит к его «кругу» [177] (ср.: «Более приданое, нежели человека ищут, несмотря на пословицу: приданое на грядке, а урод на руках») [178]. Примерно так же рассуждали и родители дочерей, подыскивая им женихов, «по рождению и состоянию удовлетворявших их честолюбию» [179]. Мемуарная литература XVIII в. позволяет утверждать, что в основе традиции сословного равенства в браке лежал принцип «немалой пользы» социального и материального «баланса» двух породнившихся фамилий, облегчавшего адаптацию невесты в новой семье. В противном же случае отношение к невесте и ее родственникам «из подлых» было в лучшем случае пренебрежительным («родственники за подлость неприятны и зазрение или поношение приносят») [180].

Брак дворянина-аристократа с представительницей купеческого сословия, хотя бы и очень богатой, почитался мезальянсом. В 1742 г. был издан даже специальный указ, запрещающий «женам купеческим», «похотевшим» замуж «за иных чинов людей», законно венчаться с ними [181]. Е. Р. Дашкова «чуть не упала в обморок», когда получила известие о том, что сын женился – к тому же, не спросив ее совета, совета матери! – на некой А. С. Алферовой, «не отличавшейся ни красотой, ни умом, ни воспитанием». Сын президента двух Российских академий, родовой княгини, женился на какой-то безвестной дочке купца, вышедшего из приказчиков! Брак Алферовой и Дашкова состоялся «на одной из отрядных стоянок» (М. И. Дашков служил), о чем, к сожалению княгини, «знал весь Петербург» [182]. Правда, мемуаристка признавалась, что ее пытались успокоить «на сей предмет» многие влиятельные знакомые, в том числе граф П. А. Румянцев-Задунайский, «который толковал о предрассудках, касающихся происхождения, о непрочности богатства, о его недостаточности для счастья...» [183]. В 1804 г. заезжая англичанка

резюмировала: «Как и во Франции перед революцией, дворяне ломают все кастовые барьеры и женятся на купеческих дочерях...» [184].

Значимость и важность для дворянского брака не только богатства (богатыми могли быть и купцы), но и «родовитости», знатности, фамильной поддержки в случае брака с «ровней» (по социальному статусу) выразила с резковатой прямоотой образованнейшая женщина своего времени княгиня Мария Кантемир – духовная наставница своего младшего брата Матвея и сестра поэта Антиоха Кантемира. Она практически советовала воспитаннику жениться на женщине «пожилой и даже бедной», но со связями, чтобы «всегда иметь покровителя» [185]. Именно так удалось жениться Г. Р. Державину: первый брак с Е. Бастидоновой, которую он звал Миленой, не принес ему богатого приданого, но зато обеспечил влиятельными знакомыми через тещу – кормилицу наследника престола Павла Петровича [186]. Дед С. Т. Аксакова женился на «небогатой девице», но «из старинного дворянского рода», так как «ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов» [187]. Однако о том, что думали женщины, дававшие согласие на замужество (или, точнее, которых выдавали замуж) с учетом информации о знатности претендентов, судить трудно: в «женских» мемуарах это почти не отразилось.

Крестьянские девушки также, как правило, выдавались замуж за женихов из семей, равных по достатку и статусу. На бедных женились от безысходности, понимая, что соседи этому не позавидуют («Из холопства взять – будут пересмехать»), но и мезальянс с богатой невестой таил в себе опасность будущих несогласий («Знатную взять – не сумеет к работе пристать», «Богатую взять – будет попрекать») [188]. Требование замужества на «ровне» отразилось во множестве поговорок, пословиц и присловий, сводимых к меткому наблюдению: «Равныя обычаи – крепкая любовь» [189].

В то же время в числе условий заключения брака появилось в XVIII столетии немало нового. Это «новое» во многом перечеркивало старания священнослужителей представлять сочетание супружескими узами как божественный промысел, да и само таинство венчания при соблюдении разных и весьма многочисленных требований приобретало характер фарса. Не случайно многие указы императора-реформатора опротестовывались церковью (а с 30-х гг. были частично отменены).

С 10-х гг. XVIII в. каждый вступающий в брак – и «мужского полу, и женского» – по закону обязан был получить мало-мальское образование: «Нельзя желать быть родителями детей и в ту же пору не знать, в чем их следует наставлять». Отсюда требование знания обязательного «церковного минимума» для прихожан и прихожанок: главнейших молитв («Верую во единого», «Отче наш», «Богородица дева») и десяти заповедей [190]. По указу 1722 г. запрещалось выдавать девушек замуж

«за дураков – то бишь тех, кто ни в науку, ни на службу не годится». Кроме того, специальным добавлением к указу Петр предписал: тех неграмотных дворянок, которые не могут подписать своей фамилии, «замуж итит[ь] не допускать» [191].

Соображениями государственной пользы, которыми руководствовался Петр, обуславливая брак образовательным «цензом», объяснялись и новшества, связанные с единством вероисповедания, точнее – его отсутствием. Если в X – XVI вв. церковь препятствовала заключению браков православных с иноверцами [192], то в первой четверти XVIII в. смешанные в этническом [193] и конфессиональном отношении браки были объявлены не только «дозволенными», но и «похвальными», так как они «клонются ко благу государства». Священники по-прежнему настаивали на едином вероисповедании вступающих в брак; но если конфессии были различными (прецедент был создан браком царевича Алексея с немецкой принцессой Шарлоттой, отказавшейся перейти в православие) [194], требовали лишь обязательного крещения в православие будущих детей [195] (указ 1721 г. подкрепил это требование, объявив, что «брак лица верного с неверным правильный и законный есть» [196]). Поначалу власти стали разрешать браки с «еретиками» дворянам, а со временем и людям низкого происхождения [197]. Материалы Петербургской духовной консистории свидетельствуют, что в этнически- и конфессионально-смешанных браках преобладали браки русских с иноверками; [198] обратные ситуации – браки русских женщин с представителями других конфессий – были (по крайней мере, поначалу) значительно более редкими [199]. Однако на рубеже XVIII и XIX вв. мемуары зафиксировали и такие супружеские союзы [200].

Ход свадебной церемонии почти не отразился в мемуарах XVIII – начала XIX в. В воспоминаниях мужчин сам факт бракосочетания упоминался, как правило, вскользь. В «своеручных записках» женщин обручения и свадьбы иногда описаны сравнительно подробно, однако подробности эти касаются не столько хода церемонии, сколько круга приглашенных и подарков [201]. Тем не менее даже весьма скупые описания свадебных обычаев и ритуалов в мемуарах досских дворянок XVIII – начала XIX столетия позволяют отметить некоторые изменения.

Так, в свадебном обряде всех сословий усилилась роль его церковной части. Выше уже говорилось, что указом 1702 г. законодатель провозгласил обряд обручения в храме актом религиозной значимости. По распоряжению Синода, в течение нескольких десятилетий запрещалось венчать девушек без так называемых «венечных памятей», где указывались все их «анкетные данные». Суммы денег, собираемые за составление «венечных памятей», шли в доход государства – на содержание госпиталей для солдат и богаделен для

незаконнорожденных младенцев [202]. В 1765 г. Екатерина II отменила практику «венечных сборов», справедливо полагая, что она усложняла процедуру вступления в брак [203]. В то же время с большей строгостью, нежели в допетровский период, стали следить за фиксацией фактов венчания в «книгах о супружестве» – метрических церковных книгах [204].

Весьма требовательно следили и за проведением процедуры оглашения намерения вступить в брак [205]. Венчать новобрачных позволялось только в церкви [206], причем в определенные дни это делать запрещалось [207]. Тайные венчания церковный закон осуждал, требуя это делать «при множайших людях». Тем самым предвосхищалась возможность выдачи замуж женщины, уже состоящей в браке или имеющей кровное родство с женихом, и одновременно пресекались разные уловки и «хитрости».

Если в домосковское и раннемосковское время свадьба четко делилась на веселие и почти не связанные с ним церковные ритуалы, то в XVIII в., а тем более в начале XIX, венчание стало не просто органичной, но центральной частью свадьбы. Ни одно из воспоминаний русской дворянки не обошлось без упоминания о венчании; описания же каких-либо обрядовых действий (предсвадебной бани, обряда чесания волос, игровых действий, песен – всего того, без чего не обходилась свадьба крестьянская) не встречаются [208]. По всей вероятности, на ход свадебной церемонии в привилегированных сословиях большое влияние оказала привнесенная европейская традиция подобных торжеств.

Сопоставляя свадебные обычаи России и своей родины, англичанка Марта Вильмот отметила как типично русский «обычай готовить le dot (приданое. – Н. П.) почти с рождения девочки», а также обязательный перечень необходимых для молодой семьи предметов, которые в него входили: «столовое белье, простыни, столовое серебро (речь о дворянских семьях. – Н. П.), большое количество платья, постель», которые «укладываются в тюки». Немало поразил англичанку и обычай благословения приданого священником, который должен был «окропить собранные вещи водой». В тех же письмах М. Вильмот 1803 – 1804 гг. упоминается свадебный обычай взаимного одаривания подарками «примерно одного достоинства» родственников двух породняющихся семей [209].

«Чин венчания» – т. е. необходимые молитвы при наложении венков в церкви – был в средневековой Руси очень длинным. Новобрачные и гости подчас буквально валились с ног, выстаивая перед алтарем. В 1703 г., на венчании боярина И. Ф. Головина, вечно спешивший царь Петр I приказал не дочитывать текст чина до конца [210]. Царю не терпелось погулять на свадебном пиру [211]. С тех пор практика расширения

«веселья» за счет сокращения обрядов церковного венчания стала быстро приживаться, а в 1724 г. Синод уже законодательным путем сократил некоторые ритуалы и текст молитв [212].

Православные ритуалы стали в XVIII в. неотъемлемой частью и народных и дворянских свадеб. Благословение невесты иконой, крестом, появление в свадебном веселии обрядов, связанных с «освященным воском» (от свечи, которую невеста держала в церкви), говорило о постепенном слиянии народных традиций с религиозными. При этом «слиянии» ритуалы, унижавшие женщину и идущие от христианской женофобии, так и не стали «обычными» и мало закрепились в обрядовой части свадеб благородного сословия. В частности, обычай выставления сорочки новобрачной после первой брачной ночи Петр I запретил как «жестокий», а за следование ему приказал «наказывать и знатных» [213].

Камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, будто в подтверждение известной поговорки того времени «Свадьба без пороку не бывает» [214], пораженный одной из брачных церемонии, связанных с супружеским ложем, весьма подробно описал все ее ритуалы. Он обратил внимание на обилие символического хмеля и вина в подклете, упомянув об обычае пить на брачном ложе «водку из сосудов, имевших форму *partium genitalium* (для мужа – женского, для жены – мужского)», а также наличие «дыр» в стенах брачной подклети, «в которых можно было видеть, что делали молодые в своем опьянении» [215]. Однако о традиции выставления свидетельств девственности новобрачной он не упомянул вовсе. Это не значило, однако, что ценность добрачной девственности резко снизилась в рассматриваемое время. Разумеется, при заключении брака предполагалось, что девушка вступает в него невинной, и Берхгольц присутствовал как раз на такой дворянской свадьбе. Но уже в конце XVIII в. нарочитое подчеркивание «сохранения девственности», по крайней мере, в дворянских кругах, стало выглядеть несколько комичным [216].

В крестьянской среде на девственность новобрачной смотрели под особым углом зрения. Крепостные девушки-невесты часто становились объектами «зверских намерений молодых чудовищ» (А. Н. Радищев) – своих господ, пользовавшихся правом первой брачной ночи. Поскольку сами крестьянки почти что привыкли к тому, что они лишь «твари, созданные на их (господ) угождение», постольку и в глазах деревенского мира подобное не считалось «обесчещением». Однако тот же А. Н. Радищев удивился тому, что одна крестьянка не взяла у него денег на свадьбу дочери, оттого лишь, что «лихие люди мало ли что подумают», что доказывает высокую ценность доброго имени девушки в деревне [217].

Общие строгие правила и ценность девственности вполне уживались

в крестьянском быту со сравнительной распространенностью добрачных интимных связей [218]. Подчас к ним толкала боязнь бесплодного брака: в Западносибирском регионе такое добрачное сожителство жениха и невесты именно поэтому не осуждалось деревенским миром [219]. Целомудрие, нравственная чистота – по словам одних информаторов Русского географического общества – «ставились выше (красоты) физической», а «губитель девичей красоты» (невинности) по неписанным нормам считался преступником и обязан был жениться на растленной [220] (поскольку действительное бесчестье грозило девушке не в случае утери девственности, а в случае, если ее после этого не брали замуж) [221]. Другие информаторы сообщали, что на утерю девственности смотрели как на простимое прегрешение, над которым, правда, подтрунивали: «Никто не бывал – а у девки дитя!» [222]. Сохранились данные (в том числе в фольклоре [223]) и о бытовании ритуала обнародования девственности новобрачной. Однако «запятнанной» отсутствием целомудрия (если таковое открывалось) невеста себя не чувствовала [224].

В отношении свадебных обычаев крестьянский быт XVIII – начала XIX в. оставался хранителем всего традиционного. В дворянском же быту из старых ритуалов особой живучестью отличались так называемые ритуалы «второго дня» (свадьбы). Одним из них, служившим обеспечением крепости семейно-родственных связей и взаимоуважением представителей разных поколений (в том числе многочисленных родственниц!), оставался обычай объезжать родных на второй или третий день после церемонии, одаривать их подарками [225]. О соблюдении его упомянула, в частности, Наталья Долгорукова, чье грустное бракосочетание (в связи с неожиданной опалой мужа), в общем, во многом отличалось от традиционного [226].

Таким образом, условия заключения брака, столетиями формировавшиеся русской православной церковью – главным регулятором всех дел, касающихся семейных отношений, – хотя и претерпели определенные изменения, остались в XVIII – начале XIX в. для девушек и женщин различных сословий в целом прежними.

Таинство венчания все так же знаменовало для женщины создание освященного церковью пожизненного семейного союза. С правовой точки зрения, он должен был держаться на «трех китах», трех принципах супружества той эпохи: единой фамилии, общем местожительстве и одном социальном статусе.

Принцип единой семейной фамилии, по которому женщина, вступая в брак, брала фамилию мужа, веками не подвергался никем сомнению. В 1714 г. была сделана попытка отойти от него (было введено правило, по которому наследница недвижимости могла вступить в свои права лишь в случае, если муж взял бы ее родовую фамилию), но новшество

просуществовало лишь 17 лет [227]. Таким образом, петровские попытки отойти от старой патриархальной традиции потерпели поражение.

Сохранение принципа общего местожительства супругов оказалось несколько более успешным, общее правило-требование «о недопускании брачившихся жить порознь после бракосочетания» действовало как норма [228]. И все же в эпоху петровского реформаторства было издано распоряжение, по которому мужу позволялось не следовать за женой в случае совершения ею преступления и избрания ссылки мерой пресечения [229]. Следом вышло аналогичное постановление, касавшееся женщин, которым стало разрешено не отправляться в ссылку, а «работою кормиться на прежних жилищах своих» [230]. Однако англичанка Рондо, побывавшая в России в середине XVIII в., отметила, что «когда глава семейства впадает в немилость, то все семейство подвергается преследованию», хотя ее лично и удивляла «ссылка женщин и детей» [231]. Принцип общего местожительства продолжал, таким образом, действовать, и контроль за соблюдением его был возложен на Синод. Тем не менее и в мемуарной литературе и в документальных источниках XVIII – начала XIX в. можно найти примеры раздельного проживания формально неразведенных супругов [232]. Нормой это не было. Типичным было проживание молодой семьи по месту жительства мужа или мужа и его родственников. Проживание молодой семьи по месту жительства родных жены выглядело в глазах деревенского мира предосудительным. Самой мягкой кличкой для такого зятя была примак, а обычно их именовали влазнями («влазень в доме не настоящий хозяин, а пришлый, жена его считается полной хозяйкой») [233].

Наконец, и третий принцип супружества – единый социальный статус мужа и жены, как уже говорилось в связи с темой сословности брака – соблюдался в рассматриваемое время далеко не всегда. Со времен Екатерины II число примеров его нарушения заметно возросло.

Тем не менее супруги после венчания – если не считать некоторых отступлений – обычно носили единую фамилию (мужа), жили вместе и имели общий сословный статус. Их отношения в браке во многом определялись нравственной атмосферой общества. Не только законодательно закрепленные права мужа и жены, но и обычаи оказывали влияние на супружескую жизнь. Кроме того, немалое влияние на российский семейный быт XVIII – начала XIX в. оказало складывание нового взгляда на человека как на творческую, деятельную натуру, активно утверждающую себя в жизни, способную понять красоту земных чувств и мира в целом [234].

## II

### «ДРАЖАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ МОЕ!»



## ***Мир чувств русской женщины. Любовь в браке и вне его***

Реконструировать мир чувств человека XVIII – начала XIX в., а тем более женщины, не так легко, как кажется на первый- взгляд. С одной стороны, это время действительно было во всей Европе «золотым веком частной жизни, веком приоритета индивидуальности» [1]. С другой – это утверждение верно в большей степени в отношении мира мужчин. И это при том, что именно в XVIII в. в России появились первые «женские» дневники и мемуары, отразившие и особенности женского видения мира, и женский повседневный быт, и его восприятие глазами представительниц образованной части общества. Правда, сами женщины, оценивая пройденный ими жизненный путь и переживания на нем, полагали, что «в те времена кратче разыгрывались роли на жизненной сцене. Не требовалось на то ни остроумия, ни измышлений или же каких анализов тех или других чувств...» [2]. Тем не менее формирование «женского мира», начавшееся в конце XVIII в., пошло в новом столетии быстрыми темпами. И главное – началось осознание целостности женского мира, самостоятельности и от-личности от мира «мужского». В этом немалую роль сыграла литература, взявшая на себя – как и искусство в целом [3] – роль практического руководителя в обучении «науке жизни».

В первой половине века, примерно до 60 – 70-х гг., большее значение в формировании отношения к женщине в обществе и отношения самих женщин к себе и окружающим имела литература официальная: церковно-дидактическая и светская (можно сказать – государственная) печать – исторические сочинения. Художественная литература, лишенная поучающей функции, лишь допускалась как «безвредная забава». Со второй же половины XVIII в. художественная литература, независимая от прямых поучений церкви и государства, стала рупором новых идей. Противопоставив религиозно-символическому мышлению средневековья безусловный материализм мироощущения [4], любовная лирика (бывшая всего полстолетия назад чуть ли не под запретом – достаточно вспомнить положение придворного «пиита» Симеона Полоцкого) показала абсурдность третирования любви к женщине как греховного чувства. Благодаря новым литературным приемам и сюжетам в изобразительном искусстве, в общественных умонастроениях появились новые понятия сильных и возвышенных чувств, возбуждаемых женщиной, страстей отнюдь не платонических, рыцарского отношения к «прекрасному полу» [5].

Интимная привязанность к женщине, интимный индивидуальный выбор («дрожь пробежала по жилам моим...») [6] стали все чаще изображаться в литературе и являться действительной причиной желанья вступить в брак и его основой впоследствии. «Какое

побуждение было нашей любви? – риторически рассуждал "один крестецкий дворянин" (описание судьбы которого оставил А. Н. Радищев), отвечая сам себе: – Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа» [7].

Под пером безымянных авторов русских повестей XVIII в. женщины стали изображаться не только и не столько как порочные соблазнительницы, но как объект поклонения, а к концу столетия и в начале XIX в. – и вовсе как выразительницы прежде всего положительных идеалов (в то время как мужчина воплощал социально типичные недостатки) [8]. Начиная с петровского времени, женские литературные образы становились все объемнее и глубже. Все чаще женщины рисовались побуждающими своих избранников – Василия Корнетского, купца Иоанна, «кавалера Александра» и других – забыть обо всем, кроме «сладкой тирании любви» (В. К. Тредиаковский), переживать ее как «жестокую горячку», говорить с возлюбленными, «встав на коленки» [9]. В. К. Тредиаковский, комментируя замысел написанного им сочинения «Езда в остров любви», отметил, что «отроки» находят «чувствительность и страсть», открывая «их для себя в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, каких очень мало в других местах» [10].

И действительно, многие дворяне, оставившие воспоминания, отметили в них, что обратили внимание на своих будущих спутниц жизни оттого, что те были «милы», «хороши собой», «хорошенькие», «прелестной наружности» [11], а многие дворянки отмечали, что их семейная жизнь была освещена светом особой любви к ним их мужей [12]. Переписка императора Петра I с государыней Екатериной Алексеевной дышит нежностью и отсутствием этикетных условностей. Достаточно красноречивы уже сами обращения Петра к жене: «Катеринушка!», «Друг мой!», «Друг мой сердешнинькой!» и даже «Лапушка» [13]. «Зело желаю вас видеть здесь, – признавался государь, "отписывая" супруге письмо из Амстердама. – Без вас скушнохонка, сама знаешь...» [14] Новые воззрения на чувственную сторону любовных переживаний породили и новое отношение к материальному быту, всему тому, что обеспечивало интимность и удобство [15].

Вспоминая о своей влюбленности в будущую жену и о первых годах совместной жизни, дворянин С. Г. Винский писал, имея в виду события середины века: «Я желал бы с нею быть, хотя непрестанно, ласкать и быть ласкаемому, делать ей все угодное, особенно удовлетворять ее нужды или прихоти...» [16]. Подобное признание (о готовности во имя любви исполнять «прихоти» избранницы, и не любовницы – жены) немислимо найти в литературе или частной переписке XVII в. Между тем в конце XVIII, а тем более в начале XIX в. подобное отношение к жене, которую муж «любил безумно», «обожал», «баловал, сколько мог»,

«любил страстно», – перестало быть исключительным: все эти глаголы взяты из мемуаров людей, живших в то время [17]. Женам – а не «милым подругам» вне брака – стали посвящать романсы (как то делал и Г. Р. Державин, и внук Н. Б. Долгорукой – И. М. Долгорукий) [18]. Наконец, в начале XIX столетия мужья все чаще стали признаваться в своих воспоминаниях в том, что именно жены дали им возможность «вкусить истинное на земле счастье», а в письмах от мужей к женам нормой стала романтизированная нежность: «Целую твои ножки, моя благодетельница... целую тебя сердцем, полным твоими добродетелями...» [19]

Восхищение женщиной, ее красотой и обаянием тесно сплеталось с надеждой на семью, «озвученную» голосами детей. И если вопрос о «нежнейших чувствованиях» к будущей супруге, об интимном влечении к избраннице почти не возникал в непривилегированных сословиях, то рациональные соображения, связанные со способностью женщины к деторождению, были равно понятны и близки и дворянину [20] и крестьянину. Краски нормальной, здоровой чувственности проступают в письмах страстно влюбленного в жену Петра I (Екатерина долгое время не считалась официально признанной женой царя-реформатора, но давно была матерью нескольких детей от него).

В «эпистолиях» к Екатерине Петр, признаваясь в любви к ней, расспрашивал и размышлял главным образом о детях [21]. Способность женщины к деторождению волновала отцов, назидавших сыновьям, что жениться надобно на «здоровых» («первое узаконение – умножить род свой», полагал В. Н. Татищев) [22]. Ту же мысль А. В. Суворов облек в форму афоризма: «Меня родил отец, и я должен родить. Богу не угодно, что не множатся люди» [23]. Мемуаристы, которым довелось в течение долгой жизни быть женатыми не один раз, с равной теплотой вспоминали всех своих жен, очень часто – в связи с детьми [24].

Что касается крестьян, то у них при выборе невесты тем более обращалось внимание на те внешние характеристики девушки, которые свидетельствовали о том, что она сможет родить здоровое потомство («Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую», «На что корова – была бы жена здорова» [25]). В сговорных и иных брачных документах середины XIX в. отразились традиционные крестьянские представления о здоровой невесте: ее высокий рост («есть на что посмотреть») [26] дородность (ассоциировавшаяся с красотой: «большая да толстая»), чистота (белизна, здоровье) кожи («кровь с молоком») [27], подвижность [28]. По словам других корреспондентов РГО, даже «нравственные качества» ценились в невесте все же «после» (!) таких характеристик, как здоровье (сила), способность к работе и приданое. [29]

Таким образом, отнюдь не только эмоционально-сентиментальные

мотивы занимали в ту эпоху мечтавших вступить в брак. Это утверждение в равной степени верно и в отношении крестьянского мира и «благородного сословия». Многие (если не большинство) образованных дворян XVIII в., сердце которых «было уже рождено с нежнейшими чувствованиями» (А. Т. Болотов), с легкостью жертвовали ими при трезвых подсчетах доходов будущей жены. «Нежные чувствования», воспитанные русскими и переводными романами и пребыванием в Европе, были не настолько глубоки, чтобы предпочесть любовь к бесприданнице браку с богатой вдовой [30]. Старший современник А. Т. Болотова В. Н. Татищев поучал сына: [31] «Главнейшее в жене – доброе состояние, разум и здравие». Оправдывая свой рациональный выбор и весьма прагматический подход к брачным делам, дворянин М. В. Данилов резонерствовал: «Красавиц выбирают только в полубовниц, а жена должна быть добродетельна» [32]. Оправдать надежды жениха, таким образом, могла лишь та претендентка на звание составившей семейное счастье, которая [32] могла стать «отличной матерью», «доброй женою» и «поистине добродетельной женщиной» (этот перечень характеристик, и обычно именно в такой последовательности, встречается и в «женских» мемуарах) [33]. Идеал «добродетельной» жены ясно вырисовывается по дворянским дневникам, письмам и мемуарам. Это – женщина из семьи среднего достатка и средней красоты. На красивую жену, если верить тому же М. В. Данилову, стали бы заглядываться другие, а от безобразной и сам муж сбежал бы к «лепшей». Родители учили детей находить таких жен, с которыми можно «в веселии век свой провести», а для того искать в женах «доброе свойство» – источник «немалой пользы».

Старый идеал «тихой, кроткой», к тому же (желательно) и «недурной собою» [34] жены-полурабыни стал стремительно вытесняться на протяжении XVIII столетия новым. Лишь по-доброму консервативная народная мудрость уповала на существование идеальных жен – ангелов во плоти [35]. Дворяне же, выбирая себе спутниц жизни, все чаще стали искать в женах не столько подчинения [36], сколько умения понять и проникнуться их помыслами, поддержать советом в трудную минуту – то есть быть другом. «Главнейшее мое желание состояло в том, – признавался Андрей Болотов, – чтобы через женитьбу нажать себе такого товарища, с которым мог бы я разделять все свои душевные чувствования, радости и утехи, заботы и попечения...» Его современник Г. Р. Державин, описывая свою женитьбу, подчеркивал, что посватался к «девушке не без ума и не без ловкости, приятной в обращении», но главное – понравившейся ему «по здравому рассуждению» [37]. Впоследствии друзья семьи Державиных вспоминали, что супруга поэта «с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния: авторская слава его, успехи, неудовольствия по

службе были будто ее собственные...» [38].

Вторая жена Г. Р. Державина, Д. А. Дьякова, отличалась от первой тем, что ее «появление уже издали выводило ленивых из бездействия»: ее супруг, по его собственному признанию, «хозяйством не занимался», так что вопрос о материальном благосостоянии семьи целиком зависел от умений и деловой хватки жены [39]. Практичность женщины, ее умение и желание хозяйствовать нередко оказывались фактором, привлекавшим мужчин, искавших в женах опору в делах «домашней экономики» [40]. Именно таким – «лучшим советником по кабинетским занятиям», «достойною подругою», «душою вечерних бесед в кругу друзей и знакомцев», и в то же время умницей, умеющей «облегчить мужа во всех заботах по хозяйству», стала для старшего современника Г. Р. Державина, поэта М. М. Хераскова, его жена Елизавета Васильевна [41]. О ней буквально все знакомые их семьи вспоминали как о необычайно «доброй, умной, любезной» [42], «ласковой»; [43] супруг ценил в ней еще и рачительность. В крестьянской среде хозяйственные навыки невесты («работящность», «способность к работе») стояли – наряду со здоровьем – на первом месте [44].

По-новому – в связи с изменившимся отношением к роли жены в браке – смотрели подчас российские дворяне XVIII – начала XIX в. и на соотношение жизненных ценностей. «Еще в стенах кадетского корпуса... не мечтал я ни о славе, ни о богатстве, ни о почестях, – признавался на страницах воспоминаний С. Н. Глинка, – а мечтал просто о жизни семейной... мечтал о подруге и в мыслях говорил и себе и ей: "Пускай и свет забудет нас, я тем благополучней буду..."» [45]

Значили ли подобные признания российских помещиков, что наступили «новые времена» и, следовательно, дело шло к признанию значимости частной сферы жизни и равенства супругов в семье? Анализ мемуаров дает отрицательный ответ. Сравнивая свою семейную жизнь со взаимоотношениями супругов «в старомодных сельских (то есть крестьянских. – Н. П.) семьях», мемуаристы XVIII в. порой замечали, что «сколько у них излишества, столько у нас (дворян. – Н. П.) недостатка в соразмерности власти мужей и подчинения жен» [46]. И не случайно, что в большинстве мемуаров мужчин имена их жен упоминаются редко, лишь в связи с сообщением о женитьбе. Защитников женщин было в тот «просвещенный век» гораздо меньше, нежели приверженцев старого быта. Всякий новый шаг к большей свободе женщин в семье и обществе рассматривался как «повреждение нравов». Эта идеология укреплялась даже светской литературой. «Уничтожая подчинение жены, уничтожается и сожитие мирное и приятное, – писал историк И. Н. Болтин, оценивая семейные "модели" столичной знати и по-своему откликаясь на галантно-романтические веяния нового времени. – Хотеть сделать мужа и жену равными есть противоборствие порядку и природе,

есть буйство, безличие, безобразие». Рассуждая о современных ему домашних нравах, И. Н. Болтин признавал тем не менее, что в некоторых «редких» семьях (причем семьях «благородных») «жена равна мужу... ему товарищ». Однако в большинстве домов столичного дворянства он видел одну ту же картину: «Жена мужу не подвластна, не подчинена, живет по своей воле», она – «владычица, начальница, а муж не что иное как первейший из ее рабов». Отвратительное новшество, по его мнению, не дошло лишь до провинциальных дворян, купцов и мещан (не говоря уже о крестьянах), в среде которых, как он думал, «еще несколько умеренности хранится» [47].

Сохранению старых взглядов на распределение семейных ролей и на отношение к женщине способствовали «народные картинки», лубки с сюжетами о злых и добрых женах. Общий смысл их мало различался со старыми представлениями о месте женщины в семье и обществе. Находиться под каблуком у жены, доказывали лубки, равно позорно и царю и простолюдину. Правда, злые жены на лубках XVIII в. стали изображаться как презревшие народные обычаи разряженные дамы в платье иноземного образца («модном») [48], бессовестно командующие мужьями. Последние для пущей наглядности рисовались опутанными цепями (символ рабства). Нередко в углу таких картинок можно было заметить фигурку зайца (символ трусости, подобострастия – в данном случае мужа перед женой) [49]. «Нестроение» в доме злой жены изображалось как беспорядок в посуде и вещах, как пьянство мужа, заливающего горе водкой и льющего слезы. Наконец, безнравственность поведения непокорной супруги демонстрировали фривольные шутки по поводу ее неверности и любовных похождения [50].

Не вызывает сомнений то, что и авторами подписей, и художниками, работавшими над изобразительным рядом лубочных картинок, были мужчины. «Народные картинки» отобразили, таким образом, не народный, а именно мужской взгляд на проблему места и роли женщины в семье и обществе, существовавший в XVIII – начале XIX в.

Как относились к подобным высказываниям мужчин сами женщины? Стремилась ли они доказать свою «самость» – по крайней мере в отношениях с мужьями? Были ли для них, в том числе женщин-дворянок, оставивших документы личного происхождения (дневники, мемуары, переписку), характерны такие же мотивы вступления в брак, что и для мужчин? Могли ли они в перспективе улучшить – через замужество – свое материальное положение, повысить социальный статус? Насколько они сами были поглощены «нежнейшими чувствованиями»?

Мотивация, стремления, эмоциональный строй молодых и юных российских дворянок XVIII – начала XIX в., отразившиеся в их письмах, дневниках, мемуарах, не дают однозначного ответа на поставленные

вопросы. Читая строки воспоминаний, написанных женщинами, редко можно найти признания в том, что они были безразличны к вопросу о замужестве, не любили мужей, не были, по крайней мере, к ним привязаны [51]. Выше уже говорилось, что далеко не все невесты-дворянки имели возможность хорошо узнать будущего супруга до свадьбы. В то же время после нее большинство из них считало для себя необходимым (хотя бы в силу традиции) жить по любви, быть рядом с мужьями, какие бы невзгоды ни встречались на их жизненном пути.

Принципиальный пример проявления чувства долга в браке показала кнг. Н. Б. Долгорукая. Решимость разделить судьбу, выпавшую на долю мужей, проявили в том же столетии гр. Е. И. Головкина [52], Е. Е. Комаровская [53], Наталья Лопухина (жена С. В. Лопухина, обвиненного в 1743 г. в государственной измене и сосланного в Сибирь) [54], первая жена Н. В. Басаргина (ставшего впоследствии декабристом) [55], а также героиня одной из глав «Путешествия...» А. Н. Радищева [56] и др. В этой самоотверженности была и дань традиции, и собственные нравственные побуждения. Общественное мнение видело в подобном поведении не столько знак любви, сколько «обреченность своею обязанностью, своею привязанностью к мужу» жертвовать собой во имя долга [57].

Многие девушки, выйдя замуж совсем юными, находили в более старших по возрасту мужьях «наставника и руководителя», «ангела-хранителя» [58] и именно так воспринимали своих благоверных. «Я все в нем имела: и милостивого мужа, и отца, и учителя, и старателя о спасении моем», – признавалась на страницах своих «своеручных записок» Наталья Долгорукова [59]. Так же рассматривала своего первого супруга, известного русского славянофила И. В. Киреевского, и юная А. П. Елагина (она вышла замуж 15-ти лет, а в 24 осталась вдовой) [60]. Любя своих нареченных перед Богом и перед людьми или будучи к ним только привязанными, русские дворянки ожидали от супругов проявления положительных житейских и высоких нравственных качеств и, находя, ценили их [61]. «Матушка много о нем (муже. – Н. П.) говорила с восторженной любовью. По ея рассказам, он был высокого ума, покровитель всего хорошего, отец своих подданных и отличный хозяин», – вспоминала характеристику, данную матерью отцу, кнг. С. В. Мещерская [62]. Таким образом, стремление находиться рядом с умным, честным, внимательным человеком, на которого можно было рассчитывать как на покровителя, желание оказаться под чьим-то «руководством», защитой, было для части молодых барышень целью вступления в брак.

Постепенно признавая «особенность» мира женских чувств, мемуаристы-мужчины все чаще пытались сравнить собственную оценку того или иного явления и отношение к нему их возлюбленных, подруг, жен [63]. Утверждение о том, что женщины могут не только возбуждать

сильные эмоции, но и испытывать их сами, причем более тонко и остро, нежели мужчины, с удивлением для себя отметил М. М. Щербатов [64]. В стихах и письмах поэта М. Н. Муравьева впервые прозвучала мысль о том, что женская натура может быть сложнее и глубже мужской в эмоциональном смысле, что женщина может быть «счастлива сердцем» не так, как мужчина, «отвлеченный своим правом и должностями» [65]. Писатели стремились отметить «взаимность горячности, услаждавшей чувства и душу», равным образом нежившую и их самих, и их избранниц [66].

Сами женщины на страницах своих писем, дневников, мемуаров редко признавались в том, как они любили супругов, а в признаниях – если таковые случались – более звучала тема необходимости, нежели всепобеждающего чувства («Я не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна») [67]. Примечательно, что мужчины, по крайней мере на страницах, не предназначавшихся для обнародования, стали чуть ли не первыми (вслед за романтическими литературными образцами) признаваться в «нежном» отношении к своим женам [68] (этого требовали и нормы этикетного поведения дворянина того времени) [69]. Женщины же демонстрировали скованность, «самоограничение» (это в них порой чувствовали их мужья) [70], самоуглубленность – видимую иногда в живописных портретах [71]. Тем самым женщины высказывали собственную зависимость: отчасти – от условностей, отчасти – от религиозно-нравственных постулатов и веками выработанных традиций. Именно традиция вкупе с православными моральными нормами требовала от женщины такой любви, при которой бы супруг был «один в сердце», когда не могла возникнуть новая любовь. Те же нравственные нормы формировали общественные умонастроения, при которых от женщины ожидалось самопожертвование, готовность быть духовной опорой мужчине, «подкреплять» его (Н. Б. Долгорукова) [72].

Воспитание сдержанности, умения не поддаваться эмоциям, а тем более страсти, по-прежнему во многом определяло содержание женского воспитания. «Публичная искренность этого времени» (Н. М. Карамзин) [73] претила женской душе, более утонченной, нежели мужская. Отношение к чувственной любви как к «любви скотской», «мерзости» (А. Е. Лабзина) [74] было следствием многовекового внедрения православной церковью негативного отношения к неплатоническим проявлениям любви. Мужья, к тому же более старшие, как правило по возрасту, выступали, по воспоминаниям их жен, «просветителями» в делах чувственных («Выкинь из головы предрассудки глупые, которые тебе вкоренены глупыми твоими наставниками. Нет греха в том, чтоб в жизни веселиться! Я тебя уверяю,



что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное!») [75].

Но еще в начале XIX в. в дворянской среде встречались семьи, в которых жена, руководимая моральными соображениями, то есть будучи «прюдка», как писала мемуаристка (от pruderie – стыд, фр.), «спавши на одной кровати с мужем, укрывалась отдельно от него простынею и одеялом» [76]. Правда, именно в дворянских семьях конца XVIII – начала XIX в. совместное спанье мужа и жены на одной кровати стало считаться «глупой старой модой» (А. Н. Радищев) [77]. Для немногих столичных дам стремление к созданию собственных (отдельных от мужей) спален диктовалось, по словам того же Радищева, «стремлением к украденным утехам» с «полюбовниками». Но для значительного числа дворянок отдельные постели мужа и жены стали символизировать целомудрие, благочестие [78]. В крестьянской среде осуществление подобной «модели поведения» было невозможно ни с практической, ни с моральной стороны. Проявления чувств там были более естественными. В дворянской же среде осознание собственного страха, негативного отношения к физиологической стороне супружества выстраивало непреодолимый нравственный барьер, мешавший женщинам поверять бумаге искренние и естественные чувства. А ведь именно они должны были быть (и иногда, вероятно, были) причиной и основой брака.

Примечательно, что многие дворянки, ведя переписку с отсутствующими мужьями, надеялись на получение от последних не столько объективной информации о положении дел, сколько «добрых ведомостей», успокаивающих слов. Не все, вероятно, могли взять на себя психологическую ношу и разделять все беды своих избранников. «А что пишете, чтоб к вам всегда добрыя ведомости писать, и то я от сердца рад, да какие Бог даст», – оправдывался в одной из таких ситуаций перед супругой государь Петр I [79].

Но было бы, разумеется, наивным полагать, что переживания, далекие от платонических, не возникали в сердцах россиянок. Другой вопрос – об отражении их в дошедших до нас эпистолярных и мемуарных источниках. Мемуаристки XVIII в. предпочитали писать не о пережитом на собственном опыте, а о чужих влюбленностях и страстях, и лишь в дневниках и письмах 10-х гг. XIX в. степень женской откровенности несколько возросла. Да и мужчины, оставившие мемуары, старались больше фиксировать переживания своих знакомых и родственниц, нежели пускать «чужих» в свой собственный внутренний мир. Г. С. Винский, рассказывая о том, как внезапно вспыхнувшая любовь заставила его сестру поступать «как истинная своевольница, чуждая не только нежных ощущений сердца (жалости к супругу. – Н. П.), (но) даже не повинующаяся и пристойности», внутренне осуждал ее за это, равно

как ее житейскую ловкость (она сумела «загнать своего бедного мужа в Чернигов судействовать», а сама, по выражению брата, «закусила удила») [80]. Оттенок осуждения звучал и в описанной графиней Эделинг истории взаимоотношений М. А. Нарышкиной и кн. Гагарина [81], и в рассказе В. Н. Головиной о графине Радзивилл, которая «пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению» [82].

Мир чувств русской женщины привилегированного сословия формировали в XVIII столетии не только традиции и литература, но и образ жизни императорского двора – суматошный, беспорядочный, «светский», – породивший особый социальный тип «модной жены» [83]. Судя по мемуарам лиц, приближенных к российскому императорскому дому, «модные жены» (мужья которых, «как страусы, воспитывали чужих детей») [84] были окружены роем обожателей. Содержание любовниц стало нормой великосветской жизни [85]. Но как ни возмущались резонеры вроде М. М. Щербатова подобным «повреждением нравов», эти изменения общественной морали имели не только отрицательные последствия. Светские львицы, решавшиеся на нестандартное поведение и насмеявшиеся (по словам М. М. Щербатова) «над святостью закона и моральными правилами и благопристойностью» [86], изменяли своим поведением представления о запрещенном и разрешенном, «раскрепощали» область чувств, в том числе чувств супружеских.

Достаточно даже поверхностного чтения воспоминаний, чтобы найти массу примеров исключительной супружеской любви, страстных сердечных порывов, обращенных к законным супругам [87]. Романтическую, захватывающую историю знакомства и брака своих родителей поведала, например, Е. Я. Березина, мать которой, «переодевшись в мужское платье, под видом денщика следовала за полком», в котором служил ее муж. Не допуская и мысли о расставании с любимым супругом хоть на день, она «произвела» дочь «на свет в кругу воинов в 1794 г.» [88].

В документах частной переписки XVIII – начала XIX в. обычным было обращение жен к мужьям без подобострастия, но с любовью, дружественностью, нежностью («Дражайшее сокровище мое!» или «Милый мой друг!», «Премного милый мой друг!», «Дружечик мой сердешненькой!», «Радость моя!», «Мой свет!») [89]. В то же время есть основания думать, что все эти нежности были элементом ожидаемого от женщин (общепринятого, этикетного) поведения, отчасти выработанного «Письмовниками» [90]. Но в немалой мере они отражали, однако, и реальные чувства [91].

Помимо любви, привязанности и чувства долга, многих женщин рассматриваемого времени – как и мужчин! – привлекала в замужестве возможность сохранить или повысить свой социальный статус и

имущественное положение. Только признания в этом – в отличие от «мужских» мемуаров – у женщин были сравнительно редки. Лишь в воспоминаниях графини В. Н. Головиной прямо сказано о том, что в будущем спутнике жизни «его высокое происхождение и богатство заставляли смотреть на него как на завидного жениха» [92]. Иные современницы графини, вероятно, также рационально учитывали этот фактор, но не спешили поделиться подобными переживаниями.

Что же касается «простых людей», то они не читали переводных романов, не пользовались «плодами просвещения» и не оставили «своеручных записок», в которых бы поверили бумаге свои переживания. Письма крестьян и крестьянок друг к другу – нечастая находка [93]. Но как бы ни было трудно судить о духовном мире тех, кто с утра и до вечера работал в поле, на огороде, на промыслах, тем не менее реконструкция их системы жизненных ценностей и приоритетов возможна на основании фольклорных памятников, а также некоторых делопроизводственных и упомянутых выше эпистолярных источников.

В крестьянских умонастроениях значительно сильнее, чем в менталитете дворянства, проявилось отношение к браку (замужеству в особенности) как к неизбежности («суженого на коне не объедешь»), как к ответственному действию («замуж выходи – в оба гляди»), переиначить которое практически невозможно («Женитьба есть – а раз женитьбы нет», «Подруги косу плетут на часок, а сваха на век», «Выйти замуж не напасть, каб за мужем не пропасть») [94]. Поэтому и к чувствам отношение у крестьянок было иное.

«Согласная жизнь... зависима от согласия самой пары и ласковости свекрови», – отмечали наблюдатели русского крестьянского быта Центра России в середине XIX в., добавляя при этом, что «согласие самой пары возможно только при безусловном подчинении жены мужу» [95]. В большинстве случаев так оно и было. Тем интереснее и значительнее факты, свидетельствующие о чувствах глубокой и нежной привязанности между членами семьи: супругами, родителями и детьми, старшими и младшими. Ведь именно они отчасти смягчали и облагораживали, а порой эмоционально окрашивали монотонный, нелегкий повседневный быт. Такие примеры сохранили и пословицы («Полюбится – ум отступится», «Как полюбит девка свата – никому не виновата», «Не мать велела – сама захотела») [96].

Подлинным открытием для русских дворян XVIII в. была высказанная А. Н. Радищевым мысль о том, что крестьяне одарены такими же чувствами, как прочие люди. «Ты меня восхищаешь! Ты уж любить умеешь?!» – удивленно воскликнул он, приведя рассказ одной из крестьянок о ее страсти [97]. Судебно-следственные документы XVIII в. позволяют подтвердить заключение писателя: вопрос о чувствах был весьма остр в крестьянских семьях, ранее ориентировавшихся на

поговорку «стерпится – слюбится». В «расспросных речах» по поводу различных драм на семейно-бытовой почве крестьянки нередко признавались в глубоких переживаниях, заставивших их пойти на преступление моральных норм и закона: «любила», «всегда думала о нем», «радоватца желала», «духом моим с ним была» [98].

Редкие находки писем образованных крестьян того времени (как правило, сибирских) позволяют восстановить психологический микроклимат их семей, полный ласки, а не грубости, любви и согласия, а не ссор. «Премноголюбезной и предражайшей моей сожительнице, чести нашей хранительнице, здравия нашего покровительнице, общей нашей угоднице и дома нашего всечестнейшей правительнице Анне Васильевне посылаю поклон и слезное челобитие с чистосердечным к вам почтением...» Так писал в своем письме к жене, жившей в Семипалатинском уезде (1797 г.), богатый сибирский крестьянин Иван Худяков [99]. Жены отвечали отсутствующим супругам той же добротой и нежностью, признавались, что живут в разлуке с «любезными друзьями» и «прятелями сердешными» – «в невсчастии» [100]. В своих письмах крестьяне, не знакомые с этикетными формулами письмовников, фиксировали действительные чувства, говорили, что, «не стерпя необыкновенной тоски в разлуке» с женами, думали и «помышляли» только о них [101], делились переполняющей их сердца нежностью: «Истопи мне, жена, баню и выпарь меня, малого робенка, у себя на коленях... такова болшова толстова ребенка» [102]. Эти чувства помогали жить: без взаимной доброты и привязанности, которые и женщины испытывали к своим мужьям, повседневность, наполненная тяжелым крестьянским трудом, была бы еще более нелегкой.

Разумеется, в разных семьях отношения между женами и мужьями складывались по-разному. Это утверждение верно для всех сословий тогдашнего русского общества, в том числе «благородного». Иной вопрос – о том, насколько велика была вероятность фиксации различных семейных конфликтов в документах (если, конечно, это были не судебные иски). В памятниках личного происхождения (в том числе письмах) описаний семейных конфликтов почти нет. Традиция «не выносить сора из избы» действовала сильнее формальных запретов [103]. Поэтому даже в воспоминаниях тех женщин, которые жили не в ладах со своими мужьями, редко можно найти конкретные указания на обстоятельства и мотивацию конфликтов. «Прасковья Ивановна постановила неизменным правилом не допускать до себя никаких рассуждений о своем муже», – отмечал об одной своей родственнице С. Т. Аксаков, объясняя ее скрытность в отношении жестокостей мужа [104]. И в мемуарах самих женщин подобных объяснений не найти. Даже выросшие дети, вспоминая о раздорах между родителями, подчас не могли определить их причины. «Мы часто плакали от неприятностей,

происходивших между родителями... Кто из них был прав, кто виноват – в нашу юность определить не хватало разума», – вспоминал Н. И. Цылов, описывая детские впечатления начала 10-х гг. XIX в. С высоты возраста и жизненного опыта он предположил ниже, что причиной ссор и последовавшего разрыва родителей была ревность матери к отцу, который «по красоте своей и силе очень нравился женскому полу» [105].

Ревность как естественное и часто наблюдаемое чувство, как обратная сторона страсти, вызываемой женщиной, стала все чаще становиться предметом размышлений современников, чаще всего – писателей. Ревнивые переживания, зафиксированные перепиской высших особ царского семейства [106], были очень знакомы и другим сословиям. Англичанка М. Вильмот, проживавшая в доме кнг. Е. Р. Дашковой, испытала буквально шок, когда на нее налетела «в невероятном исступлении женщина (по одежде – крепостная)», «яростно сжимая кулаки, как бы собираясь драться»: крепостной почудилось, что ее муж (тоже крепостной!) равнодушен к заезжей гостье, и потому действовала в забытьи, будучи «возбуждена ревностью» [107]. «О ревность, ревность, порок несчастный! – восклицал некий Н. И. Цылов, ребенком настрадавшийся от сцен ревности (он называл юс "диалогами"), которые его мать устраивала отцу. – Люди женатые, будьте снисходительны друг к другу! Вы делаетесь причиной разрушения семейного счастья и гибели детей ваших» [108]. Купец Н. Вишняков, размышляя над отношениями своих родителей и называя ревность «неразлучной спутницей» любви, «отравившей» жизнь его матери, полагал, что боль и муки ревности – «плод житейских разочарований, подозрительности и недоверчивости к людям», которые были воспитаны в его отце торговой профессией [109].

Информацию о мотивации межсупружеских конфликтов современный исследователь может (да и то с трудом) получить лишь косвенно – из описаний женщинами семейной жизни соседей, подруг или родственниц. «...В доме она делала все, что хотела, – вспоминала, например, С. В. Скалой о жене соседа по имению, Д. П. Трощинского. – Будучи обворожительной кокеткой, она в то же время до того измучила своего мужа ревностью, что наконец они совсем рассорились, и князь, несмотря на любовь тестя и двух детей, должен был расстаться с ними и уехать из дому навсегда» [110]. О «несходстве характеров» и психологической непереносимости супругами друг друга как причине раздоров и ссор в семье упоминали многие мемуаристы [111].

Вряд ли семейные конфликты, если они возникали, разрешались в то время одной только силой убеждения – об этом свидетельствуют дела, разбиравшиеся Сенатом и особенно Синодом, в первую очередь бракоразводные. Так, в 1731 г. жена бригадира Дмитрия Порецкого обратилась с жалобами на мужа, который, по ее словам, бил ее, оставляя

без пищи, не допускал духовника [112]. Другая «бригадирша», Мария Потемкина, жаловалась четверть века спустя, что муж бьет ее, «нимало не смотря» на возраст – 70 лет, и просила поскорее развести [113]. Однако оба дела оставили без внимания. В одном из дел середины XVIII в. истицей была княгиня, которую – от побоев и жестокого обращения мужа – пытался защитить ее брат [114]. И вновь никакого решения принято не было. В 1741 г. некая Федосья Саламанова, жена поручика морского флота, пожаловалась в Синод на то, что муж ее бил, а затем выгнал из дома. Синод вынес несколько странное решение: разлучить и осудить на безбрачие супруга, если не пожелают помириться [115].

В воспоминаниях С. В. Скалой, повествующих о провинциальном российском быте конца XVIII в., упомянута семья ее дяди, Н. В. Скалой, который, по словам мемуаристики, «был большим деспотом». Описывая часто виденные ею «случаи жестокого обращения» дяди с женою, наш автор с ужасом отмечал: «За малейший беспорядок в доме, за дурно изготовленное блюдо он не только бранил ее самыми гнусными словами, но иногда... бил в присутствии всех». Резюмируя последствия подобного недостойного поведения, С. В. Скалой писала, что жестокость мужа по отношению к жене родила неуважение детей к матери, в том числе дочек, которые «впоследствии наносили ей страшные оскорбления» [116]. О битье жен в семьях представителей «благородного сословия» упоминали и другие мемуаристы [117]. Ослушание жены мужу в доме Аксаковых, например, обернулось тем, что «у бабушки не стало косы, и она целый год ходила с пластырем на голове» [118].

В целом же «благородные» предпочитали худо-бедно следовать Уставу Благочиния, принятому в 1782 г. Он призывал, в частности, помнить нормы, постулированные еще Новым Заветом. «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, – говорилось в Уставе, – уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляя ей пропитание и содержание по состоянию и возможности хозяина». От жены ожидалось иное – покорность, терпение, пребывание «в любви, почтении и послушании к своему мужу...» [119]. В отличие от «благородных», местные власти не реагировали на жалобы крестьянок с требованием образумить избивавших их мужей. Информаторы РГО сообщали в середине XIX в., что «деревенские смотрели на расправу как на обыкновенное явление: "Свой муж, что хочет – то и воротит» [120], "Сколочена посуда два века живет"» [121]. Но дело принимало иной оборот, если в качестве истицы в суде выступала не сама избитая, а ее мать: зятья в семьях должны были быть «у тестя и тещи в полном повиновении и послушании» [122], и когда тещи замечали обратное, да еще усугубленное побоями их дочерей, – то весьма успешно добивались наказания зятьев (от 15 до 20 розог) [123]. Не случайна бытовавшая в

крестьянском быту поговорка: «Был у тещи – да рад, утекши!» [124].

Среди «простецов», малообразованных мещан, купцов ситуации семейных конфликтов были более многочисленны, а сами они более жестоки. «Женский быт – всегда он бит!» – резюмировала пословица [125]. «Жены давились, топились и резались от жестокости мужей, – негодовал протоиерей Д. Беликов, описывая крестьянский семейный быт XVIII – XIX столетий. – Не менее свирепо поступали с мужьями и женщины...» [126] Практически во всех делах о семейных конфликтах в непривилегированных сословиях фигурировала «плеть» (которой крестьянин «наказывал недушевно»), а зачастую и нож. Часты упоминания о том, что в разгар ссоры муж таскал жену за волосы, «топтал ногами» [127]. Женщины отвечали на насилие, как могли: подавали прошения о разводе, решались на убийства и самоубийства, а чаще отвечали на побои побоями же. На Иртыше в середине XIX в. была записана поговорка: «Жена мужа бьет – не на худо учит»; [128] в центре России бытовали схожие: «Жена мужа не бьет – под свой норов ведет», «Бранит жена мужа, а бить его не нужна» [129]. И все же грубый и откровенный произвол во внутрисемейных отношениях крестьян был не нормой, а исключением, а в «мире чувств» русской крестьянки преобладали не злоба и ненависть, а мир и лад.

Огромную роль в укреплении и одухотворении семьи – дворянской, купеческой и крестьянской – играли дети. «На бездетных смотрят с сожалением», – констатировал корреспондент Русского географического общества в середине XIX в. [130]. В его словах отразилось и его собственное отношение к предмету, и воззрения на него русского общества в целом.

### III

#### **«ЧЕГО НЕ ВЫНЕСЕТ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ!»**

#### ***Материнство и материнское воспитание в российских семьях***

Даже при беглом чтении документов личного происхождения – писем, дневников, мемуаров XVIII – начала XIX в. – у исследователя складывается неоспоримое убеждение в том, что именно рождение и воспитание детей было содержанием жизни любой женщины, от статс-дамы Е. Р. Дашковой до безвестной сибирской крестьянки.

Западноевропейские веяния начала XVIII в., ориентировавшие женщин на светский образ жизни, при котором семья, хозяйство, воспитание детей оказывались как бы на втором плане, по сравнению с участием в балах, празднествах и танцах, не могли укорениться во всех сословиях. Они «задели» лишь верхушечный слой столичных дам [1], да и то не всех. Женщин, имевших возможность подражать образу жизни императриц и их окружению, было ничтожно мало.

Наполненные духом романтизма и Просвещения 70-е гг. XVIII в. принесли к тому же дыхание особого отношения к материнству. После сочинений Ж.-Ж. Руссо во всей Европе в образованных кругах стало принятым стремиться к природе, «естественности» нравов и поведения. Идеи эти оказали прямое влияние на семью. Кормить детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери [2]. Считавшие себя просвещенными матери стали внимательнее относиться к личности ребенка [3].

Эти идеи очень быстро и легко привились в дворянском, «благородном» сословии России, так как совпали с национальной традицией высокой ценности материнства. Источники личного происхождения второй половины XVIII – начала XIX в. дают убедительные доказательства того, что материнство оставалось для абсолютного большинства женщин ценностью вне моды и времени. Именно перспектива материнства, понимаемого как трудно выразимая на словах, но принимаемая сердцем обязанность рожать и воспитывать детей [4], в наибольшей степени (по сравнению с иными – в том числе эмоциональными – мотивами) заставляла девушек относиться к замужеству как к самому значительному, переломному (лиминальному) рубежу, с которого начиналась новая жизненная фаза.

Мемуары, письма, дневники, написанные представительницами дворянского сословия рассматриваемого времени, не позволили выявить в этой социальной страте ни одного случая добрачной беременности и рождения ребенка до замужества. Вполне вероятно, что такие случаи были, но остались – по этическим мотивам – незафиксированными. В сельской же среде рождение добрачных детей (их называли крапивниками) [5] редкостью не являлось. Одна из пословиц XVIII в. даже подтрунивала над незадачливыми ухажерами, боявшимися доводить легкий флирт до интимных отношений: «Страх причины – не задирай дивчины!» [6] К середине XIX в. были зафиксированы уже «частые случаи» выхода замуж с добрачным ребенком [7]. Что касается непривилегированной части населения городов, то согласно петровским «артикулам» (1708 и 1720 гг.) в случае «прижитая» ребенка до венчания предписывалось не «принуждать к женитьбе» мужчину и венчать (лишь «если захотят обе стороны»). Тем не менее виновный в растлении обязывался законом дать определенную сумму денег «для содержания матери и младенца». Размер суммы определялся состоянием отца ребенка. Отказ от выплаты алиментов тому, кто «о супружестве обещал, а потом бросил», – карался наказанием плетьюми и тюрьмой [8]. Среди дворян представление о «позорности» наживания детей до брака укрепилось, таким образом, прочнее, но, разумеется, в разных семьях бывало всякое.

Мемуары и дневники российских дворянок, равно как их письма XVIII



– начала XIX в., не дают ответа на вопрос о том, как относились их авторы к трудному периоду вынашивания детей. Меж тем в источниках личного происхождения отмечено, что, если беременная была «беспрестанно больна душой и телом», ребенок мог родиться «худеньким и слабеньким» [9]. Скупые описания переживаний, связанных с беременностью и родами, можно найти в воспоминаниях В. Н. Головиной, Е. Р. Дашковой, мемуарах Н. И. Цылова и С. Т. Аксакова [10]. Родовспоможение, как и вся медицина вообще, были в тот «просвещенный» век на весьма низком уровне [11]. Даже в дворянских семьях женщины верили подчас старинной примете: «если роды будут в доме всем известны – то они будут тяжелыми», а потому не спешили звать повитух и лекарей, даже когда начинались схватки [12]. О «странном» (для иностранца) обычае дарить родильнице червонец, «не то непременно умрет или мать, или дитя», упомянула, рассказывая о родах в дворянской семье, англичанка леди Рондо [13]. Крестьянские поверья, касающиеся родов, причудливым образом соединяли мудрую наблюдательность и откровенное знахарство [14], а обычаи, связанные с «родинами», по-детски наивно воспроизводили тяжесть этой «женской работы» [15]. В деревнях к родам относились по-будничному: «Жену слушать, что больно родит, – так на свете и людям не быть» [16].

Успешность или тяжелые последствия каждых родов даже в дворянских семьях были непредсказуемыми. А. Н. Радищев упомянул о смертях рожениц и уродствах детей, вызванных ношением женщинами корсетов [17]. Многие юные дворянки, проживавшие в холодном и сыром Петербурге, умирали после благополучных родов от «припатков (осложнений. – Н. П.) натуральной сей болезни» (то есть сами роды рассматривались как «натуральная болезнь») [18], а также от травм и даже обычных простуд [19]. В провинции опасность смерти после родов была еще более высока [20], причем это в равной степени касалось и дворянок [21] и простолюдинок [22]. В России, писал М. В. Ломоносов, «молодых более умирает, нежели кои старее, так что едва сороковый человек до 30 лет доживает» [23].

Практически во всех мемуарах рассматриваемого времени, как в «мужских», так и в «женских», говорилось – как о будничном явлении! – о тяжелых детских болезнях и ранних смертях детей. Крестьянки, по словам информаторов середины XIX в., даже надеялись, «може не будут жить»: так тяжело было бремя частых родов и многодетности и так ожидаема смерть. «По сто тысяч младенцев не свыше трех лет» – такой высчитал ежегодную смертность М. В. Ломоносов, отметивший, что матерей, «кои до 10, а то и до 16 детей родили, а в живых ни единого не осталось», было немало [24]. Поразительно высокая детская смертность сохранялась в семьях буквально всех сословий XVIII в. Жена дворянина Андрея Болотова была четырнадцатилетней, когда умер их

полугодовалый первенец. Смерть сына она восприняла как неизбежность и лишь надеялась, что новая беременность сможет помочь «забыть сие несчастье, буде се несчастьем назвать можно» [25]. В семье Ивана Толченова, автора «Журнала или записки жизни и приключений» (конец XVIII в.), из девяти детей вскоре после рождения умерли семь [26].

При трагическом исходе (смерти роженицы) вдовец старался возможно быстрее жениться вновь [27], иногда даже «когда не исполнилась и година» [28]. В крестьянском быту «вдовствовали исключительно старики, всех же остальных заставляли (выделено мною. – Н. П.) вступать в новый брак» [29]. Так же поступали – когда из рациональных, а когда и из эмоциональных соображений – и оставшиеся вдовыми молодые матери, если неожиданно умирал отец ребенка [30]. Тем не менее фольклор зафиксировал приоритет наличия именно матери у ребенка: «Отца нет – полсироты, матери нет – круглый сирота!» [31].

Болезни и скоропостижные смерти рожениц были причиной того, что восприемницами, а затем воспитательницами детей часто бывали старшие сестры [32] или тетки (сестры матерей) [33] новорожденных. Вероятно, именно этот фактор и сыграл решающую роль в сохранении и умножении обрядов и ритуалов, связанных с крестинами. С одной стороны, они свидетельствовали об укоренении православных идей, с другой – о слиянии православной обрядности с народной. Опасение умереть непредвиденно рано, преждевременно, заставляло родителей брать в крестные матери своим детям совсем юных девочек, зачастую – старших сестер [34], которые и перенимали на себя ответственность за воспитание крестниц в случае сиротства [35].

Бывали случаи удивительные. По воспоминаниям М. С. Николевой, родившейся в начале XIX в., ее бабушка, жена коменданта г. Нерчинска Я. И. Еремеева, умерла в родах, следом умер отец новорожденной, а девочку (мать мемуаристки) вскормил и воспитал денщик отца, «подкладывая ее к козе». Девочку он берег, как мог, пока не пристроил в дом некой А. А. Никелевой, жены губернатора г. Тобольска, воспитавшей сироту наравне с родными детьми [36]. Поступок «доброй и умной женщины», как охарактеризовала губернаторшу мемуаристка, был типичен для дворянок, того времени. Сплошь и рядом в более зажиточных и знатных семьях воспитывались и дети бедных (а иногда и отнюдь не бедных!) родственников [37], а то и вовсе посторонних людей [38]. В крестьянских семьях матери «по охоте», как тогда говорили, брали в семью подкидышей [39]. Мотивы подобных поступков (передачи ребенка на воспитание из одной семьи в другую) были иногда – морально-педагогические, в иных случаях – житейские, бытовые (здоровье ребенку было легче сохранить в семье, «под присмотром»)

[40].

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

Чаще, разумеется, ребенок рос в родной семье. При этом многие дворянки признавались в своих мемуарах, с недоумением и досадой, что их рождению не радовались – оттого только, что они не были мальчиками-первенцами (которым, кстати, в крестьянской среде нередко давали имя «Ждан» [41] и называли «соколятами»: «Первые детки – соколятки, последние – воронятки») [42]. Е. Ф. Комаровский записал в своих мемуарах о рождении первого сына: «28 мая 1803 года... Бог мне даровал первого сына графа Егора Евграфовича». И продолжал ниже: «О рождении прочих моих детей записано в святцах, и потому поминать здесь о том я нахожу излишним...» [43] Примерно так же рассуждал и Иван Толченое, отметивший в своем «Журнале» день, когда он был «обрадован благополучным разрешением от бремени Анны Алексеевны. Родился сын» (на 9-м году после бракосочетания) [44]. О других детях мемуарист и упоминать не стал. «Дочери! Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому», – рассуждал дед Сергея Аксакова, демонстрируя устойчивость старых, народно-традиционных воззрений на дочерей и сыновей, которые в дворянской среде, казалось бы, должны были быть давно уже вытеснены новыми «чувствованиями» [45].

В возрасте между 30-ю и 40-а годами [46] дворянки рожали весьма часто, но такие роды у них были, как правило, не первыми и потому часто протекали с осложнениями [47]. В немолодом возрасте женщины смотрели на рождение новых детей как на тягость, на неизбежное зло. «Родители мои не чувствовали радости при моем появлении на свет, какую обыкновенно чувствуют при рождении первенцев, – признавалась на страницах своих воспоминаний некая А. Щ. – Они смотрели на меня как на новую обузу, которая свалилась им на шею...» [48]. С тем же чувством начинала свои мемуары и одна из первых выпускниц Института благородных девиц при Смольном монастыре – Г. И. Ржевская. С горечью констатировав «нерадостность» события своего рождения для родителей, она привела рассказ о нем одного из родственников: «Огорченная мать не могла выносить присутствия своего бедного 19-го ребенка и удалила с глаз мою колыбель... О моем рождении – грустном происшествии – запрещено было разглашать... По прошествии года с трудом уговорили мать взглянуть на меня...» [49].

Что же говорить о крестьянских семьях! «Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили!» – горестно восклицали матери-крестьянки [50] (и тем не менее приговаривали: «Много бывает – а лишних не бывает») [51]. По словам аббата Шаппа, побывавшего в России в Екатерининскую эпоху и общавшегося с императрицей, в среде крепостного крестьянства безразличие к детям объяснялось тем, что «сии плоды законной любви» могли быть «похищены» у родителей в

любую минуту хозяином-душевладельцем [52]. Теневыми сторонами крестьянского быта, невозможностью прокормить большое число детей объяснялись случаи их заклада и продажи («А буде я, Василей, на тот срок денег не заплачу, волно ему, Андрею, той моей дочерью Овдотьей владеть и на сторону продать и заложить...») [53]. Однако среди найденных нами закладных на детей XVIII – начала XIX в. не встретилось ни одной написанной матерью: все – по инициативе и решению отцов [54].

Многодетность могла быть вполне в порядке вещей не только в крестьянской среде («У кого детей много – тот не забыт от Бога») [55], но и в дворянских семьях среднего достатка [56]. Семьи же с одним-двумя детьми попадались нечасто (за исключением тех, где столько детей выживало и доживало до совершеннолетия, в то время как остальные умирали во младенчестве) [57]. «Родилась я, шестая дочь... Нас было уже девять человек, и старшему моему брату шел 23-й год, – писала о событиях, свершившихся „в начале текущего столетия“ (XIX в.) М. С. Николева. – Теперь бы такое приращение почли бы чуть не несчастьем. В то время так не думали: многочисленное семейство считалось не бременем, а благословением свыше. Вся семья встретила радостно мое появление на свет...» [58] Аналогичные по тональности воспоминания о «великой радости» рождения ребенка (дочери!) можно найти и у А. Е. Лабзиной [59]. Н. Б. Долгорукая (урожд. Шереметева) тоже вспоминала, что «была дорога» своей матери, хотя была у нее уже четвертым ребенком, что день ее рождения «блажили, видя радующихся родителей... благодарящих Бога о рождении дочери» [60]. В эпистолярном наследии русских государей примеры исключительной радости родителей, связанной с рождением дочерей, очень многочисленны [61]. Мальчиков-первенцев (а тем более единственных!) [62] ожидали с еще большим, можно сказать – с благоговейным, нетерпением и старались спасти от возможных хворей [63] («слезы радости потекли из глаз родителей моих при виде нетерпеливо ожидаемого младенца») [64]. Если была необходимость выбора между сыном и дочкой – невольно (или преднамеренно?) предпочитали спасти и выходить в первую очередь мальчика [65]. Судя по воспоминаниям Е. Р. Дашковой, она особенно берегла сына (по сравнению со старшим ребенком, девочкой), хотя мальчик с детства рос болезненным. Обнаружившийся рахит и склонность к чахотке (нередкие для Петербурга заболевания) заставили бывшую статс-даму «переменить климат» и отправиться в длительное путешествие «для поправки здоровья детей» [66]. Но были и семьи, где с той же радостью воспринималось рождение дочерей, и именно для матерей «не существовало разницы между сыном и дочерью» [67].

В одном из мемуаров конца XVIII в. приводится описание казавшегося

необычным поведением выдающегося русского фельдмаршала А. В. Суворова, который вместе с зятем, Н. А. Зубовым, тревожно ожидал рождения первого внука и сына. По словам мемуаристов, он постоянно крестил живот дочери – Н. А. Зубовой (урожд. Суворовой), так как она в первый раз «была в тягости» [68]. Другой мемуарист, А. Т. Болотов, вспоминая о детстве, записал, что его «воспитывали с особливим старанием и берегли, как порох в глазе», так как мать его была уже «не гораздо молода и детей родить уже не надеялась, а сына еще ни одного живого не имела, все бывшие умирали в младенчестве...» [69].

Аналогичная ситуация сложилась в то время в семьях современников Болотова – Кудрявцевых, Паниных [70]. В мемуарах российских дворянок начала XIX в., часто описывавших «здоровую» жизнь в деревне и «светскую» в столице (причем последняя требовала участия в балах, ношения легких, тонких платьев, не приспособленных к сырой петербургской погоде), часто проскальзывали упоминания о простудах и похожих на нее болезнях, которые «в несколько месяцев страданий, попечений и тревоги» сжигали жизни многих юных девочек и женщин [71].

Высокой детской смертностью были отмечены семьи всех сословий. Безвременно погибали и отпрыски императорской семьи [72], и дети простолюдинок. Купчиха из семьи Г. Т. Полилова-Северцева вспоминала о своем деде, жившем на рубеже XVIII – XIX вв., что «семья его была большая: четыре сына и четыре дочери» (имеются в виду достигшие отрочества или совершеннолетия), но «умерло больше, чем выжило» (в то время как самому деду было всего 40 лет) [73]. В книге этой мемуаристки, равно как в воспоминаниях ее современниц, можно найти многочисленные примеры мертворождений [74], младенческих и детских смертей от гриппа, отравлений, рахита, чахотки, детских и взрослых инфекционных болезней [75], прежде всего оспы [76]. Сообщениями о детских нездоровьях пестрят и строки писем женщин ХУШ – начала XIX в. [77]. Даже грудное вскармливание новорожденных матерями-дворянками, бывшее весьма распространенным в семьях среднего достатка [78] и являвшееся нормой в крестьянском быту, не спасало от опасностей первого года жизни.

На матерях во всех российских семьях по-прежнему лежала обязанность выхаживания больных детей. Даже в письмах государынь мужьям «детская тема» – это прежде всего тема состояния здоровья детей [79]. Пронзительные по боли и сочувствию строки о том, как жена пыталась выходить сразу двух заболевших корью младенцев, из которых один все же умер, содержатся в «Журнале» Ивана Толченова за 1787 г. [80]. «Все печали», которые им с женой пришлось тогда пережить, «судить может только одно родительское сердце» – подводил итог автор «Журнала». Матери-дворянки постоянно записывали в свои дневники

рецепты домашних лекарств от разных болезней, а также от ушибов, переломов, растяжений и иных недомоганий [81]. Судя по записям одной валдайской помещицы 1812 г., к ее больным детям сумели вызвать полкового лекаря лишь один раз за многие годы, в остальных же случаях мать вынуждена была довольствоваться примитивными медицинскими знаниями, которые сама получила, вероятно, в юности и которые мало расширились позже («к затылку шпанскую муху...») [82]. Сходную картину можно было наблюдать зачастую и в столичных домах: матери лечили и детей, и мужей, и родственников, как умели и как могли [83].

Мемуары русских дворянок и женщин из купеческого сословия позволяют утверждать, что не только вынашивание и рождение детей, не только забота об их здоровье, но и обязанности «матери и наставницы» [84] в широком смысле слова – повседневная личностно-эмоциональная поддержка, воспитание, обучение рассматривались ими в качестве жизненно определяющих. С. В. Скалой, в частности, вспоминала, что ее «мать одна, с помощью одной лишь старшей дочери занималась нашим (т. е. младших детей. – Н. П.) воспитанием» [85].

Средства и методы воспитания девочек и вообще детей в семьях крестьянских, купеческих и дворянских существенно отличались. В крестьянских семьях все задачи трудового и нравственного воспитания решались главным образом силой собственного примера: «чево себе не угодно, тово и людем не творите» [86]. Эффективным средством воспитания были в руках родителей-крестьян пословицы и поговорки, сказки, предания, былинки, создаваемые не только в познавательных и идейно-эстетических, но и дидактических целях («Покояй мать свою волю божию творит», «Не оставь матери на старости лет – Бог тебя не оставит», «Матернее сердце в детках», «Отцов много – мать одна», «Материи побои не болят», «Мать и бия не бьет», «Добра, да не как мать» и др.) [87]. Фольклорные произведения (а позже и информаторы РГО) зафиксировали факт большей мягкости материнского воспитания по сравнению с отцовским [88].

Воспитание в купеческих и в дворянских семьях проходило на тех же моральных основаниях, но на дворянок в большей мере воздействовали педагогические идеи, сформулированные в литературе. Воспоминания позволяют заметить, что в одних дворянских семьях матери (и, шире, воспитательницы) изрядно баловали и хвалили [89] своих детей, в других – не гнушались «стращать», «насмехаться» [90] (что было в целом типично для крестьянского воспитания) [91], в третьих – не брезговали – как и крестьянки! [92] – даже физическими методами воздействия [93]. Родительский произвол узаконивался указом 1775 г., по которому отец и мать могли помещать строптивых детей в смиренные дома [94]. В крестьянском быту родители (одна мать – крайне редко) [95] иногда

даже публично наказывали детей розгами. Это не встречало осуждения ни со стороны волостных властей, ни соседей [96].

Тем не менее по сравнению с предыдущими столетиями многое изменилось. Во-первых, в среде непривилегированных сословий увеличилось число конфликтов родителей и детей по поводу имущества. Это было связано с первыми спорадическими проявлениями кризиса патриархальных основ семейной организации, тягой молодежи к самостоятельности [97]. Во-вторых, в среде образованных и «благородных» менялись воззрения на педагогические методы и цели. «С успехом наставлять детей можно исподволь и только ласкою, – полагал поэт и педагог А. Д. Кантемир. – Строгость вселяет в детях ненависть к учению. Ласковость больше в один час исправит, než суровость в целой год» [98]. Правда, эти новые воззрения мало кому из матерей были известны. «Тогда не говорили о развитии детей, не задавались наблюдениями за детскими впечатлениями или анализом детских характеров. Главным принципом было держать их в черном теле», – вспоминала дворянка Л. А. Сабанеева, писавшая свои мемуары в середине XIX в. [99].

Конечно, не все матери (и даже не большинство!) склонны были держать своих детей в небрежении или строгости. Но некоторое невнимание к ребенку – с учетом того, что «робят» в семье часто было немало, – все же можно почувствовать в мемуарах некоторых «светских дам». Последние предпочитали долговременные заграничные вояжи вдвоем с мужем «тихим семейным» радостям в поместье. Отлучаясь на несколько месяцев, а то и лет, они передавали детей на воспитание родственникам и лишь изредка, повидав своих чад, восторгались приобретенными ими знаниями и красотой [100]. Весьма часто подобная отстраненность родителей (и особенно – матерей) от воспитания оборачивалась драматически. Так, известная государственная деятельница, статс-дама Е. Р. Дашкова, вынужденная (в силу своих административных обязанностей!) предоставить своего первенца «Мишеньку» на воспитание бабушке, не однажды сокрушалась о том, что таким образом его потеряла (мальчик умер) [101]. Иные обеспеченные матери предпочитали возить детей по заграницам с собой и там давать им начальное воспитание, «почему все они очень плохо знали по-русски» – но, однако ж, не были лишены материнского тепла [102].

По понятным причинам практически все мемуары известных российских деятелей и деятельниц XVIII в. дышат в благоговением перед образами добрых, заменявших им в детстве матерей, воспитательниц – нянь и кормилиц [103]. Няни и кормилицы были тогда, как правило, крепостными. Многие мемуаристы называли нянь «вторыми матерями» [104], «нянюшками», «мамушками» [105]. «Преданность»,



«усердие», «опытность», «старание», «верность и рачительность» – такие качества запомнили в своих нянях и кормилицах многие мемуаристы [106]. «Ее (няни. – Н. П.) приверженность, ее нежная заботливость, ее святые молитвы имели великое влияние на судьбу нашу...» – признавалась графиня Эделинг [107]. Память о необыкновенной заботе, проявленной няней, сохранилась и у Л. А. Сабанеевой, и у некой «А. Щ.», оставившей воспоминания о ее «незатейливом воспитании» на рубеже XVIII – XIX вв. [108]. Потрясающий случай спасения жизни маленькой девочке ее няней отразил в своих воспоминаниях В. Н. Карпов [109].

В крестьянских семьях функции нянь выполняли старшие дочери: девочку уже «на 6-м году называли нянькой», 7 – 8-летних оставляли играть с малышами и укачивать их [110].

Помимо нянь, выхаживанием и воспитанием ребенка в раннем детстве по-прежнему много и часто занимались бабушки. Судя по мемуарам многих выходцев из дворянского сословия, проживание внуков у бабушек – по несколько месяцев, а то и лет – было весьма типично для российского семейного быта рассматриваемого времени [111]. «Бабушка была обрадована несказанно (рождению внука. – Я. Я.) и через шесть недель взяла меня, а потом удержала у себя на воспитании... – вспоминал некий Н. С. Селивановский. – Конечно, странно, что меня уступили старухе, но все объясняю молодостию матери. Шесть лет провел я у бабушки среди старух и женщин». Мемуарист отмечал также, что бабушка спала с ним в одной «двухспальной большой кровати и баловала несказанно» [112]. Аналогичная ситуация сложилась в семье С. Н. Глинки: когда он рос, его отправляли погостить к бабушке в имение на лето [113]. То, что бабушки – «как все бабушки вообще» [114] – не уставали «баловать напропалую», «нежить», угощать всякими лакомствами, потакать прихотям малышей более, чем родные матери, – отметили в своих воспоминаниях буквально все, кому пришлось испытать их любовь и «теплоту душевную» [115]. Присловье простого народа также зафиксировало «особость» отношения бабушек к внукам и внучкам: «Дочернины дети милее своих» [116].

Огромное почтение внуков к бабушкам объяснялось тем, что к этим женщинам и другие члены семьи относились как к хозяйкам, главным распорядительницам имений и крепостных, от которых могли зависеть судьбы многих людей: «...Дом принадлежал бабушке, которая осталась во главе семьи, управляя всеми имениями, – вспоминала С. В. Мещерская. – Бабушка была предметом общей любви и уважения... идеалом *grande dame*: любезна, обходительна со всеми, великодушна и очень религиозна» [117].

Иной причиной особенного уважения к бабушкам было признание их огромного воспитательного опыта; ведь даже методы воспитания родителей и бабушек, как правило, различались. С одной стороны,

бабушки предоставляли внукам больше свободы, с другой – умели по-особому «подойти» к ребенку. Купец Н. Вишняков, писавший свои мемуары в середине XIX в., назвал бабушек «смягчающим элементом детства» [118]. Англичанка Марта Вильмот конкретизировала и объясняла сестре в одном из писем, в чем, по ее мнению, состоит «особость» отношений необычной бабушки, президента двух российских академий Е. Р. Дашковой, и ее внуков, в особенности – любимого, Петруши: «С детьми (речь идет о детях ее сына. – Н. П.) она обращается как со взрослыми, требуя от них такого же ума, понимания и увлечений, которые занимают ее собственные мысли» [119].

Наконец, уважительного обращения к бабушкам требовали и дидактические нормы (отразившиеся в том числе и в фольклоре), воспитывавшие в юном поколении уважение к старшим [120]. Эти нормы проникли, а отчасти и сформировали клаузулу писем. «Дорогая и любезная государыня бабушка!» – обращался к царице Евдокии Федоровне (матери царевича Алексея) ее внук, российский император Петр II, осведомляясь о ее «весьма желательном здравии» и прося «отписать, в чем» он может «услугу и любовь свою показать» [121]. Что касается самой бабушки, то ей от внука нужны были главным образом внимание и память, «чтоб не оставлена была письмами» [122].

Няни, кормилицы, бабушки, родственницы-воспитательницы – все они, однако, отступали перед образами матерей, сохраненными в памяти мемуаристов. Признательностью за их преданность, «чадолюбие», «добродушие», внимание и заботу пронизаны строки многих воспоминаний – и «мужских» и «женских» [123]. А. Т. Болотов писал, например, что мать его «крайне любила и не уставала всяким образом нежить». Безграничную любовь к себе и самопожертвование, «всевозможное попечение, которое только можно доставить», которое исходило от матери всю жизнь, не могли забыть М. В. Данилов, Г. Р. Державин и А. Ф. Львов [124]. Их младший современник И. В. Лопухин, потерявший мать в 10-летнем возрасте, описал смерть ее с пронзительной болью: «Я просил Бога очень усердно, чтоб Он лучше отнял у меня палец или даже всю руку, а только бы она не умерла...» [125]. Некоторые эмоциональные мемуаристки, вспоминая о матерях («дочерняя любовь заключает в себе массу воспоминаний...» [126]), отмечали, что «ничего не утаивали» от своих «маменек», потому что безмерно «доверяли» им, их «чувствительности», «проникновенности», и отмечали, что именно любовь матерей сформировала их нравственное чувство – «честность и благонравие» [127].

Ты в летах юности меня к добру влекла  
И совестью моей в час слабостей была,  
Невидимой рукой хранила ты мое безопытное детство, –

обращался к стареющей матери Н. М. Карамзин [128]. И редкий мемуарист вспоминал о своем детстве обратное: деспотичный характер, самодурство своей родительницы. О строгости матери еще иногда могли быть упоминания [129], но о несправедливом отношении, беспричинных вспышках гнева – крайне редки. Не оттого, вероятно, что такие матери не встречались, а оттого, что неписанные нравственные законы исключали возможность фиксации подобного в письмах или воспоминаниях.

Отношение детей к матери формировал не только внутрисемейный микроклимат, но и православно-идеологические установки, требовавшие оказывать матерям внимание и почтение. Из учительных сборников, распространенных еще в допетровское время, на страницы поучений от отцов к сыновьям, написанных в XVIII в., перешли требования «не злоречить» матери, «читать мать». Например, В. Н. Татищев развелся с женой и жил отдельно от семьи, но от сына требовал оказания матери безусловного почтения [130]. «Нет страны, в которой бы уважение к... матерям и людям пожилым простиралось далее, – отмечала Екатерина П (немка по происхождению) в своем сочинении «Антидот» («Противоядие»). – Дети, давно женатые, не смеют, так сказать, выйти из дому без позволения родителей [131]».

Особой темой в истории развития внутрисемейных отношений в России XVIII – начала XIX в. являются отношения матерей с выросшими детьми. Несмотря на поговорку «Взрослый ребенок – отрезанный ломоть», для русской традиционной культуры, сложившейся задолго до петровских реформ, характерно было сохранение крепких родственных связей между представителями (и представительницами!) разных поколений, в том числе между матерями и выросшими детьми, сыновьями. В крестьянском быту дети обязаны были быть кормильцами («пропитателями») [132] состарившихся матерей. Частная переписка XVIII – начала XIX в. свидетельствует о сохранении этой черты традиционной культуры. «Почитайте свою родительницу, – поучал крестьянин Иван Худяков взрослых женатых сыновей. – (Имейте) во всем к ней повиновение и послушание и без благословения ея ничего не начинайте» [133]. Письма взрослых детей матерям, которые – по удачному выражению дворянина С. Н. Глинки, писались «не пером, а душой» [134], – отличали почтительность и уважение к тем, кто их родил и воспитал.

Так, Петр I неизменно посылал матери записки, полные уважения и смирения («паче живота моего телесного вселюбезной матушке моей...»), называя ее «радость моя», «вселюбезная». Смерть Натальи Кирилловны он пережил мучительно тяжело: «Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и

сердце...» [135]. Под стать письмам Петра I к матери и письма его младших современников. «За великое несчастье для себя приемлю, что при отъезде своем не отдал тебе, матушка, должного поклона», – сокрушался, например, в письме к родительнице его сын царевич Алексей [136]. Выросшие дети не чувствовали себя оторванными от родительского крова и старались не только регулярно писать о себе матерям, но и наезжать домой, как бы далеко ни жили. Некий Г. И. Добрынин, описав один из таких приездов (а для них он должен был отпрашиваться со службы, получать специальный отпуск!), резюмировал: «Любовь родительская к детям имеет большой перевес в рассуждении детской любви к родителям» [137].

И действительно, внутренне осознаваемая обязанность «поднять» детей, ответственность за них, даже когда они становились взрослыми, заставляли многих матерей забывать о собственном душевном и физическом состоянии во имя счастья своих чад [138], подчас совсем не благодарных. «Мне стоило больших усилий поехать, но чего не вынесет материнская любовь!» – признавалась на страницах своих «Записок» Е. Р. Дашкова, рассказывая, как в период тяжелой болезни, изнемогая от жара и физической боли, вынуждена была присутствовать на деловой встрече с государыней и кн. Г. А. Потемкиным, могущей обеспечить благополучное будущее ее сына [139]. По столь понятным ей самой мотивам Б. Р. Дашкова помогла позже вдове Я. Б. Княжнина опубликовать посмертно одну из его трагедий «в пользу детей» и «сделать так, чтобы вдова несла по возможности меньшие расходы» [140]. Убедительным примером материнской самоотдачи является судьба княгини Н. Б. Долгорукой, мужественно перенесшей трудности сибирской ссылки и безденежье вначале во имя мужа, а затем двух сыновей [141]. Об умениях матерей «устраивать дела», управлять имениями, «соблюдая порядок и экономию», «справляться с домашними расходами» и к тому же получать прибыль, и немалую – и все во имя детей! – говорят строки воспоминаний русских дворянок XVIII – начала XIX в. [142]. «Сама я испытывала всевозможные лишения, но они были мне безразличны, ибо меня полностью захватили материнская любовь и родительские обязанности», признавались мемуаристки [143].

Своеобразно понятая материнская «привязанность» простиралась и на выросших детей [144], в том числе сыновей, довольно активно стремившихся к самостоятельности. Англичанка К. Вильмот вообще сделала вывод о том, что в России «дряхлаые старухи всемогущи, так как у них больше наград и знаков отличия, чем у молодежи». Заезжая англичанка не поняла, однако, что у «дряхлаых старух» было больше не только «наград и знаков отличия», но и жизненного опыта, в том числе опыта управления и распоряжения земельной собственностью [145]. Мемуары позволяют привести немало случаев, когда именно матери

оставляли в своих руках все управление поместьями [146], выделяя детям (в том числе взрослым сыновьям!) лишь определенную сумму «на прожиток» [147] и поручая выполнение разовых покупок недвижимости [148]. Весьма часто подобное отношение к сыновьям со стороны матерей диктовалось осознаваемым (или подспудно ощущаемым) желанием «направить» их в жизни, добиться «приличного места», обещающего служебный успех [149]. В одном из воспоминаний приведен удивительный казус наказания матерью взрослого («под двадцать лет») сына-офицера (!), которого мать собственноручно высекла («вошла с лакеями... заставила их сына держать, а сама выпорола, так что он день от стыда и боли пролежал не вставая») за то, что он «замотался, возвратился домой выпив, распроигрался...» [150]. Любопытно, что сам «пострадавший» оправдывал мать в этом поступке. Что и говорить о той благодарности, которую испытывали сыновья-кутежники, когда их матери принуждены были подчас «не только все скопленное издержать, но многое продать или заложить», лишь бы спасти от долговой ямы любимое чадо [151].

В описанном «самовластии» матери проявлялась стойкая российская традиция приоритета материнского слова и поступка по отношению к ребенку, каким бы взрослым он ни был. При всей исключительности описанных эпизодов они отразили особый консерватизм семейно-бытовых отношений, в том числе в среде дворянства. Личностно-эмоциональные отношения матерей и детей, как то замечали сами авторы мемуаров XVIII – начала XIX в., претерпев за более чем вековой период заметную эволюцию [152], остались важнейшими в цементировании «семейной связки», «силы объединения» [153]. Повзрослевшие сыновья, чувствуя ответственность за тех, кто дал им жизнь, воспитание и образование, став самостоятельными, старались отличиться по службе и тем самым обеспечить старость своих матерей, заслужить их похвалы. Этот мотив ярко прозвучал в переписке рода Раевских, в частности, Н. Н. Раевского и его матери, Е. Н. Давыдовой-Раевской 1790 - 1800-х гг. [154].

Однако, несмотря на всю любовь и нежность к детям, в редкой семье родители понимали, что состояние детства - это особое драгоценное состояние, «золотые дни», как назвал их С. Н. Глинка, родившийся в 1776 г. [155]. Напротив, описывая свою жизнь, мемуаристы старались «пробежать» ранние годы как можно скорее, чтобы не выглядеть недоразвитыми и глупыми. В течение почти всей первой половины XVIII в., если судить по источникам личного происхождения, в обществе отсутствовало понимание существования особого детского мира. Вплоть до конца столетия в России не существовало детской моды: детей одевали по-прежнему как маленьких взрослых. Показательно что воспоминаниям раннего детства уделено, как правило, мало места во

всех мемуарах XVIII в. - и в «женских», и в «мужских».

Пользуясь словами Андрея Болотова, писавшего свои заметки в конце столетия, «о первом периоде жизни» говорить никто не считал нужным, «ибо не происходило ничего особенного» [156]. Болотову вторил его современник Протасьев: «Лета ребяческие ничьи не интересны» [157].

Осознание ценности детства, появившееся в конце XVIII в. отметили в первую очередь воспоминания именно женщин: [158] ведь для них частная сфера жизни была если не единственной, то главной. Русские дворянки, родившиеся на рубеже веков и написавшие свои мемуары в 20 – 40е годы XIX в., характеризовали свое детство, исходя из новой системы ценностей, на которую - пусть опосредованно, косвенно - оказали влияние идеи Руссо и изменившиеся умонастроения в самой России, правда, в одном из мемуаров автор иронически заметила: «Бабка моя не только не читала сего автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту» [159]. Тем не менее на страницах воспоминаний русские дворянки начала XIX в. нередко рассуждали уже о «правильности» или «неправильности» их воспитания, его полноте, качестве, «утонченности» [160], целях [161]. Как заметила выпускница Смольного института Г. И. Ржевская, «оно (воспитание. – Н.П.), по-моему, не перерождает человека, а лишь развивает его природные склонности и дает им хорошее или дурное направление» [162].

Многие дворянки ХУШ в., описывая детство, с радостью вспоминали шумные игры, в которые они играли, проказы, розыгрыши («Я любила прыгать, скакать, говорить, что мне приходило в голову»; [163] «Мать давала нам довольно времени для игры летом и приучала нас к беганью, и я в десять лет была так сильна и проворна, что нонче и в пятнадцать лет не вижу, чтоб была такая крепость в мальчике... У меня любимое занятие было беганье и лазить по деревьям...») [164]. В то же время младшие современницы этих мемуаристок, родившиеся на рубеже веков или в первые годы XIX столетия, стремились уже подчеркнуть роль не столько игр, сколько книг и чтения. «В куклы я никогда не играла и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах и помогать кому-нибудь в шитье или вязанье», – вспоминала о себе А. П. Керн, родившаяся в 1800 г. И продолжала (в назидательном тоне): «Мне кажется, что большой промах дают воспитатели, позволяя играть детям до скуки, и не придумывают для них занимательного и полезного труда» [165]. Ниже она подчеркивала, что характер ее в детстве сформировала именно «страсть к чтению», заложившая особое видение мира.

Мемуарная литература ХУШ – начала XIX в. позволяет сделать одно существенное наблюдение. Именно тогда в русской дворянской культуре оформились два пути женского воспитания, два

психологических типа. Они были противоположны и порождали полярные виды поведения. Один – характеризовался естественностью поведения и выражения чувств. Воспитанные крепостными няньками, выросшие в деревне у бабушек или проводившие значительную часть года в поместье родителей, девушки этого типа умели вести себя одновременно сдержанно и естественно – как это было принято в народной среде. Для этого типа женщин материнство и все, что было с ним связано, составляло содержание всей частной жизни.

Иной тип женского поведения дворянок, также сложившийся в XVIII – начале XIX в., характеризовался повышенной экзальтированностью, большей раскованностью публичного поведения (кокетством, игривостью), следованием моде и презрением прежних «условностей». Такие женщины жили, как правило, в крупных городах и принадлежали к дворянскому сословию. Их «modus vivendi» был мало связан с материнством. На него влияли образцы поведения столичной публики, «высшего света», а также круг чтения и уровень образования.

#### **IV**

#### **«ОНА СТАРАЛАСЬ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ В НАУКАХ...»**

#### ***Домашнее образование в конце XVIII - начале XIX в. и роль в нем женщин***

Инициатором приобщения женщины к просвещению в начале XVIII в. было государство. Необходимость женского образования и характер его стали предметом споров и были связаны с общим пересмотром типа жизни и быта. Однако благие помыслы «птенцов гнезда Петрова» оставались примитивным бумаготворчеством, пока за дело их осуществления в середине 60-х гг. XVIII в. не взялась энергичная «матушка-императрица» Екатерина II и известный деятель культуры И. И. Бецкой. Благодаря им в педагогических представлениях русского общества произошел подлинный переворот была признана необходимость женского образования, определена его специфика [1].

В 1764 г. при Воскресенском Смольном женском монастыре было основано Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт). Программа обучения в нем охватывала два языка, помимо русского (немецкий и французский), литературу, математику и даже физику [2]. Принимали туда поначалу совсем маленьких девочек 6–9 лет из небогатых, но знатных фамилий [3] (таков был первый набор, рассчитанный на 12 лет и «выпущенный» в 1777 г.) [4]. Позднее в Смольный набирали 9 – 11-летних, а иногда и 13–14-летних (тогда их образование оканчивалось через 5 лет) [5]. Воспитывались смольнянки в полном отрыве от семьи. Родители позже писали в воспоминаниях, что постороннему трудно было даже представить «сердечную тоску при

прощании» дочерей с матерями [6]. С. Н. Глинка, «испытав, как тяжело было на седьмом году расстаться» с родными, впоследствии убеждал своего родственника, Г. Б. Глинку, приехавшего для помещения тринадцатилетней дочери в Екатерининский институт, отменить намерение, тем более что он имел очень хорошее состояние и мог дать воспитание «девочке под своим надзором» [7]. Конечно, родители имели возможность навещать дочерей в определенные дни и даже забирать на каникулы летом – но все же институты не заменяли материнского тепла.

Знания смольнянок – а среди них преобладали девочки из знатных, но обедневших семей, сохранивших широкие связи [8], – были неглубоки и поверхностны. Между тем от них ожидалась ни больше, ни меньше как закладка основ образования в будущих семьях:

Предвозвещения о вас слышны мне громки,  
От вас науке ждем и вкусу мы награда  
И просвещенных чад.  
Предвижу, каковы нам следуют потомки!  
А. П. Сумароков [9]

Смольный институт положил начало женскому образованию в России. С 1789 г. юные дворянки могли также учиться в так называемых Екатерининских институтах в Петербурге и Москве, где был более высокий, чем в Смольном, приемный возраст. С 1812 г. открыл двери для воспитанниц Институт благородных девиц в Харькове [10]. К помощи Смольного и других подобных заведений прибегали родители барышень из малообеспеченных дворянских семей, видевшие в обучении светским манерам («и танцам, и пенью, и нежности, и вздохам» – А. С. Грибоедов) залог счастья своих детей, удачного замужества.

С 1749 г. вначале в столице, а затем и в других городах стали возникать частные пансионы [11], ставшие альтернативной институтам формой женского образования. На рубеже столетий их было несколько десятков в Петербурге, десять с лишним в Москве и ряд – в провинции [12]. Пансионы, как правило, открывались иностранцами и иностранками (иногда это были муж и жена) [13]. Девочек обучали в них «по-немецки и по-французски, шитью и домостроительству», а также – «домосодержанию и что к тому принадлежит», «шитью и мытью кружев», «шить и вязать» [14], «показывая при том благородные поступки, пристойные к их (девиц. – Н. П.) природе» – чтобы сделать из них «добропорядочных жен и матерей семейств» [15]. Эти цели преследовали в особенности учебные заведения для мещан, в частности, Мещанское отделение Смольного института, где главным учебником служило переводное сочинение И. Г. Капме «Отеческие советы моей дочери». Автор полагал, что «назначение женщины быть



совершеннейшей швеей, ткачихой, чулочницей и кухаркой», что она должна «разделить свое существование между детской и кухней, погребом, амбаром, двором и садом», а «умственное образование» может в этом случае оказаться излишним [16].

За представительницами непривилегированных социальных слоев в течение всего рассматриваемого периода не признавалось права на образование. Рассчитывать на него могли лишь дворовые девушки. «Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола», изданные в 1774 г., предусматривали обучение дворовых, чтобы «они умели нянчить барских детей», не портить их «своею грубостью и пороками» [17]. Правда, с 1786 г. специальный указ позволил принимать девочек в так называемые народные училища [18], но исполнялось это изредка. Посылать девочек в школы – согласно традиции и консервативным обычаям – считалось «непристойным» [19].

Третьим видом женского образования – и самым распространенным – было семейное, домашнее. Даже в крестьянской среде в XVIII в. попадались грамотеи, обучавшие дома детей чтению и письму, в том числе девочек. Мемуаристы XIX в. привели примеры того, что женщины иной раз были готовы отказаться «от сарафана к Рождеству», лишь бы «были деньги на псалтырь» [20]. Однако каких-либо сведений о том, как обучались грамоте девочки из среды непривилегированных сословий, найти не удалось [21].

Источники личного происхождения, исходящие из среды российского дворянства, напротив, дают богатейший материал по истории домашнего женского образования в России XVIII в. Они позволяют проследить, как изменились за две трети столетия образовательно-воспитательные воззрения, как трансформировались ценностные ориентации матерей в семьях привилегированного сословия и как эти ориентации, в свою очередь, повлияли на жизненные модели самих матерей и их детей.

Прежде всего, обращает на себя внимание обнаружившееся примерно во второй трети XVIII в. стремление родителей из среды привилегированного сословия не просто «поднять» ребенка, вырастить его (уберечь от болезней, сохранить здоровье, «напитать» – как то было характерно для крестьян) [22], но и дать образование. Забота об образовании детей – и мальчиков и девочек – стала быстро превращаться в веление времени. «Надобно отдать справедливость здешним родителям, – полагал камер-юнкер петровского времени Ф. В. Берхгольц. – Они не щадят ничего для образования детей своих. Вот почему и смотришь с удивлением на большие перемены, совершившиеся в России в столь короткое время...» [23].

В первую очередь это суждение касалось, разумеется, мальчиков. В их воспитании велика была роль отца, чей безграничный авторитет «без

дальнего чадолюбия и неги» [24] благоприятствовал успеху [25]. Однако зачастую не меньшее участие в деле образования сына принимала и мать [26], а уж уровень первоначального обучения в дворянской семье прямо зависел именно от женщины.

В зависимости от средств семьи [27] – образование в то время стоило немало [28] – маленьким дворянкам старались дать более или менее «приличное» образование. Девочек сызмальства, с 5–6 лет, учили грамоте – «сажали за букварь» [29]. Делали это сами родители – отец или, чаще, мать [30] («Мне уж было семь лет, и грамоте уже была выучена, и мать моя учила писать»; [31] «если бы не мать их, женщина простая и вовсе необразованная, то едва ли он и сестры его научились бы грамоте») [32]. Очень часто образованием младших детей в доме занимались старшие сестры, уже выучившиеся, особенно когда на образование младших средств не хватало [33].

Когда же достаток позволял, нанимали учителей. В семьях попроще таким учителем мог быть просто приходский священник [34], в более зажиточных – специально обученные гувернеры или гувернантки. Таким образом, из рук нянюшки маленькая дворянка в XVIII – начале XIX в. попадала в руки француженки, иногда – немки.

В провинции найти «хороших преподавателей и учебников было почти невозможно» (указ 1755 г. запрещал иностранцам, не выдержавшим специального экзамена, обучать детей, но он остался на бумаге) [35]. Частные уроки предлагались порой всякими проходимцами – и русскими и иностранными. Потому-то «в начале текущего столетия... большая часть мелкопоместных дворян дальше Псалтыря и Часослова (в своем образовании. – Н. П.) не шла, а женщины, что называется, и аза в глаза не видали», – вспоминала М. С. Николева. Тем не менее стремление набрать «учителей полки, числом поболее, ценою подешевле» (А. С. Грибоедов) стало показателем хорошего тона. Каждая мать «старалась о воспитании, чтобы ничего не упустить в науках» [36].

Число учителей, равно как и перечень преподаваемых предметов, варьировалось.

Когда речь шла о «хорошем», «утонченном» образовании для девочек, предполагалось длительное обучение их иностранным языкам. Языки называли «гимнастикой ума» [37]. В столице в набор обязательных языков, необходимых для «хорошего» образования, входили помимо немецкого (который преобладал во времена Петра и Анны Иоанновны) и французского (который был наиболее распространен при Елизавете, Екатерине II и позднее) еще и английский, латинский и греческий – именно «безукоризненнейшее знание» их давало возможность говорить об образованности княжны или юной графини [38]. Впрочем, иногда знание девочками древних языков почиталось необязательным: [39] они были неприменимы в жизни.

В провинции дело обстояло несколько иначе. Поиски хороших учителей были зачастую затруднительны, покупка книг и их выбор – случайны [40]. В то же время некоторые мемуаристки, родившиеся и выросшие в провинции, утверждали, что их «обучение нисколько не терпело от этого поселения в глуши» [41]. Выбор языков, которым обучали дворянских девочек вдали от столиц, зависел не столько от моды, сколько от обстоятельств. Например, в Архангельске конца XVIII в. «проживало большое число представителей немецких фирм, имелась немецкая слобода», а потому, по воспоминаниям А. Бутковской, «было несколько немецких пансионеров, и немецкий язык был в большом ходу». Французскому же языку в их городе, по ее словам, обучались мало, и девочке с трудом нашли преподавателя – «швейцар(ц)а из немецкого кантона» [42].

В конце XVIII в. для «хорошего» женского образования равно обязательными почитались немецкий и французский языки [43]. Кн. И. М. Долгорукий вспоминал впоследствии, что в 1767 г. мать, «следуя общему обычаю» (!), наняла им с сестрой «француженку, madame Constanon», которая и приучила их «лепетать по-своему с самого ребячества» [44]. «Нам всегда приказывали говорить месяц по-французски и месяц по-немецки, – вспоминала С. В. Скалой, – по-русски нам позволялось говорить только за ужином, и это была большая радость для нас (детей. – Н. П.)» [45]. На рубеже веков и в начале XIX в. языком повседневного общения аристократии стал только французский, почти полностью вытеснивший не только другие европейские языки, но и русский. Владение им стало знаком принадлежности к высшему сословию – и именно поэтому многие матери «употребляли последние средства, чтобы нанять для этого языка француженку» [46].

По воспоминаниям кнг. С. В. Мещерской, описывавшей события конца XVIII в., «тогда было такое время вследствие наплыва эмигрантов из Франции. Все лучшие преподаватели были французы...» [47]. «Хотят иметь француза – и берут того, какой случится. ...Попадают люди с понятиями и манерами наших лакеев», – иронизировал некий француз, побывавший в России в конце XVIII в. [48]. Его иронию разделила в начале XIX в. Е. А. Сабанеева [49]. Куда мягче смотрела на недостаток образованности гувернанток начала XIX в. современница А. С. Пушкина А. О. Смирнова-Россет. «Добрая Амалия Ивановна, – писала она в воспоминаниях, – была идеал иностранок, которые приезжали тогда в Россию и за весьма дешевую цену передавали иногда скудные познания, но вознаграждали недостаток примером истинных, скромных добродетелей, любви и преданности детям и дому...» [50].

Гувернанток, обучавших юных дворянок языкам, специально выписывали из крупных европейских [51], а за их отсутствием из западнороссийских городов. Например, для В. Н. Энгельгардт, по

воспоминаниям ее брата, была выписана «из Вильны madame Leneveu за 500 рублей» [52]. Ровесница девятнадцатого века А. П. Керн воспитывалась вместе с сестрами гувернанткой, выписанной из Англии и обучившей до того «двух лордов». Эта дама обучала девочек одновременно и своему родному английскому, и французскому языкам, «уча петь французские романсы». «Все предметы, – признавалась впоследствии А. П. Керн, – мы учили, разумеется, на французском языке и русскому языку учились только 6 недель во время вакаций, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский...» [53].

Владение русским языком, знание русской грамматики почиталось на рубеже XVIII – XIX вв. вовсе не обязательным [54], о чем с удивлением и осуждением вспоминали женщины, писавшие свои мемуары позже, в середине XIX в. [55]. Письма образованных и знатных женщин рубежа XVIII – XIX вв. – если они были написаны не по-французски – поражают обилием грамматических ошибок, не говоря уже о полном отсутствии синтаксиса и пунктуации [56]. Однако наиболее просвещенные женщины XVIII столетия, подобно Е. Р. Дашковой или воспитывавшейся вместе с нею дочерью М. И. Воронцова (ставшей в замужестве графиней Строгановой), «изъявляли желание брать уроки русского языка» и впоследствии неплохо им владели [57].

Любопытно, что со знанием русского языка порой возникали курьезные ситуации: невестка, воспитанная в «культурном контексте» второй половины XVIII в., «довольно плохо говорила по-русски», а свекровь, получившая образование несколькими десятилетиями ранее (или не получивши никакого), иностранными языками не владела [58]. Еще более часто такие ситуации возникали между детьми и старшим поколением в родных семьях [59], где бабушки, не имевшие языкового образования [60], были склонны особенно нетерпимо «порицать все иностранное» [61]. С 1812 г. во всех женских институтах и пансионах было вменено в обязанность преподавание русского языка [62].

Между тем родители юных барышень прекрасно понимали, что от уровня начального семейного образования может зависеть судьба их чад. Многие матери, «не получив сами достойного образования, старались всеми силами дать его своим дочерям», – вспоминала М. С. Николева [63]. Е. Р. Дашкова, по ее словам, «испытывала всевозможные лишения», но они были ей «безразличны, ибо желание дать сыну самое лучшее образование» поглощало ее «целиком» [64]. Ее старшая современница – мать Н. Б. Шереметевой (Долгорукой) – «старалась о воспитании (дочери. – Н. П.), чтобы ничего не упустить в науках и все возможности употребляла...» [65].

Дальновидные матери-дворянки стремились найти дочкам самых лучших и образованных воспитателей. «Я великолепно сознавала, что у нас нечасто можно встретить людей, способных учить детей, к тому же

лесть слуг и баловство родственников помешали бы такому воспитанию, к которому я стремилась», – обосновывала необходимость собственного контроля за воспитанием и обучением детей президент двух академий Е. Р. Дашкова [66].

И такие усилия оправдывались. Так, гувернантками при будущей хозяйке известного литературного салона в Петербурге Л. П. Елагиной были «эмигрантки из Франции времен революции, женщины, получившие по-тогдашнему большое образование... отличавшиеся аристократическим складом и характером». Это обстоятельство имело впоследствии, по словам современника А. П. Елагиной, историка К. Д. Кавелина, «большое влияние на [ее] умственный и нравственный строй, придав ей французскую аристократическую складку, общую всем лучшим людям той эпохи» [67].

Любопытно, что родители девушек из купеческого сословия начала XIX в. также стремились давать дочерям «приличное» образование, учить их иностранным языкам. Однако подобные благородные интенции вступали подчас в противоречие с бытовым укладом. Побеждала в таких случаях, как правило (хотя и не всегда), традиция. Рассказывая о своих старших родственниках, Е. А. Сабанеева вспоминала, что «прадед не допускал мысли (о том, что. – Н. П.) русские дворянки, его дочери, обучались иностранным языкам» (описываемые события относились к концу XVIII в.) [68]. В начале XIX в. в семье купцов Полиловых дед попросту запретил изучение французского языка под предлогом того, что «негоже, чтобы дочь знала язык, которого не понимает ее отец» [69].

В дворянских же семьях матери или, по их поручению, гувернантки стремились обучить навыкам хотя бы бытовой беседы на французском и немецком. Знание английского свидетельствовало о более чем обычном уровне образования молодой особы. Даже знаменитая Е. Р. Дашкова, ставшая в молодости полиглотом и получившая, по ее же словам, «прекрасное образование», знала в отрочестве французский, немецкий, итальянский и латынь – английский был выучен позднее [70].

Однако не только в столице и не только в среде аристократии девушкам давали столь хорошее образование. Даже в провинции в конце XVIII – начале XIX в. встречались прекрасно подготовленные юные дворянки. Пятнадцатилетняя Наталья Сергеевна Левашова, жившая тогда в Уфе, по словам ее учителя, Г. С. Винского, «через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы Гельвеции, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря, писала письма со всей исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно» [71]. В той же Уфе несколькими десятилетиями позже «у одного предоброго француза Вильме» обучалась С. Н. Зубина, которой «пленялись все по-тогдашнему образованные и умные люди, ученые и путешественники» [72]. Неплохо

знали литературу, языки и историю и дочери П. А. Осиповой-Вульф (соседки А. С. Пушкина по его псковскому имению): все они, равно как обучавшаяся вместе с ее родными дочерьми А. П. Керн, имели в детстве хороших гувернанток [73]. Цели и качество обучения девушек в семьях российского дворянства и купечества зависели к тому же не только от состоятельности родственников, не только от учителей, но и от духовной направленности (особенно – устремлений матери).

Одновременно с преподаванием основ всевозможных гуманитарных дисциплин юных дворянок обучали «разным рукоделиям» [74] – «преизрядно вышивать всякими цветами и золотом, какое шитье в тогдашнее время было в Москве в манере» [75]. Казалось бы, это женское занятие не должно было вызывать неодобрения в семьях зажиточного купечества начала XIX в. Однако стремление следовать общей «моде» на женское обучение рукоделью не вызывало энтузиазма в душах мужской половины купеческих семей. Старшие мужчины относились к подобным занятиям без уважения, «называя это пустяками» [76]. Столь же неблагоприятно смотрели они и на занятия женщин музыкой: несмотря на способности, большинству из девушек не суждено было развить их [77]. Предполагалось, что «купцовым дочкам» пригодится в жизни совсем иное – знание азов математики, умение пользоваться счетами, позволяющие помогать супругам в их «деле» [78].

В то же время маленьким дворянкам, в отличие от купеческих дочек, математику преподавали на уровне элементарных арифметических действий и правил [79]. И хотя их учили иным «премудростям», отличным от уроков, даваемых их сверстникам мужского пола [80], тем не менее в перечне «наук» было много общего. Девочкам преподавали рисование, пение, обучали игре на каком-либо музыкальном инструменте, «истории всеобщей и русской, – вспоминала М. С. Николева, – географии, мифологии (теперь совсем заброшенной, а тогда обязательной для порядочно образованной особы)» [81], а также словесности.

Обязательными для хорошего воспитания девочки с середины XVIII – начала XIX в. стали считаться уроки движения [82], танцев, музыки, реже – пения. «У меня был учитель музыки Конри», – вспоминала о своем детстве некая М. Г. Назимова, отмечая, что уроки брались ею «с увлечением», равно как занятия с «учителем пения Ронкони и учителем итальянского языка» [83]. Об обязательных упражнениях по музыке и пению как о характерном времяпровождении в детстве вспоминала и гр. А. Д. Блудова. М. С. Николева настаивала в своих мемуарах, что обучение игре «на клавикордах» начинали не ранее чем с 8–9 лет. Музыка ее обучал «довольно талантливый музыкант из дворовых, крепостной человек» [84]. Стремление дать дочкам музыкальное образование при нехватке средств заставляло матерей пускаться на хитроумные уловки, завозя временами по утрам своих детей в «хорошие» дома, где местные

«барышни брали урок музыки». Прибывшие гости просили хозяйку позволить послушать, попридутьствовать на занятиях [85].

Так или иначе, но большинство маленьких дворянок было занято «с утра работою: уроками или приготовлением к урокам» [86]. Задавали ежедневно помногу, заставляли «писать переводы или под диктовку часа по три». С. В. Скалой отметила, что ее вместе с сестрами будили в детстве «рано, в зимнее время даже при свечах», чтобы все дети «успели приготовить уроки к тому времени, когда проснется мать». «Тогда мы несли ей показывать, что сделали, – продолжала С. В. Скалой, – и если она оставалась довольна нами, то... отпускала гулять». Именно по причине такой строгости в отношении уроков, полагала мемуаристка, «все дети очень успевали в науках» и тем были «обязаны единственно доброй, незабвенной матери» [87]. М. С. Николева вспоминала, что ее старшая сестра, заменявшая воспитательницу и преподавательницу, занималась с нею «с 7 часов утра и до 12 и от трех до шести после обеда, так что для прогулок или ручной работы совсем не оставалось времени» [88].

И все же образовательные возможности для российской аристократки не только в XVIII, но и в начале XIX в. были очень ограничены. Даже у представительниц привилегированного сословия не было ни своего Лицея, ни Московского и Дерптского университетов – и тем не менее некоторые иностранцы находили, что в России конца XVIII в. «женщины образованы лучше мужчин» [89]. Тип высокодуховной русской дворянки, сохраненный Н. М. Карамзиным, А. С. Грибоедовым, А. С. Пушкиным и другими писателями начала XIX в., сложился под воздействием культуры эпохи, в которой едва ли не главенствующая роль принадлежала литературе.

Воспоминания русских дворянок конца XVIII – начала XIX в. позволяют заметить и появление в это время совершенно нового понятия – женской и даже детской библиотеки. Формирование духовного мира девочек в дворянских (причем не только в столичных [90], но и в провинциальных) [91] семьях стало проходить под непосредственным влиянием круга их чтения. «В царствование Екатерины... грамотность начала распространяться. Явились между дворянами охотники до чтения: дамы начали читать романы...» – вспоминал М. А. Дмитриев [92]. Во многих дворянских семьях конца XVIII, а особенно начала XIX в. появились библиотеки: у кого – побогаче, у кого – победнее. Вышеупомянутая М. Г. Назимова вспоминала, что в детстве она всегда «предпочитала хорошую книгу светской бессодержательной болтовне» [93].

«У нас была маленькая детская библиотека, – писала ее современница А. П. Керн, – и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали... Мне удавалось удовлетворять свою страсть к чтению,

развившуюся во мне с пяти лет. Я все читала тайком книги матери моей...» [94] В домашней библиотеке провинциальной (валдайской) помещицы Е. П. Квашниной-Самариной, если судить по ее дневниковым «Записям», было одних только «братцовых книг: французских 580, русских 98, итого 678» [95].

Домашние библиотеки женщин конца XVIII – начала XIX в. сформировали облик не только девочек, но и целого поколения людей – будущих участников войны 1812 года, декабристов. Рыцарские романы и сказки о богатырях, читавшиеся сыновьям и дочерям матерями-дворянками, формировали характеры и души детей, заставляли «забыть природную слабость и чувствовать, что можно сделаться самостоятельным и независимым человеком» [96]. Образы «поэтических», идеальных женщин, спасаемых героями-рыцарями, появившиеся в русской литературе того времени и широко распространенные в литературе европейской и переводной, стали идеалом эпохи конца XVIII – начала XIX столетия. Они оказали облагораживающее влияние на отношение к женщине в русском обществе и на воспитание в целом [97].

Подлинная библиотека женского и детского чтения была создана в XVIII в. Н. И. Новиковым, а затем продолжателем его дела – Н. М. Карамзиным, который вместе со своим другом А. П. Петровым редактировал новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785 – 1789). Читателями его – впервые в России – были дети и женщины-матери [98]. «Детское чтение» было едва ли не лучшей книгой из всех, выданных для детей в России, – вспоминал впоследствии М. А. Дмитриев. – Я помню, с каким наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно выходило пять лет особыми тетрадками при «Московских ведомостях» [99]. Имея больше досуга, нежели мужья, женщины-матери становились первыми учителями своих детей, прививали им вкус к литературе, умение вдумчиво читать. К 1820-м гг. в большинстве дворянских семей как в столице, так и в провинции «книги были в большом почете» [100].

Баснописец и поэт И. И. Дмитриев вспоминал, что «авторские способности юного Карамзина развивались» под влиянием Н. И. Плещеевой, «питавшей к нему чувства нежнейшей матери». Известный поэт Г. Р. Державин неизменно помнил, что именно мать сумела «пристрастить его к чтению, поощряя к тому награждением игрушек и конфетов». «Разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность желания видеть образованного человека» в своем сыне побудили мать будущего писателя С. Т. Аксакова к воспитанию его старательным учеником. Благодарностью к матери, имевшей «разум тонкий и душевными очами видевшей далеко», сумевшей через книгу пробудить в сыне любовь и талант к литературному труду, проникнуты



строки воспоминаний о своем детстве драматурга Д. И. Фонвизина [101].

В то же время многие мемуаристки вспоминали впоследствии, что с помощью круга чтения их матери незаметно, но настойчиво формировали их духовный и нравственный облик. Они запрещали читать одни книги (прежде всего «растрепанную литературу», как ее называли в семье графини А. Д. Блудовой, – «неприличные» французские романы [102], «сворачивающие с истинного пути») [103] и поощряли к чтению других. Впрочем, исключить чтение «возбуждающей литературы» не всегда оказывалось возможным, а «пламенное воображение», усиленное литературными образами, зачастую приводило юных читательниц к тяжелым психическим расстройствам [104]. Сердцем понимая и предчувствуя возможные последствия чтения эмоционально-насыщенных романов, матери-дворянки настаивали на контролируемости круга чтения детей. Таким образом, женщины-матери становились блюстительницами мудрого спокойствия, олицетворенной совестью, воспитательницами высоких нравственных начал.

Любопытно отметить, что в тех случаях, когда некоторые дворянки чувствовали в себе особый творческий или даже, например, административный потенциал, они стали стремиться реализовать его, перекладывая традиционные женские функции воспитания и образования детей на плечи мужей (если те были способны к тому и согласны). Необычные отношения такого рода сложились, например, в семье Вульфов, где П. А. Осипова-Вульф заправляла хозяйством и «читала Римскую историю», а ее супруг «варивал в шлафроке варенье» и возился с детьми [105]. Аналогично, Е. Ф. Сукина, «славившаяся даром поэзии, проводя целые часы за сочинениями, мало заботилась о воспитании детей, которые все шестеро обязаны отцу своему... Образованием дочерей он занимался сам...» [106]. Однако типичными такие семейные отношения все-таки не были.

С началом выездов в свет обучение дворянских девушек (равно как и купеческих дочек) прекращалось или продолжалось «не столь усидчиво, как прежде» [107]. «Выезжать» в свет в сопровождении матушек начинали примерно с 15-ти лет [108]. Многие матери находили в этой своей обязанности известное удовольствие. «Она жила весело, любила давать балы, – вспоминала об одной своей родственнице Е. П. Янькова. – Сперва, когда была молода, для себя самой; а потом, когда подросли ее две дочери... она их тешила». Раздумья матушек и их дочек о моделях нарядов, которые предполагалось «приготовить» к тому или иному «увеселению», даваемому в Благородном собрании, составляли содержание повседневных разговоров многих столичных, да и провинциальных жительниц, принадлежавших к привилегированному сословию [109].

Таким образом, за рассматриваемое столетие женское образование в

России сделало заметный шаг вперед. Если в начале XVIII в. редкая дворянка могла считаться европейски образованной, то в начале века XIX неграмотная женщина, подобно одной из героинь фонвизинского «Недоросля», превратилась уже в сатирический образ. Мемуары, дневники и переписка дали возможность проследить содержание и пределы домашнего женского образования в России и таким образом глубже понять, в чем состояли изменения в образе жизни россиянок различных социальных слоев.

## V

### **«ЛЮБЕЗНАЯ КАРТИНА ВСЕДНЕВНОГО СЧАСТЬЯ...»**

#### ***Повседневный быт женщин разных социальных слоев в XVIII - начале XIX в.***

Жизненный путь российских барышень начинался, как правило, в пригородном имении – усадьбе. Число усадеб крупных, а также средних и мелких дворян в провинции начало быстро расти со второй половины XVIII в., вскоре после их освобождения от обязательной государственной службы (1762 г.) [1]. Как до, так и после этого времени немалое число женщин дворянского сословия проводили в усадьбах буквально всю жизнь. Проживание в собственном доме в Москве, а тем более в Петербурге было доступно лишь состоятельным людям. Зачастую молодая семья поначалу жила в имении вместе со старшими родственниками, в ней рождались и вырастали дети, и лишь тогда «старики» отделяли молодых и позволяли им (если имелись средства) в дальнейшем жить в городе [2]. Квартирры же обычно снимали только на часть года. «Мы оставляли город в апреле месяце и возвращались туда только в ноябре», – вспоминала о повседневном быте своей семьи В. Н. Головина [3].

Вплоть до конца рассматриваемого периода, да и на протяжении всего XIX в., нередко лишь глава семейства жил в городе, а дети и жена оставались в усадьбе. Так, «Записки» дневникового характера, написанные в 1812 – 1815 гг. владелицей Новотроицкого имения Е. П. Квашниной-Самариной, заставляют сделать вывод о том, что российские дворянки «средней руки» вынуждены были находиться в начале XIX в. в своих имениях почти безвыездно [4]. Для XVIII столетия это тем более было нормой. Даже в уездном городе российским помещицам удавалось бывать лишь изредка – за покупками или по другим делам. Поездка в столицу становилась событием. Например, в «Журнале» купеческого сына Ивана Толченова (вторая половина XVIII в.) единственная в их с женой жизни поездка в Петербург описана с точностью до часа пребывания [5].

Жизнь провинциальных дворянок, протекавшая вдали от крупных

городов, имела немало точек соприкосновения с народной и сохраняла ряд традиционных черт, поскольку была ориентирована на семью, заботу о детях.

День провинциальной помещицы XVIII в. начинался с утреннего туалета «рано утром, и в зимнее время даже при свечах») [6]. «Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стакана, и я, как настоящая русская, тру им щеки, от чего, как меня уверяют, бывает хороший цвет лица...» – делилась в письме к сестре поразившим ее косметическим обычаем русских женщин англичанка М. Вильмот, перечислив и другие хитрости натурального российского макияжа [7]. Если день предполагался обычный, будний и в доме не было гостей, то и утренняя еда подавалась несложная. Мемуаристки называли среди подававшегося к завтраку горячее молоко, чай из смородинового листа, «кашу из сливок», «кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед» [8]. Дети ели «прежде обеда старших за час или за два», за едой «присутствовала одна из няней» [9].

В дальнейшем дети садились за уроки, а для хозяйки дома все утренние и дневные часы проходили в нескончаемых хозяйственных хлопотах [10]. Их бывало особенно много, когда хозяйка имения не имела помощника в лице мужа или сына и вынуждена была сама главенствовать, распределяя среди слуг и крестьян каждодневные обязанности [11]. «Народонаселение (дома) все состояло из женщин. Первую роль после хозяйки играла Матвеевна, factotum в доме. Она смотрела за хозяйством, выдавала муку... припасы... Кормила меня, крестила, оплевывала и вечерами рассказывала сказки. Бабушка всегда советовалась с нею по хозяйству. Сверх того, в доме было много женщин: кухарка-баба, девки-горничные... их мать, старуха Алена, и всегдашние гости в виде крестниц...» – вспоминал Н. С. Селивановский о доме своей матери и бабушки [12]. Семей, в которых с раннего утра «матушка была занята работою – хозяйством, делами имения... а отец – службою», – было в России XVIII – начала XIX в. предостаточно [13]. О том же говорит и частная переписка родственников [14]. В жене-хозяйке ощущали помощницу [15], которая должна была «управлять домом самовластно или, лучше, самовольно» (Г. С. Винский) [16]. «Каждый знал свое дело и исполнял его рачительно» [17], если рачительной была хозяйка. Число дворовых, находящихся под управлением помещицы, обычно было весьма велико. «Теперь и самой-то не верится, куда такое множество народа держать, а тогда так было принято», – удивлялась, вспоминая свое детство, пришедшееся на рубеж XVIII – XIX вв., Е. П. Янькова. По словам иностранцев, в богатой помещичьей усадьбе было от 400 до 800 человек слуг, посыльных, мастеровых, уборщиц-дворни [18].

Иногда всеми зависимыми людьми и вообще всеми делами в доме и в

имении заправляли – в силу необходимости – незамужние дочери. Отцы могли передать им, единственным наследницам, все вотчины еще до замужества, а это налагало на девушек ответственность за сохранение и приумножение семейной собственности [19]. К началу XIX в. отношение многих женщин к обладанию недвижимостью приобрело характер внутренне осознаваемого обязательства «учиться мудрости местного сельского хозяйства...», «заниматься агрономией, читать книги и испытывать разные системы хозяйства» [20]. По мнению англичанки К. Вильмот, «русские матроны» пользовались в то время «огромной независимостью в этом деспотическом государстве», независимостью и от сыновей, и от мужей. С изумлением писала она о том, как какая-то помещица уехала одна, без мужа, устраивать «свои дела в ее поместье на Украине» – ситуация, невозможная в туманном Альбионе [21].

Жизнь дворянки в имении протекала монотонно и неторопливо. Утренние дела (летом – в «плодовитом саду», в поле, в другие времена года – по дому) вершил сравнительно ранний обед, его в свою очередь сменял дневной сон – распорядок дня, не всегда допустимый для горожанки! Летом в жаркие дни, «часу в пятом пополудни» (после сна) ходили купаться, а вечером, после ужина (который «был даже поплотнее, так как было не так жарко»), «прохлаждались» на крыльце, «отпустя детей на покой» [22].

Главное, что разнообразило подобную монотонность, – так это «торжества и увеселения» (А. Т. Болотов), случавшиеся во время частых наездов гостей. Поводом для гостеванья были и церковные праздники, и, часто, именины одного из членов семьи. Тогда за столом в честь именинницы зачитывали поздравления от тех, кто не смог прибыть лично [23]. Иногда же в гости приезжали вовсе без повода – родные, знакомые, соседи; иные из них оставались в доме подолгу [24] – «и всем было место» [25]. «Родители мои давали обеды по два раза в неделю, – писала в своих воспоминаниях гр. Эделинг. – Я принимала гостей» [26]. Е. П. Янькова вспоминала, что собирались за столом и обедали «человек по 30 и более», причем приезжали они «со своими людьми, тройками и четвернями», которых кормили в людской [27]. Говоря об одной знакомой семье, часто гостевавшей в родительском доме, Г. С. Винский отметил, что в то время муж (Н. М. Булгаков), жена (П. М. Булгакова), «трое детей и до 60-ти обоего пола челядинцев составляли в настоящем виде русский дворянский дом...» [28]. Без этих самых «челядинцев» (хотя и не всех) никто и не ездил в гости. В целом же круг близких мог сильно варьироваться: от непосредственных соседей по имению до дальних родственников, от неожиданно приехавших из города знакомых до случайных людей [29]. Многие женщины (именно женщины!) отметили в своих мемуарах, что в кругу таких приехавших непременно была одна «провинциальная сплетница с претензиями, крайне смешными» и

«дорогими, но нелепыми туалетами», которая, однако же, задавала «тон» всем прибывшим: «По ее уставам и одевались, и наряжались, и сватались, и пиры снаряжали» [30].

Время меж обильными обедами [31] проводили в разговорах, которыми, по меткому замечанию мемуаристки А. Я. Бутковской, «все питались» не менее чем сытными деревенскими яствами [32]. Женщины говорили о том, что их волновало, в том числе о хозяйственных делах. Это особенно поразило одну заезжую иностранку, которая написала в письме домой, что дамы в русском провинциальном «обществе мало кокетничают», и, «если группа дам о чем-либо беседует, можно быть уверенным, что это дела, дела, дела!..» [33]. Необычным и непривычным показалось ей и стремление русских провинциальных барынь сплетничать, вникая в детали частной жизни друг друга. «Дамы поверяют мне свои тайны, хотя я их об этом не прошу, – поражалась Марта Вильмот. – А затем с непостижимой бесцеремонностью расспрашивают меня о моих возлюбленных, семье, друзьях...» [34]. Сопоставляя женские манеры русских и европейцев, англичанка отметила, что «русские часто собираются группами, шепчутся», однако же при этом живут настолько открыто, что женщины «входят без стука друг к другу», «часто целуют друг друга в обе щеки согласно моде (имеется в виду обычай. – Н. П.), а не по любви» [35].

Помимо разговоров формой совместного проведения досуга провинциальных помещиц были игры, прежде всего карточные. Хозяйки поместий, подобно старой графине в «Пиковой даме», любили это занятие. «Вечером она выходила в гостиную и любила играть в карты, и чем больше было гостей, тем она была веселее и чувствовала себя лучше...» – вспоминала о своей тетке Е. П. Янькова [36]. Англичанка, проведшая несколько месяцев в имении Е. Р. Дашковой, вспоминала: «Вернувшись (вечером, после прогулки) домой, мы пили чай, музицировали, играли в карты...» [37].

«Часто вечера проводили в танцах» [38]. Переехавшие со временем в город и ставшие столичными жительницами бывшие провинциальные барыни и их дочери оценивали свою жизнь в усадьбе как «довольно пошлую» [39], но, пока они жили там, им так не казалось [40]. То, что в городе было недопустимо и предосудительно, в деревне казалось возможным и приличным: сельские помещицы могли «не выходить целыми днями из халата», не делали модных замысловатых причесок, «ужинали в 8 часов вечера», когда у многих горожан «было время полдничать», и т.п. [41].

[Вперед](#)

[Назад](#)

Многие мемуаристы отметили атмосферу расслабленной неги среди близких и родных, расцвеченную в усадебном быту домашними радостями и невинными удовольствиями («любезной картиной семейного счастья среди сельских красот» – Н. М. Карамзин). Для авторов воспоминаний не было сомнения, что создавали эту атмосферу в усадьбах в том числе и окружавшие их женщины – нянюшки, матери, бабушки, жены, сестры, дочери мемуаристов [42]. В традиционности бытового уклада российских усадеб, хранительницами которого в немалой степени были именно их обитательницы, крылись истоки притягательности «сельского рая» для самых завзятых любителей городской жизни. Однако столкновение «мужского» и «женского» взгляда на прелести «сельского рая» тонко почувствовал и отразил в своей «Семейной хронике» С. Т. Аксаков. То, что для дворянина, выросшего в усадьбе, было в радость – могло оказаться дворянке-горожанке (даже провинциальной) в тягость: монотонность, сонность сельского быта, необходимость довольствоваться узким кругом общения, в том числе с малообразованными родственниками, иной уровень комфортности жилья и его чистоты и даже «сырой запах у пруда, который мы не замечали, мог им казаться "противным"» [43].

Если образ жизни провинциальных барышень и помещиц был не слишком скован этикетными нормами и предполагал свободу индивидуальных прихотей, то повседневный быт столичных дворянок был предопределен общепринятыми нормами. Светские дамы, жившие в XVIII – начале XIX в. в столице или в крупном российском городе, вели образ жизни лишь отчасти похожий на образ жизни жительниц усадеб и уж тем более не сравнимый с жизнью крестьянской [44]. Даже те, кто приезжал в город, чтобы провести «глубокую и скучную осень и зиму» (А. Т. Болотов), стремились жить там по-иному, не так, как в своем поместье. Показательно, что описаний образа жизни горожанок в XVIII в. – и высших сословий, и непривилегированных – сохранилось куда меньше, чем фактов из истории повседневного быта российских помещиц. У столичных дворянок было несколько меньше времени на ведение дневников и писание мемуаров, а если подобные имелись, в них фиксировались в большей степени подробности жизни двора, описывались встречи и разговоры, случайные обмолвки знакомых и приятельниц, необременительные связи и интриги между женщинами [45], нежели последовательность занятий в течение дня (да ее, в сущности, и не было).

И представительницы «высшего общества», и подражавшие им дворянки среднего достатка и знатности, жившие в городах, если то позволяли средства, старались поменьше задумываться о делах

управления именьями, состоянии финансов и всей «домашней экономики». Куда больше они волновались по поводу обустройства своего дома [46], готовностью его к приему гостей, а также состоянием своих нарядов, которые должны были соответствовать новейшим веяниям моды [47]. В мемуарах петербургских и московских аристократок XVIII – начала XIX в. нередко можно встретить также подробные рассказы о работе «своих швей» над тем или иным парадным туалетом, такие детальные описания купленных и выписанных из-за рубежа платьев, которых не встретишь в дневниках и воспоминаниях провинциальных помещиц [48]. Даже иностранцев поражала в русских дворянках «та легкость, с которой (ими) тратились деньги» на одежду и обустройство жилища [49].

Ни в одном из воспоминаний столичных жительниц не нашлось места для впечатлений от посещения музеев (в то время как мужчины фиксировали подобные события). Между тем известно, что женщины были среди посетителей Кунсткамеры или Оружейной палаты в Москве в конце XVIII в. [50]. Крайне редки были в «женских» воспоминаниях XVIII в. и сообщения о чувствах, вызванных театральными и иными зрелищами (за исключением мемуаров Е. Р. Дашковой и отчасти В. Н. Головиной), – авторы только констатировали факт посещения.

День горожанки привилегированного сословия начинался несколько (а иногда и гораздо) позднее, чем у провинциальных помещиц. Петербург (столица!) требовал большего соблюдения этикетно-временных правил и распорядка дня; в Москве же, как отмечала В. Н. Головина, сравнивая жизнь в ней с петербургской, «образ жизни (был) простой и нестеснительный, без малейшего этикета» и должен был, по ее мнению, «понравиться всякому»: собственно жизнь города начиналась «в 9 часов вечера», когда все «дома оказывались открыты», а «утро и день можно (было) проводить как угодно» [51].

Тем не менее и утро и день у большинства дворянок в городах проходили «на людях», в обмене новостями о знакомых и приятельницах. В отличие от сельских помещиц, утро горожанки начиналось с макияжа: «С утра мы румянились слегка, чтобы не слишком было красно лицо...» [52]. После утреннего туалета и довольно легкого завтрака (например, «из фрукт, простокваши и отличного кофе-мокка») [53] наступал черед раздумьям о наряде: даже в обычный день дворянка в городе не могла позволить себе небрежность в одежде, туфли «без коблуков» (пока не пришла мода на ампирную простоту и тапочки вместо туфель) [54], отсутствие прически. М. М. Щербатов упомянул с издевкой, что иные «младые женщины», уложив волосы к какому-либо долгожданному празднику, «принуждены были до дня выезда сидя спать, чтобы не испортить убор» [55]. И хотя, по словам англичанки леди Рондо, русские мужчины того времени смотрели «на женщин лишь как



на забавные и хорошенькие игрушки, способные развлечь» [56], – сами женщины нередко тонко понимали возможности и пределы собственной власти над ними, связанной с удачно подобранным костюмом или украшением.

Умению «вписывать» себя в обстановку, вести беседу на равных с любым человеком от члена императорской семьи до простолюдина аристократок специально учили буквально с младых ногтей [57]. Общаться приходилось ежедневно и помногу. Оценивая женский характер и его «добродетели», многие мемуаристы не случайно выделяли способности описываемых ими женщин быть приятными собеседницами. Разговоры оставались для горожанок XVIII в. главным средством обмена информацией и заполняли у многих большую часть дня. Француженка Виже Дебрен, посетившая столицу в конце XVIII в., не случайно отметила, что «в Петербурге все высшее общество составляло как бы одну семью». «Вся знать считалась точно в родстве между собою...» [58] – удивлялась она, поражаясь тому, что все дамы знают буквально всех на многолюдных балах и гуляньях.

В отличие от провинциально-сельского, городской образ жизни требовал соблюдения определенных этикетных правил (иногда – до чопорности) и одновременно, по контрасту, допускал оригинальность, индивидуальность женских характеров и поведения [59], возможность самореализации женщины не только в кругу семьи и не только в роли жены или матери, но и фрейлины, придворной или даже статс-дамы.

«Утренние разъезды», в ходе которых к концу XVIII в. стало принято (по европейской моде) «отдавать визиты», сменяли званые обеды – «уже часу в первом, однако». Еду подавали не сразу, нередко принято было «более часа... дожидаться», занимая друг друга разговорами. После обеда предполагались новые «беседы», причем дамы для них нередко «удалялись в иной покой», отдельный от мужчин [60]. Вечера, балы и «машкерады», партикулярные (в частных домах) и общие (в Собрании), куда «пускали по билетам самое лучшее общество» [61], разнообразные «гулянья и катанья», в том числе «санный бег» (когда «погода располагала .к пребыванию на воздухе») [62], посещение театров (официальных, государственных и частных – шереметевского, апраксинского) [63], – все это было обычным явлением в жизни дворянки в столице, составлявшим не столько собственно ее досуг, сколько всю повседневность [64]. Отъезд с бала или приема «в первой половине ночи» мог быть связан лишь с плохим самочувствием, в противном случае он рассматривался как нарочитый, демонстративный шаг и являлся уже поступком [65].

Поздние пробуждения и смещенный распорядок дня у дворянок в городах оказывались, таким образом, вполне обоснованными. «Их жизнь была деятельно-праздная», – писал о своих современницах Ф. Вигель

[66].

Большинство женщин, мечтавших выглядеть «светскими львицами», «имея титулы, богатство, знатность, льнули ко двору, подвергая себя унижениям», лишь бы «добиться снисходительного взгляда» сильных мира сего [67]. В том эти женщины видели не только «резон» к посещению публичных зрелищ и празднеств, но и свою жизненную цель. Матери молоденьких девушек, понимавшие, какую роль может сыграть в судьбе дочерей удачно выбранные любовники из числа приближенных ко двору аристократов, не гнушались и сами вступать в необременительные интимные связи, и «бросать» дочерей «в объятия» тех, кто был в фаворе [68]. В сельской провинции такая модель поведения для дворянки была бы немыслима – в городе, особенно столичном, девиантное превращалось в норму. В некоторых крупных городах для женщин устраивались особые «куртаги» – «барыни собирались с работами, барышни танцевали, старухи играли в карты и по желанию императрицы не было роскоши в туалетах» [69]. Но отнюдь не такие сугубо женские «посиделки» делали погоду в светской жизни столиц.

Горожанки купеческого и мещанского сословий старались подражать аристократам, но общий уровень образованности и духовных запросов был в их среде ниже. Особенно это касалось женщин. Богатые купцы почитали за счастье выдать дочь за «благородного» или самому породниться с дворянской семьей, однако встретить дворянку в купеческой среде было в XVIII – начале XIX в. такой же редкостью, как и купчиху в дворянской [70]. Повседневный быт русской купеческой семьи и место в нем женщины восстанавливается с помощью мемуаров, написанных мужчинами: от рассматриваемого нами периода XVIII – начала XIX в. не дошло воспоминаний, авторами которых были бы купчихи или «купцовы дочери».

Вся купеческая семья, в отличие от дворянской, вставала обычно с рассветом [71] – «очень рано, часа в 4, зимою в 6» [72]. После чая и довольно плотного завтрака [73] хозяин семьи и помогавшие ему взрослые сыновья уходили в торг; в среде мелких торговцев вместе с главой семьи в лавке или на базаре нередко хлопотала жена. Многие купцы видели в жене «умную подругу, чей совет дорог, чьего совета надо спросить и чьему совету нередко следуют» [74]. Если у семьи были средства для найма прислуги, то основной повседневной обязанностью женщин из купеческих и мещанских семей была организация работы нанятых. Наиболее тяжелые виды повседневных работ выполнялись приходящими или живущими в доме служанками. «Челядинцы, как везде, составляли домашний скот; приближенные... имели лучшее одеяние и содержание, другие... – одно нужное, и то бережливо» [75]. Зажиточное купечество могло себе позволить содержать целый штат

домашних помощниц, и тогда по утрам от хозяйки дома получали распоряжения экономка и горничные, няньки и дворничихи, девушки, взятые в дом для шитья, штопки, починок и уборки, прачки и кухарки, над которыми хозяйки «царили, управляя каждой с одинаковой бдительностью» [76].

Мещанки и купчихи были и сами, как правило, обременены массой повседневных обязанностей (а каждую пятую семью в среднем русском городе возглавляла мать-вдова [77]). Между тем их дочери вели праздный образ жизни («как избалованные барчата») [78]. Его отличали монотонность и скука, особенно в провинциальной глуши. Редкая из купеческих дочек была хорошо обучена грамоте и интересовалась литературой («наука была страшилищем», – иронизировал купец Н. Вишняков, рассказывая о молодости его родителей в начале XIX в.) [79], если только замужество девушки не вводило ее в круг образованного дворянства. И. П. Сахаров, описывая быт тульского купечества и мещанства в начале XIX в., отметил, что от скуки многие купчихи и их дочери, если только их семью отличал «даже маленький достаток», «начинали нежить себя, проводя время большей частью во сне» [80].

Самым распространенным видом женского досуга в мещанских и купеческих семьях было рукоделие. Чаще всего вышивали, плели кружева, вязали крючком и на спицах. Характер рукоделия и его практическое значение определялось материальными возможностями семьи: девушки из бедного и среднего купечества сами готовили себе приданое; для богатых рукоделие было больше развлечением. С работой сочетали беседу, для которой сходились специально: летом у дома, в саду, зимой – в гостиной, а у кого ее не было – на кухне. Главными темами бесед у купеческих дочек и их мамаш были не новинки литературы и искусства (как у дворянок), а житейские новости – достоинства тех или иных женихов, приданое, моды, события в городе. Старшее поколение, в том числе матери семейств, развлекалось игрою в карты и в лото. Пение и музицирование были менее популярны в мещанских и купеческих семьях: ими занимались напоказ, чтобы подчеркнуть свое «благородство» [81].

Одной из самых популярных форм развлечения в третьем сословии было гостеванье. В семьях «очень состоятельных» купцов «жили широко и много принимали» [82]. Совместное застолье мужчин и женщин, появившееся во времена петровских ассамблей, превратилось к концу столетия из исключения (ранее женщины присутствовали только на свадебных пирах) в норму. Этот факт зафиксировала и живопись [83]. И если дворянки, следуя правилам столичного этикета, сложившимся к концу XVIII в., считали неудобным заходить друг к другу без предварительной договоренности, то мещанки являлись в гости «запросто». Особое место в таких встречах занимало угощение, а уж ели

на званых вечерах в купеческом сословии подолгу и помногу. Жена купца И. А. Толченова («хозяйка» – как называл ее супруг в своем «Журнале») принимала гостей – если судить по скрупулезным записям ее благоверного – каждые 6–10 дней [84]. Разъезжались же гости, как правило, после полуночи: так было принято и в начале XVIII в., и столетие спустя [85].

Между повседневным бытом среднего и мелкого купечества и крестьянства было больше общего, нежели различий. Для большинства крестьянок, как показали многочисленные исследования русского крестьянского быта, ведущиеся уже почти два века [86], дом и семья были коренными понятиями уклада их бытия, «лада». Крестьяне составляли большую часть негородского населения, преобладавшего (87%) в Российской империи XVIII – начала XIX в. Мужчины и женщины составляли в крестьянских семьях примерно равные доли [87].

Будни сельских жительниц – а они неоднократно описывались в исторической и этнографической литературе XIX – XX вв. [88] – оставались нелегкими. Их заполняла работа, равная по тяжести с мужской, так как заметного разграничения мужских и женских работ в деревне не было. Весной, помимо участия в посевной и забот на огороде, женщины обычно ткали и белили холсты. Летом – «страдавали» в поле (косили, ворошили, стоговали, скирдовали сено, вязали снопы и молотили их цепями), отжимали масло, рвали и трепали лен, коноплю, неводили рыбу, выхаживали приплод (телят, поросят), не считая повседневного труда на скотном дворе (вывоза навоза, лечения, кормления и дойки). Осень – пора продовольственных заготовок – была также временем, когда женщины-крестьянки мяли и чесали шерсть, утепляли скотные дворы. Зимой сельские жительницы «трудолюбовствовали» дома, готовя одежду для всей семьи, вязали чулки и носки, сети, кушаки, плели подхомутники для сбруи, вышивали и изготавливали кружева и другие украшения для праздничных нарядов и сами наряды [89].

К этому добавлялись ежедневные и особенно субботние уборки, когда в избах мыли полы и лавки, а стены, потолки и полаты скребли ножами: «Дом вести – не крылом мести» [90]. Этнографы, описывавшие и изучавшие быт российских крестьян в XIX в., отмечали, что в сибирских домах «чистота соблюдалась до чрезвычайности»; полы, если они были деревянными, старались держать «в изумительной белизне», а опрятность в одежде была «необходимым обрядом» [91]. В центральных губерниях дело могло обстоять иначе [92], однако и там «неопрятная хозяйка (была) редкость(ю)» [93].

Крестьянки спали летом по 3 – 4 часа в сутки, изнемогая от перегрузок (надсады) и страдая от болезней [94]. Самой распространенной болезнью была лихорадка (горячка), обусловленная

проживанием в курных избах [95], где вечером и ночью было жарко, а утром холодно [96].

Тяжесть труда земледельца заставляла российских крестьян жить неразделенными, многопоколенными семьями, которые постоянно регенерировались и были исключительно устойчивыми [97]. В таких семьях «на подхвате» была не одна, а несколько (по мнению А. Я. Ефименко, не менее – 10) [98] женщин: мать, сестры, жены старших братьев, иногда – тетки и племянницы. Отношения нескольких «хозяек» под одной крышей не всегда оказывались безоблачными; в повседневных дрязгах было немало «зависти, злословия, бранчивости и вражды», отчего, как полагали этнографы и историки XIX в., «разстраивались лучшие семейства и подавались случаи к разорительным разделам» (общего имущества) [99]. Действительными причинами семейных разделов могли быть не только эмоционально-психологические факторы, но и причины социальные (стремление избежать рекрутчины: жену с детьми без кормильца не оставляли, а из неразделенной семьи могли «забрить» в солдаты нескольких здоровых мужчин, невзирая на их «семьистость») [100], а также материальные соображения (возможность повысить имущественный статус при отдельном проживании) и т. д. [101].

Семейные разделы стали распространенным явлением уже в XIX в., а в рассматриваемое нами время оставались еще достаточно редкими. Напротив, многопоколенные и братские семьи были весьма типичным явлением. От женщин в них ожидалось – несмотря ни на что – умение ладить друг с другом и совместно вести дом [102]. Большое значение, и даже более значительное, чем в повседневном быту привилегированных сословий, имели в многопоколенных крестьянских семьях бабушки. Им, кстати сказать, в те времена часто было едва за 30 [103]. Бабушки – если не были стары и хворы – «на равных» участвовали в домашних делах, которые представительницы разных поколений в силу трудоемкости часто делали вместе: стряпали, мыли полы [104], бучили (мочили в щелоке, кипятили или парили в чугунах с золой) одежду. Менее трудоемкие обязанности строго распределялись между старшей женщиной-хозяйкой, ее дочерьми, невестками, снохами. Жили относительно дружно, если глава семьи большак и большуха (как правило, его жена; впрочем, большухой могла быть и вдовья мать большака) относились ко всем одинаково [105]. Семейный совет состоял из взрослых мужчин семьи, но большуха принимала в нем участие. Кроме того, она заправляла всем, в доме, ходила на базар, выделяла продукты для повседневного и праздничного стола. Ей помогала старшая сноха или все снохи по очереди.

Самой незавидной была доля младших снох или невесток: «Работать – что заставят, а есть – что поставят». Невестки должны были следить за

тем, чтобы в доме все время были вода и дрова; по субботам – носили воду и охапки дров для бани, топили особую печь; находясь в едком дыму, готовили веники. Младшая сноха или невестка помогала париться старшим женщинам – стегала их веником, обливала распаренных холодной водой, готовила и после подавала горячие травяные или смородинные отвары («чай») – «зарабатывала себе на хлеб» [106].

Разведение огня и прогревание русской печи, равно как ежедневная стряпня на всю семью, требовали от хозяек ловкости, умения и физической силы. Ели в крестьянских семьях из одной большой посуды – чугунок, миски, которые ухватом ставились в печь и им же вынимались из нее; юной и слабой здоровьем невестке с таким делом было непросто управиться [107]. Старшие женщины в семье придирчиво проверяли соблюдение «молодухами» традиционных способов выпечки и варки. Всякие новшества встречались враждебно или отвергались [108]. Но и «молодухи» не всегда отвечали покорностью на излишние притязания со стороны родственников мужа. Они отстаивали свои права на сносную жизнь: подавали жалобы, убегали из дому, прибегали к «колдовству», чтобы «уморить» обидчиц [109].

В осенне-зимний период все женщины в крестьянском доме пряли и ткали на нужды семьи. Когда темнело, усаживались вокруг у огня, продолжая разговаривать и работать («сумерешничали») [110]. И если другие домашние дела падали в основном на замужних женщин, то прядение, шитье, починка и штопка одежды традиционно считались занятиями девичьими. Подчас матери не выпускали дочерей из дому на посиделки без «работы», заставляя брать с собой вязание, пряжу или нитки для размотки [111].

Несмотря на всю тяжесть повседневной жизни крестьянок, в ней находилось место не только будням, но и праздникам – календарным, трудовым, храмовым, семейным. Весело отмечались святки (с 25 декабря до 6 января) – с гаданьями, играми в снежки, колядованием, ряжеными в костюмах и масках. Женщины среди ряженых чаще всего изображали барынь и цыганок. По части веселья со святками успешно соперничала масленица, знаменитая гостеваниями с блинами, катаниями с гор на санках и по деревням на лошадях: «...бабы и девки, засевши целыми кучами, чуть не одна на другую, разряженные и приглаженные, катились с песнями». Излюбленным масленичным состязанием молодежи, в котором принимали участие и девушки, были прыжки через костер. Завершалось празднование масленицы изобильным угощением блинами. На Троицын день (50-й после Пасхи), в начале лета, девочки и девушки водили хороводы, играли в горелки и русалки, гадали [112]. Торжественные и увеселительные обычаи, приуроченные к началу или окончанию сева, жатвы, первого выгона скота, также скрашивали будни крестьянок [113] и, по словам автора «Дневных записок» (1768 г.) Ивана

Лепехина, «облегчали труд простым своим пением» [114].

Крестьянские девушки, да и молодые замужние женщины нередко участвовали в вечерних гуляньях, посиделках, хороводах и подвижных играх, где ценилась быстрота реакции. «Считалось большим срамом», если участница долго «водила» в игре, где надо было обогнать соперницу. Поздним вечером или в ненастье подружки-крестьянки (отдельно – замужние, отдельно – «невестящиеся») собирались у кого-нибудь дома, чередуя работу с развлечениями [115].

В деревенской среде больше, чем в какой-либо другой, соблюдались обычаи, выработанные многими поколениями. Русские крестьянки XVIII – начала XIX в. оставались их главными хранительницами. Новшества в образе жизни и этических нормах, затронувшие привилегированные слои населения в городах, оказали слабое влияние на изменения в повседневном быту представительниц большей части населения Российской империи.

## VI

### **«НЕ ЛЮБ МУЖ - ДА КУДЫ ЕГО ДЕТЬ?»**

#### ***Прекращение замужества, признание его недействительным и право на развод***

Прекратить брак в XVIII в. могла, во-первых, смерть одного из супругов («жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет...») [1]. Бели после смерти мужа выяснялось, что у него сразу несколько жен претендуют на роль вдовы, то законодатель должен был определить, какая из них является законной – ей и полагалось вдовье обеспечение [2]. За четвертой женой (даже если были дети) статус вдовы не признавался, и вдовьего обеспечения («пенсiona») она не получала.

С XVIII веком связаны значительные изменения в институте вдовства. По указу 1714 г. ликвидировались все различия в землевладениях, и вдовы получили право на значительную часть недвижимости (не исключавшей «вдовьего пенсiona») [3]. Кроме того, со второй четверти XVIII в. возникла практика приема вдов в монастыри без вкладов (во времена Анны Иоанновны был введен, правда, возрастной ценз для таких женщин: «не ниже 50 лет, или увечные, или собственного пропитания не имеют») [4].

Во-вторых, видом прекращения брака – и весьма распространенным [5] – было пострижение в монастырь от «живого» мужа, символизировавшее смерть: не физическую, но мирскую. Правда, многие русские юристы XIX в. считали уход в монастырь не способом прекращения брака (этой точки зрения придерживался, например, крупнейший специалист по Кормчим книгам А. С. Павлов) [6], а поводом

к разводу (так полагали А. И. Загоровский, К. П. Победоносцев, А. А. Завьялов) [7].

Уход в монастырь при живом муже стал рассматриваться в XVIII в. как посягательство на святость брачных уз. Иначе трудно объяснить введение ограничения на подобные действия возрастным цензом: постригать стали только после 50 – 60 лет и в случае, если дети от брака являлись совершеннолетними. Разрешение в таком случае должен был давать Синод: Петр I и сменявшие его правительницы неодобрительно относились к уходу в монастырь молодых, здоровых людей [8].

Опасения в том, что за пострижениями людей, не «вошедшими в возраст» старости, стоят какие-то расчеты, – причем (как правило) расчеты мужчин в ущерб интересам женщин, – были нередко справедливы [9]. Так, в 1716 г. браун-швейгский резидент Вебер описал в своем дневнике посещение Вознесенского девичьего монастыря под Москвой, где томились в заточении многие женщины, заключенные туда мужьями. «В этой стране, – резюмировал он, – сделать это совсем нетрудно. Русские женщины живут в большой зависимости, положение их рабское, и мужья держат их так строго, что многие питают страх к брачному состоянию и охотнее избирают монастырь...» [10]. Известно, что в 1721 – 1722 гг. кн. А. В. Долгоруков пытался приневолить свою жену к пострижению. Но жена его, урожденная кнг. Шереметева, оказалась весьма стойкой в отстаивании своих прав и, получив развод, уехала к родителям. Опротестовав действия А. В. Долгорукова, она сумела даже добиться возвращения ей приданого и ни в какой монастырь не попала [11].

Чтобы прекратить злоупотребления на этой почве [12], «Прибавления» к Духовному регламенту ввели запрет на замужество (женитьбу) оставшегося в миру супруга, но исполнялся этот запрет далеко не всеми: специальное разрешение Синода позволяло обходить его [13]. Так или иначе, но в XVIII в. число монастырей в России резко сократилось, а пострижение туда юной девушки стало исключением, и довольно редким.

Признать брак недействительным могли в XVIII в. только церковные власти [14]. При нарушении брачного возраста, заключении четвертого брака без специального разрешения, двоемужестве (двоеженстве), обнаружившихся после венчания [15], а также в случае заключения брака в запрещенной степени родства или свойства, брак, по правилам, должен был быть расторгнут. Однако «возрастной ценз», определенный церковными правилами, соблюдался настолько редко, что за столетие с небольшим его пришлось менять, и не раз. Факты выхода женщины замуж в четвертый раз хотя и были несколько более редкими, чем четвероженство, но тоже встречались. Примеры двоебрачия, когда жены годами жили в разлуке с законными мужьями (ибо рекрутская



повинность предусматривала 25-летний срок службы), находя себе «мужей» на стороне, были частыми [16] (разумеется, речь идет не о «благородном» сословии) [17]. Наказание за заключение брака от «живого мужа» были различные: прежде всего – возвращение жен к законным мужьям, реже – ссылка в монастырь [18]. Священников, заключивших противозаконный брак «от живого мужа», могли запросто лишить сана [19].

Наконец, обнаружившееся родство тоже далеко не всегда приводило к расторжению брачных уз. В 1727 г., например, Синод разбирал дело о тридцати шести смоленских дворянах (шляхтичах), женившихся без учета различных запрещенных степеней родства и имевших (в силу давности события) не только детей, но и внуков. Чтобы выйти из затруднительного положения, решено было не расторгать браков, но зафиксировать их недействительность. Или другой пример. В деле об аннулировании брака кн. Михаила Друцкого-Соколинского было отмечено, что его жена состоит с ним в четвертой степени родства; однако супруги доказали, что хотя «родство и в четвертой степени, но трехродное» (то есть объединившее не два рода, а три – что уже разрешалось Кормчей), проявив тем самым большую, чем архиепископ, осведомленность в нюансах определения родства [20].

Право россиянок на расторжение брака (развод), зафиксированное еще в древнейших правовых актах XII – XV вв., также получило в рассматриваемый «просвещенный век» дальнейшее развитие. Взгляды общества на отношения между супругами хотя и медленно, но менялись. С 1722 г. Синод – «крайняя духовных дел управа», то есть высшая апелляционная инстанция по делам о расторжении брака, – легализовал «временное разлучение» как промежуточную форму между браком и разводом. Оно не давало оснований и возможности снова венчаться, но было компромиссом при разрешении семейных разногласий [21]. В крестьянском обычном праве развод допускался, но один раз [22].

Иностранцы, прибывшие в Россию начала XVII в. из католических стран, где развод был вообще запрещен, с удивлением писали о том, что в России «развод очень обыкновенен и происходит из-за очень неважных причин» [23]. Курляндец Яков Рейтенфельс отметил, что «развод (в России начала XVIII в. – Н. П.) часто бывает из-за пустяков, по бракоразводным грамотам и по приговору священника» [24]. В действительности же, как это часто бывало с авторами путевых заметок, они, сталкиваясь с эксцессами, склонны были описывать их как обычаи. Эти обычаи они оценивали в соответствии с тем, насколько они противоречили или соответствовали их вкусам и общим культурным представлениям: [25] в данном случае заезжим путешественникам просто померещилась обыкновенность расторжения брака.

Действительно, среди российских горожан случалось (но не часто!),

что супруги договаривались не жить больше вместе и даже не обращались за разводной грамотой к священнику, а просто давали друг другу при свидетелях «письмо», что не имеют никаких взаимных претензий [26]. Приходские священники склонны были санкционировать подобные полюбовные разводы, но церковное руководство резко осуждало их и требовало наказывать «тяжким штрафом» и епитимьями (вплоть до «лишения священства») тех «духовных отцов», которые трезво смотрели на печальные перспективы брачного сожительства людей, решившихся расстаться. Церковнослужителям было велено «в таких разводах рук отнюдь не прикладывать» (1730 г.) [27]. Судя по тому, что через тридцать лет указ пришлось повторить [28], местные церковные власти мало обращали на него внимание и по-прежнему давали согласие на полюбовные разводы. Однако спустя полвека (в середине XIX в.) информаторы РГО уже отмечали, что «добровольное прекращение брачного союза с согласия обеих сторон – исключение» [29].

С разводами по инициативе одного из супругов дело обстояло еще сложнее. Развод во все времена был делом долгим и хлопотным: следовало подать прошение в духовную консисторию «об увольнении от супружества»; решение принималось по суду, а разводящиеся считались подсудимыми. Процесс развода носил состязательно-обвинительный характер [30]. Порой бывшие супруги мирились за время судебной волокиты и подавали новое прошение о прекращении дела – в этом случае они оба давали «крепкое ручательство о согласной жизни» и подтверждали письменно, что помирились добровольно и искренне [31].

В крестьянской среде официальные разводы случались, но очень редко (отсюда берут происхождение пословицы типа «Жена – не сапог, не скинешь!», «Не любя жена – да куды ж ее деть?», «Жена не гусли – поиграв, на спичку не повесишь») [32]. И в привилегированном сословии развод был явлением нечастым, а уж без разрешения, выданного священником (разводной грамоты), просто невысказанным. Тем не менее число бракоразводных процессов, относящихся к XVIII в. (это касается всех слоев населения и сословий тогдашней России), было немалым. Об этом свидетельствует и мемуарная литература [33]. На основании фактов, почерпнутых из этих памятников личного происхождения, а также из дошедшего до современного исследователя документального материала можно сделать выводы о приоритетных и менее значимых поводах к разводу, практиковавшемся женщинами в России XVIII – начала XIX в.

Как и в прежнее, допетровское, время горести и бремя супружества основанием для расторжения брачных уз не были. И все же обращает на себя внимание расширение числа поводов к разводу, хотя прелюбодеяние по-прежнему стояло в этом «списке» на первом месте

[34]. При этом, как и ранее, формальное равенство супругов в праве просить о разводе по вине любодеяния, зафиксированное Кормчей книгой [35], оспаривалось Правилами Василия Великого (которые и брались за основу русского бракоразводного права): «сблудивший не отлучается от сожительства с женою своею, и жена должна принята мужа своего... но муж оскверненную жену изгоняет из дома». Сам автор правил – Василий Великий (330 – 379 гг. ) прокомментировал это когда-то так: «Причину сему дати нелегко, но тако принято в обычаи» [36].

Разводы, вызванные супружескими изменами, были самыми частыми. Под понятие супружеской измены Синод подвел «прелюбодейство», «побеги или самовольные друг от друга отлучки», «посягательство жен в отсутствие мужей за других» и «также мужех в подобных тому винах являющихся». Однако сам Синод при этом оставался инстанцией лишь апелляционной, а решение о том, развести ли супругов или присудить им жить в браке, принимали вплоть до 1805 г. епархиальные власти. Они же и допрашивали «подсудимых» (разводящихся), а также лиц, «состоявших с ними в преступной связи» [37].

Документальный материал, отложившийся в архиве духовной консистории по различным уездам Российской империи за 1700 – 1815 гг. и характеризующий права представителей разных социальных слоев на расторжение брака, дает основания для утверждения лишь о частичной дискриминации женщин. Женщины так же, как и мужчины, имели право подать прошение о разводе в случае неверности мужа [38], так же, как и мужчины, частенько нарушали шестую христианскую заповедь («Не прелюбодействуй»). Трудно считать случайным возникновение поговорок типа «За нужу с мужем, коли гостя нет» [39], «Чуж муж мил – да не век с ним, а свой постыл – волочиться с ним» [40].

Однако женские измены были более строго наказуемыми. Число прошений, поданных мужьями [41], превышало число прошений от женщин. Прошения женщин к тому же почти не удовлетворялись [42]. Мужчины, прося о разводе, имели в виду, как правило, заключение нового брака [43] (хотя далеко не всегда получали разрешение жениться вновь); [44] женщины подобным образом свой развод не мотивировали. И вообще, вероятно, просили о нем лишь от отчаяния.

Шведский пастор Г. Седерберг, описывая виденный им российский быт в 10-е гг. XVIII в., утверждал, что в семейной жизни русских нарушение верности – дело обыкновенное, «исключая случаи, когда мужнюю жену совсем увезут и возьмут в сожительство; тогда похититель наказывается кнутом» [45]. Однако в реальности так дело обстояло не всегда. Подчас наказанию плетью подвергалась вступившая «в блудное сожитие» жена, а вовсе не ее похититель [46], не говоря уже о «смертных побоях» жен оскорбленными мужьями [47].

Общественное мнение в отношении разводов «по вине любодеяния»

не было единым. В мемуарах, особенно в «поздних» по времени написания (начала XIX в.), сообщения о разводах супругов-дворян носят сдержанный, пермиссивный характер («хлопотал о разводе...», «они скоро разъехались...» [48], «он женился на отпущеннице...») [49]. В то же время в текстах воспоминаний можно встретить и сообщения о том, что в конце XVIII в. «развод... считался чем-то языческим и чудовищным... Сильно возбужденное мнение большого света обеих столиц строго осуждало нарушавших закон...» [50]. Большое количество Примеров незаконного сожительства и супружеских измен в среде высшей столичной знати привели французский посланник в России в 80-е гг. ХУШ в. граф А. Ф. де Сепор [51] и историк М. М. Щербатов в своем известном сочинении «О повреждении нравов в России». В числе наиболее скандальных связей, приведших к формальному разрыву супружеских отношений, ими были названы «распутства» княгинь А. С. Бутурлиной, А. Б. Апраксиной (урожд. Голицыной), Е. С. Куракиной, «а ныне, – сетовал М. М. Щербатов, – их можно сотнями считать» [52]. Придворные дамы вообще мало считались с церковными нормами и меньше всего думали об опасностях оказаться «пущенницами» [53]. К тому же они знали, что развод не обречет их на нищету: по суду женщина формально могла добиться получения части владений бывшего мужа – как своего «выдела» из общенажитого имущества («седьмой части имений и четвертой части движимости и капитала») [54].

Значительное количество разводов было связано в XVIII в. с безвестным отсутствием одного из супругов в течение длительного времени. Начиная со времен Северной войны и на протяжении всего XVIII столетия Россия неоднократно вела войны, для участия в которых требовались массовые наборы в армию и флот крестьянского и посадского населения, призывы на службу дворян, почему и отсутствовали подолгу и некоторые представители дворянских фамилий. Наборы в рекруты всегда сопровождались в деревне личными драмами, в том числе женщин – матерей, сестер, невест [55]. Разлученные со своими супругами, женщины нередко выходили замуж вторично (речь идет в первую очередь о тех, кто не мог обмениваться письмами и известиями). Церковь старалась не допускать распространения подобных браков [56], но во второй четверти ХУШ в. вошло в практику «расследование» архиепископом длительности безвестного отсутствия супруга с последующим разрешением выходить замуж повторно. Если супруг, ранее числившийся безвестным, возвращался, он мог требовать жену назад. Так что развод давался лишь на определенное время [57]. Женщины обращались в Синод за разрешением на новый брак, как правило, спустя 7–10 лет [58]. (Кормчая книга признавала безвестное отсутствие мужа даже в течение 5 лет [59].) Однако в случае, если женщина, воспользовавшись безвестным

отсутствием мужа, выходила замуж вторично, а супруг возвращался и – нашедши бывшую жену замужем за другим – сам тоже женился повторно, то его второй брак признавался, а замужество «нетерпеливой женки» осуждалось и расторгалось. В одном из таких дел Святейший Синод присудил посягнувшей на личное счастье женщине «оставаться безбрачною по смерти первого ее мужа» [60].

Несколько активнее, если судить по делам, отложившимся в архиве Синода, стало использоваться право супругов развестись, если один из них не был способен к брачному сожителству или же жена была бесплодной. «Брак от Бога установлен есть ради умножения рода человеческого», – рассуждал законодатель, поясняя, что с больным человеком «надеяться на это весьма отчаянно» [61]. Кормчая устанавливала для проверки способности супругов к семейному сожителству 3-годовой «испытательный срок»; [62] супруги ставили вопрос о разводе по причине бесплодности брака, как правило, много позже. Однако из нескольких обнаруженных нами дел лишь одно завершилось расторжением союза [63]. В начале XIX в. для женщины в случае развода по этой причине добавились новые сложности: разводящаяся должна была доказать, что импотенция мужа «началась прежде брака» и, следовательно, просительница находится «в девственном состоянии» (представив свидетельство, полученное через врачебную управу). Разумеется, охотниц доказывать таким образом свое право на полноценную семейную жизнь и материнство практически не находилось [64].

К группе разводов по причине физической неполноценности примыкали и появившиеся в XVIII в. разводы «за старостью и болезнями». Так, князья Вяземские в конце века попросили развести их по этому странному поводу (а они прожили вместе 18 лет!), и Синод развел их [65], мало заботясь о том, что подобный акт уменьшал значение христианского брака как союза духовного, заключаемого для взаимопомощи людей. Между тем случай с Вяземскими был не единственным [66]. Тем не менее чаще всего развод «по причине болезни» как для жены, так и для мужа был невозможен, какой бы тяжелой и «неисцельной» (в том числе и особенно «канцерозной», от cancer - рак) эта бы болезнь ни была [67]. Исключения составляли венерические заболевания: если подавшая прошение о разводе могла доказать связь заболевания с прелюбодеянием, супружеской изменой, прошение удовлетворяли [68].

Новым поводом к разводу, установленным в 1720 г., была вечная ссылка одного из супругов. В 1753 г. при Екатерине II вечная ссылка была приравнена к одному из видов прекращения брака: законодательно обосновывалось право женщины в случае развода по этому поводу на «свою часть» (равную вдовьей) [69].

Следствием все большей активности женщин в делах управления имениями, их хозяйственной самостоятельности стало появление в XVIII в. нового повода к разводу, которую

А. И. Загоровский сформулировал как «известная степень хозяйственной непорядочности супруга» [70]. Однако эта мотивация не всегда признавалась основательной. Известны историк В. Н. Татищев так и не смог развестись с женой, Анной Васильевной (урожд. Андреевской), хотя и обвинял ее в расточительстве имения [71]. Подавали аналогичные прошения и жены. Так, в 1746 г. дворянка Татьяна Мусина-Пушкина обратилась в Сенат с жалобой на мужа, который бил ее, да к тому же «посягал» на недвижимость. Бедняга просила о разводе. Однако Сенат, приказав мужу вернуть деревни Татьяне или компенсировать растрату, супругов не развел [72].

Жалобы жен на «смертные побои» по-прежнему не служили основанием для развода. Мужья порою били и мучили жен до увечий, а потом требовали от супругов написания писем о том, что они «скорбят телесною болезнью» и желают принять постриг [73]. Тем не менее, несмотря на распространенность ситуации, ни Петр, ни последующие правители не придавали значения жалобам жен на мужей [74]. В архивах, сохранивших бракоразводные письма XVIII – начала XIX в., таких дел – сотни [75]. Среди наиболее громких было, например, дело супругов В. Ф и А. Г. Салтыковых. Муж обвинял свою жену в неласковости («к милости она меня не привращала»), непокорности, злоязычии («невежничала многими досадными словами»), изменах. Жена мужа – в прелюбодеянии, а также в том, что он ее бил, «запрещал есть», не пускал к ней родителей и вообще «содержал в великом поругании». Синод не развел супругов потому, что в Кормчей книге отсутствовал повод к расторжению брака по причине нанесения побоев, и постановил дать временный развод: «другим браком отнюдь не сочетаются и в этом временном разводе пребывать дотоле, пока оба не смирятся и купно жить не восхотят...» [76] Вполне вероятно, что А. Г. Салтыкова как раз стремилась к разрешению пренебречь обязанностью проживать «купно» с супругом в его имении, чтобы не подвергаться унижениям и побоям.

В начале XIX в. супруги – особенно в дворянских семьях – стали нередко отказываться от хлопотной и скандальной разводной процедуры и просто разъезжались [77]. Подчас они даже получали специальное согласие Синода «жить особо друг от друга», не вступая в новый брак [78]. Иногда после формального разъезда супруги сохраняли вполне дружеские отношения, как, например, П. Н. Капнист и его жена Екатерина Армановна, урожденная Делонвиль [79]. Но в любом случае женщины не забывали о своих правах и требовали от бывших мужей содержания, а также уплаты всех долгов [80]. Именно в таком положении оказался генералиссимус А. В. Суворов, разведясь со своей супругой –

Варварой Ивановной, которого Павел I буквально заставил «исполнить желание жены» [81]. Семейные передраги и неуступчивость В. И. Суворовой довели графа до отчаяния: он обратился к императору с просьбой разрешить ему постричься в монастырь [82].

Отношение к праву на развод в иных сословиях, кроме привилегированных, с трудом прослеживается по источникам XVIII – начала XIX в. Вне сомнения, крестьянский уклад жизни предполагал большую строгость, однако и там – в том случае, когда к разводу была основательная причина (иногда даже психологическая: «с мужем с моим Иваном жить не желаю, потому что ево ненавижу...» [83]) – крестьянский мир разрешал супругам жить врозь. Брак в таком случае считался расторгнутым, и бывшие муж и жена имели право «начинать жизнь сначала». Однако типичным такое решение не было.

Основным поводом к «семейным разстройствам» была в крестьянской среде – как и в среде привилегированных сословий – супружеская неверность [84]. Этнограф XIX в. Н. М. Ядринцев полагал даже, что разводы по этой причине укрепляют «грубость инстинктов» и «буйную сатурналию» чувств в крестьянском быту [85]. Однако и церковные и общинные власти, а тем более владельцы крестьян предпочитали не разводить супругов, живущих несогласно, а подвергать их наказаниям [86]. И среди дворян, и среди крестьян в начале XIX в. стали обычными разъезды супругов вместо разводов по суду. Имущество крестьянской семьи при этом «оставалось у того из них, с кем жили дети» [87].

Веской причиной «на время разлучить» были для крестьян разорение и нищета семьи, когда муж «ни пищею, ни одежею снабдевать (снабжать) не мог» [88]. Однако эта причина как повод к разводу была типична для крестьянского быта Западной Сибири и мало прослеживалась в Европейской России [89].

Физические недостатки и тяжелые болезни одного из супругов не считались основанием для развода [90]. Тем более не были поводом к разводу и избиения мужем жены в крестьянском быту, если они и в дворянской среде казались привычными [91]. Тем не менее власти предпочитали не разводить, а заставляли супругов «проживать совместно» [92]. Женщины при таком равнодушии к их жалобам становились либо «совершенно покорная» и «послушливая» [93], либо отвечали насилием на насилие («Я-де тебе не поддамся, напротив ево Саву ударила ж рукою и схватав за волосы била головою об стену и лице ногтями сарапала...» [94]). Порой они могли решиться и на убийство [95], и на самоубийство [96]. Часто жены бросали ненавистных супругов и пускались «в бега». Мужья в этом случае имели право на возвращение беглых «женок» обратно в семью [97] (что было весьма типично для крестьянского быта) [98]. Подобного права – но в отношении беглых

мужей женщины не имели [99].

В конечном счете, несмотря на частое отсутствие реальной возможности воздействовать на свою судьбу при сравнительно широких юридических полномочиях, российские крестьянки XVIII в. – прежде всего на Урале и в Западной Сибири – все-таки пытались «найти правду». И хотя сделать это удавалось далеко не всегда, все же каждый новый казус способствовал изменению общественного мнения и взглядов на женские права.

\*\*\*

Трансформации в семейном статусе и повседневном быту женщин всех сословий стали за столетие (с начала XVIII в. до 10-х гг. XIX в.) очевидны всем современникам.

Начало всем изменениям было положено Петром Великим, реформы которого перевернули весь старый уклад жизни. Продолжение последовало после его смерти, в годы «российского матриархата» (1725 – 1796 гг.). Обстановка преобразований способствовала формированию в России новых моделей поведения и повседневного быта, появлению человека Нового времени, для которого сфера частного – личных интересов, переживаний, устремлений – постепенно становилась оберегаемой и самоценной.

Прежде только родители решали вопрос о замужестве. Исключения были редки. С XVIII в. знакомство будущих невест с их сужеными, равно как определенный добрачный период (во время которого молодые считались обрученными), стали обязательны. Оказание давления на волю девушки стало означать совершение наказуемого по закону поступка. «Укрывание» невесты даже в крестьянской среде превратилось в формальный ритуал. В условиях заключения брака также появилось тогда немало нового: обнаружилась тенденция к повышению брачного возраста, а неравные в возрастном отношении браки стали осуждаться общественным мнением; появилась терпимость к смешанным в этническом и конфессиональном отношении бракам; некоторое время существовал своеобразный «образовательный ценз» для дворян, исключивший возможность выдачи девушки замуж за неуча или физически неполноценного человека. Принцип общего местожительства супругов претерпел существенные изменения (заключение брака уже не всегда предполагало обязательность совместного проживания супругов, а тем более проживания непременно с родственниками мужа). В то же время в брачных условиях сохранилось немало традиционного: в непривилегированных сословиях по-прежнему существовали нецерковные формы замужества; при заключении венчального брака согласие с волей родителей, наличие их благословения стали практически обязательными. Соблюдалась



очередность выдачи замуж дочерей в семье. Практически во всех социальных слоях у женщин наблюдался низкий брачный возраст. Продолжали действовать старые церковные запреты: о недопустимости близкородственных браков, нескольких (более трех) замужеств в жизни, соблюдались сословный характер супружества, замужества только на «ровнях» по материальному и социальному положению, а также принцип единой семейной фамилии (мужа). Однако вмешательство в сферу личных прав, ранее почти не замечаемое (когда речь шла о выборе жениха, степени независимости в семье и т. п.), стало ощущаться значительно острее – как в привилегированном сословии, так и в сознании социальных низов.

В крестьянской среде субъектами действий в сфере частного права оставались – как и в допетровское время – не только сами женщины, но и круг их близких. Нарушительнице семейно-родовых традиций мог грозить полный разрыв отношений с кланом; тем же, кто, напротив, следовал предписаниям «как исстари велось», была обеспечена защита, подспорье, поддержка. Крепкую связь всех членов рода по-прежнему отображали свадебные церемонии.

Новшества, правда, появлялись и в них. Церковное венчание стало важной неотъемлемой частью любой свадьбы, в то время как женоненавистнические постулаты православия и ритуалы, унижающие женское достоинство, постепенно становились либо достоянием прошлого (в дворянской среде), либо ритуализированной игрой (в среде крестьянской). То, что в допетровское время не казалось ни частным, ни интимным, стало требовать в XVIII столетии сокрытости от людских глаз (например, первая брачная ночь).

«Первейшие» мотивы заключения брака оставались старыми (необходимость продолжения рода, фиксации с помощью брака определенного материального и социального статуса). Тем не менее к ним прибавлялись новые, эмоционально-личные причины, отражавшие изменения, присущие Новому времени. В семьях образованных дворян идеалом жены становилась не просто и не только «покорная» и «тихая» хозяйка и мать, но супруга-единомышленница, способная не только обеспечивать здоровым потомством и удовлетворять телесные потребности мужчины, но и дарить удовольствия более высокого духовного уровня. Новое отношение к женщине находило поддержку и отражение в литературе, прежде всего в любовной лирике: индивидуальная интимная привязанность к конкретной избраннице все чаще стала выступать поводом к формальному закреплению супружеских уз. Литература XVIII – начала XIX в. заставила представителей привилегированных сословий признать факт большей эмоциональности женщин, утонченности их натур, существования самостоятельного женского мира, его «особости» и отдельности от мира

мужчин.

Эмоциональный мир женщин XVIII в. оказался более зависимым от этикетных моделей и запретов, и эта зависимость, эта «расчисленность светил» (А. С. Пушкин) проступала тем ярче, чем чаще в среде столичного дворянства появлялись «беззаконные кометы», принадлежавшие к появившемуся во второй половине XVIII в. особому типу «модных жен». Для «модных жен» семья и воспитание детей всегда оказывались на втором плане. Именно такие нарушительницы спокойствия убыстряли превращение девиантного («отклоняющегося») в норму, делая, например, адюльтер сравнительно допустимым элементом повседневного быта, разрешительным в глазах общественного мнения (особенно, и прежде всего, в городах).

Преобразования и реформы, результатом которых стало новое отношение к семье и месту в ней женщины, не прошли бесследно и для непривилегированных слоев русского общества. Нормативно вводимые новшества в быту, образе жизни, внешнем облике, манере поведения углубили пропасть, отделявшую дворянку от крестьянки, «господскую» Русь от «крестьянской». В то же время новое и необычное в поведении представительниц привилегированного слоя стимулировало усложнение и преобразование отношений и в сфере социальных низов. Культурные достижения века постепенно затронули и деревню. Это и распространение браков, основанных на личной склонности, и сохранение и даже расширение возможностей развода (особенно в некрепостном сословии), и расширительное толкование взятого из православной концепции брака тезиса о взаимных обязанностях и взаимной ответственности супругов, утверждение его в обычном праве. Эмоциональный мир женщин непривилегированного сословия складывался под большим воздействием традиционной культуры, нежели литературы. Для него были характерны элементы патриархальности, признания формального и фактического главенства отца (мужа), в котором крестьянка видела опору и защиту и которого любила подчас из чувства долга, обязательности жизни «по любви». Тенденция к преодолению средневеково-патриархальных взглядов на «власть» мужа над женой нашла отражение в письмах крестьян друг к другу, вобравших в себя скорее атмосферу любви и лада, а отнюдь не конфликтов и ссор.

Заметные изменения произошли в семьях всех социальных слоев русского общества и в системе отношений мать - дитя. При сохранении традиционного взгляда на вынашивание детей и деторождение как обычную женскую долю, как на обязанность женщины, при будничном отношении к детским смертям и привычности многодетности, при некотором предпочтении, оказываемом мальчикам перед девочками, – в отношениях матерей и детей происходили определенные изменения.

Так, усложнялись методы воспитания, особенно в привилегированных сословиях: центр тяжести в них оказывался перемещенным на убеждение, ласку и доброту (тем более что для традиционного воспитания была характерна большая мягкость материнского воспитания перед отцовским). К концу XVIII в. произошло осознание ценности детства и естественного воспитания ребенка, нестрогого отношения к подвижным играм и шалостям малышей. Появилась сознательная ориентация дворянок на самостоятельное грудное вскармливание, стал бытовать отказ от кормилиц. Новыми, появившимися в рассматриваемое столетие, были и первые спорадические проявления кризиса старой системы семейного воспитания: незначительный, но все же наблюдаемый рост межпоколенной конфликтности, оказывавший влияние на статус женщины в семье, увеличение числа случаев воспитания в неродных семьях при живых и обеспеченных родителях, появление альтернативы домашнему воспитанию в виде воспитания и обучения девочек в институтах и пансионах. Заметным шагом вперед было признание необходимости специфики женского образования и первые шаги по реализации его планов. Женщины привилегированных сословий в России XVIII – начала XIX в. становились читающими, говорящими на иностранных языках, умеющими красиво двигаться, танцевать, деликатно и остроумно поддерживать беседу.

В целом же содержание материнского воспитания, особенно девочек, оставалось традиционным. Мать пестовала в ребенке уважение к старшим в доме, в том числе к женщинам, закладывала нравственные основы его характера, учила азам грамоты, которые и ложились впоследствии в основу начального образования. Домашнее обучение девочек продолжали – вслед за матерями – гувернантки или преподавательницы в пансионах и институтах. Большую воспитательную роль продолжали играть в русских семьях всех сословий бабушки – хранительницы педагогического и жизненного опыта поколений. Традиционно крепкими оставались эмоциональные и иные связи матерей с выросшими детьми, поддерживаемые обычным приоритетом материнского слова и решения (в случае отсутствия в семье отца). Все эти традиционные элементы семейного воспитания были равно характерны и для крестьянских, и для купеческих, и для дворянских семей.

Образ жизни представительниц образованных классов, особенно в городах, стал разительно отличаться от образа жизни крестьянок. Тем не менее нельзя не признать, что изменения и преобразования, коснувшиеся «благородного сословия», сказались и на повседневной жизни женщин из трудовых слоев общества. Правда, проявились они с некоторым опозданием (по сравнению с привилегированными верхами)

– примерно к концу рассматриваемого нами периода, в 10-е гг. XIX в. К этому времени стали более явно заметны перемены, связанные и с бракоразводными процессами. Традиционное отношение к браку как к нерасторжимому семейному союзу начало претерпевать эрозию: об этом говорил и рост числа бракоразводных прошений, и увеличение положительных решений по ним, в том числе по прошениям, написанным женщинами; появившаяся в общественном мнении амбивалентность отношения к разводу, несколько большая – по сравнению с предыдущими веками – распространенность разводов даже в непривилегированных условиях, в том числе по причине длительного отсутствия супруга. При чтении некоторых разводных писем, написанных крестьянками, а тем более обиженными дворянками, может возникнуть впечатление, что в те времена на востоке Европы набирала обороты эмансипация женщин. Но это – иллюзия. Инициаторами развода в России XVIII – XIX вв. выступали преимущественно мужчины, рассчитывавшие избавиться от старых жен, удержав в то же время их приданое. В подавляющем большинстве бракоразводных дел женщины выступали по-прежнему как страдающая сторона.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Характер частной жизни русской женщины своеобразно соотносится с особенностями эпохи. С одной стороны, женщины, с их напряженной эмоциональностью, всегда живо и непосредственно впитывали любые новшества, обгоняя подчас свое время. В этом смысле частная жизнь женщины, особенности ее повседневности чутко и точно отражали изменения в макроструктурах, в частности – в духовной жизни общества, появление в нем новых черт. С другой стороны, частная жизнь женщины неизменно отражала и прямо противоположные свойства женского характера. Женщина – невеста, жена, мать, хозяйка дома – всегда была в наибольшей степени связана с биосоциальными, надысторическими, общечеловеческими свойствами человека, с тем, что шире и глубже событийных отпечатков времен. И в этом смысле статус женщины в семье, взгляды на ее место и роль в обществе, особенности ее собственного мировосприятия отражали не новое, но традиционное, а зачастую консервативное. Взаимозависимость частной жизни женщины и культуры эпохи была, таким образом, противоречивой, неоднозначной и, можно сказать, гибкой.

Анализ частной жизни и повседневного быта женщины в период становления русской государственности (X – XI вв.), ее развития (XII – XV вв.), формирования автократической системы (XVI – XVII вв.), а также в эпоху «европеизации» (в XVIII – начале XIX в.) является частью

исследовательского поиска в области изучения традиций и новаций в общественном быте и общественной жизни Древней Руси, Московии и России Нового времени. Он приближает нас к пониманию своеобразия общественной мысли и культуры, истории развития индивидуальной и социальной духовности, позволяя пролить свет на те влияния, которые перечисленные эпохи накладывали на женский характер, на отношение к женщине в обществе.

Женский мир доиндустриальной России оказался весьма отличным от мужского. Женщины – за исключением некоторых, особенно деятельных и социально-амбициозных представительниц великокняжеского и царского дома – были ограничены в возможностях проявления своих талантов, особенно в таких сферах, как административная деятельность, внешняя политика, экономическое управление. «Прекрасный пол» был полностью исключен и из сферы военного дела. Здесь везде господствовали мужчины. Однако женщины опосредованно влияли и на эти сферы мужского господства, воодушевляя мужей, отцов, сыновей, братьев на различные действия и поступки, обсуждая их успехи и неудачи на службе. Иногда они прямо вмешивались «не в свои», мужские дела. Такое вмешательство усиливало взаимопроникновение частной и публичной сфер, их «перетекание» друг в друга, способствовало «изменению окраски» событий и явлений, превращению фактов жизни общественной – в факты жизни индивидуальной, частной и наоборот. В сфере же внепубличной – дома, в семье, где в доиндустриальную эпоху производились и распределялись предметы первой необходимости, осуществлялся надзор за челядью, рождались и воспитывались дети, где формировались эмоциональные связи и отношения, – женщины играли просто первостепенную роль.

Родственники (близкие и далекие), воспитатели и няни, слуги, соседи, «отцы духовные», «сердешные» (интимные) друзья – вот тот круг близких, который определял и ограничивал пространство частной жизни женщины в рассмотренный период. Отношения с мужчинами в процессе выбора брачного партнера, в повседневном быту, ежедневном и праздничном общении, в работе и на досуге, «взаимоприращения» в интимной сфере, супружество и его оттенки оказывали более или менее равнозначное влияние на частную жизнь женщин всех социальных страт. Впрочем, и межличностные контакты вне семьи – то есть элементы социальной стратификации, как вертикальной (собственницы земли и холопов и зависимое население), так и горизонтальной (город, деревня, столица– периферия, жизнь в монастыре и жизнь в миру), которые возникали вне домашней сферы, то усиливаясь, то ослабевая, также создавали особое, трудно локализуемое в материальном мире пространство отношений и связей, отделенных от публичной сферы.

Реконструкция частной жизни женщины за десять веков (с X до начала XIX в.) оказалась возможной благодаря сопоставлению документальных, фольклорных, литературных (светских и церковных) памятников со свидетельствами источников личного происхождения (письмами, а применительно к XVIII столетию и мемуарами). Она позволила представить «идеал» (понятие доброй жены – то есть ценность тех или иных индивидуальных и социальных достоинств женщины) и «реальность», которая этот идеал «проверяла» (верифицировала) и одновременно формировала.

Воссоздание образа идеальной жены и женщины, в свою очередь, оказалось ключом к содержанию понятия «частного», которое – вместе с образами добрых и злых жен менялось от столетия к столетию, превращая сферу индивидуального и личного во все более обособленную и ценностную. С другой стороны, интенсивное, подчас суггестивное, многократно повторяемое внушение обязательности стремления к идеалу (в чем немалую роль играло православие с его строгими нравственными критериями), побуждало женщин сопоставлять с этим идеалом свою жизнь, что, в свою очередь, эмоционально ее обогащало. К концу XVIII в. определяющим в содержании частной жизни женщины в любой семье, любого социального слоя стало стремление быть необходимой, нужной, полезной для всех близких (от мужа и детей до соседей и любовников), подчас даже служить своеобразным «оберегом», хранительницей семейных устоев. Отчасти это стремление стимулировалось идеей взаимных обязательств, которые навязывались установлениями обычного и писаного права. Но все-таки в большей мере женщины – матери, жены, сестры, дочери, любимые – становились вторым «я» для своих близких по зову сердца, по добровольной, эмоционально-обусловленной потребности.

В ранние эпохи – в X – XV вв. – такой эмоционально-обусловленной потребности у женщин в источниках не отразилось. Хотя, как показывают источники, присутствие самой сферы личного обособления – частного, интимного, сокровенного в мыслях, чувствовании и в поведении – характерно уже для эпохи средневековья. Обращение к истории частной жизни русских женщин во всей ее исторической долговременности (*longue duree*) позволило если не понять, то хотя бы увидеть, выявить ее. Анализ женской повседневности показал, что супругам и матерям, сестрам и бабушкам постоянно приходилось принимать решения – выбирать: как реагировать на просьбы близких, как строить отношения с родственниками, как находить своего единственного, «суженого», как называть любимое «чадо» и т. д. Разумеется, на большую часть этих случаев жизни имелись рекомендации обычаев и законов. Однако в частной сфере предписания

их не всегда были жестки, и потому возможности совершения необычного поступка были довольно широкими. Различные по типам и видам исторические источники позволяют утверждать, что все факты принятия женщинами решений – от важнейших, способных определить дальнейшую судьбу (замужество) до мелких, повседневных, малозаметных в своей мимолетности и потому лишь проскользнувших в летописях или в документах – безусловно значимы для исследователя частной сферы. Были среди них и те, что совпадали с «нормой», с этической системой, и те, что выступали за ее рамки, являясь отклонениями от общепринятого. Они-то и меняли привычное, «взрывая» его.

Сквозь призму истории повседневности женщин, их житейских забот и тревог, их быта оказалось возможным разглядеть эволюцию мира чувств – менталитета самих женщин и общества в целом, его обогащение новыми переживаниями, усложнение за счет иных устремлений, эмансипацию от навязываемых требований и догм. Женские заботы и тревоги, которые лишь на первый взгляд кажутся «одинаковыми» во все времена и столетия, предстают окрашенными многообразными эмоциями – как общими, типичными для данного времени и характерными для него этических воззрений, так и индивидуальными, непохожими, отклоняющимися от нормативных. Такой подход к прошлому русских женщин позволяет отойти от традиционного метода сбора разрозненных сведений о безликих участницах изучаемых событий и перейти к исследованию частной жизни как к истории конкретных лиц, подчас вовсе не именитых и не исключительных. Этот подход дает возможность «познакомиться» с ними через литературу, делопроизводственные документы, переписку. Одни жизненные истории или, точнее, некоторые детали и эпизоды из них характеризуют ведущую – для данной эпохи – тенденцию, стереотип. Другие оказываются отвергающими его, т. е. исключительными. Подобные факты позволяют размышлять о мотивах пренебрежения общепринятым, о психологических импульсах, которыми руководствовались женщины, вступая, например, во второй и последующий браки (в то время как они осуждались церковной этикой), решаясь на адюльтер или проявляя нехарактерную, нетипичную теплоту и нежность в отношениях с близкими, прежде всего с детьми (которые запрещались, например, «Домостроем»).

Выявление «переклички» особенного и повторяющегося, нестандартных поступков – как осознанных, так и бессознательных (ментальных) – позволяет представить механизм принятия решений, в частности, найти ответ на вопрос о том, как определяли сами для себя женщины вопрос о допустимости (или недопустимости) того или иного нарушения, как оно влияло на их частную жизнь и индивидуальные

судьбы. Сделать это далеко не всегда возможно из-за скупости источников, крайне редко (кроме литературных) отражавших эмоциональную сферу. Не всегда удается и понять, в какой сфере индивидуальные побуждения проявлялись особенно заметно и интенсивно, для какого возрастного уровня это было наиболее характерно. Не совсем ясно, у лиц какого пола побуждения действовать необычно, непривычно, нестандартно появлялись чаще и, следовательно, чаще конкурировали с принятыми образцами поведения.

В то же время собранных данных по истории частной жизни русских женщин X – начала XIX в. оказалось достаточно для некоторых выводов, касающихся женского этоса в средневековье и Новое время. К ним можно отнести утверждение о значимости семейной жизни (жизни в браке) для женщин всех социальных категорий. Православные постулаты оказали, конечно, исключительное влияние на отношение к семье и браку как моральной ценности, однако и в народной традиции согласная семейная жизнь была нравственным императивом. Исключительную роль играло в личных судьбах женщин рассматриваемых эпох и материнство. Отношения матери с детьми традиционно характеризовались исключительной теплотой и эмоциональной насыщенностью. Вероятно, с течением времени определенная часть женщин стала лишь формально признавать свою «второстепенность», неглавенство в семье и осознавать фактическую важность их деятельного участия в функционировании домохозяйства, и не только в нем. Это, однако, не мешало женам, сестрам, матерям видеть в мужьях, братьях, сыновьях и опору для себя в жизни, и близкие, родственные души, нуждающиеся в их поддержке и участии.

Пристальное внимание не только к тому, что написано в источниках по истории частной жизни женщин X– начала XIX в., но и к тому, как, какими словами это выражено (то есть к так называемому дискурсивному ракурсу историко-психологического анализа), позволило понять, какое исключительное значение в изменениях общественного сознания имели перемены в отношении к женщине, к ее социальной роли, ее самостоятельности, вызванные существованием и все более частым появлением на общественной арене деятельных женских личностей. Переписка, дошедшая до нас от XVII – XVIII вв., неопровержимо свидетельствует о том, что развитие умонастроений и идей в направлении признания женщины, ее значимой роли было необходимым шагом в процессе становления женского самосознания и женского менталитета.

Изменения в повседневном, в том числе семейном, быту, начавшиеся «сверху», с привилегированных и образованных сословий, постепенно проникали и в другие социальные слои. Новые формы общения и



проведения досуга сломали в XVIII в. остатки затворнического уединения. Женщины в российских семьях получали постепенно «право голоса». Он проявился в мемуарах и письмах, стал слышен в литературных произведениях. И все же оставался негромким, ненапористым, непритязательным, как и сам эмоциональный мир образованной русской женщины «осьмнадцатого» столетия. Формировавшийся как сфера скрытого и сокровенного, женский эмоциональный мир оставался и в начале XIX в. скованным условностями социальных ожиданий и религиозно-нравственных норм.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Очерк первый ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ (X - XVII вв.)

#### I. «НЕ ХОЧУ ЗА ВЛАДИМИРА, НО ЗА ЯРОПОЛКА ХОЧУ...»

#### *Брачный аспект частной жизни женщины: «самостоятельность» или «зависимость»?*

1. Типичное для России низкое число холостых и незамужних, вдовцов и вдов, равно как число людей, никогда не состоявших в браке, рассматривается многими зарубежными историками и социологами как показатель отсутствия в Восточной Европе «европейской брачной модели» (Hajnal J. European Marriage Patterns in Perspective // Population in History. Ed. by D. V. Glass, D. E. C. Eversley. London, 1965. P. 101 - 143).

2. ПВЛ. С. 14.

3. Блонин В. А. К изучению брачно-семейных представлений во франкском обществе VIII– IX вв. // Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы. М., 1988. С. 78 - 79.

4. Как и в Западной Европе; см. об этом: Ястребицкая А. Л. Женщина и общество // Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1994. С. 299.

5. Миненко. С. 202-225.

6. Это особенно характерно для XVII столетия, когда стала типичной разница в возрасте взрослого жениха и молоденькой невесты, часто впервые вступающей в брак. См.: ПоТОм. С. 98.

7. Олеарий. С. 211; Котошихин. С. 149.

8. ПСРЛ. Т. I. С. 32; ПСРЛ. Т. XXV. С. 281; Памятники древней российской виблиофики. Т. IX. С. 328; ПоПиФ. С. 215.

9. ПоТОм. С. 113. Даже от сватовства «плохих» женихов отказываться было не принято, обещали лишь «подумать», веря, что «плохой жених хорошему дорогу укажет» (см.: Ушаков А. Крестьянская свадьба конца XIX в. в Старицком уезде Тверской губернии. Старица, 1903. С. 11–12).

10. Сб. РИО. Т. XXXV. С. 412; Церетелли Е. Елена Ивановна, великая княгиня литовская, королева польская. СПб., 1898. С. 180; ЖДР. С. 222.

11. Иван Иванович Чаадаев – к сестре, Анне Ивановне Кафтыревой. Конец XVII в. // Частная переписка. № 166. С. 449.

12. Листова Т. Благословение на брак // Родина. 1994. № 8. С. 101; ср.: Herlihy D., Klapish-Zubcr Ch. Les Toscanes et leurs families: une tude du «catastro» uorentin de 1427. Paris, 1978. P. 545.

13. ПоБЖС. С. 153.

14. Ф. П. Морозова - Аввакуму. 1669 г. // ПЛДР. XVII (1). С. 585.
15. МосДиБП. № 50. С. 67 (1649 г.); ср. та же просьба: МосДиБП. № 125. С. 113 (1685 г.).
16. ЖДР. С. 72, 74, 223; своеволие девушки в выборе брачного партнера в Западной Европе могло караться лишением ее части приданого или наследства (Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. С. 879, 882), что не прослеживается в древнерусских источниках. См.: об отношении к «вековушам» в XVIII – XIX вв.: Богаевский П. М. Заметки о юридическом быте крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 1. М., 1889. С. 12; Желобовский А. И. Семья по воззрениям русского народа, выраженным в пословицах и других произведениях народно-поэтического творчества // Филологические записки. Воронеж, 1892. С. 13. Снегирев. С. 83.
17. Духовная Марфы Мезенцевой 1560 - 1561 гг. // РО РГБ. Акты Троице-Сергиевой лавры. Кн. 530. Суздаль. № 4; Кобрин В. Б. Опыт изучения семейной генеалогии // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIV. М., 1983. С. 50-60.
18. ПоСМиМД. С.448.
19. Котошихин. С. 157.
20. ПоСМ. С. 213.
21. РИБ. Т. VI. С. 204, 274, 281 (1410 г.); ЖДР. С. 76.
22. РИБ. Т. VI. С. 204, 273, 281 (1410 г.), 515; АИ. Т. I. С. 161. Стоглав. 1551 г. Гл. 69//РЗ. Т. 2. С. 344 - 349; АИ. Т. 1. № 267. С. 498; № 261. С. 491.
23. «Та смотрилища с невестою переговаривает, изведываючи ее разуму и речи и высматривает в лицо, и в очи, и в приметы, чтоб сказать жениху, какова она есть» (Котошихин. С. 157).
24. Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1958 – 1961. М., 1962. С. 103.
25. ПоПЗк. С.344.
26. Маргарит. XV в. //РО РНБ. Кир.-Бел. монастыря. № 112/237. Л. 5.
27. Былины. М., 1957. С. 267, 273. Повесть о семи мудрецах. XVII в. // ПЛДР. XVII (1). С. 194.
28. Повесть о Еруслане Лазаревиче // Там же. С. 321. См. также: Пушкарев Л. Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980. С. 43 – 55.
29. Е. П. Урусова - дочерям Евдокии и Насте. 1672 г. // РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Доп. отдел. № 120. Л. 13 – 14.
30. Демкова Н. С. Письма Е. П. Урусовой // ПЛДР. XVII(I). С. 763.
31. Единственное упоминание об обсуждении темы близкородственных связей, найденное нами, – слова царя из «Казанской истории» о невозможности венчать дочь с братом ее первого мужа. См.: ПДРВ. Т. VIII. С. 334; о необходимости соблюдения единоверства – слова

Ивана Грозного о невозможности «поять» невесту «из инех» земель, поскольку тогда у него с женой «норовы будут розные». См.: РИБ. Т. XIII. СПб., 1909. Стб. 1274 (Хронограф 1617 г.).

32. Эдипов сюжет в русской интерпретации отразился в «Повести об Андрее Критском» (ПЛДР. XVH (1), 1988. С. 270 - 274), обещавшей всякому посягнувшему на инцест тяжелейшие физические и нравственные муки.

33. Право разрешать или не разрешать брак или замужество своих «холопей», в том числе социально зависимых крестьянок, холопок с «холопями» других владельцев, было зафиксировано еще в домосковских законах. Но лишь в XVI – XVII вв. подобные разрешения стали оформляться по строгой системе с помощью специальной «отпускной памяти» (см., напр.: Отпускная память в замужество, данная стряпчим Т. Виньковым А. Михайловой. 19 окт. 1684 г. // МосДиБП. № 13 (отд. 4). С. 156. См.: также «вставку» отпускной памяти в письме Ф. Д. Маслову от П. Г. Гриневой. Конец 1690-х гг. //ИПИРН-РЯ. № 94. С. 122 - 123).

34. Запрет неравных браков – общее ограничение частного выбора женщин в европейском средневековье. См.: Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции. М., 1991. С. 196 – 197; Тушина Е. А. Брачно-семейные представления французского рыцарства// Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы: проблемы и исследования. М., 1988. С. 139; Иванов К. А. Средневековая деревня и ее обитатели. Пг., 1915. С. 63 – 64.

35. Тема «прельщения» богатством невесты как пути обретения злой жены прошла через всю русскую литературу рассматриваемого периода. Ср.: «О оболстившей приданым». Из сборника жартов конца XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П - 47. Q. XVH . 2. Л. 41об.

36. Асмолов. С. 285-295.

37. ЖДР. С. 70-73.

38. мПоБК. С. 300.

39. «Любовь истинная – ко всем равно» (РО РНБ. Собр. Новг.-Соф. б-ки. № 1296. Л. 178 об.); «Вси человецы богом создание единого естества» (Там же. Л. 189) и др.

40. ПоПиФ. С. 218. Ср.: «Никогда де того не будет, еже смердову сыну королевскую дочь пояти!» (ПоВЗ. С. 390).

41. ПоПЗК. С. 347.

42. Беседа. С. 489.

43. СоМиД. С. 82-83.

44. ПоТОм. С. 113.

45. ПоСМиМД. С. 448.

46. Даль 2. Т. IV. С. 98; ПоВЗ. С. 401.

47. Ф. П. Морозова - Аввакуму. 1669 г. //ПЛДР. XVII (1). С. 585.

48. АСЭИ. Т. III. № 100, 439, 242; ПРП. Вып. IV. Судебник 1589. Ст. 137.

49. Попытку сюзерена образовать такую «семью» с женой вассала рисует несколько летописей, описывая судьбу Улиании Вяземской (XV в.). Вопрос о хотении, «с кем лещи», был для нее не праздным. И когда сюзерен ее мужа, «хотя с ней жиги», попытался достичь этого насильем, «она же сего не хотяще, въспротивися ему, взявши нож удари его в мышцу на ложи его». Попытка оскотления стоила Ульянии жизни. См.: ПСРЛ. Т. XXV. С. 236; Т. XXIII. С. 256. В одном из списков, правда, поступок Ульянии выглядит не столь самоотверженно: она мотивирует отказ «лещи» с сюзереном супруга именно наличием «живого мужа». См.: ПСРЛ. Т. II. С. 198.

50. О существовании семей, образованных аристократами и их вторыми женами, меньшицами, говорят некоторые церковные источники [«друзии (некоторые) наложници водят яве (держат открыто) и детя родят, яко с своею (женою)»] и светские [упоминающие в имуществе умершего главы семьи («прелюбодейную часть»)] нормативные памятники, а также летописи. См.: ПСРЛ. Т. 1. Под 980 г. С. 34; Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами на них Нифонта, епископа новгородского (XII в.) // РИБ. Т. VI. С. 69 – 70; Указ князя Всеволода о церковных судах // РЗ. Т. 1. С. 250 – 254. И все же в жизнеописаниях князей и бояр XIII – XVI вв. упоминаний о побочных семьях нет.

51. «Мужи не добро живут с князем с своим, зане где улюбив жену или чью дочь – поимашет насильем... взя у попа жену – и постави себе жену, и родися у нее два сына», – сокрушался летописец: самыми предосудительными были сожительства с женами/дочерьми священнослужителей. См.: ПСРЛ. Т. П. С. 106 (под 1173 г.).

52. Челобитные москвичей государю, написанные в XVII в., позволяют отметить, что случаи «беззаконных сожительств» лишь тогда вызывали беспокойство окружающих, когда они задевали чьи-то личные интересы, например, вызывали фактический развод без церковного оформления [«а дочеришка моя нивесь жива, нивесь нет, а слух до меня доходит, что он, Василей, живет с наложницами... а люди ево наложниц знают...» – МосДиБП. № 61. С. 74 (1666г.)].

53. См. подробнее: Росовецкий С. К. Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне // Памятники культуры. Новые открытия. 1975. М., 1976. С. 27 - 37.

54. «Выбеже княгиня Ярославля из Галича в Ляхи, с сыном с Володимером» и вернулась лишь тогда, когда ей сообщили: «отца та есьмы взяли, а приятеле его, чаргову чадь, избиле. А се твой ворог Настаска!» Далее галичане «накладше огонь, сожгоша ю, а сына ея в заточение послаша. А князя водивше ко кресту, яко ему имети княгиню в правду. И тако уладившеся...» Описанный летописью эпизод – оставление законной жены, кн. Ольги (которой пришлось бежать из

Галича и жить у брата), предпочтение, отданное правителем безродной Настаске, – был, вероятно, глубоко драматичен для всех его участников, но летописец, как видим, был скуп на подробности. См.: ПСРЛ. Т. П. С. 106 (под 1173 г.); С. 135 - 136 (под 1187 г.).

55. Один из документов 1683 г. описывает ситуацию, когда женщина (Феколка) вначале сожительствовала с попом, нанявшим ее в услужение и в первый же день изнасиловавшим ее «в ызбном подклете», затем была «вдана» этим попом замуж за бобыля, тот от нее сбежал, она вновь сожительствовала с попом и была от него «чревата». Когда же, по словам попа, Феколке «у него хлеб не стало есть» (один свидетель назвал причиной «блудное падение» Фе-колки с Ивашкой, работником того же попа; другой – семейный конфликт, вызванный тем, что попадья «застала их [попа и Феколку] в хлеве»), Феколка оказалась изгнанной и-«скиталась меж двор», пока в деревне Протасьево не нашла себе нового сожителя, «володимерца Саву Евстфьега сына». Обо всех злоключениях Феколки на суде поведали «порутчики»-очевидцы, нанятые попом в свидетели, поскольку о «блудном падении» попа его «недруги» наябедничали архимандриту. Примечательно, что в ходе расспросных речей выяснилось, что не только поп с Феколкой создали побочную семью, но и попадья сожительствовала в то же время с работником (см.: РГАДА. Ф. 1433. Оп. 1. № 45. Л. 1-18; ср.: ПДП-XVII-ВлК. С. 205. № 186 и др.).

56. Послание митрополита Фотия XV в. // РИБ. Т. VI. С. 918 - 919; ПоУО. С. 99.

57. ПДП-XVII-ВлК. С. 205. N 186 (18 лет) и др.

58. ПСРЛ. Т. П. С. 136; Генрих фон Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М, 1925. С. 164. Ср. в Европе – тот же брачный возраст для девочек, 12 лет (Donahue Ch. J. The Canon Law in the Formation of Marriage and Social Practice in the Late Middle Ages /'Journal of Family History. 1983. V. 8. Ns 2. P. 144), однако действительный брачный возраст европейских невест сильно превышал российский (Абдуллабеков В.О. Представления о браке и брачности в Пизе начала XV в. // Женщина, брак, семья до начала Нового времени. М., 1993. С. 88–106). В России же и в XIX в. многие земские врачи отмечали ранний возраст замужества крестьянок: «у 10 – 17% девушек, вступивших в брак, не было даже менструаций» (Славянский К. Ф. К учению о физиологических проявлениях половой жизни женщины-крестьянки// Здоровье. СПб., 1874/1875. № 10. С. 214).

59. Моисеева Г. Н. Казанская царица Сююн-бике и Сумбека из «Казанской истории» // ТОДРЛ. Т. ХП. М.; Л., 1956. С. 177.

60. Снегирев. С. 69.

61. ПоЕЛ. С. 308; Принц. С. 16; ПСЗ. Т. XIX. № 14229; Рабинович М. Г. Русская городская семья в начале XVIII в. // СЭ. 1978. № 5. С. 96 - 109.

62. ПоСМиМД. С. 448.

63. ПоСМ. С. 207; ПоСМиМД. С. 448.
64. Беседа. С. 491; Титова Л. В. Беседа отца с сыном о женской злобе. Новосибирск, 1987. С. 142 - 156.
65. Повесть об Аполлонии Трирском // ПЛДР XVII (1). С. 419 - 420.
66. МосДиБП. № 61. С. 74 (1666 г.); Ястребов В. Н. Новые данные о союзах неженатой молодежи на юге России. Киев, 1896.
67. РИБ. Т. VI. (2). С. 46; Неизвестный англичанин. С. 186; Котошихин. С. 12.
68. Миненко. С. 203 – 225; Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. М., 1877. С. 97.
69. В иконографии и миниатюристике XVI – XVII вв. можно часто встретить изображения свадебных пиров – но не венчаний. Редкие сцены «наложения венков» (например, в «житийных клеймах») выделяются искусствоведами как нетипичные. См.: Подобедова О. И. Повесть о Петре и Февронии – источник житийных икон // ТОДРЛ. Т. X. М., 1954. С. 293; Цатунова. С. 529. Эпизод в «Повести о Тверском Отроче монастыре» с подданными князя, готовыми обустроить свадебный пир без венчания, говорит о возможности такого хода событий (ПоТОм. С. 115).
70. Олеарий. С. 222.
71. Правосудие митрополичье // ПРП. Вып. 3. Ст. 34; СоУДС. С. 125.
72. В сочинении немецкого дипломата С. Герберштейна (XVII в.) насчет побочных семей сказано, что в России это «допускают, но не считают законным». См. также: Повесть о Дракуле. М.; Л., 1964; Маргарит XV в. // РО РНБ. Ф. п. 1. № 193. Л. 280 - 280об.; НПЛ. С. 488; ЖДР. С. 113.
73. КК. Грань 11. Л. 33; чтобы скрыть факт прелюбодеяния, «женки» прибегали к различным уловкам, самой распространенной из которых было представление «прелюб» неожиданным «осильем» со стороны «неведомого человека» («ходила де в лес для грибов и неведомой деи человек изнасиловал ее блудным падением, и с того времени она де очреватела...» – ПДП-XVII-ВлК. С. 195. № 174 (1679 г.); С. 202. № 183 (1681 г.) и др.).
74. «Обычаи жен». Конец XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П - 47. Q. XVII. 2, Л. 34; Фацеции. С. 136.
75. Семенова; ОдиД. Т. IV. № 203; Центр, гос. исторический архив (Пб.). Ф. 796 (Канцелярия Синода). Оп. 79. № 599.
76. В подобных действиях летописцем «были замечены» Роман Волынский и его тесть Рюрик Ростиславич, Ярослав Всеволодич и его тесть Мстислав Новгородский (который, от греха подальше, забрал от зятя свою дочь и обратно к мужу «не пустиша»). См.: ПСРЛ. Т. I. С. 174 (под 1292 г.); Т. VII. С. 24 (под 1118 г.).
77. Распространенность случаев бегства «женок» от мужей говорит о том, что, по крайней мере, в среде «простецов» это был более простой и

удобный способ расторжения брака. Закон предписывал «сыскивать» беглянок и ничего не говорил об исчезнувших тем же способом мужьях (см.: ПДП-ХVII-ВлК. С. 200. № 181 - 1680 г.).

78. ЖДР. С. 82.

79. ПоСМ. С. 205.

80. В отличие от некоторых европейских законодательных традиций, например, итальянской (Marongiu A. Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec.VIII – XIII). Bari, 1976; см. также: Абрамсон М. Л. Семья в реальной жизни и в системе ценностных ориентации в южноитальянском обществе X – XIII вв. //Женщина, брак, семья... М., 1993. С. 40), в Древней и средневековой Руси, да и позже, в брачном договоре не фиксировалось обязательств мужа содержать семью и жену. Однако в бракоразводных нормах существовало положение о материальной причине «разлоучения», в том числе был упомянут случай пропивания мужем имущества семьи. См.: РИБ. Т. VI. С. 41– 42. 81 РИБ. Т. XXXI. С. 162 - 163; Герберштейн. С. 38.

82. АИ.Т. I. № 130. С. 192.

83. Герберштейн. С. 87.

84. Выпись о втором браке Василия Ш // Бело/куров С. О библиотеке московских государей. М., 1898. Прилож. С. IX.

85. Семевский М. И. А. Ф. Лопухина // Русский вестник. 1859. Т. 21.

86. Герберштейн. С. 87.

87. Снегирев. С. 63.

88. Котошихин. С. 129; среди судебных документов много жалоб на жестокости мужей (см., напр.: «Петр, пришед пьяной, жену свою бил и мучил, и она, высунувшись из избы, кричала розным криком и по многая времена», «он в дом к себе, приходя пьяной, дерется з женою», «срубил, было, меня топором, и тот топор у него отняла жена» и др. – ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. № 15, 19, 111) – но за ними не следуют просьбы о разводе; подробнее см.: ЖДР. С. 80 – 85.

89. Праздник кабацких ярыжек. XVII в. // Адрианова-Перетц В. П. Очерки истории русской сатирической литературы XVII в. М.; Л., 1937. Тексты. С. 88.

90. Снегирев. С. 62. С этой поговоркой находит аналогию строка «Беседы отца с сыном о женской злобе» (XVII в.): «Двух нужд – темницы и виселицы – убежах, а от третие нужды – от злыя жены – не мог убежати...» (Беседа. С. 497).

91. См.: Даль 2. Т. IV. С. 363. Любопытно употребление Аввакумом в одном из писем к Ф. П. Морозовой и ее сестре Е. П. Урусовой обращения к ним как «двум супругам неразпряженным» – вероятно, это словосочетание употреблялось не только по отношению к мужу и жене, но и к единомышленникам (единомышленницам), тесно связанным общей идеей. См.: ПЛДР. XVII (1). С. 553.



92. Способин А. Д. О разводе в России. М., 1881. С. 29; Загоровский А. О разводе по русскому праву. Харьков, 1884. С. 163 – 164. Главным основанием для прекращения замужней жизни женщины в допетровское время был все же не развод, а смерть супруга. Имелись и основания к признанию брака недействительным (кровное родство мужа и жены, двоебрачие одного из них, нарушения брачного возраста), однако обосновать это было нелегко: возраст и родственные отношения жениха и невесты определял сам священник, опираясь на свою зрительную оценку (лишь в 1667 г. церковный собор распорядился о заведении в каждой церкви метрических книг). Новгородский архиепископ Феодосии сокрушался в 1545 г., что заключение браков «в родстве, свойстве, духовном родстве» – обычное дело, но обличения его остались гласом вопиющего в пустыне (ДАИ. Т. V. № 102; АИ. Т. I. № 298. С. 541).

93. Частная жизнь женщин в монастыре – как специальная тема исследования – не рассматривается в данном очерке, так как типической для Руси и Московии XVI – XVII вв. была все же жизнь семейная. См.: Миронов Б. Н. Традиционное демографическое поведение крестьян в XIX – начале XX в. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. С. 83 – 105.

94. Лиминальными (от *limin* – порог) фазами принято считать брак и его прекращение в психологии личности. См.: Асмолов. С. 182; Средняя продолжительность жизни по В. Н. Никитину (1975) в XVI в. составляла 27, 5 года; в XVII в. - 29 лет. Цит. по: Асмолов. С. 244.

## **II. «А ПРО ДОМ СВОЙ ИЗВОЛИШЬ ВСПОМЯНУТЬ...»**

### ***Повседневный быт в частной жизни женщины: работа и досуг***

1. Пословицы XVII в. сохранили такие оттенки в оценках повседневного женского труда, как его тяжесть («Псовая болезнь до поля, а бабья до постели»), незаметность для членов семьи («Бабий огород недолголетен»). См.: РО БАН. Собрание Петровской галереи. Сб. № 58; № 285; 726; РИБ. Т. VI. С. 41, 58 - 59.

2. См.: в дидактической литературе Древней Руси (Собр. канонов XIV в. // РГАДА. Ф. 381. № 78. Л. 32; Минея XV в. // РО БАН. 16. 14. 14. Л. 64). В назидательных памятниках XVII в. примером нравоучения «дщерям» может служить письмо протопопа Аввакума некоей Каптелине Мелентьевне, Гликерьиной дочери из Ветлужья: «Каптелина, а Каптелина! Люби бесчестие, люби укоренив, досаду, понос и уничижение, люби худость ризную, пищу тонкую, неумовение, труды и молитву беспрестанную...» [Аввакум. Послания, челобитные, письма// ПЛДР. XVII (1). С. 575).

3. О раннем привлечении детей к труду см.: Даль,. С. 382–383 («В год

сосун, через год стригун, а там пора и в хомут» и др.). Ср.: «В первом семилетии учить детей произносить хорошие и чистые слова, правдивое, а не ложное; во втором семилетии пусть учат делу, пониманию и умению» (см.: Вечеря. С. 366).

4. Первые поучения не к детям «вообще» и не к одним сыновьям, а именно к «дщерям» относятся к XVII в. См.: «А се поучение дщерям: в послушании у мужа своего буди, чада, тиха и смиренна и кротка и весела...» (Требник. XVI - XVII вв. //РГАДА. Библ. арх. МИД. № 439/900. Л. 165).

5. ПоУО. С. 98.

6. Там же.

7. См.: Антология. С. 122. В Западной Европе признание необходимости образования и воспитания ребенка относится к позднему средневековью (Ронин В. К. Воспитание молодого аристократа в каролингское время // Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль: Исследования и материалы. М., 1990. С. 3–21); ПоУО. 98; Колесов В. В. Домострой // ПЛДР. Сер. XVI века. М., 1985. Гл. 15. С. 85; Прещение вкратце о лености и нерадении. XVI в. //Буш. С. 117.

8. Сильвестра из-за его рачительности упрекали не раз в «идеологии накопительства», «цинизме скопидомства», «бесповоротном эгоизме», «животном самолюбии» (см.: Святловский В. В. История экономических идей в России. Пг., 1923. Т. I. С. 29). ПоПиФ. С. 217.

9. Попытка выполнить Феодосием Печерским женскую работу – испечь просфоры – встретила осуждение его матери, прогнавшей будущего святого от печи. См.: Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911. С. 16- 17.

10. Русская Правда. Подг. текста А. А. Зимина // ПРП. Вып. 1. С. 42; Пушкирев Л. Н. Труд как основа общественно-социальных идеалов в традиционной волшебной сказке // Русское народно-поэтическое творчество. М., 1953. С. 127 - 150; Миненко Н. А. Указ. соч. С. 102; Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975. С. 71; Рейтенфельс. С. 139. Крестьянское хозяйство в России X – XVI вв. могло нормально функционировать лишь при наличии в нем и женских и мужских рук: в брак вступали «не столько по страсти, сколько по необходимости» (Семевский В. И. Домашний быт и нравы крестьян во второй половине XVIII в. СПб., 1876. С. 132), иными словами это выразила крестьянская поговорка «Для щей люди женятся, для мяса замуж идут». То же отношение к женщине в крестьянской семье отразила английская песенка XV в.: «Женщина – полезное существо, она служит мужчине днем и ночью» (цит. по: Women: from Greek to French Revolution. Ed. by S. G. Bell. Stanford, 1980. P. 165).

11. Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в

Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 40; Сообщения Загорского историко-художественного музея. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 12 - 15.

12. Барская Н. А. Образы жен-мироносиц у гроба // Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993. С. 114–115.

13. Полоцкий С. Труд II Полоцкий С. Избр. соч. Подг. текста И. П. Еремина. М.; Л., 1953. С. 15; Его же. Обед душевный. М., 1681. Л. 306 об. - 307.

14. Демин А. С. Активность литературных героев и деловая жизнь России второй половины XVII в. // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 190–195; Успенский А. И. Русский жанр ХУП века. Заметки к истории русской миниатюры II Золотое руно. 1906. № 7–9; Его же. К истории русского бытового жанра // Старые годы. 1907. Июнь; Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XVI до начала XVIII века. М.; Л., 1941. С. 90.

15. Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. I. С. 447 - 448.

16. Словарь. С. 152; Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964. С. 311, 312, 318.

17. Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Указ. соч. С. 125.

18. Домострой. С. 41; Ср.: Епифаний. С. 36. Вопр. 27.

19. Пушкарева Н. Л., Левина Е. (США). Женщина в средневековом Новгороде XI – XV вв. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. М., 1983. № 3. С. 78-89; Пушкарева Н. Л. Имущественные права женщин в Русском государстве X - XV вв. // ИЗ. М., 1986. Вып. 114.

20. В то же время сохранились документы пожалований и иных распоряжений недвижимостью, исходившие от цариц. Удаленные от обычной жизни, они тем не менее постоянно подписывали документы о дарениях, передаче в приданое и наследство «царицыных» сел – Измайлова, Покровского (ныне ул. Покровка), садов в Коломенском и Воробьеве, что требовало от их владелиц если не точных знаний, то хотя бы примерного представления о состоянии дел в вотчинах (ПРГ. Т. I. М., 1848. № 183, 186, 190, 195, 220, 228, 289 и др.).

21. Подробнее см.: Pushkariova N. The Russian Woman and Her Property and Legal Status. XVI c. // АШ institute Internazionale di Storia economia «Fr. Datini». Prato-Florenz, 1990. V. 21. S. 241.

22. Горсей. С. 260.

23. ПоК. С. 80.

24. Переписка кнг. П. А. Хованской с ее ключницей, которая сама себя называла «сиротой твоей Анницей», составляет значительную часть личного архива семьи Хованских конца XVII в. См.: Частная переписка. № 122–125. С. 401 - 403; № 150. С. 423 и др.

25. М. В. Голохвастову от дочери Федоры. Конец XVII в. // РО РГИМ. Ф.

401 (Михайловы). № 43. Л. 31.

26. Степану Корнильевичу от жены Ульяны. Конец XVII в. // РО РГИМ. Ф. 502 (Салтыковы). № 42. Л. 56 об.

27. М. П. Салтыкову вдова Устиныща. XVII в. // Там же. Л. 21 об.

28. Алексею Яковлевичу от жены Феклы. XVII в. // РГАДА. Ф. 1281 (Талызины). № 251. Л. 1–1 об. Ср. просьбу матери кн. В. В. Голицына кнг. Татьяны Ивановны «отписать» ей, как ей «сенными покосами промышлять», «против... грамотки не помешкав» (ВИМОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 34).

29. Котков С. И. Материалы частной переписки как лингвистический источник // Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII в. М., 1964. С. 11 – 12.

30. Ф. Неронов - Марье Федоровне. XVII в. // Ю РГБ. Ф. 29 (А. В. Беляева). № 1641. Л. 43.

31. Д. Пестров - сестре Катерине Калистратовне. XVII в. // Ю РГБ. Ф. 218. Кн. 975. № 35. Л. 1 - 1 об.

32. М.П.Салтыков- жене Авдотье. XVII в. // ЮРГИМ.Ф.502 (Салтыковы). № 42. Л. 24 - 24 об.

33. См., напр.: П. Ф. Малыгину от матери его Матрены Семеновны. Конец XVII в. // РО РГИМ. Ф. 502. № 42. Л. 56 - 56 об.; Грамотки. № 107. С. 63 – 64 и др.

34. Неустановленное лицо– неустановленному лицу. Конец XVII в. // ИПИРН-РЯ. № 58. С. 180.

35. И. И. Чаадаев – сестре А. И. Кафтыревой. Конец XVII в. Ц Частная переписка. № 164. С. 447. Ср. в другом его письме ей же: «...где есть моя рухлядь – вели держать за своею, государыня, печатью» (там же. № 166. С. 450).

36. В. Г. Толбузин - Ф. Д. Толбузиной. Конец XVII в. // ИПИРН-РЯ. № 149. С. 142.

37. Там же. № 171. С. 455; Грамотки. № 105-107. С. 63-64; № 116. С. 67 и др.

38. Т. Г. Голицына - В. В. Голицыну // ВИМОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 44.

39. А. И. Кафтырева – Богдану Ивановичу Камынину (?). Между 1659 и 1663 гг. // Частная переписка. № 171. С. 455.

40. Челобитные жен не только дворян, но и «среднего сословия» – кузнецов, подьячих – с просьбой о судебных разбирательствах по спорным вопросам об имуществе также представляют их постоянно занятыми устройством семейных дел. См., напр.: ПДП-XVII-ВлК. С. 198-200.

41. Да и как иначе оценить такую, например, ситуацию: «На нас напала Анна Ивановна Сверчкова, ухватила нашу скотину на прогоне, а в челобитной написала, будто мы ее стоги потравили, и по челобитью ее побрали ю в город...» – Челобитная крестьян д. Крылове от 13 ноября 1709 г. // Ю РГИМ. Ф. 201. № 39. Л. 14-14 об.

42. А. С. Маслова - Д. И. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИПИРН-РЯ. № 36. С. 100.

43. ИПИРН-РЯ. № 72. С. 112-113.

44. Подробнее см.: Kaiser D. Women's Property in Moscovite Families 1500 – 1725 // Papers, presented for Conference «Women in the History of Russian Empire». Kent. Ohio. 11- 14. 08. 1988. Kent (Ohio), 1988. P. 16.

45. См., напр.: «Пожалуй, вытаци нас из ада. Изволь побить челом...» и т. д. (А. Г. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 139. С. 415).

46. См., напр.: Д. И. Маслов - А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИПИРН-РЯ. № 72. С. 112 - 113.

47. ИПИРН-РЯ. № 140. С. 417.

48. ИПИРН-РЯ. № 145. С. 420 - 421.

49. ИПИРН-РЯ. № 147 - 147. С. 421 - 422.

50. П. И. Одоевская - В. В. Голицыну // ВИМОИДР. М., 1850. Кн. VI. С. 46 - 47.

51. ВИМОИДР. М., 1851. Кн. 10. С. 31 - 32, 33, 35, 40 - 41, 46, 47, 48 (цитированное), 53 – 55.

52. П. А. Хованская – П. И. Хованскому. Конец XVII в. // Частная переписка. № 10. С. 301.

53. У. С. Пазухина - С. И. Пазухину. Конец XVII в. // ИПИРН-РЯ. № 33 -34. С. 168-170.

54. См., напр.: Т. И. Голицына - В. В. Голицыну // ВИМОИДР. М., 1850. Кн. VI. С. 45.

55. Там же. С. 56. О другом protege, племяннике Василии Игнатьеве сыне Шепилова, мать кн. В. В. Голицына просила спустя несколько месяцев («чтоб ты его жаловал и был к нему милостив, помнима к себе Семена Ивановича добродетель»). См.: ВИМОИДР. М, 1952. Кн. 12. С. 33.

56. Елена Барова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 127. С. 405. Ср.: «пожалуй, матушка моя, будь печалница боярину князю Петру Ивановичу [на человека вашего Ивана Севергина. – Н. П.]. А на их слезы и глядеть невозможно: без остатку разорились...» (там же. № 129. С. 407).

57. ВИМОИДР. Кн. 10. С. 55. Аналогичные просьбы в письме сестры (И. В. Трубецкой) и золовки (Ю. Голицыной) В. В. Голицына. См.: ВИМОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 49.

58. ВИМОИДР. Кн. 10. С. 54.

59. ВИМОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 34.

60. ВИМОИДР. С. 41.

61. Буслаев Ф. И. Русская народная поэзия. СПб., 1861. С. 476 – 477.

62. «Первое – да не застанет вас солнце в постели, тако бо отец мои деяшет блашенный и все добрии мужи...» Поучение Владимира Мономаха. XII в. // ПВЛ. Т. I. С. 94.

63. Олеарий. С. 207 - 208; Костомаров. С. 123 - 124.
64. «Заутреню отдавше Богови хвалу – и потом солнцю восходящую, про славити Бога с радостию»... См.: ПВЛ. Т. I. С. 96.
65. Домострой. С. 19.
66. Ср.: ПоЕЛ. С. 309.
67. ПоУО. С. 100.
68. Завтрак не упоминается в большинстве фольклорных произведений, хотя само слово «заутрок» известно по «Слову о полку Игореве» (XII в.) [Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950. С. 28; Дубенский сборник правил и поучений XVI в. // Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. 6Д. Стб. 903]. Ср: Домострой. С. 47, а также: «рано ясти не изваживайся, понеже раннее ядение болезнь человеку наносит, и человек своего веку не доживет» (Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 71); Даль В. С. 802 – 820; Пушкирев Л. Н. Духовный мир русского крестьянина по пословицам XVII - XVIII вв. М., 1994. С. 122 - 144.
69. Лечебник. С. 522
70. Там же. С. 524 – 525; Костомаров. С. 124; Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 139; Епифаний. С. 33 - 38. Вопр. 43 - 44; Травник. С. 500 - 501.
71. См., напр.: Пчела. XV в. //РО РНБ. Ф. п. 1. № 44. Л. 134.
72. Домострой: С. 28.
73. Занятия слуг (дворни) работой не считались, и в устах хлебопашцев повседневная домашняя работа членов «семьи» оценивалась, как правило, низко: их звали «лежебоки», «дармоеды», «хлебогады», хотя они с утра до ночи «метались как угорелые» (см.: Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. СПб., 1860: б. 311 - 313).
74. Казанская история. Подг. текста В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1954. С. 100.
75. ПВЛ. Т. I. Под 1113 г. («княгине же много раздели богатство монастырем и убогим, яко дивитися всем человеком, яко такая милости никтоже не может творити...» – иронизировал летописец, подразумевая, что каждая княгиня должна быть благотворительницей. Ср.: Измарагд. XV в. // ПДРЦУЛ. СПб., 1897. Вып. 3. С. 70.
76. «Обещалася ты давать от имения своего пятаю долю страждущим, а ныне больше жаль стало? Или тем отдаешь, которые пропивают на вине процеженном, на романе и на реньском, и на медах сладких, и изнуряют в одеждах мягких? Горе тебе, неосмотрительно живущей!» (Письмо протопопа Аввакума к боярыне Ф. П. Морозовой 1668 – 1669 гг. // Барское Я. А. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. № 12. С. 33 – 35).
77. ПСРЛ. Т. Ш. С. 136; Т. IV. С. 421; Грамотки. № 44, 247, 249, 252, 255, 258, 268, 269- 271, 277, 278, 280, 281, 284; Московская деловая и бытовая

письменность XVII в. М., 1968. № 2, 4, 5, 11; «О бабе, которая о злом пане Бога просила» (1624 г.) // Памятники древней письменности. Т. I. СПб., 1878. С. 150; Фацеции. С. 54.

78. Stone L The Family, Sex and Marriage in England 1500 - 1800. London, 1977.

79. «Дому своему буди стройна, чадолюбива и всех поволи всем. Держи привет...» (Требник. XVII в. // РГАДА. Собр. А. И. Хлудова. № 120. Л. 425 -425об.); «Буде тиха ко всем, сиротам печалница. Больна посети, нища и жадна накорми, ко всем ласкова буди...» (там же. Л. 426); «Без вины не удари, повинна ранами не учащай – словом накажи. Хрестьян и сирот жалуй, о всех пекися и всем приветлива буди, а всех домашних по силе во всем доволи...» (Требник. XVII в. // РО РНБ. Погод. № 308. Л. 238об.).

80. Домострой. С. 28; ПоПЗК. С. 365.

81. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 157 – 158; Адрианова-Перети, В. П. Человек в учительной литературе Древней Руси // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. XXVII. С. 47.

82. ПоУО. С. 99-104.

83. В зажиточных семьях женщины, как правило, умели варить, шить, прясть, воспитывать детей, то есть имели навыки, позволяющие обеспечить себя и вырастить «чад», если семья окажется в нужде. К этому призывал и «Домострой», однако в действительности в обеспеченных домохозяйствах женщины должны были лишь смотреть за прислугой и контролировать порядок в доме (ср. также в Западной Европе: Klapish-Zuber Ch. The «Cruel Mother»: Maternity, Widowhood, and Dowry in Florence in the XIV – XV centuries // Women, Family and Ritual in Renaissance Italy. London; Chicago, 1985. P. 117; Kuhn Th. Women, Marriage and «Patria Potestas» in Late Medieval Florence//Revue d'histoire du droit 1981. V. 49. P. 127 - 147).

84. Литература о «теремном затворничестве», причинах и времени его возникновения огромна. См., напр.: Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12-ти т. СПб., 1816 - 1818. Т. 7. С. 133; Забелин И. Е. Домашний быт, 138- 139; Levy S. Women in 16th Century Moscovy // Midwest Slavic Conference. May, 3, 1980. Cincinnati (Ohio), 1980. P. 21; Kollman N. S. The Seclusion of Elite Moscovite Women // Russian History. Columbus (Ohio), 1983. V. 10. P. 2. P. 170- 171; Kucera Ct. U pramenii «domosrojevske» legendy // Bulletin Instituta ustavu Ruskeho Jazyku a literatury. 1963. V. VII. Prague, 1963. S. 113-120.

85. Гербершгейн. С. 110; Маржерег. С. 269; Принц. С. 62; Майерберг. С. 82; Рейтенфельс. С. 177; Дневник Маскевича (1594 – 1621) // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. СПб., 1859. Ч. 2. С. 51 - 53; Горсей. С. 260. В описании обычая женского затворничества в Московии иностранцы использовали характерный для путешественников прием –

инверсию, противопоставляя чужим обычаям свои, привычные, и не найдя объяснения «теремам», обвинили русских в подозрительном отношении к женщинам. Так же отнеслись в свое время крестоносцы к затворничеству женщин на мусульманском Востоке. См.: Лучиукая С. И. Быт, нравы и сексуальная жизнь крестоносцев // Женщина, брак, семья... С. 62 – 78.

86. Снегирев. С. 66.

87. Подробнее об отсутствии теремного затворничества в домосковской Руси см.: ЖДР. С. 102 - 103; Былины. Т. 1. М., 1958. С. 279; анализ причин возникновения затворничества см.: Kollmann N.S. Kinship and Politics. The Making of the Moscovite-Political System. Stanford, 1987. P. 150; eadem. The Boyar Clan and Court Politics: The Founding of the Moskovite Polical System // Cahiers du Monde russe et sovietique. P., 1982. V. 23. № 1. P. 5 - 31; Забелин И. Е. Указ, соч. С. 96 - 97; Горсей. С. 261, 268.

88. ПоСМ. С. 227.

89. Колмаков Н. М. Дом и фамилия графов Строгановых // Русская старина. 1887. № 3 - 4; Баронова В. Т. Дом боярина XVII века. М., 1930. С. 5.

90. В одной из челобитных 1691 г. приводится сообщение некоей Марьицы о том, что «промеж улиц Выползовой и Дмитревской, в пустом проулке», когда она «з товаром» возвращалась с базара, Максимка Скрыпин ее «изнасиловал блудно», «а товару на пять рублей грабежем взял». Обвиняемый – судя по документам очной ставки – вину свою отрицал, говорил, что Марыща на него «поклепала», но нашлись очевидцы, видевшие последствия кровавой разборки («рожа у нее [Марьицы. – Н. П.] изодрана и в снегу вываляна», а товару у нее осталось лишь «кузов да три очельица»). ПДП-ХVII-ВлК. С. 213 – 214.

Подтверждением распространенности участия горожанок в торговой деятельности их мужей являются сообщения Г. Шлейссингера (назвавшего «пустой басней» утверждение о том, что русские девушки «вообще не смеют показаться публично», и описавшего большой рынок, находившийся перед стенами Московского Кремля, где среди торговцев было немало женщин) и чешского иезуита Иржи Давида: «женщины появляются, где много публики и притом в большом количестве. Сидят на лавках, продают шелка, ленты и так далее, разгуливают в шубах, плавно шествуют в высоких башмаках...» (Шлейссингер. С. 109; Давид. С. 141).

91. Маргиналии (приписки) – несмотря на их запрет [«руки обобьют, хто будеть в книжках писати дурно» – Петров Н. И. Описание рукописных собраний. СПб., 1896; Вып. П. М., 1904. Вып. Ш. С. 114. Шифр 118. Ед. хр. 6 (переплет)] могли бы быть прекрасным источником, характеризующим частную жизнь, но комплекс их скуден (см.: Тихомиров М. Н. Записи ХTV – XVI вв. на рукописях Чудова монастыря // Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960).



92. РГАДА. Ф. 381. № 174. Л. 31об. - 34, 123об.

93. «Комнаты для женщин строятся в задней части дома, и, хотя есть к ним вход с двора по лестнице, ключ хозяин держит у себя, так что в женскую по-ловину можно пройти только через его комнату» (Маскевич. Указ. соч. С. 53). В иных описаниях женские терема представлены отдельными строениями с переходом в «мужской терем» по второму этажу и собственным выходом во внутренний дворик, «отгороженный таким высоким палисадником, что разве птица перелетит через него». На этом небольшом, отгороженном от людских глаз пространстве княгини, княжны, боярыни и их служанки прогуливались и забавлялись, качаясь на качелях.

9.4 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 24 - 29.

95. Снегирев. С. 117.

96. «Billet doux» подьячего приказной избы//Начала. Пг., 1921. С. 204; Любовные письма подьячего Арефы Малевинского // ТОДРЛ. М., 1962. Т. XVIII. С. 365 - 369.

97. Дело Устюжского Архиепископского разряда между тотемцем Арефой Малевинским и тотемским дьяконом Михаилом Федотовым. 1686 г. // Ю РНБ. Собрание Зинченко. № 981. Л. 1 - 39.

98. Там же. Л. Зоб. В начале XVII в. годовой денежный оклад дворянина не превышал 14 рублей. См.: Бакланова Н. А.К. вопросу о датировке «Повести о Фроле Скобееве»//ТОДРЛ. М., 1957. Т. XШ. С. 515.

99. Демократическая поэзия XVH в. М.; Л., 1962. С. 101.

100. Покровская В. Л. История о российском дворянине Фроле Скобееве // ТОДРЛ. Л., 1934. Т. I. С. 422 - 423; Памятник литературы XVTI в. // Хрестоматия по древней русской литературе XI - XVH вв. М., 1952. С. 431,448,485.

101. Некий Амвросий, чтобы проникнуть в терем к девице, потребовал, «влезши в скрыню, себе замкнута и тое скрыню посгавити во ложницы». Это позволило ему после видеть «под левым сосцем» женщины «борадавку с некоторыми власы лисоватыми» и шантажировать этой информацией ее мужа (ПоК. С. 83). Есть и еще один герой, годящийся в «товарищи» Арефе и Фролу – некий безымянный донжуан, сумевший «прикорми[ть] себе мастера хитра», дать ему «злата много» и «повеле[ть] ему сотворити под терем вход тайный из двора своего». Когда подкоп был «сътворен», герой – в лучших традициях современных боевиков – «мастера того кинул в море» и «прииде в терем с великим желанием». ПоСМ. С. 227.

102. ПоФС. С. 55-64.

103. Майерберг. Указ. соч. С. 84.

104. Хлебникова Н. А. Малоизвестные произведения мастерской Софы Палеолог //Памятники культуры: Новые открытия. 1976 г. М., 1977. С. 197.

105. ПоСМ. С. 227.
106. Олеарий. С. 189.
107. Семенова. С. 18, 162.
108. См., напр.: МосДиБП. № 16. С. 53 (1634 г.); № 36. С. 62 (1641 г.); № 37. С. 62 (1641 г.); № 38. С. 62 (1642 г.).
109. МосДиБП. № 43. С. 64 (1642 г.).
110. Бунташный век. Сб. документов. М., 1983. С. 540 – 541 («а иных девиц и вдов царица и царевны выдают замуж за стольников, за стряпчих...»).
111. ПРН-РЯ. № 173. С. 95 (19 сентября 1680 г.).
112. ПДРВ. Т. IX. С. 129; Моисеева Г. Н. Казанская царевна Сююн-бике // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. ХП. С. 185; Сочинения князя Курбского//РИБ. СПб., 1914. Т. XXXI. С. 117.
113. Моление Даниила Заточника // ПЛДР. ХП в. М., 1980. С. 398; Слово о купце и сыне его и жене сыновне. Первая полов. XVII в. // РО РГБ. Погод. 1571. Л. 62.
114. «Подругам буди любовна, пряма, а не упряма...» (Требник. XVII в. // РГАДА. Собр. А. И. Хлудова. № 120. Л. 426).
115. Даль 2. С. 417.
116. «И жену его, и сноху всякими непотребными словесы лял и кукиш из-под колена казал...» [МосДиБП. № 11 (отд. 5). С. 232 (1629 г.)]. Если оклеветанный мог доказать ложность обвинений, за клевету можно было потребовать огромное материальное возмещение (например, в одной из грамот встретила сумма в «100 рублей» [см.: МосДиБП. № 32 (отд. 4). С. 164 (15 марта 1694 г.)], что доказывает значимость слова в частной жизни женщин и вообще людей того времени.
117. МосДиБП. № 83. С. 87 (1674 г.).
118. Челобитье вдовы Феколки // МР. С. 348 (6 мая 1686 г.). Ср. также: Челобитье сапожника Ф. Трофимова// МР. С. 349 (1686 г.).
119. МосДиБП. № 16 (отд. 5). С. 235 (1641 г.).
120. Домострой. С. 41 - 43; ср.: Пролог ХТV в. // РГАДА. Ф. 381. № 158. Л. 170об.; Пчела. XV в. //РО РНБ. Ф. п. 1. № 44. Л. 135 - 135об.
121. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 1.
122. Домострой. С. 46 - 47; Рабинович., С. 199.
123. «Осмотрети стол, скатерь белу стлати, хлеб, соль, лжицы, талеры со-брати; ножи и вилки в платы разложить, воды принести, руки доле измыти» (Истомин Карион. Домострой (конец XVII в.) // Летопись занятий Археографической комиссии. 1862 - 1863. СПб., 1864. Вып. П. С. 127).
124. А. С. Маслова. - Д. И. Маслову. Март 1690 г. // ИПИРН-РЯ. № 35. С. 99.
125. Подробнее см. главу «Сугуба одеянья сотворя...» (ЖДР. С. 155 – 188).
126. «...послала я тебе пятнадцать каралков белых, тебе бы велеть

сделать по[у]гвицы на тот подбей, что у тебя на соболе шубе» (Частная переписка. № 119. С. 400; см. также № 120. С. 401); «послала я круживца на сорочку княжне Наталье Петровне»... (Там же. № 126. С. 404); «послала я шесть пода брусничков тафтяных, совсем отделаны, и ты вели отписать, матушка, все ли на оба лица стегать или с подкладочками и колько с задками?..» (Там же. № 130. С. 407), «купи канители да блесток белых и красных» (Там же. № 131. С. 409); «купи, пожалуй, Аграфене тканицу да Фекле обрезкав атласных, купи мне тилагрею тонкаю...» (ИПИРН-РЯ. № 35. С. 99); Грамотки. № 106. С. 63 и др.

127. НГБ (1952). С. 44 - 45; 66; НГБ (1953 - 1954). С. 40, 59 - 60, 75; НГБ (1958 а- 1961). С. 50 - 52, 58, 61, 84, 89; НГБ (1962 - 1976). С. 132 - 134.

128. Иван Иванович Чадаев – Анне Ивановне Кафтыревой. Конец XVII в. //Частная переписка. № 166. С. 449.

129. Архив РГО. Собр. 7. № 25. Л. 44 - 52; Котошихин, С. 118 - 199; Олеарий. С. 206.

130. МосДиБП. № 18. С. 54 (1635 г.).

131. Русская демократическая сатира XVII в. М.; Л., 1954. С. 114- 115; Хрестоматия. С. 422, 448, 464 и др.

132. МосДиБП. № 60. С. 73 (1663 г.).

133. Флетчер. С. 122; Герберштейн. С. 216 - 218; Олеарий. С. 204.

134. Похилевич Д. Л. Бюджет крестьян Белоруссии в XVI в. // История СССР. 1972. № 1. С. 155.

135. ЖСР. С. 268.

136. В привилегированном сословии родился и обычай тостов во время хмельного питья. Летописи упоминают о нем уже в 1065 г. («Княже, хочю на тя нити! – оному же рекшю: пей!»). ПСРЛ. Т. I. С. 97.

137. Авдотья Михайловна – Ф.Д. Маслову. Отрывок письма конца 1690-х гг. //ИПИРН-РЯ. № 90. С. 121.

138. Епифаний. С. 39. Вопр. 98. С. 40. Вопр. 118; Олеарий. С. 203; Герберштейн. С. 103.

139. «...и жена его, Ирина, в трудех и в посту чуть жива ходит...» (Сказание о царе Василии Константиновиче. XVII в.) //ПЛДР. XVII (1). С. 442.

140. Дело о комнатной бабке М. Тимофеевой, которая хотела украсть гриб с серебряного блюда. 13 августа 1671 г. // МосДиБП. № 20 (отд. 5). С. 286 -287.

141. «Во излишнем питании зубы заржавелыя, ланиты обрызглый, очи помраченный, сны ужасныя, забвение разума, старость прежде доволных лет». См.: Епифаний. С. 40. Вопр. 101; Пчела. XIV в. // РО РНБ. Ф. п. 1. № 44. Л. 404 («О чрес сытости чреву угажающе»). Ср.: Далц. С. 802 – 813.

142. Копиевский И. Ф. Введение краткое во всякую историю. 1699 г. // Антология. С. 353.

143. См., напр.: Маржерет. С. 147; Олеарий. С. 190 - 192.
144. См. подробнее: Пушкарева Н. Л. Женщина в древнерусской семье X – XV вв. // Советская этнография. 1988. № 4. С. 24.
145. Примечательно, что житийный образец настаивал не только на вреде пьянства для беременных, но и вообще излишнего питья – это соответствует современным рекомендациям нефрологов. См.: ЖСР. С. 266.
146. Скрипиль М. О. Нравоучительные повести и духовные стихи // ИРЛ. М.; Л., 1948. Т. П. Кн. 2. С. 289.
147. Домострой. С. 251.
148. Дело по обвинению П. Высотского 1657 г. // РГАДА. Ф. 141. Оп. 3. 1657 г. Л. 1 - 36; МосДиБП. Отд. 5. № 18. С. 277 - 279.
149. Олеарий. С. 190; Костомаров. С. 177.
150. Даль, С. 794 - 794, 800-801.
151. «Аще в сонмищи или в шинках с блудницами был и беззаконствовал – таковой 7 лет да не причастится» – пугали исповедные сборники (Сборн. рук. XVII в. // РО РНБ. № Q.1. 235. Л. 27 - 27об.), но число посетителей «сонмищ» (борделей) не уменьшалось.
152. Афанасий Никитин. Хождение... С. 64; Новгород или Псков XVI в. // ЧОИДР. 1881. Ч. 2. Прил. XXIV. С. 76- 77; Памятники истории великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1935. С. 69 (о рынке, где можно было купить «женку за кусок или два серебра»; «Ты везде в Москве увидишь... женщин, крашенных, как кукол, блядей, водку и чеснок», см.: Олеарий. С. 153, 210. О профессиональных «блудницах» см.: Повесть о путешествии Иоанна новгородского на бесе // Изборник. М., 1969. С. 409). О сводницах: ПСЗ. Т. П. № 1266. С. 901 - 902, 903.
153. Новгород или Псков XVI в. / ЧОИДР. 1881. Ч. 2. Прилож. XXII. С. 72.
154. МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 241 (1641 г.).
155. Коллинз. С. 21.
156. Олеарий. С. 207 – 208. По тому, что Лжедмитрий не спал в полдень, полагал Олеарий, москвиты догадались, что он не русский.
157. «Спанье есть от Бога присуждено полудне, от чина (т. е. от службы, работы. – Н. П.) почивает и зверь, и птицы, и человеки. Посему он советует детям (а женам? – Н. П.) это отдохновение по исполнении утренних дел...» – ПоЕЛ. С. 101.
158. Там же. С. 108; ср. в пословицах: «Баня парит, баня правит, баня все поправит», «Когда б не баня– все б мы пропали», «Баня– мать вторая», в присловьях: «Игагонница поспела, ерохвоститься пора» (Даль, С. 583 – 584).
159. Колесов В. В. Лечебники и травники // ПЛДР. Конец XVI – начало XVII в. М., 1987. С. 610.
160. Лечебники и травники... С. 522 («В баню ходим не ради холода и стылости...»); РИБ. Т. VI. С. 41; Русские свадебные записи //Сборник РИО. Т.

XXXV. С. 187. Устройство «мылни» и обычай «баенной воды» в свое время немало удивил польку Елену Глинскую, но она вынуждена была ему подчиниться. См.: Кагаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1929. Т. 8. С. 171 – 173.

161. ПоПЗК. С. 366.

162. Челобитная кадашевцев Ф. Ф. Реброва и Я. И. Черниговцева на осквернение общего колодца строительством бани В. Савиновым и С. Куприяновым [МосДиБП. № 49. С. 67 (1649 г.)] позволяет живо представить материальный быт русских горожан середины XVII в., открытость друг для друга их частной жизни.

163. Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 129; Рабинович С. 126 - 131; Забелин. С. 366 – 381; Котошихин. С. 12; Фальковский Н. И. Москва в истории техники М., 1950. С. 163 – 166; «Нагишом стоят пред баней, жрут без меры, в полдень спят» (Олеарий. С. 210).

164. Укреплению организма, в том числе женского, способствовал и особый тип устройства изголовья у кроватей допетровского времени: он всегда делался жестким. В письмах Дж. Горсея упомянуто, что московиты «под голову свое седло приносят», и удивлялся, «зачем так плохо спать, когда в избытке птицы и перо легко собрать». Для себя и читателей иноземец объяснил странный обычай тем, что русские «боятся удовольствия, которое получают их тела» (Горсей. С. 254).

165. Олеарий. С. 209, 297 - 210; Устав благочиния 1782 г. // ПСЗ. Т. XXI. № 15379. С. 465; ПВЛ. Т. I. С. 12.

166. Котошихин. С. 15 (даже царские роды принимались в бане); см. также: ПСЗ. Т. I. № 467. С. 833 (указ 17 аир. 1670 г. «о предосторожности огня» в избах и банях). Грицкевич В. П. С факелом Гиппократ: Из истории белорусской медицины. Минск, 1987. С. 51 – 52.

167. ПРГ. СПб., 1848. Т. I. С. 5 (в письме Василия Ивановича к жене Елене Глинской содержится просьба посоветоваться с «бабами» о том, как можно вылечить гнойный желвак у их маленького сына Ивана).

168. ПоУО. С. 100.

169. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 141.

170. Апокрифические молитвы XV в. // Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. С. 355 – 366. Сборн. рук. Кир.-Белоз. б-ки. XV в. // Ю РНБ. Q. п. 2. № 6/1083. Л. 112об.; ПДРЦУЛ. Вып. 2. С. 190 -196; Русские святые женщины и подвижницы. СПб., 1909; Трофимов А. Святые жены Руси. М., 1993; Полоцкий Симеон. Избранные сочинения. М., 1953. С. 38 - 39.

171. Одна из волховниц середины XVII в. призналась на пыточных расспросах, что она «лечит» грыжу так: «наговаривает на громовую стрелку да на медвежий ноготь, да с тоя стрелки и с ногтя дает пить воду,

а приговариваячи говорит: как де ей, старой женке, детей на раживать, так бы де у того та грыжа и болезни не было» [МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 243 (1641 г.)].

172. Пушкарев Л. Н. Древнерусский лечебник // Редкие источники по истории России. Вып. 1. М., 1977; Травник XVI в. // Флоренский В. М. Русские простонародные травники и лечебники XVI и XVII вв. Казань, 1879.

173. ПРГ. Т. I. С. 5 - 63.

174. Авдотья Михайловна - Ф. Д. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИПИРН-РЯ. № 89. С. 121; среди наузных (т. е. наговорных, волшебных) средств лечения горла в одном из пыточных речений наузницы Ман[ь]ки упомянута «жаба во рту», которую особым образом «приговаривали». См.: МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 241 (1641 г.).

175. ЖДР. С. 33 - 35; ПоПиФ. С. 222.

## **II. «МИЛОСТЬ СВОЮ МАТЕРИ ПОКАЖИ, НЕ ЗАБУДЬ...»**

### ***Семейный аспект частной жизни женщины: материнство и воспитание детей***

1. О понятии исторической долговременности см.: Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977. С. 122; Le Roy Ladurie E. Histoire immobile. Lecon inaugurate au Colleege de France // Le Roy Ladurie E. Le territoire de l'historien. Т. П. Paris, 1978; об отнесении истории материнства к понятиям longue duree см.: Badinter E. L'amour en plus. Histoire de l'amour maternel (XVIIe– XXe siecle). Paris, 1980.

2. Некоторые публикации работ российских специалистов, касающиеся истории детства, см.: Антология. С. 256 – 269.

3. Аналогичная картина наблюдается специалистами по истории детства в Западной Европе. См.: Aries Ph. L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime. Paris, 1973; Herlihy D. Medieval Children//Essays on Medieval Civilisation. Austin (Texas), 1978. P. 114- 120; De Mause L (Ed.). The History of Childhood. New York, 1974; Ozment S. E. When Fathers Ruled: Family Life in Reformation Europe: Family Life in Reformation Europe. Cambridge, 1983; Martin J., Nuschke O. Zur Socialgeschichte der Kindheit. Freiburg; Munchen, 1986 etc.

4. Herlihy D. Op. cit. P. 114.

5. ЖДР. С.95-98.

6. РИБ. Т. VI. С. 42; ср.: Требник XIV в. // РГАДА - Чуд. № 5. Л. 71об.; Riche P. Education et culture dans l'Occident barbare. Ve - VET siecles. Paris, 1962. P. 500-501.

7. О «взрослости» детского облика свидетельствует вся иконография Богородицы домосковского времени, а также редкие книжные

миниатюры – например, изображение княжеской семьи в «Изборнике Святослава» 1073 г. См.: ЖДР. С. 65 (вкл.); это наблюдение было давно сделано и на западноевропейских иконографических материалах, например, Ф. Гарнье (F. Gamier). См.: Бессмертный Ю. Л. Дети и общество в средние века // Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980. С. 283. В то же время К. Клапиш-Зубер неоднократно подчеркивала, что «растущее внимание к супружеству, семье и детям» – «примерно с XIII в.» (сфера ее интересов – Италия и отчасти Франция) – было тесно связано с культом Девы Марии, «феминизацией» через него ментальности. Изменение взглядов на детство, с ее точки зрения, коснулось вначале материнства и эмоциональной связи матери с младенцем, и лишь позже, с XIV в., появились изменения в отношении к детям старше 7 лет. См.: Clapish-Zuber C. Les Toscanes et leurs families...

8. В русском фольклоре нет сказочных сюжетов, подобных немецкому о Гензеле и Гретель, оставленных родителями в лесу. Лишь в патериках можно найти эпизоды, в которых коварная мать не щадит собственных детей (см.: Тимошенко И. Е. Литературные источники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок. Киев, 1897. С. 66; Титова Л. В. Беседа отца с сыном о женской злобе. Новосибирск, 1987. С. 117). Сравнительная распространенность убийств, заклада, продажи детей – если допустить ее, основываясь на нормативных источниках, – объяснялась, помимо социально-экономических причин, избыточными воспроизводственными возможностями, а позже (XIV – XV вв.) – сложностью расторжения брака при одновременном нормативно-идеологическом осуждении бастардов и запретительности (со стороны церкви) внебрачных связей. Обратную ситуацию – слабую распространенность детоубийства со стороны матерей в эпоху средневековья – можно наблюдать на Пиренеях в условиях Реконквисты (до XIII в.). См.: Da Cruz Coelho M. H., Ventura L. A mulher como um bem e os bens da mulher. Coimbra, 1986. P. 8 – 11; Варьяш О. И. Брачное право в Португалии XII в. // Женщина, брак, семья... С. 78 - 83.

9. Даль 2. С. 298; Мартынова А. Н. Отражение действительности в крестьянской колыбельной песне // Русский фольклор: Исследования и материалы. М., 1975. Т. XV. С. 145 – 146. В то же время, тонкое по сути, но грубое по выражению наблюдение выражено в эротическом присловье «Богатый тужит, что хуй не служит, а бедный плачет, что хуй не спрячет» (СС. С. 44), отразившем стремление к многодетности в аристократических слоях общества и непо- сильность ноши многочадия в семьях простолюдинов.

10. Пчела. С. 222; Даль;. С. 384; Слово некоего христороубца о покорении и послушании. XIII в. // Никольский Н. К. Материалы для

истории древнерусской духовной письменности. Сборник ОРЯС. Т. 82. СПб., 1907. С. 113.

11. Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 19. СПб., 1887. С. 155. По Уложению 1649 г. дети не имели права жаловаться на родителей (в предыдущих кодексах этот вопрос вообще не ставился), убийство их каралось всего лишь годом тюрьмы, в то время как убийство родителей – «казнью безо всякой пощады». Это неравенство было устранено только в 1716 г. См.: Семенова. С. 118–119. См. также резкую оценку русских семейных отношений до начала XIX в. в статье П. Данна (Dunn P. «That Enemy was the Baby»: Childhood in Imperial Russia // The History of Childhood. Ed. by L. de Mause. New York; London; San Francisco, 1974. P. 388).

12. Беседа. С. 492; Сборн. рукопись 1482 г. // РО РНБ. Кир.-Бел. № 6/1083. Л. 97 - 99.

13. Об употреблении в русских крестьянских семьях каких-либо иных методов контрацепции, кроме аборт и зелий, нет данных. Деревня и в XIX в. жила по принципу «отцы и деды наши не знали этого, да жили же не хуже нашего» (Минх Н. А. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890. С. 13). Никаких «противозачаточных тампонов, кондомов из бычьих кишок и часто использовавшегося *coitus interruptus*», обнаруженных в исповедных сборниках XVII в. исследователями истории сексуальной этики в католических странах (Фландрен Ж.-Л. Семья: родня, дом, секс при «старом порядке» // Идеология феодального общества в Западной Европе: Проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980. С. 260 – 272), в Московии, да и позже, известно не было (за исключением крупных городов).

14. Борис Годунов, отчаявшийся от нескольких неудачных родов сестры выписал для нее «дохтура» из Англии, который, не рассчитывая на дозволение личного осмотра, попросил лишь изобразить Ирину, указав, в каких местах она испытывает боли. Разгневанный царь потребовал немедленно выслать за это «развратника и проходимца» (Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1986. С. 114). Обратный пример: в. кн. Софья, ж. в. кн. Ивана Ш, мечта о наследнике, не раз обращалась к «бабам», пока, наконец, «священнолепный инок» Сергей чудесным образом не «вверже в недра великой княгини» отпрыска (ПСРЛ. Т. XII. С. 190).

15. Закон о казнях. XIII в. // Павлов А. С. Книги законныя, содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы. СПб., 1885. Ст. 56. С. 75. [Сборник ОРЯС. Т. 38. № 3.]. Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs. 900 - 1700. Bloomington, 1989. S. 175 - 178; Вопросы и ответы пастырской практики. XVI в. // РИБ. Т. VI. С. 862. Ст. 28; Schmitz H. J.



Die Bussbücher und die Bussdiscipline der Kirche. Mainz, 1883. S. 411; Rouche M. Haul Moyen Age occidental // Histoire de la vie privée. Paris, 1985. T. 1. P. 447; Manselli R. Vie familiale et éthique sexuelle dans les pénitentiels // Famille et parenté dans l'Occident médiéval: Actes des Colloques. Rome, 1977. P. 367, 369. В судебных делах конца XVII в. можно встретить жалобы жен на битье мужей, в том числе в период беременности, «и ныне у меня от того битья младенец в брюхе трепещется», – жаловалась одна из них. См.: РГАДА. Ф. 159. Дела новой разборки. Д. 1351. Л. 58 (1697 г.).

16. Многие из «знахарских» средств содержали действительно необходимый при лечении бесплодия токоферол, а, например, отвар крапивы и по сей день используется в медицине при гинекологических кровотечениях. Заклинанием древнерусских наузниц были простые слова: «Ангел-хранитель, утиши в младенце сем, у кого объявится болезнь сия», после чего колдуньи «наговоривали на воду» да «жаб во рту давили с теми же словы» – МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 243 (1641 г.).

17. Пушкарев Л. Н. Древнерусский лечебник. С. 70; ЖДР. С. 95; Требник XV в. // РО РНБ. Ф. п. 1. Собр. Софийской б-ки. № 1083. Л. 36Об. - 361. «Едала ли еси детину пупорезину детей хотячи». 1482 г. // Там же. Q. п. 2. № 671083. Л. 97 - 97об.

18. ПоПиФ. С. 222.

19. Требник XIV в. // РГАДА. Чуд. № 5. Л. 71об. - 72. См. также: ЖДР. С. 85 – 88; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М., 1947.

20. ПСРЛ. Т. I. С. 593.

21. Словарь. М., 1986. Т. XI. С. 241.

22. ЖСР. С. 268; Физиолог. XV в. // Карнеев А. Материалы и заметки по литературной истории. Физиолога. СПб., 1890. С. 281; Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. Старообрядческий трактат против самосожжения. Сообщ. Хр. Лопарева. СПб., 1895. С. 25 (1691 г.).

23. В этой связи современному читателю может быть любопытно то, что и три столетия назад женщины считали более безопасным рожать в столице, а не в провинции, хотя опасения о том, что именно «лутче» – в связи с ужасным состоянием дорог, – для многих женщин были весьма серьезными. См.: А. Г. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 132. С. 410; № 138. С. 414.

24. Даль 2. С. 378-379.

25. «В ночи велею Божиею женишка моя Евдокеица не розродилась и умре скорою смертью без покаяния и без причастия», – жаловался крестьянин в одном из писем, прося разрешения «беспенно погресть у церкви». См.: ПДП-ХУП-ВлК. С. 212.

26. РИБ. Т. VI. Ст. 60. С. 116; Чечулин Н. Д. Города Московского государства в XVI в. СПб., 1889; Рабиновичэ. С. 180.

27. А. Ф. Хованская – П. И. Хованскому. Конец XVII в. // Частная переписка. № 4. С. 297.

28. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. По русским рукописям 1095 - 1097 гг, Труд В. И. Ягича. Изд-во ОРЯС АН. СПб., 1886. С. 450; ЖДР. С. 112; Pushkareva N. Was the XVI л a Turning Point ? // La donna nell' economia. XXI seffimana di studi institute Internazionale di storia economia. Prato, 1989. P. 70- 74; ПРП. Т. I. РП, Ст. 106. С. 119; Псковская судная грамота. XIV в. //ПРП. Т. П. Ст. 53. С. 293.

29. ПСРЛ. Т. I. под 1178, 1187 и 1198 гг. Наиболее распространенные женские славянские имена: Пред слава (1104, 1116 гг.), Болеслава (1166), Всеслава (1197), Звенислава (1142), Ярослава (1187), Сбыслава (1178), Верхуслава (1137, 1187); норманские- Ольга (1150), Рогнеда (1168), Малфрид (1167). См. подробнее: Погодин М. О частной жизни князей в древности // Москвитянин. 1853. № 11 (июнь). Кн. 1. С. 66 - 67.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

30. ПСРЛ. Т. I. С. 443 (под 1187 г.).
31. См., напр.: ПСРЛ. Т. П. Под 1136 г. С. 432. Родственниками по матери, выдвинувшимися на крупные государственные посты в X в., были Олег и Игорь Старый, Добрыня и Владимир Святославич. Значимость материнского родства является, возможно, следствием скандинавских влияний. См.: Пчелов Е. В. Скандинавская женщина в сагах и русская княгиня в летописях // Национальный эпос в культуре. М., 1995. С. 48 – 52.
32. «Почиташе мати своя зело и повинуюся ей во всем» (ПоТОм.С. 113).
33. ПДРЦУЛ.СПб.,1897.Вып.Ш.С. 126,127;Дальг-Т. П.С. 308 («матерство»).
34. См., напр.: ПСРЛ. Т. VI. С. 195, 224, 231, 235.
35. УЯ. С. 269; РП//ПРП. Вып. I. Ст. 106. С. 119.
36. НТВ (1962 - 1976). № 415. С. 231.
37. ПСРЛ. Т. Ш. С. 54; Т. V. 182; Т. VII. С. 152.
38. ДАЙ. Т. I. С. 10 (1455 г.).
39. Повесть об Ионе, архиепископе новгородском // ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 354.
40. См. подробнее: Лихачев Д. С. Изображение людей в летописи XII – XIII вв. // ТОДРЛ. Т. X. М., 1954. С. 40; Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955. С. 120, 264 и др.
41. De Маше L. The Evolution of Childhood // History of Childhood Quarterly. Spring, 1974. V. 1. P. 505.
42. Де Моз критиковался главным образом за «независимость» его построений от социально-экономических факторов, за не всегда четкое понимание различий между практикой воспитания и ее символизацией в культуре, европоцентризм. См.: Benton J. F., Shorter E. Comments to the Programm «The History of Childhood» // History of Childhood Quarterly. Spring, 1974. V. 1. P. 593 - 596.
43. ПРГ. Т. I. № 5. С. 5 (1532 - 1533 гг.).
44. Антология. С. 322 - 323.
45. ПРГ. Т. I. № 3. С. 3 (1530 - 1532 гг.). В другом письме автор в. кн. Василий Иванович выражает беспокойство болезнью сына Юрия, которую ему «напрямки» описала жена («Юрьи сын попысался, а спуск крепок, черн») и просит «отписывать», «как его станет Бог миловати» (Там же. № 4. С. 3 (1530 - 1532 г.).
46. См.: Колесов В. В. Домострой как памятник средневековой культуры // Домострой. С. 341.
47. РО БАН. 16. 14. 14. Л. 21 - 21об; ПСРЛ. Т. П. С. 231 - 248 (под 1097 г.), 652- 659 (под 1187 г.); РИБ. Т. VI. (31). С. 242 - 243 (1404 г.); Домострой. С. 228; «Мать, умей детей любить, чтоб их души не сгубить», «Замахнись – да не ударь, подыми руку – да опусти!», «Не все таской, ино и лаской», «Родная мать высоко замахивается, да не больно бьет», «Мать и бия не бьет», «Три раза прости, в четвертый прихворости», «Что мать в голову вобьет, того отец не выбьет» (Дети. С. 136 - 137, 141).
48. Симони. С. 147.
49. ПоГЗ. С. 29.
50. Дети. С. 135:
51. См. подробнее: Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV - XVII вв. Изд. 2-е. СПб., 1894. С. 13 - 14, 21.
52. Такую оценку целей воспитания по «Домострою» дал в свое время В. О.

Ключевский, настаивавший на том, что с помощью розги («жезла») и «нравственной узды» Сильвестр предлагал «выбивать автоматическую совесть». См.: Ключевский В. О. Два воспитания // Ключевский В. О. Очерки и речи. М., 1913. С. 243.

53. ЖСР. С. 268 («зело непечално рожество приимши, възвеселишася, славяща и благодаряща Бога, давшаго има таковой детещ»); Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993. С. 52 – 53. До XVII в. в проповеди идей семейной и сексуальной этики на переднем плане был акцент на предпочтительность целибата и аскетизма, а со второй половины XVI в. – акценты изменились, и в сознание прихожан стала в большей степени внедряться идея необходимости целомудренного супружества и воспитания детей в рамках благочестия. См. подробнее: Пушкарева Н. Л. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизме: перспективы сравнительного подхода// ЭО. 1995. № 3. С. 56 - 70.

54. Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Пг., 1915. Т. 2. С. 35 - 37.

55. Барская Н. А. Сюжеты и образы... С. 126 – 127; Алпатов М. В. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. М., 1977.

56. ПоУО. С. 100

57. Даль, С. 379.

58. Письма Е. П. Урусовой//ПЛДР. XVII (1). С. 590.

59. Соколов Н.К характеристике половой деятельности женщины-крестьянки северо-восточного угла Московского уезда // Протоколы и труды IV Московского губернского съезда врачей. М., 1880. С. 15; Дети. С. 16; Кузнецов Я. Положение членов крестьянской семьи по народным пословицам и поговоркам. СПб., 1904.

60. 14-летняя жена Андрея Болотова, автора мемуаров XVIII в., когда умер их полугодовалый первенец, приняла эту смерть как неизбежность, надеясь, что новая беременность поможет «забыть сие несчастье, (уде се несчастьем назвать можно» (Болотов. С. 644). Такое же отношение к детям до XVII в. подчеркивалось Ф. Лебреном, в частности, на конгрессе «Дети и общество» (Париж, 1971 г.). См.: Annales demographic historique. 1964. Enfant et societes. Paris. 1973. P. 342.

61. Дети. С. 122.

62. ПоУО. С. 101.

63. А. Т. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 132. С. 410.

64. Д. Ларионова - И. С. Ларионову // ИпИРН-РЯ. № 6. С. 65 (1696 г.).

65. А. С. Маслова - Ф. Д. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. №111. С. 129.

66. Пчела. XV в. //РО РНБ. Ф. п. 1. № 44. Л. 72об.; противопоставление материнской любви небрежению отца или равнодушию окружающих хорошо заметно в пословицах: «Хоть дитя криво, да матери мило», «Материна дочь – отцова падчерица» (Даль 2. С. 382 – 385).

67. Аввакум. Послания, челобитные, письма. Конец XVII в. // ПЛДР. XVII (1). С. 575.

68. А. Г. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 132. С. 410; № 137. С. 413; П. И. Хованский - П. А. Хованской. Конец XVII в. // Там же. № 12. С. 303; Письмо Е. П. Урусовой сыну // ПЛДР. XVII (1). С. 587 – 589. Все эти письма исходили от представителей дворянских фамилий; о том, как общались в письмах «простецы», данных нет.

69. ПРГ. Т. II. С. 1.

70. Е. Ушакова - А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 80. С. 116.

71. Повесть о рождении и похождениях Соломона// ПЛДР- XVII (1). С. 455.

72. Д. Ларионова - И. С. Ларионову. 9 июня 1696 г. // ИпИРН-РЯ. № 6. С. 65.

73. ИПИРН-РЯ. № 7. С. 67 (1696 г.).

74. Спорность тезиса Ф. Арьеса (Aries Ph. *L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime*. Paris, 1973} доказали многие исследователи западноевропейской семьи. См., напр.: Nicolas D. *The Domestic Life of a Medieval City: Women, Children and the Family in 14th Century Ghent* Lincoln; London, 1986. P. 147; Hanawalt B. A. *Childrearing Among the Lower Classes of Late Medieval England* // *Journal of Interdisciplinary History*. 1977. V. VI. S. 1 - 22.

75. Физическая, эмоциональная привязанность оценивалась и православными и католическими моралистами скорее негативно, зато всячески приветствовался и подчеркивался воспитательный момент в любви к детям (см.: Ро-нин В. К. Восприятие детства в каролингское время // *Женщина, брак, семья...* С. 19; Riche P. *Education et culture dans l'Occident barbare. Ve - VHT siecles*. Paris, 1962. P. 500 - 501).

76. Измарагд XVI в. // ПЛДР. Середина XVI в. С. 55. Архив Географического общества. Д. 61. № 25. Л. 8; см. также в «Домострое» Кариона Истомина: «...Ради отрады дать время играти, Игра же детям приличная буди, да не вредятся очи их и груди, Мячик и кубарь, юроды и клетки, Бегают, плетут, ловят, мечут сетки, Костями и карты в деньги возбранити...» (Антология. С. 82); тексты ребяческих дразнилок и шуток: «Яко кошкина образина» (Рыбаков Б. А. *Раскопки в Звенигороде 1943 г.* // *МИА СССР*. М., 1949. № 12. С. 127); «Кузьма порося» (Тихомиров М. Н. *Древнерусские города*. М., 1956. С. 32). См. также: Янин В. Л. *Я послал тебе бересту...* М., 1975. С. 56. № 46 (XIII в.); *Домострой*. С. 87. Полоцкий Симеон. *Наказание чадом* // Буш. С. 110-111.

77. ПоУО. С. 98; «Петр... бил челом тебе, государыне игуменье, на сынишку моего Ваську, будто ево сынишку мои бил... и бещестит он нас напрасно...» (ПДП-XVII-ВлК. № 200. С. 218).

78. Аввакум. *Послания, челобитные, письма* // ПЛДР. XVII (1). С. 542; Полоцкий Симеон. *Избранные сочинения*. М.; Л., 1953. С. 71; Епифаний. С. 50. *Вопр.* 149 – 152 («О игрании»); и в то же время Е. П. Урусова в прощальном письме сыну, мечтая видеть его «в чистоте душевной», просила его «не резвися, берется, буди кроток и смирен» (Письмо Е. П. Урусовой сыну // ПЛДР. XVII (1). С. 588).

79. Аввакум. *Указ. соч.* С. 544. *Грамотки*. С. 151.

80. *Даль* 1. С. 369; см. подробнее: Адрианова-Перетц В. П. *Древнерусская литература и фольклор*. Л., 1974. С. 161; «И на святой неделе жонки и девки на качелях колышутся и на досках скачут» (Архив истор.-юрид. сведений, изд. Н. В. Калачовым. СПб., 1854. Т. П. Ч. 2. Отдел VI. С. 29). *Изображения досок для «скакания девиц» и качелей «в виде виселицы»* см.: Олеарий. С. 218 – 219.; Рабиновича. С. 173 - 174; Герберштейн. С. 73.

81. Антология. С. 82, 329; Епифаний. С. 38. *Вопр.* 149; *Вечеря*. С. 364. *Хороводы в Москве чаще всего бывали на Девичьем поле и в Марьиной роще*. См.: Комелова Г. Н. *Сцены русской народной жизни конца XVIII – начала XIX в. по гравюрам из собрания Гос. Эрмитажа*. Л., 1961. № 16, 36.

82. ПоККМТ. С. 71.

83. О княгинях-воспитательницах см.: ЖДР. С. 39 – 40, 47; Низами. *Пять поэм*. Перевод с фарси. М., 1968. С. 386 – 387 (о русской княжне, что «в любой науке столь была сильна, столь искушена, что в мире книги ни одной не осталось не прочтенной девою молодой»); *Прещение вкратце о лености*. XVI в. // Буш. С. 117.

84. Аввакум. *Указ. соч.* С. 544.

85. *Письма Е. П. Урусовой* // ПЛДР. XVII (1). С. 591.

86. Д. Ларионова - И. С. Ларионову // ИПИРН-РЯ. № 6. С. 66 (1696 г.).

87. «Сыну Васеньке...» (письмо Е. П. Урусовой сыну) // ПЛДР. XVII (1). С. 587 - 589.
88. РО ГИМ. Ф. 502. № 42. Л. 30 - 30об.; ПоПЗК. С. 325.
89. Там же. С. 589.
90. ПСРЛ. Т. П. Под 1274 г. С. 577.
91. Пчела. С. 146; Даль В. И.2. С. 387.
92. «Безпечална мати меня породила, гребешком кудерцы розчесывала, драгими порты меня одеяла и, отшед, по ручку смотрила: хорошо ли мое чадо во драгих портах? Во драгих портах чаду и цены нет...» (ПоГЗ. С. 37).
93. Письма Е. П. Урусовой//ПЛДР. XVII (1). С. 586.
94. МосДиБП. № 130. С. 116 (1691 г.).
95. МосДиБП. № 21 (отд. 5). С. 287 - 289 (1688 г.).
96. ВИМОИДР. Кн. 6. М., 1850. С. 45.
97. Там же. Кн. 10. М., 1851. С. 31 - 32, 33, 35, 40- 41, 46, 47, 48 (цитированное), 53 – 55.
98. Там же. Кн. 12. М., 1852. С. 34, 41.
99. О переписке в. кнг. Елены Ивановны с отцом, в. кн. Иваном III Васильевичем, и матерью, кнг. Софьей (Зоей) Палеолог, в конце XV – начале XVI в. см.: ЖДР. С. 62 - 70.
100. См., напр., переписку инокини Марфы, матери царя Михаила Федоровича Романова, с сыном 1619 - 1620-х гг.: ПРГ. Т. I. С. 11 - 63 и др.
101. ПСРЛ. Т. П. Под 1187 г. С. 443. Подробнее см.: ЖДР. С. 96 - 98. Грамотки. С. 63. № 105; ВИМОИДР. М., 1850. Т. VI. С. 56; Частная переписка. №131. С. 409 и др.
102. ПРГ. Вып. V. С. 28 -29.
103. И. И. Чадаев – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 146. С. 421.
104. Ф. Д. Маслов - А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 75. С. 114.
105. А. Ф. Хованская – сыну, П. И. Хованскому. Конец XVII в. // Частная переписка. № 4. С.-297; № 6. С. 298.
106. РО РГБ. Собр. ОЛДП. № Q. 688. Л. 144.
107. См., напр., о Ксении Тверской – воспитательнице кн. Михаила и прототипе героини ПоТОм: ПСРЛ. СПб., 1851. Т. V. С. 207; изображения ее, обучающей сына по религиозным книгам: Вздорное Г. И. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980. Прилож. 18; ИРИ. М., 1955. Т. 3. С. 21.
108. РО ГИМ. Собр. Вострякова. № 1009. Л. 112об.; «Сыну Васеньке...» Письмо Е. П. Урусовой 1673 г. //ПЛДР. XVII (1). С. 588. Ср. ту же тему в материнском поучении ПоГЗ: «...не ходи, чадо, в пиры и братчины, не давай очам воли, не прелщайся, чадо, на добрых красных жен» (ПоГЗ. С. 29).
109. Единственное исключение – переводная «Повесть о царице и львице», вариант широко известного на Западе сюжета о приключениях оклеветанной царицы и ее сыновей. См.: ПЛДР. XVII (1). С. 427 - 441.
110. ПЛДР. XVII (1). С. 366. Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII в. М., 1978. С. 170.
111. «Не подавать детям дурного примера, ибо дети, видя дела своих родителей бывают их подражателями...» (Вечеря. С. 365).
112. «Сыну Васеньке...» С. 588 - 589; Пчела. С. 148.
113. ПоСМ. С.213.
114. ПоСМ. С. 214-217.
115. Явочная челобитная шуянина Сережки Иванова 1626 г. //РО РГБ. Ф. 67 (Гарелины). Кар. 7. № 62. Л. 1 - 1об.; ср. аналог: ПДП-XVII ВлК. С. 162.

116. Демократическая поэзия XVII в. М.; Л., 1962. С. 99.

117. ПоУО. С. 99.

118. И. И. Чаадаев – сестре, А. И. Кафтыревой. Конец XVII в. // Частная переписка. № 166. С. 449.

119. О нежных эмоциональных связях между женщинами в большом семейном клане говорит обычай породнения, сохранявшийся с дохристианских времен до конца XIX в. Узы посестринства (а породнялись, «посестрялись» очень часто подружки), могли оказаться, как то изобразили фольклорные источники, сильнее уз родства (хотя по традиции принимали его формы). В то же время существование подобных особых связей между женщинами говорит о наличии у них определенных личных симпатий, которые и ложились в основу обычая, предпочтений, определявших их частную жизнь и индивидуальный выбор (Русское народное поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. М., 1956. С. 232; Снегирев. С. 27). Несколько сложнее вопрос о возможности существования дружественных отношении между представителями разных полов в Московии того времени. Само слово «дружба» – древнее (XП в. – см. Словарь. Т. 4. С. 360), но слова «другиня» (подружка), «друга» -более поздние (XVI в.). Того же времени слова «приятельство» и «приятель» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. П. СПб., 1895. С. 1502). Приятельские отношения мужчины и женщины (в современном понимании этого слова) можно выявить лишь в текстах XVII в., см., напр.: ПоПЗК. С. 350.

120. В ранних русских литературных памятниках не найти оценок эмоциональных переживаний участников инцеста, например, интимной связи брата и сестры. Лишь в XVII в. подобные сюжеты в контексте морализаторских повествований о пагубных последствиях «излишества» родительской, в том числе материнской, любви проникли в русскую литературу: придворный «пиит» Симеон Полоцкий пересказал известный библейский сюжет о матери его духовного покровителя Симеона Столпника, представив первопричиной слепой любви брата и сестры слепую любовь родителей («Слово на день Марфы, матери Симеона Столпника» // Вечеря. С. 9 – 9об.; см. также: Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVп в. М., 1978. С. 168). См. также: ПСРЛ. Т. I. Под 1015 г. (Ярослав Владимирович и Предслава, дочь кнг. Рогнеды), под 1168 г. (в. кн. Ростислав Мсгиславич и Рогнеда Мстиславна), под 1187 г. (в. кн. Всеволод Георгиевич и его сестра Ольга). В письме А. С. Масловой от ее взрослого сына, Ф. Д. Маслова, содержится упоминание о том, что он посылает своим маленьким сестрам и брату «к сырной неделе» подарки: «Дуни и Федоси по сергам, Иванушку – седелачка, в чем сидеть белиль...» // ИпИРН-РЯ. № 75. С. 114 (Конец 1690-х гг). Тот же Ф. Д. Маслов, судя по письму другой его сестры, рано овдовевшей и оставшейся с маленьким сыном на руках, А. Д. Давыдовой, содержал ее и «печаловался» о судьбе племянника (Там же. № 79. С. 116).

121. Сочинения царя Алексея Михайловича. Письмо семье 5 мая 1655 г. // ПЛДР. XVII (1). С. 511.

122. А. Стремоухова - Ф. Д. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 135. С. 137.

123. Такую взаимоподдержку показывают письма В. В. Голицына и его матери, касающиеся болезни сестры В. В. Голицына (и дочери Т. И. Голицыной) кн. Ирины Васильевны, о которой и мать и брат пекутся, раздумывают «об дохтуре Лаврентье», который не один раз «излечивал» всю семью Голицыных «от едакие скорби». См.: Т. И. Голицына – В. В. Голицыну // ВИМОИДР. Кн. 6. М., 1850. С. 41 - 42.

124. «Сыну Васеньке...» С. 588 - 589.
125. РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1695 г. Д. 214. Л. 1.
126. ПоГЗ. С. 37.
127. Ж. Ле Гофф полагал, что «материнская любовь принадлежит к числу феноменов, над которыми не властна история», и доказывал это на материалах *Chanson de geste* XI - XIII вв. См.: Le Goff J. *La Civilisation de l'Occident medieval*. Paris, 1967. P. 307 - 317.
128. Часть историков полагает, что излишняя «биологизация» материнства неправомерна. Материнская любовь – «дело индивидуального усмотрения, не инстинкт, а нечто сверхнормативное, „en plus“, зависимое от культуры, амбиций, фрустраций». См.: Badinter E. *L'amour en plus: Histoire de l'amour maternel (XVIIe - XXe siècle)*. Paris, 1980. P. 369, ровно так же, полагала Э. Бадиитер, как историческим является институт отцовства – «биологическая необходимость, но социальная случайность» (М. Мид). См.: Parke R. D. *The Father's Role in Infancy: A Reevaluation*//*The Family Coordinator*. 1976. V. 25. P. 365.
129. ПДП-ХVII-ВлК. С. 216 (№ 197).
130. РИБ. Т. VI. С. 242 - 243 (1404 г.).
131. ПСРЛ. Т. II. С. 595 (под 1287 г.).
132. Русский биографический словарь. СПб., 1905. С. 132 - 133. Ср. в Западной Европе: Ренин В. К. Восприятие детства в каролингское время // *Женщина, брак, семья...* 1993. С. 21 – 37.
133. См. подробнее: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. С. 145.
134. А. Г. Коврова – П. А. Хованской. Конец XVII я. // *Частная переписка*. № 131. С. 409; ср. № 134. С. 411.
135. Даль В. И., С. 393.
136. «Взяста ю [Евфросинью, дочь Ростислава Рюриковича и Всеславы Всеволодовны. – Н. П.]; и тако воспитана бысть в Киеве на горах...» См.: ПСРЛ. Т. II. С. 454 (под 1198 г.).
137. А. В. Голицын - В. В. Голицыну//ВИМОИДР. Кн. VI. М., 1850. С. 45.
138. Александров В. А. Обычное право крепостной деревни России XVIII – начала XIX в. М., 1984; ср.: Lazlett P. *Characteristics of the Western Family Considered Over Time* // *Journal of Family History*. Minneapolis (Minnesota), 1977. V. 2. № 2. P. 91.
139. Поэтому и было принято называть внуков именами дедов и бабушек. См.: ПСРЛ. Т. I. Под 1209 – 1210 гг. (о том, что внукам дали имена по имени дедов по матери и по отцу).
140. «Ревновать» предков значило проявлять к ним уважение. См., напр.: ПСРЛ. Т. П. Под 1158 г. С. 338 (вдова Глеба Всеславича «ревнова[ла] отцу своему Ярополку»). Коринфский А. А. *Народная Русь*. СПб., 1901. С. 969. Даль В. И., С. 353; См. подробнее: Ушинский К. Д. *Избранные педагогические произведения*. М.: Л., 1939. Т. II. С. 177; Szeftel M. *Le statut juridique de l'enfant en Russie avajt Pierre le Grand* // *Recueils de la Societ Jean Bodin*. Bd. 36. Paris, 1976. P. 635 – 656; Кобрин В. Б. *Опыт изучения семейной генеалогии* // *Вспомогательные исторические дисциплины*. М., 1983. Т. XIV. С. 50 – 60.
141. Средняя продолжительность жизни по В. Н. Никитину (1975) в XVI в. составляла 27, 5 года; в XVII в. – 29 лет. Цит. по: Асмолов А. Г. С. 244.
142. А. И. Хованская – П. А. Хованской. Конец XVII в. // *Частная переписка*. С. 399.
143. «...после смерти отчима ево мать пришла к матери своей и ныне живет у матери своей, а он у ней же, просвирницы, бабушки своей тому двадцать четвертый



год, а женат он...» (ПДП-ХVII-ВлК. № 199. С. 217)

144. Житие Михаила Клопского 1537 г. //РГБ. Ф. 310 (Ундольского). № 563. Л. 493. Ср.: Повести о житии Михаила Клопского. Подг. Л. А. Дмитриев. М.; Л., 1958. С. 146.

145. «Про меня похочеш[ь] ведать – и я с внучатами своими дал бог здоровы...» - У. Одоевская - С. И. Пазухину. Конец ХVII в. // ИПИРН-РЯ. № 25. С. 163. Ср. также: У. С. Пазухина - С. И. Пазухину//Там же. № 32. С. 168.

146. В 1617 г. М. Я. Строганов с женою Марьею привезли из Вологды своего внука Ивана Ямского, а следом и его мать («за их бедность, душою и телом»). Когда же в 1624 г. старик Строганов умер, его вдова Марья продолжала содержать внука, и за ее счет он и его мать «пили и ели и платья и обувь носили». Когда же Иван стал самостоятельным, он «позабыл» помощь бабушки и присвоил часть ее имущества, так что Марье Строгановой пришлось добиваться указа о выемке у внука не принадлежавших ему «животов» (РГАДА. Ф. Строгановых. Ст. оп. 1627 г. Д. 4. Л. 82; Ст. оп. 1628 г. Д. 2; Бахрушин С. В. Агенты русских торговых людей ХVII в. //Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1954. Т. II. С. 137). Частыми были проживания и взрослых племянников с тетками, братьев – с сестрами. См., напр.: РИБ. Т. XXV. С. 150.

147. У. С. Пазухина - С. И. Пазухину. Конец ХVII в. // ИПИРН-РЯ. № 33 -34. С. 168 - 170.

#### **IV. «ДОБРУЮ ЖЕНУ НЕУДОБЬ ОБРЕСТИ...»**

##### ***Супружеская роль в частной жизни женщины в умонастроениях XI - ХVII вв.***

1. Слова о добрых и злых женах вошли в древнерусский обиход с XI в. Самый ранний текст – в «Изборнике Святослава» 1073 г., они имеются в составе «Златоструя» (XII в.), Измарагдов, Прологов и Миней-Четьих (XVI в.). Подробнее о схеме описания «добрых» и «злых» жен в православной литературе см.: ЖДР. С. 100 - 102.

2. Лихачев Д. С. Изображение людей в летописи ХП – ХIII вв. // ТОДРЛ. М., 1954. Т. X. С. 3 - 43.

3. «Так было в литературе, потому что самая жизнь была опутана обрядом и обычаем, их вековые определения связывали всякий личный порыв, всякий шаг человека; от колыбели до гроба», – отмечал А. Н. Веселовский в своем анализе западноевропейской литературы, вполне относимом к литературе древнерусской. См.: Веселовский А. Н. Из истории развития личности. Женщина и старинные теории любви // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 73.

4. ПСРЛ. Т. II. Под 1158 г. С. 338; об эмоциональном строе древнерусской семьи и роли женщины в определении ее «микроклимата» см.: Pushkareva N. The Woman'in the Ancient Russian Family // Russian Traditional Culture. Ed. by M. M. Balzer. London, 1992. P. 113 - 115.

5. Изборник 1076 г. М., 1965. С. 383; «Слово» Даниила Заточника по редакциям XII и ХIII вв. Л., 1932. С. 30.

6. ПСРЛ. Т. II. Под 1180 г. С. 454. По мнению летописца, киевский князь Владимир Мономах настолько уважал мнение вдовы Всеволожей – «чтяшетъ ю акы матеръ», что «преклонися» на ее советы и «молбы» – ПВЛ. Т. I. С. 98; см также: Повести о Николе Заразском // ТОДРЛ. М., 1949. Т. VII. С. 290 -291; ПВЛ. С. 92, 97, 144; ПСРЛ. Т. I. С. 467 (под 1237 г.); Т. II. С. 472 (под 1127 г.); С. 494 (под 1157 г.); Т. XXV. С. 237 (под 1407 г.) и др.

7. В НГБ абсолютное большинство составляют хозяйственно-судебные записки и

расписки. Личной жизни горожанок XII – XIV вв. касаются лишь несколько грамот [№ 43 и 49 (переписка неких Бориса и «Ностасии», в том числе сообщение последней о смерти Бориса), № 317 (угрозы за недостойное поведение, без конца и начала, автора и адресата); № 415 (жалоба на избиение пасынком), № 497 (приглашение сестры в гости). См.: Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1975], но все они очень коротки и малоэмоциональны.

8. ЖДР. С. 228. Сн. 97; «моя худость» = «и я сама, глупая». См.: НГБ (1990 - 1993 гг.). № 752.

9. Бессмертный Ю. Л. Брак, семья, любовь // Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1994. Ч. 3. С. 315.

10. Баткин Л. Два способа изучать историю культуры // Вопр. философии. 1986. № 12.

11. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М, 1970. С. 104.

12. Подробнее см.: ЖДР. С. 232. Сн. 160 - 168.

13. Аналогично в Западной Европе. См.: d'Alverny M.-H. Comment les theologiens et les philosophes voient la femme // Cahiers de civilisation medievale. XX'annee. 1977. N2 2 - 3. P. 108-111.

14. Послание Якова-черноризца к князю Дмитрию Борисовичу // ПЛДР. XIII в. М., 1981. С. 456; см. также: Колесов В. В. Домострой как памятник средневековой культуры // Домострой. С. 332.

15. Психологи делят все эмоции человека на три основных: страх, любовь, гнев: Dumas G. Les emotions. Paris, 1937. P.175; Уотсон Д. Психология как наука о поведении. М., 1926. С. 193; Асмолов. С. 358 - 359.

16. Leclercq J. Modern Psychology and the Interpretation of Medieval Texts // Speculum. 1973. V. XLVIII. P. 481 - 485.

17. Моление Даниила Заточника//ПЛДР. XII в. С. 397.

18. Зато известны некоторые имена тех, кто характеризовался обычными для злых жен эпитетами, в том числе – ярославская княгиня Ксения, прогнавшая зятя и правившая вместе с дочерью именем малолетнего внука [(ПСРЛ. Т. X. С. 134, 154 (под 1277 г.)) или Марфа Борецкая, новгородская «посадница»[см.:ПСРЛ.Т. VI.С. 5 (под1471г.); Т. VIII.С. 159(под 1471 г.)].

19. ПДРЦУЛ. Вып. 3. С. 84 - 85; Вып. 4. Ч. 2. С. 129; Пчела. С. 344; Хору-жий С. С. Проблема личности в православии: мистика исихазма и метафизика всеединства // Здесь и теперь. 1992. № 1. С. 132 – 136; Его же. Человек и его назначение по учению православных подвижников // Философская и со-циологическая мысль. 1991. № 11. С. 129 - 142.

20. Срезневский И. И. Материалы для словаря... Т. Ш. С. 543.

21. Житие св. Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб., 1897. С. 1.

22. Подробнее см.: ЖДР. С. 44 - 60.

23. ПоРРБ. С. 186.

24. НС. 15,39,44-46.

25. Серебрянский Н. Заметки и тексты из псковских памятников. М., 1910. С. 157 – 158; «И та суть словеса скуда, худа бо, – сокрушались авторы XIV – XV вв. от невыразимости неожиданно понятой ими величины и сложности человеческих эмоций, называя свои описания разговором немых („яко отец немованиа от уст детищу немующу“)». См.: Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. С. 232.

26. ПСРЛ. Т. VIII. С. 36 (под 1380 г.); С. 64 (под 1393 г.); Т. V. С. 256 (под 1407 г.).
27. «Плач княгини Анны по князе Михаиле Ярославиче тверском» // Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития//ЧОИДР. 1915. Кн. 73. С. 159.
28. Слово о житии в. кн. Дмитрия Ивановича // ПЛДР. XIV в. С. 220.
29. Александрия//ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 172.
30. Там же. С. 224.
31. Под влиянием силы слов, стойкости или религиозной пылкости святого его невеста умилилась, а затем принимала его веру и, дав обет целомудрия, жила уже, «любовью Божией побеждая любовь плотскую». См.: Кадлу-бовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902; Берман Б. И. Читатель жития // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 159 - 183.
32. «Мать же его нимало не паде от многа страха и трепетом великим одръжима сущи, и ужасшися, нача в себе (тихо. – Н.П.) плаката», когда младенец в ее чреве трижды громко прокричал – это был знак «прилепления» младенца к «богоразумию в самой утробе». См.: ЖСР. С. 273.
33. Именно так понимал Дамаскина и цитировал Нил Сорский. См.: НС. С. 39.
34. Подробнее см.: Евдокия Дмитриевна // Пушкарева Н. Л. Знаменитые россиянки. М., 1990. Вып. 1. С. 8 - 9.
35. «Сказание о блаженной великой княгини Евдокии» 1407 г. // ПСРЛ. Т. XXI/I. С. 198 - 199.
36. ПСРЛ. Т. V. С. 207; Т. XV. С. 41. ПоТОм. С. 113 - 120.
37. Оксюморонность – соединение несоединимого – в глубочайшей природе средневекового мышления, находящее воплощение в понятиях светлой муки, радости страданья (см.: Weingart R. The Logic of Divine Love: a Critical Analysis of the Soteriology of Petr Abelard. Oxford, 1970. P. 109 - 117).
38. ДД. С. 147.
39. Это отразилось и в живописи, и в особенностях цветового решения костюма (ЖДР. С. 170 – 177). «Яркая жизнь старины, даже в нравственных делах, требовала всего яркого и во внешней обстановке; неземные создания, романтические тени, мечты, отвлеченности были старине неведомыслимы» (Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1901. С. 468 - 469).
40. Физиолог. XIII - XV вв. //ПЛДР. XIII в. М., 1981. С. 474.
41. НС. С. 39,
42. Повесть о царице Динаре // ПЛДР. Конец XV – первая половина XVI в. С. 38.
43. Александрия // ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 26.
44. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 93; его же. Развитие русской литературы X – XV вв.: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 158 - 159.
45. Сказание о беседе премудра и чадолюбива отца. XVI в. // Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. П. С. 462.
46. Гомаюнов С. А. Композиционный метод в историческом познании. М., 1994. С. 101.
47. Клибанов А. И. Идея свободы человека в учениях русских еретиков конца XV – первой половины XVI в. // Средние века. М., 1964. Вып. 25. С. 216 - 226.
48. Послание многословное. Сочинение инок Зиновия. М., 1863. С. 284.
49. Клибанов А. И. Повесть о Петре и Февронии как памятник русской общественной мысли//ИЗ. М., 1959. Вып. 65. С. 305.
50. Шляпкин И. Ермолай Прегрешный, новый писатель эпохи Грозного // Сб. С. Ф.

Платонову– ученики, друзья, почитатели. СПб., 1911. С. 556; РО РНБ. Собр. Новг. Соф. б-ки. № 1296. Л. 271об.

51. Утверждение А. И. Клибанова о том, что уже в конце XV– начале XVI в. «с чувственного опыта была согнана мрачная тень греха» (Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI в. М., 1960. С. 352) представляется «подтягиванием» России к ренессансному Западу (см. критику идей А. И. Клибанова: Елеонская А.С. Концепция личности у славянских гуманистов // Славянские литературы. М, 1988. С. 110). У того же Ермолая-Еразма имеются строки, прямо отвергающие чувственную любовь: «Жена бо дана мужеви бысть по заповедем Божьим, и аще кто не сытый блудник не восхощет жены своя любити, и аще бо восхощет жены своя валы любити паче божия заповеди – буди проклят» (РО РНБ. Собр. Новг.-Соф. б-ки. № 1296. Л. 198).

52. Откровенные проявления супружеской любви среди индусов неприятно поразили тверского купца, засвидетельствовавшего, что «женки в Индейской земле все бляди» (Хождение за три моря Афанасия Никитина. М., 1960. С. 33).

53. «Бегай блуда беззаконна, а закон с законными не возбраняет» (Требник. XVII в. // Ю РНБ. Погод. № 308. Л. 240об.).

54. В отличие от Запада, вопрос о сексуальном удовлетворении в сексуальных отношениях даже не ставился православными проповедниками, поскольку эти отношения уже сами по себе считались «удовольствием». «Удовольство от Бога ведано [с] человеком совокуплятися» противопоставлено Котошихиным «удовольству» принадлежать к царской семье: вторым он объясняет несчастную личную жизнь царевен. См.: Пушкарева // Л. Женщина, семья, сексуальная этика в православии и католицизме // ЭО. 1995. № 3. С. 56 – 74.

55. Сохранилось пять коротких писем в. кн. Василия Ивановича к в. кнг. Елене Васильевне Глинской и ни одного от нее самой. См.: ПРГ. Т. I. С. 2 – 5.

56. Александрия//ПЛДР. Вторая половина XV в. С. 26 – 30.

57. ПоПиФ. С. 214.

58. Житие Михаила Клопского. XV в. // ИРЛ. М.; Л., 1946. Т. П. С. 267.

59. Стефанит и Ихниллат. 1478 г. // Там же. С. 182.

60. ПоЦиЛ. С. 429. Пережитком старого отношения к женщине, а также следствием утверждения церковных женофобских концепций является эпизод оригинальной русской «Повести о рождении Соломона», в которой герой в детстве пытался «весить песий кал с женским умом», причем текст повести доказывал читателю, что женщины – натуры куда более умные и хитрые, чем ранее внушалось воспитателями Соломона. В итоге же он выбрал себе жену не только «прекрасну, но мудру». См.: Повесть о рождении и похождениях царя Соломона. XVII в.//ПЛДР. XVII (1). С. 455.

61. РИБ. СПб., 1909. Т. ХШ. Стб. 1274 (Хронограф 1617 г.).

62. Подробнее см.: Фацеции. С. 72.

63. Рукописный перевод Троянской истории 1489 г. //Лицевой сборник Исторического музея. Известия ОРЯС. М., 1899. Кн. 4. С. 1367.

64. ПоГЗ. С. 29.

65. «О жене благоразумной и о муже непотребном». Конец XVII в. // РО Б АН. № 45.5.30. Гл. 159. Л. 192 - 194.

66. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1898. Т. II. С. 87 - 90; Словарь. М., 1981. Т. 8. С. 172- 173. «Ласка» как название животного в словаре древнерусских терминов не зафиксирована, хотя в фольклоре эротическая

символика ласки («бегаит да полизывает его жонку», «бегают ласка, перескакивает, с жены на мужа, с мужа на жену») – очевидна. См.: Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник. М., 1903. Ч. 4. С. 132; Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М., 1916. С. 161. В летописном сообщении 1251 г. («помянув любовь женьскую и детей ласканье») чувственный оттенок, если исходить из контекста, тоже отсутствует. См.: НПЛ. С. 267

67. Словосочетания «в дому нежити», «человек он нежной» относятся к 1646 – 1677 гг. См.: Словарь. М., 1986. Т. 11. С. 115. «Ласкотою, а не жесточью» – см.: Там же. Т. 8. С. 177.

68. Изборник Святослава 1076 г. М., 1965. С. 461; Толкование на Псалтирь. 1535 г. //ГИМ. Син. 77/305. Стб. 372; Словарь. Т. 8. С. 336.

69. Этимология слова не ясна. См.: Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910 – 1914. С. 197. В польском языке *droczyc* – раздражать.

70. Требник XVI в. // РО РНБ. Ф. п. О. 1. № 100. Л. 30об. - 32, 46об. - 49 («или за груди дровичи или ссати давала», «или груди кому сосати или дровичи давала еси в милости»); Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою... ордою. (Сб. РИО. Т. 41). СПб., 1884. С. 177 (1493 г.); Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 530 (1574 г.). Словарь. М., 1977. Т. 4. С. 359.

71. Пушкарева Н. Л. Сексуальная этика в частной жизни древних русов и московитов XVI – XVIII вв. // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С. 62.

72. Рожденное в монашеской среде, как отталкивание от эротики некоторых библейских текстов, осуждение «плотногодия» подавляло естественные чувства и обратным образом вызывало пороки и преступления. См.: Никольский Н. К. О древнерусском христианстве // Русская мысль. СПб., 1913. Кн. 6. С. 23; Levin E. Sex and Society in the World of Orthodox Slavs. Bloomington, 1989. P. 36 – 79; об уничтожении сексапильных женщин см.: Давиденков С. Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. М., 1947. С. 128.

73. Причисление «люб телесных» к главным жизненным удовольствиям можно найти в приписке на полях требника: «Горко мене, братие, оучение! Месо велит не ясти, вина не пити, женне не поимати!» (Требник XV – XVI вв. : / // НМ. SMS. № 378. Л. 174 л.). Другой пример: в одном из посланий архиепископа Геннадия (1427 г.) в перечне греховных проступков его прихожанок упомянут принесенный одной из них крест (!), на котором «сором вырезан женский да мужской»; в том же послании подробно описаны грехи «вжеления и страсти» (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XV в. М.; Л., 1955. С. 313). Ср. в католических странах: Brundage J. A. Carnal Delight: Canonistic Theories of Sexuality // Proceedings of the 5 International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 1976. P. 375-378.

74. См.: в поучениях митрополита Даниила (? – 1547): «Лице женовидне видево, светло и мягко тело объюхав, и притек, объем, целуеши, мызжеси и рукама осязавши... и употеваея, и пены испущая...» (Цит. по: ИРЛ. М.; Л., 1946. Т. ILC. 316).

75. Вполне вероятно, что определенную роль в изменении отношения к чувственной страсти сыграли в канун и в начале Нового времени еретики. Преследуемые церковью, они обвинялись официальной идеологией в своей терпимости к «блуду и прелюбодейству», в том, что видели в них «человекоугодие», проявление обычных человеческих чувств (См.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Указ. соч. С. 279, 313, 317).

76. Поэтому даже библейского Змия-Искусителя изображали подчас в виде Змеи, женщины с длинными вьющимися волосами, большой грудью и змеиным хвостом вместо ног. См.: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. № 115.

77. Фацении. С. 45.

78. ПоФС. С.57.

79. Николе Д. Домашняя жизнь средневекового города: женщины, дети, семья в Ренте XIV в. // Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1994. С. 319.

80. Образцовый – в данном случае означал лишенный «плотногодия»; не случайно Петр обращается к жене со словами «О, сестра, Еуфросиния!» (ПоПиФ. С. 238).

81. Феврония – образец подчинения страстей уму, внутренней саморегуляции, когда между чувствами, умом и волей нет конфликта. Именно в силу этого он не является ни «бескачественным», «бестелесным» (Клибанов А. И. Повесть о Петре и Февронии как памятник русской общественной мысли // Из. Т. 65. М., 1959. С. 311, 314), ни «сказочно-романтическим» (Дмитриев Л. А. Истоки русской беллетристики. А, 1970 ч. С. 262). «Животворящей» оказывается в тексте не любовь этой женщины – Д. С. Лихачев именно так трактовал чудо превращения Февронией жердьев в цветущие деревья (Лихачев Д. С. Человек в литературе... С. 94), – а ее благочестивость.

82. Пчела-XVII в. С. 341.

83. «О союзе любви» XV в. // ГО РГБ. Собр. Ундольского. № 532. Л. 136.

84. Вечеря. С. 134; Елеонская А. С. Концепция личности у славянских гуманистов // Славянские литературы. М., 1988. С. 99.

85. Михайловский Б. Б., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV до начала XVIII в. М.; Л., 1941. С. 85; Иоффе И. И. Русский Ренессанс // Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1944. № 72. Серия филологических наук. Вып. 9; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X – XVII вв.: Эпохи и стили. А, 1973. С. 207.

## **V. «СВЕТ МОЯ, ИГНАТЬЕВНА...»**

***Интимные переживания в частной жизни женщины. Любовь в браке и вне его***

1. ПоСГ. С. 41.

2. МДРПД. С. 43, 67, 116, 207; Котошихин. С. 10; Miige G. A Relation of Three Embassies from his Sacred Majestic Charles to the Great Duke of Muscovite, the King of Sweden and the King of Denmark. London, 1969. P. 74; Тайная исповедь. С. 273 -279. При строгом соблюдении христианских запретов на интимные отношения у супругов в средневековье оставалось бы лишь по 5– 6 дней в месяц. См.: Flandin J. L. Un temps pour embrasser. Paris, 1983. P. 56 – 57.

3. РИБ. Т. VI. С. 43.

4. Казнь жены, свой грех не исповедавшей. Фреска церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Сер. XVII в. //ИРА М.; А, 1948. Т. П. С. 178 (вклейка).

5. Как и на Западе; см.: Matthews Gritco S. F. La retour de la pruderie // Duly G., Perrot M. (Dir.) Histoire des femmes en Occident Paris, 1991- V. III. P. 76.

6. Афанасию Никитину еще в XV в. показался отвратительным обычай индусок «сбривать на себе все волосы», особенно «хде стыд» (Хождение за три моря

Афанасия Никитина. 1466 – 1472. М., 1960. С. 63), с течением времени обнажения стали еще предосудительнее: «Ничто же пред очесы человеческими обнажит, еже обыкновение и естество сокровенно имети хочет» (Епифаний. С. 330). Из переводных текстов изымались все «неполезные» (и прежде всего любовные) сюжеты и сцены. См.: Белобородова О. А., Творогов О. В. Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 192.

7. «Лики святых они пишут с величайшею скромностью, гнушаясь тех икон, на которых есть непристойное изображение обнаженных частей тела» (Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 211).

8. «Обычай жен». Конец XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. Q. XVII. 2. Л. 34.

9. Снегирев. С. 115.

10. По ККМТ. С. 76 – 77. «Наивная беспечность, с которой все, вплоть до интимнейших сцен, происходило в присутствии посторонних», являлось, по мнению И. Хейзинги, типичным для «обиходных форм любви в средневековье». См.: Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. С. 135.

11. «Устрой ему обычную постелю, сама же с вечера возлегаше на печи бес постели, и мало сна принимае... » (ПоУО. С. 101).

12. МДРПД. С. 51, 65, 241; Исповедь. С. 92, 145, 148, 151, 161, 279; раздельное спанье могло быть осуществлено лишь в домах элиты; особо строго к требованию «опочивать в покоях порознь» относились в царской семье (см.: Котошихин. С. 14); простой народ спал «на печи, рядом мужчины, женщины, дети, слуги и служанки, под печами мы встречали кур и свиней» (Олеарий. С. 203, 222); Требник 1606 г. // Collection of Printed Slavonic Books. University of Toronto. На 49. P. 671; Русский требник. XVI в. // Болгарская национальная библиотека. София. Рукописный отдел. № 246(103). Л. 135.

13. ПоЕЛ. С. 309.

14. Несмотря на положительное влияние этой рекомендации на здоровье женщин, «подтекст» ее был отнюдь не гигиенический. Женщина считалась «ответственной» за временную неспособность к деторождению, любое же кровотечение могло означать самопроизвольный или, хуже, специально инициированный аборт (отсюда – требование немедленно покинуть храм, если месячные начались у нее в церкви). [Также в Европе: Flandrin J. L. Un Temps pour embrasser... P. 73 – 82.] Осужденную на казнь женщину в Московии в течение этих 6 недель не подвергали наказанию, равно как беременную – до родов и 40 дней после их. См.: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII в. Л., 1986. № 244. С. 179.

15. МДРПД. С. 59, 61, 64; РИБ. Т. VI. С. 57; 5 лет епитимьи за аборт против 7 лет за контрацепцию: Требник 1656 г. // Hillandar collection. Hillandar Library. Ohio State University. N2 170. Л. 89 н.

16. МДРПД. С. 41, 127, 152; РИБ. Т. VI. С. 870 - 871.

17. ПоЦил. С. 430.

18. ПСРА Т. I. С. 34 (под 980 г.); Т. П. С. 106 (под 1173 г.); С. 135 - 136 (под 1187 г.); 136 - 138 (под 1188 и 1190 г.); ПоКГ. С. 9; «и воссташа играша плясанием и по плясании начата блуд твориги с чужими женами и сестрами» (ПДРЦУА Вып. 3. СПб., 1897. С. 104); в поздних источниках - переводных фацециях XVII в. – явление это нашло отражение в некоторых комментариях и добавлениях, дописанных переводчиками в Московии. См.: Державина О. А. Фацеции. М., 1962. С. 14, 32, 41, 45.

19. Фрески церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Сер. XVII в. // ИРЛ. М.; А, 1948. Т.

П. С. 178.

20. Лихачев Д. С. Будущее литературы как предмет изучения // Новый мир. 1969. № 9. С. 171.

21. Лишь в самом конце XVII в. в Россию проникают вместе с переводной литературой с Запада новеллы об инцестуозном общении отца с дочерью или матери, согрешившей с сыном и прижившей от него ребенка (ВЗ. С. 219 – 220); резко противоречащие сексуальной этике православия, в котором инцест считался худшим, тягчайшим аморальным проступком; они не получили большого распространения.

22. Безымянный инок конца XVII в., осознающий всю кошмарность охватившего его чувства к инокине («мысль моя ужасается, сердце же подвизается, и язык связуется»), тем не менее написал ей – «краснейшей и сладчайшей» – страстное письмо, жалуясь, что его к ней «привлечило желание», которое его «побеждает», что ему рисуются эротические видения, в которых он ее целует («мед и млеко под языком твоим»). Письмо, однако, полностью выдержано в рамках сложных эвфемизмов, ни разу не названы «тайные уды», и сам автор сокрушается: «Како еще изречи дерзну?» [Демин А. С. Отрывки неизвестных посланий и писем XVI - XVII вв. // ТОДРЛ. М., 1965. Т. XXI. С. 193 (оригинал: РНБ. Q. XVII. 67. Л. 212об. - 213).

23. Пушкирева Н. Л. Сексуальная этика... С. 51 – 103; Кон И. С. Сексуальность и нравственность // Этическая мысль-1990. М., 1990. С. 58; «Живот на живот – все заживет», «Тело в тело – любезное дело», «Грех – пока ноги вверх, а опустила – Господь и простил» (СС. С. 48, 58, 64).

24. ПоККМТ. С. 77.

25. Беседа. С. 497.

26. Запрещение же тех или иных поступков далеко не всегда совпадало с запрещением табу слов. См.: Foucault M. Histoire de la sexualite. Paris, 1976. С. 62 - 63.

27. В народном восприятии куннилингус и минет не считались унижительным для достоинства человека (см.: Былины. Изд. МГУ. М., 1957. С. 59, СС. С. 56 – 57), а церковная литература настаивала именно на такой оценке (Тайная исповедь. С. 104, 145 – 146; МДРПД. С. 28); о терминологии коитальных позиций в древнерусских епитимийниках см.: Levin E. Op. cit. P. 172 – 176. Герберштейн полагал, что к «извращенному любострастию» русские приобщились благодаря татарам (Герберштейн. С. 167).

28. ПоСМ. С. 213.

29. Это выражение использует и Аввакум в своих посланиях, однако оно достаточно старо. Подробнее см.: Аввакум. Послания, челобитные, письма. Подготовка текста и комментарии Н. С. Демковой//ПЛДР. XVII (1). С. 576, 696.

30. ПоВЗ. С. 403.

31. Домострой. С. 464 - 465.

32. В этом смысле примечательна ремарка на полях переводного польского жарта: «Ни демон сего разумеет, что женская плоть умеет» («Како баба диавола обманула». Из сборн. жартов конца XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. Q. XVII. 2. № 64. Л. 42).

33. ПоККМТ. С. 77; ПоЦиЛ. С. 429.

34. Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников: Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893. С. 57 – 59; ср. в Европе того же времени: Flandrin J. L. Un Temps pour embrasser: Aux engines de la morale sexuelle occidentale (VI - XI s.). Paris, 1983. P. 13 - 15, 82.



35. Даже сексуальный грех в церкви стал считаться в России XVII в. менее предосудительным, чем «упьянчивый» священник (Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Т. IV. С. 149). В «Повести о Тимофее Владимирском» описано, как юная прелестница совершила в церкви «блудный грех» с исповедовавшим ее священником: «не могли терпети разгорения плоти своея», священник «пал на девицу» прямо в храме, но покался и был прощен митрополитом (Русские повести XV – XVI вв. М., 1958. С. 119 – 123). За подобное преступление во Франции совершившие его подвергались остракизму и быть «прощены» не могли (Maurel СА. Structures familiales et solidarites linageres Marseille au XV siecle: Autur de l'ascension sociale des Forbin // Annales: E. S. C. 1986. № 3. P. 680).

36. Статир 1684 г. // РО РГБ. Ф. 256 (Румянцева). № 411. Л. 228; «увидев тело ея и под левым сосцем усмотрив бородавку с некоторыми власы лисоватыми...» (ПоК. С. 83); как плач о загубленной красоте воспринимается и описание девичьего тела, не тронутого огнем, в «Отразительном писании» Евфросина (1691 г.). См.: Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII в. М., 1978. С. 186 - 231.

37. ПоПЗК. С. 347.

38. «Есть у тебя красное золото аравитское, да всадил бы я свое булатное, копьё в твое таволжаное ратовище и утешил бы я свою мысль молодецкую и твое сердце девичье»; «красный луг, а в нем слаткая трава, и спустил бы я свой доброй кон наступчивой в твой чистой, красной луг» (СоМид. С. 81 – 84). См.: также народную эротическую терминологию в былинах раннего происхождения: Былины. М., 1957. С. 167 – 170.

39. Delumeau J. Le peche et la peur en Occident. Paris, 1983. P. 331.

40. Kelso R. Doctrine for the Lady of the Renaissance. Urbana, 1956, reprint – 1978; Kelly-Gagol J. Did Women Have a Renaissance? // Becoming Visible: Women in European History. Ed. by R. Bridenthal and C. Koony. Boston, 1977; Maclean J. The Renaissance Notion of Women. Cambridge; L., 1980. P. 92.

41. ПЛДР. XVII (1). С. 16, 351 и др. Однако дальнейшая индивидуализация речи, разделение ее по профессиональным и социальным признакам – явление уже XVIII в.

42. Типичными в фольклоре XVII в. стали образы очень эмоциональных и одновременно высоконравственных женщин, духовность которых стала уподобляться «высоте первых жен» (то есть наиболее замечательных женщин. – Н. П.). Среди таких образов – Настасья Даниловна, жена [Л]овчева, заколовшаяся, по преданию, над телом убитого мужа; Овдотья Семеновна, жена Карамышева (героя казачьих песен), Василиса Ставрова, жена Годунова, чья любовь и мудрость спасли ему жизнь (см. подробнее: Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955. С. 384 – 393; Народные исторические песни. М.; Л., 1962. С. 328 – 329; Дмитриев Л. А. Первоначальный вид «Сказания б молодце и девице» // ТОДРЛ. М., 1969. Т. XXIV. С. 208 - 209); см. также о лексемах в словах «примолвить», «приголубить» в кн.: Лопарев Хр. Вновь найденная эротическая повесть народной литературы. СПб., 1894 (изд. ОЛДП). С. 9.

43. Во имя поруганной любви красавица Бландя подстроила убийство своего старого мужа; презрев свой сан, умолила пленного «витяса» (витязя) о взаимности аристократка Малгария; царская дочь Дружневна, пожертвовав положением и знатностью, поцеловала у всех на виду юношу-слугу, и, влюбившись, бежала с Бовой из дому, рожала ему сыновей – не в законном, не в венчанном браке (ПоБК. С. 280 - 281, ПоПЗК. С. 328 - 336). См. подробнее: Веселовский А. Н. Из истории романа и

повести // Сборник ОРЯС. СПб., 1888. Т. XLIV. № 3. С. 278, 284; Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964. С. 27; Фацеции. С. 56, 69 и вся гл. 4 («Новеллы о женщинах, их пороках и проделках»); Памятники старинной русской литературы. СПб., 1880. Вып. 2. С. 461 - 470.

44. ПоПЗК. С. 333.

45. Примечательно, что русские переводчики европейских повестей считали главными героями не женщин (даже добродетельных), а активных, целеустремленных, решительных мужчин, изменяя соответствующим образом и заглавия повестей, и, отчасти, тексты; скажем, «Historya o Magielonie» превратилась в «Повесть о Петре Златых Ключей». См.: Кузьмина В. Д. Указ, соч. С. 179.

46. СоМид. С. 81 - 84; ПоСМ. С. 228; ср.: ПоФС. С. 57: «не взирая ни на какой себе страх и ростлил ея девство»; мужчина в некоторых текстах XVII в. характеризуется героинями как «налимый взгляд», «волчья суть», «ни ума, ни памяти, свиное узорочье», «ежовая кожа, свиновад рожа», и резкость таких характеристик находит аналоги в церковных назидательных сборниках, где подобным образом «аттестовались» в прежнее время женщины: «змия василиска», «скорпия», «ехидна», «аспида» и т. д. (Беседа. С. 492).

47. Имеется лишь один текст, полный издевки над юношей, решившим «ся украсить» (мотивация такого поведения в тексте отсутствует): «Како, о юноше, естеству тя мужа творящу, сам себе уневестил еси?» («На украшение юнош». Конец XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. Q. XVII. 2. Л. Поб.)

48. ПоВЗ. С. 395.

49. Беседа. С. 491.

50. МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 235 - 241; см. также: Новомбсркий Н. Колдовство в Московской Руси XVn столетия. СПб., 1906. С. XI; Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 1. С. 481-483.

51. Пушкирева Н. Л. Сексуальная этика... С. 58; Беседа. С. 491; обавницы «сообчали с очей на очи» друг другу, как «ворожучи людей привораживать, а у мужей к женам сердце и ревность отимати», и, судя по челобитным середины XVII в., многим это удавалось («она ж, Овдотья, тем ворожучи, мужа своего обошла, что хочет – то и делает») – см.: МосДиБП. Отд. 5. № 16. С. 246; средивозбуждающих потенцию средств первой названа икра (Олеарий. С. 203).

52. РО РГБ. Собр. Кирши Данилова. Е. XIV. № 68. Л. 98 - 100; Кляус В. Л. Русский эротический фольклор как источник изучения народной сексологии // Национальный эрос в культуре. М, 1995. С. 25 – 26.

53. Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. № 115.

54. «Како мужа жена перелукавила». Из сборн. жартов конца XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. Q. XVII. 2. Л. 39об.

55. ПДРЦУЛ. СПб., 1897. Вып. 3. С. 122 - 123.

56. Каган-Тарковская М. Д. «Слово о женах добрых и злых» в сборнике Евфросина // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 385.

57. Песни из архива П. А. Квашнина-Самарина // ПЛДР. XVII (1). С. 597 -598.

58. ПоСМ. С. 197, 208 и др.

59. Беседа. С. 490 - 491.

60. «Во отнесение укоризны». Из сборн. жартов конца XVII в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. Q. XVII. 2. Л. 57об. - 58; Подробнее см.: Фацеции. С. 52.

61. Дети. С. 119.

62. См.: Borst A. Lebensformen im Mittelalter. Frankfurt am M.; Berlin, 1973. Россияне

XVI – XVII вв. часто смеялись и плакали, не пытаюсь скрывать свои эмоции, обуздывать их.

63. ВИМОИДР. М., 1850. Т. VI. С. 45, 74; М., 1852. Т. X. С. 31 - 33; М., 1852. Т. XII. С. 37, 43, 49; Частная переписка кн. И. И. Хованского // Старина и новизна. М., 1905. Т. 10. С. 283 - 462; Грамотки. С. 236. № 398; С. 236. № 399 и др.

64. ПоБК. С. 281.

65. Н. С. Демкова склонна видеть в не раз упоминавшемся в письмах Морозовой Федоре – Федора Ртищева, двоюродного брата боярыни (Демкова Н. С. Переписка Ф. П. Морозовой с Аввакумом и его семьей // ПЛДР. XVII(l). С. 697), однако в разных письмах боярыни речь идет о разных Федорах, в том числе: Федоре Соковнине (родном брате Ф. П. Морозовой), Ф. М. Ртищеве и, наконец, интересующем нас в данном случае юродивом Федоре (см.: Барское Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 298).

66. От приверженцев старообрядчества ожидалось полное отречение от мирских радостей. «Брачное супружество совершенно отвергать законополагаем, обязываем всем нашего братского сословия жить девственно и соблюдать себя от совокупления с женами...» (Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. 1. Вып. 1 (РИБ. Т. XXXIX). Л., 1927. Стб. 943). Однако отрицание «похотной любви» привело к последствиям прямо противоположным, особенно среди самосожженцев: «иные жен и девиц увещевают, чтобы исполнить желания похотныя тайно», – ужасался в конце XVII в. инок Евфросин (Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. СПб., 1898. С. 42).

67. Барсков Я. Л. Указ. соч. № 12,13. С. 33 - 35.

68. Барсков Я. Л. Указ. соч. № 20. С. 42 - 43.

69. ПоСГ. С. 40.

70. ПоКС. С. 67.

7. 1 ПоКС. С. 67; ПоУО. С. 101.

72. Аввакум - семье. 1669 г. //Барское Я. Л. Указ. соч. № 22. С. 44 - 45.

73. «О доброй жене» // ГО ГИМ. Щукинск. № 381. Л. 232.

74. ПоГЗ. С. 29.

75. Новгородские записные кабальные книги 100– 104 и 111 годов. Под ред. А. И. Яковлева. М.; Л., 1938. Стб. 198 (1594 г).

76. «О злоязычной и непокорней жене» // ГО РНБ. Q. XVII. 12. Л. 48.

77. «О жене некоей» // ГО БАН. 13. 6. 8. Л. 52об. 346. «Об Августе-кесаре и о его ближнем сановнике» // РО БАН. 17. 7. 36. Л. 56.

78. Фацеции. С. 80; ср. проложную пословицу «Море и огонь и жена – три зла» (Снегирев. С. 74).

79. ПДРЦУЛ. СПб., 1897. Вып. III. С. 121 - 124.

80. Фацеции. С. 82 – 95. Каким бы «бродячим» ни был сюжет переводных новелл и фацей, русский быт и русская обстановка «просвечивали» сквозь повествование, позволяя современному исследователю отделять «иноземное» от «отечественного». См. подробнее: Скрипиль М. О. Неизвестные и малоизвестные повести XVII века// ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. VI. С. 331.

81. Беседа. С. 493.

8. 2ПоК.С.81.

83. ПоСГ. С. 43.

84. Подробнее см.: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 161.

85. Слово о женах добрых и злых. XVII в. // ГО РНБ. Собр. Кир.-Белоз. монастыря. № 9/1086. Л. 119об. То же в «Поучении» Аввакума: «А прелюбо-дейна румянами, белилами умазалася, брови и очи подсурьмила, уста багря-ноносна...» (подробнее см.: Иоанн экзарх болгарский в сочинениях Аввакума //ТОДРЛ. М» Л., 1963. Т. XIX. С. 371).

86. ПоСМ. С. 195; ПоСГ. С. 40; ПоК. С. 79 - 85; ПоКГ. С. 95; ПоБЖС. С. 153. В более ранних текстах ту же ситуацию изобразили бы как имманентно присущую женщинам склонность к изменам.

87. Ср. также в жартах: «О жене благоразумной...» // ГО БАН. № 45. 5. 30. Л. 192 - 194.

88. ПоКС. С. 70

89. ПоФС. С. 55 - 65.

90. «О несогласии в советех». Конец ХУП в. // РО РНБ. Собр. Толстого. П-47. О. XVII. 2. Л. 13.

91. ПоПЗК. С. 328 - 367. Подробнее см.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на РУСИ. М., 1964. С. 155; ВЗ. С. 378 - 379.

92. Повесть о некоем купце Григории. Список БАН // Скрипиль М. О. Неизвестные и малоизвестные русские повести XVII в. ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. VI. С. 329.

93. Там же. С. 331.

9. 4 «Ответ Сократов» // Там же. Л. 35.

95. Подобные сообщения есть и у Даниила Заточника, и в «Беседе отца с сыном о женской злобе» («аще бьеи ю жезлием или пиканием или за волосы рванием, и она злобою своею, что змия шипит, в сердце его злохитрством секнет...») (РО РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 18. Л. 156об. - 157).

96. МосДиБП. № 52. С. 68 - 69 (1655 г.).

97. МосДиБП. № 58. С. 72 (1660 г.).

98. МосДиБП. № 7 (отд. 4). С. 140 (2 мая 1666 г.); «что муж ее Евсей... бил ее, сняв рубаху, смертным боем до крови, и по ранам натирал солью, и она, Фекла, не стерпя побои... пришла к тетке своей...» (МосДиБП. № 10 (отд. 5). 1679 г. С. 231).

99. ПоСМ. С. 208.

100. Сборн. рукопись XVII в. // ГО РГБ. Собр. Ундольского. № 668. Л. 73об. Подробнее см.: ЖДР. С. 139 - 155.

101. Олеарий. С. 202.

102. О положении и правах женщин в древнерусском уголовном праве см.: ЖДР. С. 139 – 155; некоторые вопросы прав женщин в московском уголовном праве отражены в кн.: Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. М., 1986. С. 157- 203. Сравнительный материал см.: Levy J.-Ph. L'Officialite de Paris et les questions familiales a la fin du XIV siecle // Etudes du droit canonique dedides a Gabriel Le Bras. Paris, 1965. Bd. 2. P. 1265 - 1294; Porteau-Either A. Criminalite et delinquences feminines dans le droit penal des XVII et XIV siecles // Revue historique du droit francais et etranger. 1980. V. 58. P. 18 – 56. Отметим дополнительно, что за мужеубийство женщины в Московии XVI – XVII вв. могли быть наказаны кнутом или «окопаны в землю»; в целом же наказания женщин за любые виды преступлений в Московии XVI – XVII вв. бывали «те же, что и мужеску полу, окромя того, что на огне жгут и ребра ломают. А смертные казни женскому полу бывают: за богохульство, церковную татьбу и содомское дело жгут живых, за погубление детей живых закапывают в землю по титки... а которые люди воруют с чюжими женами и з девками – водют по улице нагих и бият кнутом» (Котошихин. С. 116). Одним из «легких» наказаний было

лишение свободы – «дача за приставы», т. е. тюремное заключение (Телгберг Г. Г. Очерки политического суда и преступлений в Московском государстве XVII в. М., 1912. С. 223).

103. Адрианова-Перетц В. П. К истории русской пословицы // Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 161.

104. ПоСГ. С. 39 - 54

105. СоУДС. С. 123 - 124.

106. МР. № 17. С. 340 (1599 г.); Аввакум - Ф. П. Морозовой, Е. П. Урусовой, М. Г. Даниловой. Вторая половина 1673 – 1675 гг. // РО ГИМ. Музейное собр. № 2582. Л. 123 - 123об.

107. Снегирев. С. 63.

108. Среди песен, записанных неразборчивой скорописью XVII в. на обороте дел из архива П. А. Самарина-Квашнина, есть и любовные; в одной из них жена, хваля мужа, характеризует его так: «Нраву был послушнаго, слова был утешнаго» (Демократическая поэзия XVII в. Подг. текста В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1963. С. 98); «Муж и жена друг другу любезно прилежат, тамо всякое согласие бывает и приобретение; изрещи могу и похвалится добродетельною моею женою, яко вселюбезно и нелицемерно со мною живет...» (ПоК. С. 80).

109. См.: ПоК. С. 79 - 85; Goehrke C. «Mein Herr und Herzenfreund». Die hochgestellte Moskowiterin nach privaten Korrespondenzen des späten 17. Jh-s // Festschrift zum Ehren Peter Brang. Zurich, 1989. P. 23 - 38.

110. ПРГ. М., 1861. Т. П. С. 1 - 3; М., 1896. Т. V. С. 2 - 74 и др. ВИМОИДР. М., 1950. Т. VI. С. 45, 74; 1852. Т. X. С. 31 - 33; М., 1852. Т. XII. С. 37, 43, 49; Частная переписка кн. И. И. Хованского // Старина и новизна. М., 1905. Т. 10. С. 283 - 462; Грамотки. № 398. С. 236; № 399. С. 236 и др.

111. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979. С. 120.

112. ВЗ. С. 72, 205, 378 - 379.

113. ПоПЗК. С. 351, 361, 365 и др.

114. ПРГ. Т. V. С. 3.

115. «...о том, невестушка, гораздо кручинится, что вы не утешаете: грамотки не часто пишете, а ты ведаешь, невестушка, и сама, каковы матушке вы милы...» (А. И. Хованская – П. А. Хованской. 70-е гг. XVII в. // Частная переписка. С. 398).

116. Грамотки. С. 2

117. В наиболее ранних дошедших до нас письмах крестьян (конец XVIII в.) поражает прямота и безыскусность выражения ласки и нежности: «истопи мне баню и выпарь меня, как малого ребенка, у себя на коленях, такова болшова толстова ребенка» – Государственный архив Тюменской области. Тобольский филиал. Ф. 156. 1754 г. Д. 72. Л. 23. См.: также: Миненко. С. 138.

118. Д. И. Маслов - жене А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИПИРН-РЯ. №74. С. 114.

119. ПРГ. Т. I. С. 2 (1526 – 1530 гг.) Т. V. С. 16 (1655 г.) В одном из писем влюбленного в свою «Олену» (Е. В. Глинскую) в. кн. Василия Ивановича – из-за этого своего чувства он начал брить бороду (что было неслыханным новшеством в России XVI в.), – записана та же мысль о здоровье, но с преодолением этикетной формулы: «Что меня не держишь без вести о своем здоровье - ино то делаешь гораздо...» (ПРГ. Т. I. С. 2).

120. См., напр., письма Д. И. Маслова жене, А. С. Масловой (ИПИРН-РЯ. №71-76. С. 112-115).

121. П. И. Хованский – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 13. С. 307.

122. В. Г. Толбузин - Ф. Д. Толбузиной. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 150. С. 143. Аввакум - Маремыше Федоровне. Март 1670 г. // ГО ГИМ. Собр. Хлудова. № 257. Л. 135; Аввакум – Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой. Весна 1672 г. //ГО РГБ. Собрание Егорова. NB 1885. Л. 174 - 178.

123. Можно полагать в связи с этим, что в конце XVII в. в России происходило формирование социопсихологических стереотипов маскулинности и феминности. Современная философская и социо-психологическая мысль склонна характеризовать маскулинность осознанием «собственной автономии, независимости, беспристрастности суждений, неподвластности их чувствам, обстоятельствам». Напротив, феминность характеризуется «релятивностью суждений в их ситуативной и эмоциональной обусловленности, восприимчивостью к нуждам других, принятием на себя ответственности за заботу» (Browerman J., Vogel S., Clarkson F. Sex-Role Stereotypes: a Yurrent Appraisal // Journal of Social Issues. 1972. V. 28. P. 59 – 78). «С мужской точки зрения мораль ответственности выглядит неубедительной и расплывчатой. Для женщин же, в свою очередь, мораль права и невмешательства, в ее скрытом оправдании равнодушия и беспристрастности, кажется пугающей» (Gilligan C. In a Different Voice. Phychological Theory and Women's Development. London, 1982. Перевод: Гиллган К. Иным голосом // Этическая мысль. 1991. М., 1992. С. 346).

124. Частная переписка. № 149. С. 423. Барское Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 296 (1668 - 1669 гг.).

125. А. С. Чадаева - П. А. Хованской. Конец XVII в. // ВИМОИДР. М., 1852. Кн. 12. С. 34, 44. ВИМОИДР. М., 1850. Кн. 6. С. 40.

126. Частная переписка. № 119. С. 399; см. также: «челом бью за милость твою на гостинцах на яблоках, и на вишнях, и на коврижечках» – там же. № 129. С. 406 № 134. С. 411; Грамотки. № 220. С. 119.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

127. ПРН-РЯ. № 106. С. 62 (сентябрь 1679 г.)
128. Грамотки. № 37. С. 32; № 67. С. 48, № 43. С. 35; № 106. С. 63; № 91. С. 57; № 111. С. 65.
129. Там же. № 195. С. 108.
130. Там же. № 107. С. 63.
131. Ф. Д. Маслов - А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 75. С 114
132. Там же. № 99. С. 60.
133. Там же. № 84. С. 55. Разумеется, отношения зятьев и тещ складывались в разных семьях по-разному. Бывали и конфликты, вроде описанного в челобитной москвички П. Тороповой: «Осталась я бедная в домишку с зятем, и зят мой, не почитая меня и тетки моей, бьет нас и увечит и с двора ссылает неведомо для чего (вероятно, дочь челобитчицы полностью во власти мужа и не может защитить мать. - Н. П.}...» (МосДиБП. № 126. С. 113 (1 февраля 1686 г.).
134. Р. Давыдов - А. С. Масловой. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 78. С. 115.
135. А. С. Чаадаева – кнг. А. И. Кафтыревой. Конец XVII в. // Частная переписка. № 168. С. 452.
136. «...свекровь снохе говорила: невестушка, полно молоть, отдохни – потолки» (Симони. С. 351). См. также: Адрианова-Перету В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 131.
137. ПоК. С. 86.
138. Литературно-этикетная формула описания встречи изменницы-жены и мужа, вернувшегося после долгого отсутствия, была тесно увязана с темой злой жены («во сретенье изыдет, ланитами склабящихся и за руци мужа приимаючи, словесы льстящи, усты лобызаючи, сице глаголющи: поиде, государе мой, свет очей моих...» и т. д.). См.: Беседа отца с сыном о женской злобе. XVII в. //ГО РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 18. Л. 154).
139. Ср., напр., письма Д.И.Маслову от А.С. Масловой и письма А. С. Масловой от Д. И. Маслова конца 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 36. С. 100 и № 71. С. 112; ПоКГ. С. 97. В этом смысле примечательна ремарка автора одной из повестей О возвратившемся Фоме Грудцине: «Яко обычное целование подаде жене своей...» (ПоСГ. С. 46) – речь здесь шла именно о «целовании», а не «лобзанье» соскучившихся любящих друг друга супругов.
140. М. П. Салтыкову от его жены Марицы // ГО ГИМ. Ф. 502. № 42. Л. 20 - 20об.
141. Д. Ларионова - И. С. Ларионову//ИпИРН-РЯ. № 6. С. 65 (1696 г.).
142. ИпИРН-РЯ. №\_7. С. 67 (1696 г.)
143. Е. Ларионова - Т. С. Ларионову.'26 апреля 1670 г. // ИпИРН-РЛ №

20. С 74.

144. ПоСГ. С. 42; Частная переписка. № 136. С. 412; ПоЕЛ. С. 320.

145. ВИМОИДР. М., 1850. Кн. 6. С. 56.

146. Тимофею Савиновичу от неустановленного лица // РО СПФ ПРИ РАН. Ф. 117. № 1754. Л. 2.

147. Агафья Григорьевна Кровкова – П. А. Хованской. 1670-е гг. // Частная переписка. № 131. С. 408 - 409.

148. Там же. № 135. С. 412.

149. ПоСМ.С. 231.

150. ПоК. С. 79. Ср. о кнг. Ольге Романовне: «а мне воставши смотреть, кто что имет чинити по моем животе» (ПСРЛ. Т. П. Стб. 214 – 217 (под 1247 г.).

151. Тот же сюжет в песнях: «Жалела я милого, как душу в лепом теле, а нынечи миленькой мне же насмехаетца, оглашает линия небылицею» (Демократическая поэзия XVII в. М.; Л., 1962. С. 99).

152. ПоК. С. 84 - 85. А. И. Хованская - П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 118. С. 399.

153. Аввакум. Послания, челобитные, письма. Конец XVII в. // ПЛДР. XVII (1). С. 560.

154. Т. И. Голицына - В. В. Голицыну // ВИМОИДР. М., 1852. Кн.12. С. 33 - 34.

155. П. В. Окулов - жене Прасковье Лукьяновне // РГАДА. Ф. 159. № 655. Л. 55.

156. А. Г. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 137. С. 413.

157. ПРГ. Т. I. № 55. С. 57 (1619 г.).

158. А. С. Маслова - Д. И. Маслову. Конец 1690-х гг. // ИпИРН-РЯ. № 36. С. 100.

159. Частная переписка. № 139. С. 414.

160. Д. Ларионова - И. С. Ларионову//ИпИРН-РЯ. № 6. (1696 г.) С. 65.

161. А. И. Кафтырева – Б. И. Камынину. Между 1659 и 1663 гг. // Частная переписка. № 171. С. 456.

162. Из дела по челобитью А. Протопоповой // МосДиБП. № 2 (отд. 5). (1659 г.) С. 201.

163. См., напр., описание «воплей» Ксении Годуновой, оставленной на растерзание Дмитрию Самозванцу: Авраамий Палицын. Сказание // РИБ. Т. XIII Стб. 1182; Игнатов В. И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII в. Ростов, 1970. С. 33.

164. ПоПЗК. С. 332; ПоУО. С. 99.

165. Барское Я. Л. Указ. соч. № 12, 13, 19, 20, 22, 32, 34.

166. ПоТОм. С. 112.

167. А. Г. Кровкова – П. А. Хованской. Конец XVII в. // Частная переписка. № 137. С. 413.



**Очерк второй**  
**ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ**  
**(XVIII - НАЧАЛО XIX в.)**

1. Коллинз. С. 3; Рейтенфельс. С. 176; Стрейтс. С. 169.
2. Иностранцы путешественники конца XVII в., если и видели что-то новое, предпочитали «не замечать» его: общей традицией всех путевых заметок является «помещение уточнений в рамки уже известного», как бы «переписывание» сообщений предшественников. Подобное повторение сведений было тогда критерием их истинности. См.: Donnert E. Bemerkungen zur ausländischen Russlandkunde am Beginn der Neuzeit // Zeitschrift für Slavistik. Berlin, 1969. R. XIV. T. I. S. 40; Leitsch W. Probleme beider Edition von Herbersteins Moscovia // Siegmund von Herberstein Kaiserische Gesandter. Graz, 1989. P. 165.
3. Шлейссингер. С. 109; Давид. С. 141.
4. Русский быт. С. 64.
5. ПСЗ. Т. IV. № 1771.
6. Куракин Б. И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим описанная // Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1899. Кн. I. С. 257.
7. Гребенюк В. П. Публичные зрелища петровского времени и их связь с театром // Новые черты в русской литературе и искусстве XVII – начала XVIII века. М., 1976. С. 134.
8. «Приятно было теперь женскому полу, бывшему до сего невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества» (Щербатов М. М. Сочинения. СПб., 1898. Т. II. С. 151 - 152).
9. ПСЗ. Т. V. №3241.
10. «Во время... увеселений русские госпожи скоро примирились с английским платьем, так как заметили, что оно делало их тем более приятными и привлекательными» (Перри Дж. Записки о бытности в России с 1698 по 1715 г. // Русский быт. С. 56).
11. Берхгольц Ф. В. Ассамблея у гр. Матвеева // Там же. С. 129.
12. Макаров. О времени обедов, ужинов и съездов с 1792 по 1844 г. // ЩСб. Вып. 2. С. 2.
13. Берхгольц. С. 80.
14. Помещениями для ассамблей могли служить лишь вместительные дома знати. «В комнате, где дамы и где танцуют, курят табак и играют в шашки, отчего бывает вонь и стукотня, вовсе неуместная при дамах и при музыке...» (См.: Вебер. С. 1423). Позже, с 1785 г., балы нередко устраивали в Дворянском собрании.
15. Рабинович., С. 252 - 259.
16. Берхгольц. С. 35.
17. Прежде всего любезного его сердцу немецкого («...старшая

Головкина была одна из тех, которые довольно свободно и хорошо говорят по-немецки...» (Берхгольц. С. 50).

18. Винилер М. Записки // РГАДА- Ф. 8. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 - 5, 8, 22.

19. См. подробнее: Семенова. С. 206.

20. Янькова. С. 29.

21. См.: Берхгалц Ф. В. Придворный театр герцогини Мекленбургской. Комедия в Москве и Петербурге // Русский быт... Ч. 1. С. 143 - 145, 147 - 148; Бассевич. С. 146.

22. Екатерина II. Увеселения при дворе (Из «Записок») // Русский быт. Ч. 1. С. 322; «Он вместе с моей матерью охотно посещал театр, оперу и драматические представления...» – вспоминал о своих родителях Н. Вишняков (Вишняков. С. 81).

23. Долгорукова. С. 43.

24. Скалон. С. 356.

25. В Малороссии балы дворянской молодежи часто предварялись дневными пикниками, на которые свозились «ковры, разные фрукты, кислое молоко и чай» и на которые отправлялись «кто в экипаже, кто верхом, кто на лодках» (Скалой. С. 359).

26. Вишняков. С. 50.

27. Полилов. С. 101.

28. «В те времена для сватовства, в особенности у купцов, необходимо нужно было иметь сваху... Но дед сердился, когда являлись устроительницы браков: „Если моим дочерям будет счастье, они сами замуж выйдут, а то в монастыре места много...“» (Полилов. С. 41); «Приходила к маменьке сваха... Вы, Катерина Юльевна, по дорожке с Юлинькой променаж делать будете, а я около жениха постою и ему на вашу невесту укажу... Я готова была заплакать. Меня, как вещь, кому-то будут показывать... Он уставился пристально на меня по указанию свахи...» (Полилова. С. 91).

29. Вишняков. С. 51.

30. Рабинович З. С. 294.

31. Полилов. С. 42; Полилова. С. 90.

## **I. «КАКИЕ НОНЧЕ БРАКИ БЫВАЮТ...»**

### ***Условия замужества и порядок заключения брака***

1. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 8 (Владим. у.). Л. 22об. - 23; Там же. Д. 23 (Меленковск. у.). Л. 20; Там же. Д. 47 (Муромск. у.). Л. 4; Там же. Д. 59 (Шуйск. у.). Л. 3; Д. 1884 (Шуйск. у.). Л. 2.

2. РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 1. А 20- 20об.; обычай «скрадывания девки» символизировал условное нежелание родителей «своими руками» отдавать дочь в чужую семью (Смирнов А. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. М., 1878. С. 210- 211); у

раскольников побег дочери с женихом вообще считался обязательным (Фукс В. О сводных браках в историческом отношении//

Этнографический сборник, издаваемый РГО. СПб., 1862. № 5).

3. См., напр.: РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 4. Л. 127об.

4. Шлейссингер. С. 115 - 116.

5. Долгорукова. С. 43.

6. Николева. Кн. 3. № 10. С. 137. Подобные воззрения были широко распространены в середине XVIII в.: «Она умела только читать, а писать ее не учили. Не учили писать вообще всех девиц, чтоб, выросши, не могли переписываться с мужчинами...» (Листовский. С. 286).

7. Шипов Я. История моей жизни. М.; Л., 1933. С. 368.

8. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 40 (Меленковск. у.). Л. 2; Д. 59 (Шуйский у.). Л. 1 - 1об. [приведены данные информаторов бюро кн. В. Н. Тенишева середины XIX в., однако могущие характеризовать семейный быт XVIII в. 1.

9. Быт. С. 239.

10. Цит. по: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1986. Т. XIV. С. 478.

11. КК. Правила Василия Великого. На 38, 42. С. 224 - 229.

12. Детальные прорисы обряда родительского благословения оставили русские художники-жанристы второй половины XVIII в. См., напр.: Екамвв А. П. Благословение при сговоре крестьянской свадьбы// Брук. С. 183. Ил. 145.

13. Липинская В. А., Сафьяноев А. В. Свадебные обряды русского населения Алтайского округа // Русский народный свадебный обряд: Исследования и материалы. Л., 1978. С. 186; Миненко. С. 202.

14. Крюкова С. С. Русская крестьянская семья во второй половине XIX в. М., 1994. С. ПО.

15. РЭМ. Ф. 7, Оп. 1. Д. 1464. Л. 16.

16. Там же. Л. 10.

17. Лабзина. С. 31.

18. «Ближние сродники все отступились, дальние и пуще не имели резону. Бабка родная умерла. Итак, я осталась без призрения, сам Бог давал меня замуж...» (Долгорукова. С. 51).

19. По решению Стоглава: ААЭ. Т. IV. С. 206; ПСЗ. Т. VI. № 4081. П. 7 - № 3963.

20. Вильмот Кэтрин. С. 376.

21. Купец Н. Вишняков, рассказывая о браке отца в 1826 г., упомянул сговор за 5 дней до свадьбы. См.: Вишняков. С. 51.

22. Рядные и сговорные, характерные для допетровского времени, теряли свою силу и заменялись собственноручно подписанными обеими сторонами актами «об обручении». Законодатель уже не упоминал о неустойке, ранее гарантировавшей заключение брачного соглашения.

Прежний, сугубо имущественный характер сделки, затушевывался (ПСЗ. Т. IV. № 1907). Обручение должно было проводиться за 6 недель до венчания. Если вступающие за этот период отказывались от своих намерений, – никаких имущественных санкций это не влекло (ПСЗ. Т. ХП. № 9088). С 1744 г. все дела о расторжении обручения должны были проходить через Синод.

23. ПСЗ. Т. XX. № 14357; Головина. С. 8 (обручена в июне, обвенчались в октябре 1786 г.).

24. ПСЗ. Т. VП. № 4406; Бердников П. С. Форма заключения брака у европейских народов // Православное обозрение. 1888. № 3; Суворов А. Курс церковного права. СПб., 1891. Т. 2. С. 255 - 346; Развитие русского права второй половины XVII - XVIII в. С. 153.

25. ПСЗ. Т. IV. №1907. В1715 г. дворянин М. Г. Собакин и девица Т. Я. Новокщенова подали прошение о расторжении их помолвки: «...и впредь тому брачному договору по общему нашему совету не быть и о том нам друг на друга также и о неустойке... не бить челом...» (ОААНл. Т. 1. Стб. 757 - 758).

26. Подробнее см.: Цатурова. С. 6 – 20.

27. Берхгольц. С. 35.

28. ПСЗ. Т. VII. № 4406. С. 197 (Указ от 5 января 1724 г.).

29. Еще в 1693 г. патриарх Адриан потребовал, чтобы священники «накрепко допрашивали» молодых при венчании, по доброму ли согласию вступают они в брак, «а не от насилия или неволи каковы», у «стыдливой невесты допрашивать у родителей» (приведено С. М. Соловьевым. См.: Соловьев С. М. История России. М., 1962. Кн. VП. С. 478).

30. Известный промышленник и публицист петровского времени Иван Посошков, наставляя сына в том, как ему искать жену, заканчивал свои пожелания словами: «То добро и свято, если вы оба из воли и любви сошлись...» (Посошков. С. 19). Ср. сомнения по этому поводу у Ф. Прокоповича (Прокопович Ф. Первое поучение отрокам. СПб., 1721. Л. 12об. - 13) и поддержку ненасильственных браков Д. Кантемиром: «... грешат родители насилием детей своих браком с таковыми отряжающими, от каковых и возраст и естества склонность и страсти душевные их отвращают...» (РО РНБ. Собрание Толстого. № 433. Л. 59).

31. Отмена петровского указа: ПСЗ. Т. XX. № 14356.

32. Винский. С. 117. А. Н. Радищев, иронизируя над «милосердием господ», также привел примеры подобных наказаний (Радищев. С. 296 – 297).

33. Радищев А. Н. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 373; Ломоносов М. В. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 468.

34. Подробнее см.: Александров В. А. Сельская община в России XVII - начала XIX в. М., 1976. С. 304 - 305; Семенова. С. 44 - 46.

35. Наказ для ярославских вотчин кн. М. М. Щербатова 1758 г. //

Материалы по истории сельского хозяйства. М., 1965. Вып. VI. С. 460.  
Волынский А. П. Инструкция дворецкому Ивану Немчинову о  
управлении дому и деревень // Памятники древней письменности. СПб.,  
1881. Т. XV. С. 19.

36. Российский архив народного хозяйства (СПб.). Фонд  
Шереметевых. Картон Останкино. Книга подлин. повелен. 1796 г. Л. 34 –  
38.

37. Александров В. А. Сельская община в России. С. 304.

38. Из переписки помещика с крестьянами во второй половине XVIII  
в. // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир, 1904. Ч.  
VI. С. 35 - 37 (№ 37).

39. Одна из историй описана Радищевым (Радищев. С. 216 - 217).  
Браки крестьян по любви в вотчинах Шереметевых допускались как  
исключение; «с тех, кто женится на посторонних, – распорядился кн. Н. П.  
Шереметев, – собирать в казну мою по 100 руб.» (РГАДА. Ф. 1318  
(Шереметевых). Ответные пункты Н. Шереметева на запросы крестьян  
Юхотской вол. Л. 26 - 26об.). О наказуемости любви между крепостными  
см.: Неверов. Глава из истории крепостного права в России // Русская  
старина. 1883. Гл. XL. С. 429 – 448.

40. Цит. по: Довнар-Запольский М. В. Материалы по истории  
вотчинного управления в России // Университетские известия. Киев,  
1904. № 6. С. 46.

41. Подобные распоряжения, касавшиеся крестьян своих вотчин,  
обнародовали в разные годы А. А. Виниус (см.: ИА. М., 1953. Т. VIII. С. 269 -  
271); Д. А. Шепелев (Там же. С. 231 - 241); кн. М. А. Черкасский (Там же. С.  
252) кн. Г. В. Грузинский (Действия Нижегородской губернской ученой  
архивной комиссии. Н. Новгород, 1912. Т. X. С. 48 - 55, п. 21, 27) и др.

42. Татищев В. Н. Краткие экономические до деревни следующие  
записки // Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 407, 409,  
412.

43. Общая норма брачных воззрений всего православного мира. См.:  
Levin E. Sex and Society in the World of Orthodox Slavs. 900-1700. Itaca and  
London, 1989

44. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1097. Л. 23; Д. 1464. Л. 17.

45. Винский. С. 1.

46. Головина. С. 5.

47. Долгорукова. С. 47.

48. Аналогичное отношение родственников к решимости жены  
следовать за мужем отмечено и в жизненной коллизии злейших врагов  
семьи Долгоруких - графов Головкиных. Когда настал черед их опалы  
при Елизавете Петровне, графиня Е. И. Головкина последовала - как и в  
свое время Н. Б. Долгорукая - за мужем, М. Г. Головкиным, в ссылку. См.:  
Корсаков. С. 159.

49. Полилова. С. 91 - 142.

50. «Деспотизм в особенности был тяжел для ее дочерей; но они, однако, все вышли замуж по выбору сердца, а не по ее выбору. Каждая из них показывала вид, что не только холодна к избраннику своей души, но что если выйдет за него замуж, то сделает это только в угодность матери. Деспотизм всегда побуждает ко лжи и развращает людей, испытывающих его гнет» (Керн С. 333). Ср.: Полилова. С. 125.

51. «Часто случалось, что их личные склонности не согласовались с волею родителей, однако это их (девушек. - Я. Я.) не раздражало... Анализ чувств еще не вступил в свои права...» (Сабанеева. С. 108).

52. «Мы решили тебя выдать замуж, благо жених хороший сватается. „Я не пойду замуж“, - ответила я, стараясь быть спокойной. „Об этом тебя никто и спрашивать не станет. Возьмем да выдадим... Ну, нечего выть-то, Москва слезам не верит!..“ Хотела сказать ему прямо в глаза, что насильно замуж выдают за него. Но не посмела, боюсь папеньки. Убьет...» (Полилова. 141).

53. Татищев. С. 139.

54. «...Она урожденная Головина... Я, как многие, сердечно сожалею об этой хорошенькой женщине, которая должна проводить свои молодые годы таким странным образом. Да и брак этот, как рассказывают, состоялся совершенно против ее воли...» (Берхгольц. С. 155 - 157). x 55. Комаровский. С. 120 - 121.

56. Толченев. С. 40.

57. Долгорукова. С. 44.

58. Державин. С. 128.

59. «...сделала предложение от Александра Матвеевича, что он желает быть принят сыном. Мать моя отговаривалась моей молодостью... Он дал поручение своей племяннице-девушке, чтоб она меня спросила, с удовольствием ли я бы пошла за него и не противен ли он мне... Лета мои (тогда были. - Я. Я.) таковы, что об этом мне думать (было) нельзя. И в совершенные лета не позволила бы себе думать о замужестве... А мое сердце словно билось и тосковало, видя их тайные переговоры... И так дело было решено без меня... Мать лишь сказала: „Необходимость меня заставляет сие сделать (она была при смерти. - Я. Я.). Будь же спокойна и знай, что без воли Божьей ничего не делается...“» (Лабзина. С. 27 - 30).

60. «...понравилась мне заочно, потому что богата...» (Данилов. С. 50).

61. «...был Керн. Этот доблестный генерал был мне так противен, что я не могла говорить с ним. Имея виды на него, батюшка мой отказывал всем просившим моей руки и пришел в неописанный восторг, когда услышал, что герой ста сражений восхотел посвататься за меня и искал случая объясниться со мною... Когда нас свели и он меня спросил: „Не противен ли я вам?“ - я отвечала нет и убежала, а он пошел к родителям и сделался женихом...» (Керн. С. 121 - 122).

62. Басаргин. С. 33. Получение им согласия родителей на брак было изложено в письме.

63. «Мадмуазель Сурмина скоро выходит замуж. Конечно, она никогда не видела своего проміс (жениха. – Я. Я.), но все равно родственники уладят дело и придут к соглашению...» (Вильмот Марта. С. 315).

64. Цит по.: Кавелин К. Д. Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х гг. XIX в. Мемуары современников. М., 1989. С. 136.

65. Дмитриев. С. 423.

66. Янькова. С. 252.

67. Янькова. С. 291 - 293.

68. Скалой. С. 353.

69. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 977. Л. 5.

7. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 59. Л. 3.

71. РЭМ. Ф. 7. Оп.1. Д. 28. Л.1; Д. 907. Л. 7. См.: также: Крюкова С. С. Русская крестьянская семья во второй половине XIX в. М., 1994. С. 132 – 133. 903. Та же история – и весьма подробно! – изложена С. В. Скалон в ее воспоминаниях, так как Н. А. Львов был другом ее отца, В. В. Скалона. См.: Скалой. С. 342.

72. Вяземский. С. 540.

73. «Офицер гвардии... подкупил старую няню, водившую девиц в церковь, и таким образом похитил одну из них. Новобрачных застали за столом после брака, который признан был незаконным и расторгнут...» (Муханова. С. 214).

74. И все же «побег» юной дворянки «считался великим позором», и родственники и потомки не раз вспоминали, что «ея мать не вышла замуж, а бежала...»(Янькова.С. 369).«...

Желая переменить горькую жизнь свою (родители не выдавали девушку замуж. – Я. Я.) она, несмотря ни на что, решилась выйти замуж за самого ничтожного и пустого офицера», исполнила это – и была несчастлива (Скалой. С. 354 – 355).

75. Е. П. Янькова привела в своих воспоминаниях случай «времен императора Павла» с одной юной девицей, склоненной молодым офицером к заключению тайного брака и побегу из родительского дома. После рождения ребенка офицер, оказавшийся женатым и лишь инсценировавший тайное венчание, бросил девушку. «Не известно, помирилась ли она со своими родными», но – согласно ее прошению на имя императора – офицер-изменщик был разжалован и насильно пострижен в монахи. См.: Янькова. С. 326 – 327.

76. ПСЗ. Т. V. № 2789. Ст. 4.

77. Павлов А. 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический источник русского брачного права. СПб., 1887. С. 99.

78. Речь идет о статье Соборного уложения 1649 г. См.: ПРИ Т. VI. Гл. XVI. С. 204.

79. Олеарий. С. 130– 131. Ср.: «Бабушка моя, Листовская, родилась в 1769 году... 14-летнюю ее выдали замуж...» (См.: Листовский. С. 286).

80. Еще ранее, в Указе 1762 г. о заемных письмах впервые была сделана попытка вернуться к старым нормам брачного возраста, зафиксированным Стоглавом и Кормчей (ПСЗ. Т. XV. NB 11457), а в 1774 г. уже окончательно утвердилось старое правило (ПС "Болотов. С. 130-131. юОДИД.Т.Х. С.249-250. Т. XIX. № 14229).

83. Юст Юль. С. 357.

84. «Здесь во всех слоях общества браки совершаются в очень юном возрасте, часто вступающие обоюбого пола не достигают пятнадцати лет...» (1 ноября 1711 г.) (Вейсброд Л. Частная переписка // СБРИО. СПб., 1888. Т. 61. С. 79).

85. Бассевич. Стб. 569.

86. Лабзина. С. 32.

87. Янькова. С. 712.

88. Ржевская. С. 10.

89. Винский. С. 67. Удивительно лишь то, что сам, став уже зрелым человеком, Винский позже выражал удивление, что его 15-летняя ученица Анна «заглядывалась на мужчин» (С. 116).

90. Дашкова. С. 47.

91. Вильмот Кэтрин. С. 376 - 377.

92. ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. № 3807. С. 740. См. также: Развитие русского права второй половины XVII – XVIII в. Ответ, ред. Е. А. Скрипилев. М, 1992. С. 152. «Новобрачной было всею 16 лет», – записал Н. Вишняков о первой жене своего отца, характеризуя отношение к бракам в таком возрасте не столько в 1806 г. (когда он заключался), сколько в 1847 г., когда писались мемуары и брачный возраст девушек уже повысился. См.: Вишняков. С. 45.

93. Аксаков. С. 62.

94. Винский. С. 1.

95. Березина. С. 685; Головина. С. 8; Данилов. С. 13; Державин. С. 685.

96. Керн. С. 121 - 122; Бутковская. С. 617; Басаргин. С. 91 (о жене декабриста Якушкина).

97. «За нею, повенчанной 15-ти лет, стали ухаживать...» – вспоминала М. С. Николева о своей родственнице Н. Ф. Пассек, выданной в юности замуж за Д. Я. Гедеонова, губернатора Астрахани (Николева. Кн. 3. № 10. С. 153).

98. Дмитриев. С. 423.

99. Полилова. С. 85 – 86 (судя по дневнику, дочек старались просватать от 16 лет и старше; о 18-летней сестре мемуаристки сообщается, что она «просватана»).

100. Кузнецов,. С. 13; Русские пословицы, собр. Богдановичем. СПб., 1848. Т. I. С. 120.



101. Государственный архив Рязанской области. Ф. 129. Оп. 54. Д. 120, 130; Государственный архив Тамбовской области. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1932, 2008 и др. См. также: Крюкова С. С. Указ. соч. С. 109.

102. Берхгольц. С. 155 - 157; Корсаков. С. 143.

103. Мордвинова. С. 392.

104. Ржевская. С. 19.

105. Янькова. С. 361.

106. Дашкова. С. 127.

107. «Скажите мне, мужья-старички, скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь любовный огонь, но не в состоянии потушить его...» (Радищев. С. 220).

108. «Физически она была развита плохо, в ее сложении имелся недостаток, и я не льстила себя надеждой, что молодой жизнерадостный человек будет любить ее и заботиться о ней...» (Радищев. С. 130).

109. «Вдова шестидесятилетняя еще паки восхощет сожителствовати мужу, да не удостоится приобщения Святыни...» (КК. Правила Василия Великого. № 24. С. 228.). Ср.: ПСЗ. Т. ХП. № 9087; имеется разводная грамота середины ХХТП в., из текста которой следует, что неких супругов Ергольских развели, ибо ему было 82 года, «в каковыя не плотоугодия устраивать, но о спасении души своей попечительствовать должно...» (РГИА. Ф. 796. Оп. 34. № 369).

110. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 23. Л. 17 - 18.

111. В итоге детей в этом браке не было. См.: Державин. С. 685..

112. Скалой. С. 366.

113. Керн. С. 121.

114. Коган Б. И. К истории жизни и творчества Н. А. Львовой // Известия АН СССР. 1927. № 7 - 8. С. 699 - 726.

115. Вильмот Марта. С. 475.

116. Полилов. С. 47.

117. Капнист-Скалон С. В. Воспоминания // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX в. Сост. Г. Н. Моисеева. М., 1990 (далее – Капнист-Скалон С. В.). С. 512.

118. Особенно стойко это убеждение держалось в провинции; отсутствие женихов воспринималось как жизненная трагедия (Янькова. С. 439).

119. Ср. «Девушка плачет – замуж хочет!» (С. I. № 2184).

120. См.: подробнее о переписи и ее результатах (33,3% браков пали на возраст от 21 до 30 лет; 42,2% – на возраст 31 – 40 лет, среди которых немало повторных, и всего 4 случая ранних браков из 442 учтенных по губернии) – Власова И. В. Семья и семейные отношения // На путях из земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии североуральского крестьянства XVII – XX вв. М., 1989. С. 183.

121. «Сему следуют худые обстоятельства, слезные приключения и

рода человеческого вредные душегубства...» (Ломоносов М. В. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 467-468).

122. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПб., 1905. С. 431.

123. «Где нет соразмерности в .летах, там и брака быть не может...» (Радищев. С. 220).

124. Текст сказки записан А. П. Звонковым в Елатомском у. Тамбовской губернии. См.: Крюкова С. С. Указ. соч. С. 109.

125. Русские пословицы и притчи Н. Снегирева. М., 1848. С. 140 – 141; Кузнецов, С. 14 – 15.

126. «Во многих семьях отец женит своего 8 или 9-летнего сына на девушке гораздо старше его с целью иметь лишнюю работницу; между тем сам сожительствует со своей снохой и нередко имеет от нея детей...» (Кокс У. По России и Польше в исходе XVIII века. 1779 – 1785: Путевые впечатления англичанина // Русская старина, 1907. Т. 131. № 8. С. 307; аналог: Текели С. Авто- биография: Савва Текели в России 1787–1788 гг. // Русский архив. 1878. Кн. а. Вып. 12. С. 496).

127. Государственный архив Рязанской области. Ф. 545. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 – 6.

128. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 913. Л. 4 - 5.

129. КК. Гл. 50. С. 494- 521; Правила Василия Великого. № 23, 54, 68. С. 224 - 259об.

130. Устав о брацах. XV в. //РИБ. М., 1908. Т. VI. С. 143 - 144.

131. Такая ситуация сложилась в семье Голицыных и Барятинских, поскольку в случае предполагаемого брака отец невесты стал бы для жениха одновременно и дядей и тестем (см.: ОдиД. Т. XXII. № 202).

132. См.: ПСЗ. Т. VI. № 3718. П. 2; Т. XXII. № 16577.

133. РсвСпДДС. С. 511.

134. Е. Р. Дашкова, приходившаяся гр. Н. И. Панину племянницей, по мнению одних ее недоброжелателей, была его внебрачной дочерью, по мнению других – любовницей. См.: Дашкова. С. 108. С. Т. Аксаков описал любовь двоюродных брата и сестры (к тому же замужней). См.: Аксаков. С. 62 – 63.

135. Лабзина. С. 30-31.

136. Керн. С. 114.

137. РсвСпДДС. С. 515.

138. Николева. Кн. 3. № 10. С. 134.

139. Даль 2. С. 379; Кузнецов 2 С. 17.

140. «Нашему самовару двоюродная подсвечница», «По бабушке Ульяне двоюродный Яков», «Вашей Катерине наша Арина двоюродная Прасковья», «А-ну, сочтемся: бабушкин внучатый козел тещиной курице как пришелся?» (Русское народное остроумие. Сборник Н. А. С-ва. Казань, 1883. С. 140).

141. Сборник магических и календарно-астрологических памятников и сочинений по физиогномике 1730 г. // Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета. № 2366. Л. 92об. – 105об.; ср. также: Звонков А. П. Современные брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1889. Вып. 1. С. 90; РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1464. Л. 16. Тем предосудительнее казалась в глазах общественного мнения любовь гетмана Мазепы и его крестницы Матрены Васильевны Кочубей (которая в пушкинской «Полтаве» была переименована поэтом в Марию): гетман сватался к В. Л. Кочубею и его жене, которую называл в одном из писем «гордой и высокоумной», но получил отказ. См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. IV. С. 222, 422 (об источниках, зафиксировавших переписку и историю любви М. В. Кочубей и Мазепы).

142. Стоглав. Гл. 19 - 23.

143. Щербатов М. М. Высшее петербургское общество // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 26.

144. Упоминания о столь почтенном для женщины возрасте встречаются и в других мемуарах. Например, Е. П. Янькова отмечала, что «княгиня Наталья Петровна (Голицына. – Н. П.)... умерла почти ста лет от роду. Родившись в царствование Елизаветы Петровны, она видела царский двор при пяти императрицах и, будучи старожилкою, немудрено, что считала всех молодежью...» (Янькова. С. 230). В письмах Марты Вильмот из России рассказывается о посещении ею старухи – «матери священника, которой 120 лет». «Если не считать зрения, – удивлялась англичанка, – она вполне здорова, сохранила и память, и связную речь...» (Вильмот Марта. С. 269). Дополнительным указанием на случаи женского долголетия можно считать и живописную работу В. Эриксона «Столетняя царскосельская крестьянка с семьей» (1768 г.), а также гравюру Д. Уокера «Крестьянка сто осьми лет, окруженная сыновьями» (1791 г.). Картины воспроизведены: Брук. С. 143. Ил. 118.

145. Об этом неоднократно вспоминали друзья поэта. См.: Хрущев. С. 557.

146. Кузнецов 2. С. 49.

147. Например, Ф. П. Печерин, оставивший воспоминания, охватывающие более полувека, упоминает не раз о браках его родственников во второй и третий раз и каждый раз о женитьбах мужчин (Печерин. С. 592 – 593).

148. Толченное. С. 30.

149. Дмитриев. С. 436.

150. «Мать моя... на 20-м году своей жизни овдовела и, обижаема будучи по имени нашему родными тетками, вторично поступила в замужество...» (Винский. С. 5).

151. «Родиться первенцем от неискусобрачных молодых здоровых родителей... доставляет человеку преимущества, которые одни делают людей истинно-благородными и счастливыми...» (Винский. С. 1,5)..

152. Духовный регламент 1721 г. //ПСЗ. Т. VII. № 3718.

153. Сибирский митрополит Сильвестр жаловался в 1752 г.: «Мужья, оставя законных, под именем холостых женятся, и жены, покинув своих мужей, от них бегают и посягают за других» (Цит. по: Цатурова. С. 6 – 20; ср.: Миненко. С. 209-210).

154. Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 176; придворные звания обер-гофмейстера, гофмейстера, статс-дама и камер-фрейлина (последнее – только для незамужних) в течение XVIII в. имели всего 82 лица; в конце XIX в. эти придворные звания были отменены; Табель о рангах. 1722 г. // ПРП. Т. ТП. С. 186.

155. Первый муж Марты (Екатерины) Скавронской – солдат Юхан Круш – в 1708 г. пытался заочно добиться расторжения брака с нею, но получил отказ от шведских властей г. Пернова (см.: Семевский М. И. Царица Екатерина Алексеевна. 2-е изд. СПб., 1884. С. 333 – 335). Духовенство долго не решалось дать согласие на брак царя с Екатериной (Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. VI. С. 255); датский посланник Юст Юль прямо говорил об этом («давно бы обвенчался с нею, если бы против этого не восстало духовенство...» – Юст Юль. С. 301). Причиной нерешительности царя была традиция решительного осуждения браков с женщинами «подлого» происхождения. Ранее члены династии никогда не преступали сословных рамок (Семенова. С. 68).

156. ПСЗ. Т. IV. № 1920; Т. VII. № 4294; 4533; 4535.

157. Басаргин. С. 33.

158. Посошков. С. 17.

159. Янькова. С. 373.

160. ПСЗ. Т. VI. № 3980. П. 7; принцип единого социального статуса супругов был подтвержден последующими указами: Т. XVI. № 11908. Гл. 6. Ст. 5; № 12275; Т. XX. № 14290,15070. Указ 1815 г. см.: ПСЗ. Т. XXXIII. № 25947.

161. Родственница первой жены Петра – А. Лопухина – дважды просила царя узаконить ее брак со слугой дворянина Г.Племянникова, неким С. Болтуновым. Петр разрешил повенчать их лишь тогда, когда выяснилось, что они живут вместе уже три года и ждут второго ребенка. Тем не менее Петр оговорил свое решение, что брак этот «других таких же знатных фамилий персонам за образец не был» (Одид. Т. 1. Стб. 47).

162. Посошков. С. 16 - 17.

163. Данилов. С. 35.

164. ПСЗ. Т. XXII. № 16187. П. За.

165. Даже в среде самих владельцев крепостных театров подобные

«беззаконные сожителства» были редкостью, а официальный брак аристократа, представителя высшего света, с дочерью своего крепостного вообще, вероятно, уникален. См.: Елизарова Н. А. Театры Шереметевых. М., 1944; Аргунов И. П. Портрет П. И. Ковалевой-Жемчуговой. 1803//Брук. С. 229.

166. Державин. С. 141.

167. ПСЗ. Т. XIV. № 10237. Гл. XXX. Ст. 4.

168. ПСЗ. Т. XXII. № 16187. П. 7; № 16554.

169. В чудом дошедшей до современного читателя автобиографии крепостного интеллигента XVIII в. Николая Смирнова как раз приводится такой жизненный казус: его отец был крепостным кн. А. М. Голицына, а мать – дворянкой (ее имени мемуарист не называет). См.: Смирнов Н. Показание-автобиография крепостного князей Голицыных // ИА. 1950. № 5. С. 289 – 292.

170. «Брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, и муж... не имеет права ни на один фартинг из ее состояния...» – так оценивала ситуацию заезжая англичанка; однако она имела в виду, вероятнее всего, однословные браки людей с разным имущественным статусом. См.: Вильмот Кэтрин. С. 371.

171. «Старший из Голицыных, князь Борис Владимирович, женат не был, он умер вскорости после французов и оставил двух дочерей, носивших фамилию Зеленских... Княгиня Татьяна Васильевна взяла этих сироток к себе и впоследствии хорошо выдала замуж, но от старой княгини о существовании их скрывали...» (Янькова. С. 231); «Еще Петр Великий, видя, что закон наш запрещает вступить в четвертый брак, позволил князю Н. И. Репнину иметь метрессу и детей ее, под именем Репнинских, благородными признал. Тако же князь И. Ю. Трубецкой... имел любовницу в Стокгольме... и от нее сына, которого именовали Бецким... Выблядок князя В. В. Долгорукова Рукин наравне с дворянами был производим. Алексей Данилович Татищев, не скрывая холопку свою, отнявшую у мужа жену, в метрессах содержал, и дети его дворянство получили. А сему подражая, толико сих выблядков дворян умножилось, что повсюдова толпами их видно: Лицины, Рапцовы...» – Щербатов М. М. Высшее петербургское общество // Помещичья Россия. С. 25 - 26.

172. Болотов. С. 202.

173. Шимко Н. И. Новые данные к биографии Антиоха Дмитриевича Кантемира. СПб., 1891. С. 109.

174. Мужем княжны В. А. Черкасской стал старший брат кнг. Н. Б. Долгоруковой – кн. П. Б. Шереметев. В доме этих своих родственников кнг. Долгорукова жила и воспитывала детей, когда вернулась из ссылки. См. подробнее: Корсаков. С. 160.

175. Комаровский. С. 45.

176. Карьера А. П. Волынского – не слишком высокогородного по происхождению, но весьма дальновидного и ловкого (судя по взлету по службе) была обусловлена браком с двоюродной сестрой Петра I – Александрой Львовной Нарышкиной. Но это же родство сослужило ему и плохую службу: не только он сам погиб в конце концов мучительной смертью за попытку политического переворота, но и его детей – двух дочерей и сына, сослали в вечную ссылку, как лиц, «которые могли бы занять русский императорский престол» (см.: Корсаков. С. 292).

177. Данилов. С. 34.

178. Татищев. С. 76.

179. Эделинг. С. 194.

180. Татищев. С. 139. Примечательно рассуждение кнг. Н. Б. Долгоруковой о последствиях возвышения человека из «подлых». С типично женской наблюдательностью она подчеркнула, что один из встретившихся ей на жизненном пути офицеров («из крестьян, да заслужил чин капитанский») отличался особенной грубостью, жестокостью, спесью. См.: Долгорукова. С. 46.

181. ПСЗ. Т. XI. № 8504. П. 23; Т. XIV. № 10237. Гл. XXX. П 4.

182. Дашкова. С. 200-201.

183. Дашкова. С. 201.

184. Вильмот Кэтрин. С. 371.

185. Шимко Н. И. Указ. соч. С. 53 - 54. Ср. ту же мысль у В. Н. Татищева: Татищев. С. 139.

186. Семенова. С. 79.

187. Аксаков. С. 28.

188. Кузнецов 1. С. 35.

189. Сборник пословиц В. Н. Татищева // Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII – XX вв. М.; Л., 1961. На 1029; ср.: «Бери дровни и поезжай по ровню»; «Золотая девка за лычным парнем», «Женился ленивый на сонливой – оба счастливы» и др. См.: Кузнецов, Указ. соч. С. 42 – 43; Собрание пословиц и поговорок русского народа, собранных Г. Б. СПб., 1862. С. 482.

190. Павлов А. 50-я глава Кормчей книги. С. 14, 145.

191. Указ 6 апреля 1722 г. // ПСЗ. Т. V. № 2762. См. также: ТО РНБ. Ф. 1003. Д. 6. Л. 70; Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I // Архив Института российской истории РАН. Ю. Ф. А. Р. 1. Д. 90-а. Л. 115 - 116.

192. КК. Каноны вселенских соборов. Собор шестой в Трулле. Канон 72. С. 174; Цатурова. С. 13.

193. Об одном этнически-смешанном браке рассказала в своих воспоминаниях С. В. Скалой, отметившая, что брак ее отца-малоросса с А. А. Дьяковой (дочерью обер-прокурора Сената), не был принят на

родине отца; мать мемуаристки долго презрительно называли «московкой», в том числе свекровь (Скалой. С. 342); см. также: О переписи иноземцев, восприявших веру греческого происхождения и поженившихся на крестьянских девках. 20 июня 1744 г. // ПСЗ. Т. 12. № 8974. С. 155.

194. «Брак этот очень не по сердцу народу. Он втихомолку ропщет и не может скрыть неудовольствия по поводу вероисповедания новобрачной...» (Письмо Л. Вейсброда от 6 декабря 1711 г. // Сборник РИО. Т. 61. С. 105).

195. ОдиД. Т. V. Стб. 557.

196. ПСЗ. Т. VI. № 3814. С. 415.

197. В январе 1718 г. архимандрит Александро-Невской лавры Феодосии Яновский разрешил заключить брак с иноверкой и «принуждения никакова не чинить и друг друга в вере не укорять...» (ОААНл. Стб. 805 - 808).

198. См.: РО СПбФ ИРИ РАН. Ф. 19. Оп. 1. Д. 190, 209, 390, 408 (браки с лютеранками).

199. В. Н. Татищев, осуществлявший надзор за уральскими горными заводами, писал, что у многих поселившихся там и работавших на заводах шведов «жен поотняли: своя веры жены достать тамо не может, а русской не дают... В ответ на запрос В. Н. Татищева пришло распоряжение с дозволением шведам «жениться на русских девках и вдовах без пременения веры» и с условием не принуждать жен перекрещиваться в конфессию супруга (ПСЗ. Т. VI. № 3814. С. 413; № 3798. С. 401).

200. «Он, из смоленских дворян (католиков. – Н. П.), был в числе первых, женившихся на великороссиянке...» – вспоминал о браке родителей, заключенном в середине XVIII в., Л. Н. Энгельгардт. См.: Энгельгардт. С. 4.

201. Долгорукова. С. 44.

202. Татищев В. Н. История российская. М.; Л., 1962. Т. I. С. 87.

203. ПСЗ. Т. XX. № 14356; Т. XVII. № 12433 («...венечных памятей не писать, но совсем оныя оставить...»); Т. XVIII. № 13208; Т. XXI. № 15891.

204. В 1721 г. Петр I издал указ о заведении метрических книг во всех церквях (ПСЗ. Т. VI. № 3718). Епархиальные иереи обязаны были отныне ежегодно сообщать в Синод о числе венчавшихся (ПСЗ. Т. VI. № 4022. П. 29). С 1724 г. существовала единообразная форма ведения метрических книг (ПСЗ. Т. VII. № 4480; ПСПиР. Т. Ш. № 1143; Т. IV. № 1218), а с 1764 г. - таблицы, в которых фиксировались: фамилии брачующихся, дата венчания, в какой по счету брак вступают жених и невеста, имена поручителей, имена священников, совершивших обряд (ПСЗ. Т. XVI. № 12061). Высылать таблицы следовало ежемесячно, но вряд ли кто это соблюдал, иначе бы Синод не издавал постановление за

постановлением, подчеркивая небрежность и нерадение выполнения указов (ПСЗ. Т. XX. № 14948; Т. XXII. № 17192; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. VI. № 530; ПСПиР. Т. X. № 3518).

205. Оглашение проводилось трижды, в три воскресенья (Там же. Т. XVII. № 12433).

206. ПСЗ. Т. XVIII. № 13334.

207. КК. Гл. 48. Грань 4. Л. 227; Дубакин А. Влияние христианства на семейный быт русского общества. М., 1880.

208. Венчать запрещено было: в Великий пост, до литургии утром и ночью, в понедельник, на сырной неделе (КК. Гл. 50. Правило 52 Лаодикийского собора. С. 494; Стоглав. Гл. 18; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. XXII. № 116; ПСПиР. Т. X. № 3527).

209. Это различие, подметила еще К.Вильмот. См.: Вильмот Кэтрин. С. 374 - 375.

210. Вильмот Марта. С. 315; Аксаков. С. 138 - 139.

211. Берхгольц. Ч. III. С. 20; Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. Т. 1. С. 125.

212. Свадебный пир, «веселье» оставались обязательными элементами русской свадьбы и в зажиточных слоях, и в беднейших. Но упоминания о свадебном обеде («пирушке свадебной» – см.: Толченое. С. 41) в мемуарах представительниц привилегированного сословия крайне редки. По всей вероятности, свадебное угощение (пользуясь лексикой кнг. Н. Б. Долгорукой – «свадебные конфеты») представлялось само собой разумеющейся частью праздника бракосочетания и, за исключением фиксаций примеров особо роскошных яств, редко описывалось образованными мемуаристками.

213. ПСЗ. Т. I. № 412. Гл. II.

214. Болтин И.Н. Примечания на историю древняя и нынешняя г-на Леклерка. СПб., 1788. Т. I. С. 472 - 473.

215. Берхгольц. С. 120.

216. Николева. № 10. С. 159.

217. «А хотя б он с твоей невестой и ночь переспал, то ты за то должен быть ему благодарен...» См: Радищев. С. 171, 217 (история Анюты и денег на приданое).

218. «Потеря девственности не считается преступлением, об этом отзываются преравнодушно. Честных девушек из десяти одна или две...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 58 (Шуйск. у.). Л. 10-11; Д. 48 (Муром, у.). Л. 16 - 16об.).

219. Подробнее см.: Миненко. С. 217.

220. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1465. Л. 39; Д. 915. Л. 14; Д. 1464. Л. 7, 28; Д. 907. Л. 7. См. также: Крюкова С. С. Указ. соч. С. 132 - 133.

221. Миненко. С. 217 - 219.

222. Симони. I. № 1801; Сборник пословиц Е. Р. Романова // Записки



Северо-Западного отдела Русского географического общества. Вильна, 1910.

223. «Дружка спрашивал на другой день молодого: „Что, лед пешал (т. е. рубил лед пешней. – Н. П.) или грязь топтал?“, подавая стакан водки. Если молодая оказалась целомудренной, тогда стакан разбивался, если нет – ставился на стол» (Личный архив Я. Кузнецова по описанию Вологодской губ. // Кузнецов, С. 47).

224. Аксаков. С. 137.

225. Долгорукова. С. 44.

226. ПСЗ. Т. V. № 2789. Ст. VII; Т. VII. № 4722.

227. ПСЗ. Т. XII. № 9052.

228. ПСЗ. Т. II. № 1266.

229. ПСЗ. Т. VI. № 3628.

230. Рондо. С. 46.

231. ПСЗ. Т. XII. № 9052; РГИА. Ф. 796. Оп. 79. № 685 (1763 г.).

232. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 913. Л. 4.

233. Это новое отношение к человеку нашло отражение прежде всего в литературе. См.: Татаринова Л. В. История русской литературы и журналистики XVIII в. М., 1975. С. 28 - 31.

## **II. «ДРАЖАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ МОЕ!»**

### ***Мир чувств русской женщины. Любовь в браке и вне его***

1. Aries P. (ed.). A History of Private Life. London, 1990. Т. IV. P. 97 - 99.

2. Сабанеева. С. 28.

3. См. подробнее: Брук. С. 13.

4. Лотман. С. 49.

5. Стремительное развитие портретной живописи в XVIII в. способствовало эволюции «языка чувств», открывая изумленному взору современников изменчивую жизнь человеческого сердца, приучая к любезности и «учтивству» обхождения с женщиной и в то же время насаждая этикетные правила, непреступаемость норм благопристойности при изъявлении душевных движений, – правил, приобщавших образованных и «культурных» столичных дворян к утонченной культуре европейского салона. См. подробнее: Брук. С. 50; Жидков Г. В. Русское искусство XVIII века: Архитектура, скульптура, живопись. М, 1951.

6. Цылов. С. 78 (события 1799 г.).

7. Радищев. С. 187.

8. Там же. С. 65.

9. Правда, чувства героев русских повестей – дворян, матросов, купцов и т. д. – были обращены только к иноземкам: в повестях не было ни одной истинно русской героини. См.: Русские повести первой трети

XVIII в.: Исследования и подготовка текста Г. Н. Моисеевой. М.; Л., 1965. С. 101 – 105; 196 – 197; 217 - 220, 303 и др.

10. В. К. Тредиаковский - И. Д. Шумахеру. 18 января 1731 г. // ПРП XVIII. С. 46.

11. Печерин. С. 602; Цылов. С. 78; Назимова. С. 844 (о своем деде).

12. «Любовь юной моей подруги осветляла все мгновения и каждый шаг бытия моего...» (Глинка. С. 247).

13. Письма Петра I государыне Екатерине Алексеевне // ПРГ. Т. I – II. №20 (14 июня 1710 г.). С. 14; № 62 (29 янв. 1716 г.). С. 42. Обращение «Лапушка» было принято в семье Петра I; во всяком случае, царица Евдокия Федоровна – первая жена Петра и мать царевича Алексея – не раз к нему так обращалась (см.: ПРГ. Т. III –IV. С. 67).

14. Петр I - Екатерине Алексеевне // ПРГ. Т. I - II. № 84. С. 59.

15. Петр, требуя все приготовить в своем возвращении, просил жену, «чтоб не богаты были постели, да чистеньки...» (Петр I – Екатерине Алексеевне // ПРГ. Т. I -II. № 102. С. 73).

16. Винский. С. 65.

17. «...эта мысль заставила... его (дедушку мемуаристики. – Н. Я.) еще сильнее привязаться к любимой женщине и окружать ее таким утонченным вниманием, от которого бабушка чувствовала себя вполне счастливой» (Назимова. С. 846); аналогичные свидетельства можно найти и в воспоминаниях Л. А. Ростопчиной («Муж писал ей неоднократно в сохранившихся у меня письмах: „Целую твои ножки, моя благодетельница... Мы были счастливы, жили в единении и согласии, а теперь когда мы увидимся? Целую тебя сердцем, полным твоими добродетелями и с надеждой на счастье... Возвращайся... к обожающему тебя и уважающему тебя превыше всякого выражения мужу...» (Ростопчина. С. 54). «Отец мой страстно любил жену, иначе не называл ее как „друг мой Катенька“, баловал, сколько мог...» (Николева. № 9. С. 117, 143). См. также: Мордвинова. С. 403; Эделинг. С. 199, 213 и др.

18. Все душевны восхищенья, // все внимание друзей, //

Ласки нежной усладенья // находил в жене моей //

Она рай мне создала // бесподобный при себе //

Цену жизни придавала // и красу моей судьбе...

(Долгорукий И. М. Сочинения. СПб., 1849. Т. 2. С. 15).

19. Басаргин. С. 34; Ростопчина. С. 54.

20. «Рождение ваше (детей. – Н. П.) было новый и чувствительный союз, утверждающий союз сердец» (Радищев. С. 187).

21. «Ежели б я был, то б новова шишеньку зделали – дай Боже, чтоб пророчество сбылось!» (Петр I – Екатерине Алексеевне. 10 июля 1717 г. // ПРГ. Т. I - II. № 101. С. 73); ср.: № 108. С. 77; Екатерина Алексеевна - Петру I // Там же. № 107. С. 76; ср. также: «...дорогой наш шишечка часто своего дражайшего папа упоминает...» (Там же. № 113. С. 80 – 81).

22. Татищев. С. 139.
23. Михайлов О. Н. Суворов. М., 1975. С. 153.
24. Панин П.И. Письмо к императрице Екатерине Алексеевне от 10 окт. 1774 г. // Сборник РИО. Т. VI. С. 164; Хрущев. С. 557; Дмитриев. С. 436.
25. Симони. I. № 618, 1722; П. № 6435; Сборник пословиц Библиотеки Академии наук//Пословицы, поговорки, загадки... № 246. Ср. усиленный вариант той же пословицы: «Больная жена мужу не мила» (Симони. П. № 32).
26. И обратная характеристика – нездоровой невесты: «маленькая, да тоненькая, да москлявинькая» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1464. Л. 16); «костлявая девка – что тарань рыбка» (Кузнецов, С. 39).
  2. 7РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1464. Л. 4; Д. 977. Л. 5. См.: также: Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собр. П. В. Штейном. СПб., 1900. Т. 1. Вып. 2. С. 563.
28. «Если идет тихо ("идет – не идет, как кислое молоко везет") – девушку называют растопчей, невыволокой; когда шибко – значит, расторопная...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 977. Л. 5).
29. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 59. Л. 2об. - 3.
30. Болотов. С. 554 - 555.
31. Татищев. С. 139.
32. Данилов. С. 34.
33. Скалон. С. 614.
- 34 Берхгольц. С. 17.
35. «Смирна, как агнец, делова, как пчела, красна, что райская птица, верна, что горлица» (Кузнецов, С. 40).
36. Даже напротив: в ХУШ в. – как следствие череды сменявших друг друга «женских правлений» – возникло представление о том, что «жены имеют более склонности к самовластью, нежели мужчины...» (Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М., 1993. Репринт, изд. London, 1858. С. 124). Ср.: «Женская натура торжествовала над мужскою, как всегда!» (Аксаков. С. 42).
  37. Державин. С. 128.
  38. Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. С. 202.
  39. См.: Хрущев. С. 562.
40. «Матушка, неразлучная с батюшкой, всегда находила большое удовольствие разделять труды его в устройстве хозяйства» (Мордвинова. С. 408); «Батюшка, от природы склонный к меланхолии, стал поддаваться горести и... (тогда) матушка поселилась в... поместий с пятью человеками детей. Ума живого и настойчивого, она принялась за новую деятельность, расширяла круг своих познаний, читала, воспитывала детей, предавалась благородному занятию сельским хозяйством...» (Эделинг. С. 195).
41. Дмитриев. С. 433.

42. Дмитриев. С. 432; Берхгольц. С. 70.
43. М. Н. Муравьев - отцу Н. А. Муравьеву. 25 сентября 1777 г. // ПРП Х \Ш1. С. 297.
44. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1464. Л. 9; Крюкова С. С. Указ. соч. С. 105.
45. Глинка. С. 240-241.
46. Николева. № 10. С. 473 - 474.
47. Болтин И. Н. Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. СПб., 1788. Т. 1. С. 472 - 473.
48. Немцова Р. А. Добрая и злая жена по народным картинкам, заключающимся в известном издании сенатора Ровинского // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1891. Т. IX. Вып. 3.
49. Ровинский Д. Русския народныя картинки. СПб., 1881. Кн. III. С. 166 (пар. 2).
50. Ровинский Д. Указ. соч. Кн. V. С. 44 – 46; Воронина Т. А. Русский лубок 20 - 60-х гг. XIX века: производство, бытование, тематика. М., 1993.
51. Едва ли не первое признание такого рода – в воспоминаниях А. П. Керн (урожд. Полторацкой), принявшей решение через несколько лет после брака жить с мужем раздельно. См.: Керн. С. 124.
52. Е. И. Головкина, урожд. княжна Ромодановская (1702 – 1791), – графиня, супруга М. Г. Головкина с 1722 г., статс-дама с 1730 г. Добровольно отправилась в ссылку вслед за мужем, где провела 14 лет до самой его смерти. См.: Бирон Э. И. Записка // Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725 - 1825. М., 1991. С. 199, 559.
53. «...она мне оказала (приехав в полк. – Н. П.) знак примерной привязанности, пренебрегая все опасности в дороге...» (Комаровский. С. 207).
54. Головина. С. 83.
55. «Жена ответила, что идет не за дворянина, адъютанта или будущего генерала, а за человека, избранного ее сердцем, и что, в каком бы положении человек этот ни находился, в палатах или в хижине, в Петербурге при дворе или в Сибири, судьба ее будет совершенно одинакова...» (Басаргин. С. 34).
56. «Жена моя, едва сие услышала, вскричала: – Нет, мой друг, и я с тобою...» (Радищев. С. 134).
57. Басаргин. С. 91.
58. Головина. С. 233.
59. Долгорукова. С. 65.
60. Кавелин К. Д. Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х гг. XIX в.: Мемуары современников. М., 1989. С. 137.
61. См., напр.: Дашкова. С. 197.
62. Мещерская. С. 3.
63. О «зоркой догадливости» женщин, силе их интуиции, о

компромиссности их характера как предпосылке умения находить решения в тупиковых жизненных ситуациях, когда у мужчин «леность усыпляет способности, а отчаяние, ближайший сосед уныния, увлекает Бог знает куда и во что», – писал, характеризуя свою жену, С. Н. Глинка. См.: Глинка. С. 243, 311.

64. «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами („женского полу". – Н. 77.) овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло...» (Щербатов М. М. Сочинения. СПб., 1898. Т. П. С. 151 - 152).

65. Муравьев М. Н. Стихотворения. Вступ. ст. Л. Н. Кулаковой. Л., 1967. С. 48– 49; М. Н. Муравьев– сестре Ф. Н. Муравьевой. 1778 г. (без точной даты) //ПРП ХVНІ. С. 360.

66. Радищев. С. 132.

67. Долгорукова. С. 47.

68. Глинка. С. 368; Березина. С. 684 (о своем деде, Я. П. Раткове).

69. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 103 - 123, 180-210.

70. См., напр.: Глинка. С. 368.

71. См. подробнее: Брук. С. 133 - 134.

72. Долгорукова. С. 57.

73. Н. М. Карамзин – П. А. Вяземскому. 11 сект. 1818 г. // Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому 1810 - 1826 гг. СПб., 1897. С. 61.

74. «Сие воспитание было: ...что не все надо говорить, что думаешь, не верить слишком тем, которые ласкают много, ни с каким мужчиной не быть в тесной дружбе...»; «Я не знаю скотской любви, и Боже меня спаси знать ее, а я хочу любить чистой и непостыдной любовью» (Лабзина. С. 53, 69 – 70).

75. Лабзина. С. 77.

76. Керн. С. 107 – 108 (о семье соседей по имению). "Радищев. С. 211.

78. Аксаков. С. 140.

79. Письмо Петра I жене Екатерине Алексеевне 29 января 1708 г. // ПРГ. Т. I - II. С. 3.

80. Винский. С. 121.

81. «Они влюбились друг в друга и стали думать, как бы получить возможность удалиться от двора и от своих семейств и предаться взаимной страсти» (Эделинг. С. 221).

82. Головина. С. 77.

83. Термин «модная жена» вошел в литературу и обиход вместе с одноименными стихами И.И. Дмитриева в 1794 г. См.: Кунин В.В., Подольская И. И. Иван Иванович Дмитриев // Русские мемуары. С. 169.

84. Головина. С. 77 - 78.

85. Шашков С. С. Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция: История русской женщины. СПб., 1898. С. 811 – 824. Русский

быт. Ч. I. С. 73 – 146. См. также переписку М. А. Волковой и В. И. Ланской 1812 г.: Частные письма 1812 года // РА. 1872. Стб. 2372 - 2435.

86. «...и весь двор в такое состояние пришел, что каждый почти имел незакрытую любовницу, а жены, не скрываясь ни от мужа, ни от родственников, любовников себе искали. Исчислю ли я тех жен, которые не стыдились впасть в такие любострастия?» (Помещица Россия. С. 26).

87. Вильмот Марта. С. 283 (о В. А. Небольсине и его жене). «Нужно представить себе семнадцатилетнюю, без памяти влюбленную женщину, с горячей головой, с живым воображением, не ведавшую другого счастья как любить и быть любимой, считавшую богатство и почести бременем, совершенно ненужным для счастья и спокойствия», – писала о муже (которого называла «мой обожаемый») Е. Р. Дашкова, в юности оставшаяся вдовой и хранившая память о недолгом супружеском счастье всю жизнь (Дашкова. С. 48).

88. Березина. С. 684.

89. См., напр.: Евдокия Федоровна Лопухина – Петру I. 1694 г. // ПРГ. Т. III – IV. С. 68 – 69; Елисавета Аракчеева – графу А. А. Аракчееву 11 фев. 1810 г. // Письма главнейших деятелей в царствование имп. Александра I. 1807 - 1829. СПб., 1823. С. 19 (№ 17) и др.

90. В XVIII в. многие письма составлялись – если не на основе, то с учетом рекомендаций «Письмовника» Н. Г. Курганова (первое издание – 1769 г.), являвшегося «энциклопедией самообразования», в том числе написания писем. См.: Кирпичников А. Курганов и его «Письмовник» // Исторический вестник. 1887. № 9; Тэт У. Ф. Дружеское письмо как литературный жанр. СПб., 1994 (рец. см.: Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 333).

91. Скалон. С. 345 («Друг мой Васинька!..»).

92. Головина. С. 6. Приходится признать неслучайным то, что в дальнейшем тексте воспоминаний Головиной содержится немало подробностей жизни двора, рассуждений о женской дружбе, но мало сказано о семье, детях, муже. Вполне возможно, что она его не слишком любила, но ценила материальный и социальный статус избранника.

93. Тем не менее некоторые письма крестьян и крестьянок друг к другу, относящиеся прежде всего к Западносибирскому региону, где было больше «грамотеев», сохранились. См.: Мяненько. С. 123 – 139.

94. Кузнецов, С. 5; Снегирев. С. 62.

95. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 25 (Меленковск. у. Владим. губ.). Л. 18 - 24.

96. Кузнецов1. С. 20 - 21; Дети. С. 116.

97. Радищев. С. 215.

98. РГИА. Ф. 796. Оп. 732. Д. 1. Л. 78; см. также: Миненко. С. 123 - 139,

99. Письма крестьян найдены Н. А. Миненко в Тобольском филиале Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТО). См.: ТФ ГАТО. Ф. 156. 1797 г. Д. 99. Л. 58 - 59; Миненко. С. 138.

100. Письмо крестьянки Марьи Кирилловой из д. Атамановой 1795 г. цит. по: Миненко Н. А. Живая старина. Будни и праздники сибирской деревни в XVII - первой половине XIX в. Новосибирск, 1989. С. 108.

101. Государственный архив Новосибирской области. Ф. 110. Оп. 1. Д. 12. Л. 122 - 123.

102. Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области. Ф. 156. 1754 г. Д. 72. Л. 23.

103. «Безумный муж жену при людех бьет, а без людей дробит. Бей жену до детей, а детей до гостей...» // Сборник магических и календарно-астрологических памятников и сочинений по физиогномике 1730 г. // Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета. № 2366. Л. 92об. - 105об.

104 Аксаков. С. 68 - 69.

105. «Через ревность часто у них бывали диспоты, дошедшие до того, что моя мать решила его оставить!» (Цылов. С. 43 – 44).

106. «Пишешь ты, якобы для лекарства, чтоб я не скоро к тебе приезжал, а (дело) делал... знатно сыскала себе ково-нибудь вытнее (здоровее, крепче. – Н. П.) меня... Так-та вы, евины дочки, делаете над стариками!» (Петр I – Екатерине Алексеевне//ПРГ. Т. I -II. С. 18 (19 сент. 1711 г.).

107. Вильмот Марта. С. 266.

108. Цылов. С. 48.

109. Вишняков. 85.

110. Скалой. С. 365.

111. Янькова. С. 369.

112. ОдиД. Т. XI. № 163.

113. ОдиД. Т. XI. № 519; ср.: Т. XIX. № 157; Т. XXIX. № 526; Т. XXXI. № 141, 243; РГИА. Ф. 796. Оп. 79. № 598; РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Кн. 790. № 59 и др.

114. ОдиД. Т. XI. №383.

115. ОдиД. Т. XXI. № 90.

116. Скалон. С. 353.

117. Печерин. С. 596; Аксаков. С. 42.

118. Аксаков. С. 62.

119. ПСЗ. Т. XXI. № 15379. Ст. VIII - IX.

120. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1465. Л. 31; Д. 947. Л. 4.

12. РЭМ. Архив РГО. Разряд 61. Оп. 1. Д. 10. Л. 18.

122. Цит. по: Костров Н. А. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876. С. 34.

123. См., напр.: Государственный архив Рязанской области. Ф. 521. Оп. 1. Д. 4. Л. 47 - 48; Ф. 545. Оп. 1. Д. 27 Л. 31 - 32.

124. Симони. П. № 42; Шаповалова. № 53.

125. Симони. I. № 980.

126. Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского

края и разные особенности в условиях их жизни и быта: Общий очерк за XVII и XVIII столетия. Томск, 1898. С. 107 - 108.

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)



127. РГАДА- Ф- 629. Оп. 1. Д. 36. Л. 1 - 21; Ф. 628. Оп. 1. Д. 42. Л. 1 - 5об.; РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Д. 911. Л. 10- 110об.; Д. 320. Л. 35- 183; Д. 914. Л. 10- 168.

128. Цит. по: Потанин Г. Н. Юго-Западная часть Томской губернии в этнографическом отношении // Этнографический сборник. 1864. Вып. IV. С. 54.

129. Симони. I. № 300, 1008; П. № 1201.

130. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 59 (Шуйск. у.). Л. 7об.

### **III. «ЧЕГО НЕ ВЫНЕСЕТ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ!»**

#### ***Материнство и материнское воспитание в российских семьях***

1. Лотман. С. 55.

2. Charter R. The Practical Impact of Writing // Duby G., Aries Ph. (Eds.) Histoire de la vie privée. V. 3. De la Renaissance aux Lumieres. Paris, 1986. P. 111 - 159; Braurutein Ph. Annahrungen an die Inomitat // Geschichte des privaten Lebens. Frankfurt am Main, 1990. Bd. 2. S. 550.

3. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 48 (Муромск. у.). А 16 - 16об.; Д. 68 (Шуйск. у.). Л, 1.

4. В равной мере предосудительными считались изгнание плода, прерывание беременности и даже предохранение от нее. «Чаще всего за помощью в „залечивании" обращаются к бабушкам... Замужние женщины не залечиваются никогда, гулящая женщина, выйдя замуж, бросает лекарства...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 68 (Шуйск. у.). Л. 3 - 4).

5. Симони. П. № 286.

6. Быт. С. 276 - 277.

7. Цатурова. С. 29 - 32. ПСЗ. Т. III. № 1612; Т. V. № 3006; Семенова. С. 22 - 23.

8. Аксаков. С. 200 - 201.

9. Аналогично в России: «Она сама подавала Парашеньку кормилице и не без зависти, не без огорчения смотрела, как чужая, другая женщина кормила ее дочь...» (Аксаков. С. 201).

10. «Двадцати лет я перенесла ужасные роды. На восьмом месяце беременности я заболела страшной корью, которая едва не свела меня в могилу... Мои страдания были так велики, что мне дали опиуму, чтобы усыпить меня. Пробудившись через 12 часов после этой летаргии, я чувствовала себя слабой. Пришлось обратиться к инструментам. Я терпеливо перенесла эту жестокую операцию. Мой муж стоял возле меня, я видела, что силы его покидают... Ребенок умер через 24 часа, но я узнала об этом спустя 3 недели. Сама я была при смерти... Я поправилась быстро, но тяжелое душевное настроение осталось у меня на продолжительное время: я долго не могла равнодушно слышать

детского крика...» (Головина. С. 9 – 10); Даже в самых зажиточных семьях, которые могли себе позволить консультации лучших акушеров, роды часто кончались неблагополучно. Е. Р. Дашкова рассказала в своих мемуарах, как она чуть было не погибла во время третьих родов (Дашкова. С. 99). «Я много мучилась, – вспоминала мать Н. И. Цылова о дне родов. – В продолжение целой ночи то ходила, то ложилась, то вставала, то садилась и, наконец, в семь часов... ты родился!» (Цылов. С. 41). Ср.: Аксаков. С. 200 – 202.

11. Довтр-Запольский М. В. Чародейство в Северо-Западном крае в XVII – XVIII вв. II Этнографическое обозрение. 1890. № 2. С. 49 - 72;  
Грицкевич В. П. Подготовка и уровень знаний женщин-врачевательниц детских и женских заболеваний в Литве и Белоруссии XVI – XVIII вв. // 100-летие высшего женского медицинского образования в СССР: Материалы научной конференции. Л., 1972. С. 95 - 97.

12. Цылов. С. 41.-

13. Рондо. С. 56.

14. «Аще который человек родится, а перенесет мать во чреве – то без (с)частен, а которого недонесет– той велми таланен; аще не в доме зачнется и не в доме родится – таковому век дому своего не видать и работы чужой не минуть (Сборник магических и календарноастрологических памятников и сочинений по физиогномике 1730 г. // Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета. № 2366. Л. 92об. – 105об.); „Средствами, облегчающими роды, считается расплетение косы, развязывание всех узлов, открывание дверей, окон"» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 32. Л. 56 – 57); «Факт родов скрывают, поскольку считается, что за всякого знающего роженица должна будет лишнее прострадать» (Там же. Д. 60. Л. 1 – 1об.; 2об.); см. также: Быт. С. 264 («поение роженицы деревянным маслом»).

15. «Родильная ложка с солью с перцем», «Солоно и горько рожать» (обычай потчевать отца ребенка ложкой каши, сильно посоленной и наперченной). См. подробнее: Даль1. С. 379.

16. Шаповалова. № 268.

17. «Плачь, мать ваша, следуя плачевной моде, ознаменованной смертью разрешающихся от бремени...» (Радищев. С. 213).

18. Петр I - Екатерине Алексеевне // ПРГ. Т. I - П. № 83. С. 58.

19. Басаргин. С. 35; «...получила простудную лихорадку, которая прекратила ее жизнь на 29 году» (Винский. С. 140); «скончалась преждевременно от несчастных родов, вследствие ее падения с лестницы...» (Вишняков. С. 48).

20. Толченнов. С. 148.

21. «Когда матушка скончалась... ей было невступно 40 лет...» (Янькова. С. 27).

22. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 60 (Шуйск. у.). Л. 2.

23. Ломоносов М. В, Проекты переустройства Академии наук // Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. М.; Л., 1957. Т. X. С. 54 - 55.
24. М. В. Ломоносов – И. И. Шувалову // Ломоносов М. В. Соч. М.; Л., 1961. С. 471.
25. Болотов. С. 644 - 645.
26. Толченое. С. 148.
27. Комаровский. С. 1 – 3; Селивановский. С. 521; Толченое. С. 32; о семье А. П. Волынского, в 5 лет оставшегося без матеря, см.: Корсаков. 291.
28. Вишняков. С. 48.
29. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1464. Л. 32; Д. 913. Л. 11; Д. 1452. Л. 17.
30. «Оставшись после мужа молодою вдовой, – вспоминала Е. П. Янькова о А. И. Гагариной, – она влюбилась в учителя своих падчериц, из духовного звания, и сделала непростительную глупость – вышла за него замуж... Она поплатилась за свое увлечение. Удаленная от родных, которые осуждали ее за безрассудство, она претерпевала от семинариста самое грубое обращение...» (Янькова. С. 372).
31. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 68 (Шуйск. у.). Л. 1.
32. Комаровский. С. 1; Долгорукий. С. 488 («восприемницей была сестра моя. княжна Прасковья Михайловна, пятилетний ребенок»).
33. Сабанеева. С. 12.
34. «Брат на пять лет меня моложе. Я чувствовала к нему что-то вроде материнской нежности и всячески пеклась о нем. Мое участие к нему началось с самого его рождения. Наклонившись над его колыбелью, я долго на него смотрела, и то невыразимое ощущение, которое я тогда испытала, осталось во мне живо и неизменно...» (Эделинг. С. 198).
35. Корсаков. С. 291; Смирнова. С. 168 - 170.
36. Николева. Кн. 3. № 9. С. 108.
37. Е. Р. Дашкова воспитывала, например, с 7-летнего возраста младшего сына своей родственницы А. А. Воронцовой – «пока ему не исполнилось шестнадцать лет и он не вступил на службу в чине майора...» (Дашкова. С. 229). В семье Е. В. Татищевой (дочки историка В. Н. Татищева) воспитывались ее внуки (см.: Янькова. С. 23). См. также: Энгельгардт. С. 3.
38. Данилов. С. 13 - 14; Янькова. С. 231; Николева. № 10. С. 134; Капнист-Скалон С. В. С. 292. В XVIII в., когда была «мода» на крепостные театры, немало девочек из простых семей (признанных одаренными и способными к сцене) воспитывалось в семьях их «господ». См. о воспитанницах в семье П. Б. Шереметева в кн.: Шереметев С. Татьяна Васильевна Шлыкова. 1773 - 1863. СПб., 1889. С. 2.
39. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 68. Л. 2.
40. Например, отец А. П. Волынского, в связи с тем, что его вторая жена – по позднему определению пасынка – была «женщина весьма

непотребного состояния», отдал сына на воспитание в семью родственника, С. А. Салтыкова. В других случаях взятие женщиной ребенка на воспитание (и чаще это касалось девочек!) диктовалось пониманием аксиомы: сохранить здоровье и жизнь ребенку легче в семье, нежели вне ее (Янькова. С. 23; 252).

41. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1 (Александр, у.). Л. 11об. - 12.

42. Сборник пословиц Е. Р. Романова // Записки Северо-Западного отдела Русского географического общества. Вильна, 1910. Кн. 1. № 635.

43. Комаровский. С. 181.

44. Толченнов. С. 166.

45. Аксаков. С. 26 - 27.

46. К 50-ти женщина считалась уже вышедшей из фертильного возраста (ср.: «В одной толпе старуха лет 50-ти...» – Радищев. С. 290).

47. Дашкова. С. 1 - 2.

48. Незатейливое воспитание. Ч. 5. № 10. С. 490.

49. Ржевская. С. 2.

50. Дети. С. 119.

51. Даль 2. С. 379.

52. Антисидот. С. 409 - 410.

53. Закладная на дочь Овдотью крестьянина Василия Опиовохина // РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 10. Л. 82- 84об. (1703 г.); ср. также аналоги: РГАДА-Ф. 1.402. Оп. 1. Д. 11. Л. 452 и др.

54. Ср. аналогично в Западносибирском регионе: Миненко. С. 147 – 150.

55. Кузнецов2. С. 2.

56. Она же упоминала о семье соседа ее родителей, Я. Ф. Бунакова, в которой был сын и девять дочерей (Николева. № 10. С. 144). Ср.: «...при родителях нас было пять сыновей и две дочери, но старший не превышал 16-летнего возраста...» (Алтуфьев. С. 34).

57. Янькова. С. 8 («у нея было только двое детей...»).

58. Николева. № 9. С. 108.

59. Лабзина. С. 1, 15.

60. Долгорукова. С. 42. Мать, писала мемуаристка, «льстилась мною веселиться, представляла себе, когда приду в совершенный леты, буду добрый товарищ во всяких случаях и в печали, и в радости... пребезмерно меня любила...» ( см. подробнее: Корсаков. С. 144).

61. «...мочно болше раду быть дочери, нежели двум сынам...» (Петр I – государыне Екатерине Алексеевне. 8 янв. 1707 г. // ПРГ. Т. I – II. С. 1).

62. Печерин. С. 589 (события 1744 г.); ср.: «...как единственный сын, он был всеми в семействе любим и балован до крайности, в особенности матерью, которая, находя в нем одно свое утешение, исполняла все прихоти его и ни в чем не отказывала» (Скалой. С. 352).

63. «Помянутый сын их был первым от их брака, в младенчестве был

весьма мал, слаб и сух, так что... по тогдашнему обычаю народному, должно было его запекать в хлебе, дабы получил он живости...» (Державин. С. 133).

64. Долгорукий. С. 487 (под 1764 г.).

65. Толченев. С. 214 – 216; Аксаков. С. 497 («...мать не была так ласкова и нежна к ней, как ко мне...»).

66. Мемуаристка не скрывала, что предполагала сделать все для того, чтобы «имущество мужа целиком перешло к моему сыну...», поэтому каждая болезнь сына, особенно инфекционная, «смертельно» ее пугала (Дашкова. С. 106 - 107, 129, 131, 167).

67. Аксаков. С. 199.

68. Брусилов. С. 15.

69. Болотов. Т. I. С. 129.

70. «Семейство Нефедя Никитича было малое, дети хотя и рождались, но умирали...» (см.: Корсаков Д. А. Н. А. Кудрявцев и его потомство // Корсаков. С. 40. «Шестнадцать лет прожила в замужестве Анна Алексеевна, имея от Петра Ивановича Панина семнадцать человек детей, которые все умирали во младенчестве...» (Карабинов П. Ф. Статс-дамы и фрейлины русского двора в XVIII – XIX вв. // Русская старина. 1-е изд. 1871. Т. Ш. С. 169).

71. Эделинг. С. 196.

72. «Дочь императрицы стала предметом ея страсти и постоянных забот. Ея уединенная жизнь стала для нее счастьем, как только она вставала, она отправлялась к своему ребенку и не оставляла его почти весь день. Но это счастье продолжалось только 18 месяцев...» (Головина. С. 241).

73. Полилов. С. 25.

74. Печерин. С. 614.

75. Полилов. С. 64 – 65; Дашкова. С. 167; Долгорукова. С. 46; Долгорукий. С. 488; Корсаков. С. 149; Вильмот Марта. С. 441; Аксаков. С. 202.

76. См., напр.: Толченев. С. 31; Дашкова. С. 106. До конца XVIII в. не умели прививать оспу, потому детская смертность от нее была очень высока. См.: Данилов. С. 61 – 62; Е. П. Янькова вообще отметила, что в ее «время было больше рябых, чем теперь». См.: Янькова. С. 23; Печерин. С. 596.

77. См., например, переписку Марфы Петровны Долгоруковой и Марьи Петровны Салтыковой («есть ли легче Ннколаюшке и Катеньке от лихорат-ки?..», «Болит груть и левый бок», «каровь (кровь. – Н. П.) с мокротою горлом идет», «Дала трав, из которых декохт варят, красных порошков и проносных лекарств...»; особенно озабочивали корреспонденток продолжительный кашель «Николашеныш» и «короста на голове» годовалой дочки Насти). Тексты писем см.: Корсаков. С. 181.

78. «Кормить меня грудью мать моя начала было сама, но, сделавшись нездорова, перепоручила дворовой женщине...» (Печерин. С. 594).

79. Петр I - Екатерине Алексеевне. 10 июля 1717 г. // ПРГ. Т. I - II. № 101. С. 73, № 108. С. 77; Екатерина Алексеевна - Петру I // Там же. № 107. С. 76, № 113. С. 80-81 и др.

80. Толченое. С. 214.

81. Ушибы с внутренними кровоизлияниями (гематомами) часто бывали причинами детских увечий и даже смертей. Таким образом погибли несколько детей Н. А. Кудрявцева – правителя Казанского края в Петровскую эпоху (см.: Корсаков. С. 29).

82. Квашнина-Самарина. С. 39. То же средство – «шпанские мухи» наряду с «горчичниками к икрам» и «черный хлеб с уксусом к вискам» – упомянул как средство от жара и С. Т. Аксаков (Аксаков. С. 495).

83. «Грудных трав по 3 или 4 горсти в четвертной воде вари, докамест половина выкипит... от тою немощи поить сколько изволит...» (Из переписки М. П. Долгорукой. Цит. по: Корсаков. С. 180 – 181).

84. Дашкова. С. 134.

85. Скалой. С. 348.

86. Письмо Ивана Худякова к жене и детям 1797 г. // Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области. Ф. 156. Д. 99. Л. 58 – 59.

87. Даль, С. 385, 387, 392 - 393.

88. «Материн сын – отцов пасынок» (Сборник пословиц А. И. Богданова // Пословицы, поговорки, загадки... М.; Л., 1961. № 2658); РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1139. Л. 40.

89. Ср. крестьянские присловья: «Хороша дочь Аннушка, коль хвалит мать да бабушка!», «Всякому свое дитя милее», «Каков ни будь сын – все своих черев урывочек», «Дитя хоть и криво, да матери мило» (Даль, С. 384).

90. Незатейливое воспитание. С. 490 – 491.

91. «Начиная с двух лет детей пугают всякими страстями, причем, наряду с букой, домовым и лешим, пугают доктором и попом...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 60 (Шуйск. у.). Л. 3об. - 4).

92. «До 7-ми лет к детям относятся мягко», а с 7-ми лет «дерка за виски и подзатыльники – обычное дело, за шалости взыскивают строго...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 995. Л. 28).

93. «...умеренная строгость не лучше ли неупотребления телесного наказания?» – рассуждал в своих воспоминаниях Л. Н. Энгельгардт, полагая, что необходимо, чтобы дети «с юности попривыкли даже и к несправедливостям» (Энгельгардт. С. 9).

94. ПСЗ. Т. XX. № 14392. Ст. 391.

95. Корреспондент РГО по Болоховскому у. Орловской губ. в середине XIX в. сообщил, что одна крестьянка до смерти забила сына,

отказавшегося ей повиноваться («Значит, сын волен мать бить и не почитать? В таком случае зачем его выхаживать?»). См.: РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 913. Л. 10.

96. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Л. 8 - 9; Д. 1462: Л. 16.

97. См. подробнее: Миненко. С. 150 - 151.

98. Кантемир А. Д. Сатиры и другие стихотворения. СПб., 1762. С. 123; Шимко И. И. Новые данные к биографии А. Д. Кантемира. СПб., 1891. С. 105.

99. Сабанеева. С. 15.

100. «Я несказанно был рад увидеться особливо с нашей дочерью Анной, которой был тогда четвертый год. Когда мы ее оставили (сестре и племяннице. - Я. Я.), она не могла еще на ногах держаться, а тут увидели, что она ходила, говорила... и собой была прелестна» (Комаровский. С. 181 - 182).

101. Дашкова. С. 94.

102. Янькова. С. 231.

103. «Молоко ея воспитало Наташу и Катеньку. Ваш отец и вы письменно велели сельскому начальству уважать в ней эту ее заслугу» (Н. М. Карамзин - П. А. Вяземскому. 11 сент. 1818 г. // Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому 1810- 1826 гг. СПб., 1897. С. 110; «всем попечением обо мне обязан няне Агафье...» ( Печерин. С. 594); ср. также воспоминания А. Н. Радищева о его няне– Прасковье Климентьевне: Радищев. С. 149 – глава «Подберезье»).

104. «Амалия Ивановна была в доме все: и нянька, и учительница, и ключница, и друг маменьки, и вторая мать нам, даже доктор. Ее глаз и присмотр был везде. Она любила чистоту и порядок. В 5 часов она уже просыпалась . » (Смирнова. С. 171).

105. Долгорукий. С. 505.

106. Скалон. С. 338; Толченное. С. 275; Лабзина. С. 9.

107. Эделинг. С. 199.

108. Незатейливое воспитание. С. 490; Сабанеева. С. 17.

109. «...умерла и Петровна, исполняя самоотверженно свои обязанности до конца жизни, которую положила на питомицу свою... Лихач (извозчик. – Я. П.] переехал ее всем экипажем, а копыта лошади повредили ей затылочную часть черепа. Ее подняли без чувств, но ребенок был без единой царапины - она его закрыла своим телом» (Карпов В. Н. Воспоминания. М.: Л., 1933. С. 32].

110. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 995. Л. 30; Д. 1654. Л. 10.

111. Назимова. С. 841; А. Н. Марин (родственник поэта С. Н. Марина), родившийся в 1789 г., до пяти лет воспитывался бабушкой, вместе с сестрою, в родовом имении в Калужской губернии. См.: Марин. С. 48.

112. Селивановский. С. 521.

113. Глинка. С. 17 - 18.

114. Брусилов. С. 7.

115. Керн. С. 113; Назимова. С. 847; Мещерская. С. 14 - 17. Ср.: «Детей она очень любила и до того баловала, что всякий год посылала к ним в Петербург обоз с разными съестными припасами: вареньем, сухими фруктами, с маслом и с разным соленьем» (Скалон. С. 341). Ср.: Брусилов. С. 46 - 47; Глинка. С. 18.

11. 6 Дети. С. 150.

117. Мещерская. С. 17; ср.: Керн. С. 114.

118. Вишняков. С. 30.

119. Дашкова. С. 462.

120. «Отец... за это выбранил: „Ты девчонка глупая, а ты дурак мальчишка, над стариками труните. Если я еще раз замечу, то не велю вас к столу пускать...» (Янькова.С. 26). Известный русский филолог 1920 - 1930-х гг. А. И. Никифоров полагал, в частности, что уважение к бабушкам в русской семье нашло отражение (в трансформированной форме) в образе Бабы-Яги – «реально-бытовом образе матриархальной владычицы». См.: подробнее: Никифоров А. И. Кощей. Макар. Яга//Живая старина. 1994. № 2. С. 48 - 49.

121. Петр П - Евдокии Федоровне. 27 сент. 1727 Г.//ПРГ. Т. III - IV. С. 71 - 72.

122. Евдокия Федоровна - Петру П. 9 окт. 1727 г. // ПРГ. Т. III - IV. С. 80. Однако при необходимости та же бабушка легко обращалась к внуку, ходатайствуя об устройении судеб родственников и их знакомых (см.: Евдокия Федоровна - Наталье Алексеевне. // ПРГ. Т. III - IV. № 26, 34, 42. С. 85 - 86, 93,100).

123. Лопухин. С. 3.

124. Державин. С. 135; Записки Алексея Федоровича Львова // Русский архив. 1884. Год 22-й. М., 1884. Кн. 2. № 3 - 4. С. 225.

125. Лопухин. С. 4.

126. Головина. С. 1 - 2, 239 и др.

127. «Явсегда думала передними (обычными людьми) преимущество иметь, потому что я была очень любима у матери своей...» (Долгорукова. С. 42); ср.: Глинка. С. 4; Лабзина. С. 22 - 23; Вигель. С. 146; Лопухин. С. 3.

128. Державин. С. 6 – 11; Аксаков; Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях. СПб., 1830.

129. «Бабушка моя была строгая мать, дед – нежный отец. Но как в то время жены уважали и боялись мужей своих, то бабушка и не смела наказывать детей в присутствии бабушки. Отца моего она называла балованным сынком...» (Мордвинова. С. 393).

130. Татищев. С. 138.

131. Антидот. С. 338.

132. РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Д. 1761. Л. 1 - 2; Д. 1764. Л. 2 - 3об.

133. Цит. по: Миненко Я. А. Община и русская крестьянская семья в



Юго-Западной Сибири (XVII – первая половина XIX в.) // Крестьянская община в Сибири XVII - начала XX в. Новосибирск. 1977. С. 116.

134. Глинка. С. 246.

135. Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887. Т. I. С. 16 - 19 и др.

136. Царевич Алексей Петрович – государыне Екатерине Алексеевне // ПРГ. Т. III - IV (№ 76 - 5 мая 1713 г.). С. 53.

137. Записки Г. И. Добрынина 1752 - 1823. СПб., 1872. С. 220.

138. Так, вдова молдавского господаря Д. К. Кантемира Настасья Ивановна, мать 16-летнего Антиоха, впоследствии ставшего известным поэтом, приобрела нервное расстройство в судебной тяжбе с пасынком – К. Д. Кантемиром, завладевшим в силу закона о майорате всем отцовским наследством. Вдова выдержала три судебных тяжбы, пока не добилась решения в свою пользу – во имя своего дражайшего Антиоха, взыскав с ответчика (пасынка) штраф за противозаконное пользование ее «частью» в течение 1723 – 1729 гг. (Корсаков. С. 232 - 233).

139. Дашкова. С. 167. В 1778 г. Дашкова услышала из уст королевы Великобритании лестные для нее слова: «Вы – мать, каких мало...» – и не преминула передать их в своих «Записках». См: Дашкова. С. 136.

140. Дашкова. С. 207.

141. Корсаков. С. 143 - 164.

142. Янькова. С. 230; Дашкова. С. 134.

143. Дашкова. С. 135.

144. Е. Р. Дашкова, в частности, понимала, что ее взрослая замужняя дочь – мотовка, но неоднократно выплачивала все ее долги и долги ее мужа. См.: Дашкова. С. 211.

145. Вильмот Кэтрин. С. 358, 371.

146. «Владея большим имением мужа (6000 душ), неустроенным и, следственно, малоодоходным, она... употребляла все средства, чтобы дать хорошее образование своим четырем сыновьям...» (Скалой. С. 341).

147. Янькова. С. 232 (о семье Голицыных в начале XIX в.); Керн. С. 333 (о семье Осиповых-Вульф).

148. «...приехав в Москву и имел от матери поручение купить у господ Тап-тыковых на Вятке небольшую деревнишку душ на 30...» (Державин. С. 143).

149. «Когда-нибудь мой сын станет фаворитом (он в это время продолжал усердно ухаживать за госпожой N, и их связь не была тайной), мне понадобится его влияние, чтобы получить отпуск на несколько лет и паспорт для поездки за границу», – мечтала Е. Р. Дашкова, не подозревая, что сын вскоре решится на мезальянс: женится – не из карьерных побуждений, а по любви – на купеческой дочери. Однако М. И. Дашков – стараниями матери – все-таки стал приближенным государя. См.: Дашкова. С. 193 – 194 200, 235.

150. Янькова. С. 337.

151. Винский. С. 51.

152. «Отношения детей к родителям были не совсем такие, как теперь... Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и мать не боятся, а больше ли их от этого любят - не знаю... Такого панибратства, как теперь, не было, и, право, лучше было, больше чтители старших... При матушке... никогда не смеешь сесть, пока кто-нибудь (отец или мать. – Н. П.] не скажет: «Что же ты стоишь, садись...» (Янькова. С. 28, 362). В стихотворении «Семейные пиры» то же наблюдение – о воспитании в детях уважения к старшим в семье, в том числе матерям, сделал М. А. Дмитриев: «Нынче не то. Собираются, где веселее. Нет старших, Нет молодых, все равны, и слабеют семейные связи!» (Дмитриев М. А. Семейные пиры // Русские мемуары. С. 41 7).

153. Вяземский. С. 543.

154. Н. Н. Раевский - матери, Е. Н. Давыдовой. 9 июня 1792 г. // Архив Раевских. Изд. П. М. Раевского. Ред. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1908. Т. I. С. 9; «Будьте уверены, что сколько понятия только моего доставать будет, конечно все к вашей и братьев пользе стараться буду выполнить...» (Н. Н. Раевский - Е. Н. Давыдовой. 4 мая 1803 г. // Там же. С. 22); ср. также: Н. Н. Раевский - Е. Н. Давыдовой. 26 апр. 1807 г. // Там же. С. 62).

155. Глинка. С. 241.

156. Болотов. Т. I. С. 127.

157. Протасьев. Страницы из старого дневника // Русский быт. М., 1923. Ч. 2. Вып. 3. С. 46.

158. В воспоминаниях мужчин тоже встречаются строки, воспевающие материнскую любовь и свое детство, – но лишь в тех, что были написаны в начале XIX в. См., напр.: Долгорукий. С. 487.

159. Энгельгардт. С. 3.

160. Ростопчина. С. 52.

161. См., напр.: «Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на все существо человека, и если вдобавок, по счастливой случайности, не повредят сердца, то выйдет существо, не способное на все низкое и отвратительное...» (Керн. С. 101). Ср. рассуждения о воспитании А. Е. Лабзиной [«Говаривали многие моей матери: отчего она меня так грубо воспитывает? Она отвечала: „Я не знаю, в каком она положении будет, может быть, и в бедном... а всем будет довольна и все вытерпит... А ежели будет богата – то легко привыкнет к хорошему...» (Лабзина. С. 19)], С. Н. Бибиковой («человек с детства должен привыкать к мысли, что жизнь полна горя и страданий...» (Бибикова С. Н. Воспоминания о моем отце Никите Михайловиче Муравьеве // «В потомках ваше имя оживет...»). Воспоминания о декабристах в Сибири. Иркутск, 1986. С. 65).

162. Ржевская. С. 3.

163. Головина. С. 3.

164. Лабзина. С. 18.

165. Керн. С. 110

#### **IV. «ОНА СТАРАЛАСЬ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ В НАУКАХ...»**

##### ***Домашнее образование в конце XVIII - начале XIX в. и роль в нем женщин***

1. ПРП. 18 в. С. 45, 360.

2. Ржевская. С. 4 - 33.

3. «...моя сестра Софья была принята в Екатерининский институт на казенный счет в награду за службу ее отца...» (Порошины. С. 214).

4. Справедливости ради, стоит отметить, что общество относилось поначалу к идеям Бецкого без энтузиазма. В те годы имел хождение стишок, весьма критически оценивающий начинание Бецкого: Иван Иванович Бецкий // Воспитатель детский // В двенадцать лет // выпустил в свет // Шестьдесят кур // набитых дур... (Греч Н. И. Записки//Русский архив. 1873. № 9. С. 75).

5. Николева. № 10. С. 129.

6. Глинка. С. 365.

7. Глинка. С. 241.

8. Позже при институте было создано «Училище для воспитания мещанских малолетних девушек» – для девиц недворянского происхождения.

9. Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 307. Высшей удачей почиталось попасть после института ко двору в качестве фрейлины императрицы или ее приближенной, но такая судьба ожидала немногих. Большинство становилось чиновницами, воспитательницами или учительницами в женских учебных заведениях, а то и просто приживалками. Все нововведения Екатерининской эпохи затронули (хотя среди смольнянок и присутствовали иногда провинциалки) прежде всего узкий круг столичных жительниц.

10. Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 9; Исторический очерк деятельности Харьковского института благородных девиц. Харьков, 1912. С. 10.

11. ИА. М; Л., 1951. Т. VI. С. 316.

12. Озерецкая Ф. С. Женское образование в XVIII в. // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР: XVIII – первая половина XIX в. .М., 1973. С. 133 – 143; ее же. Частные женские пансионы и домашнее воспитание женщин // Там же. С. 267 - 269.

13. Столпянский П. Н. Частные школы и пансионы Петербурга во второй половине XVIII в. // ЖМНП. Новая серия. Часть XXXХТП. СПб., 1912. Март. С. 1 – 24; упоминание о женских пансионах конца XVIII в. см.: Порошины. С. 214; Санкт-Петербургские ведомости. 1749. На 143

(объявление об открытии пансиона г-жой Штуллауэн).

14. Санкт-Петербургские ведомости. 1749. № 167; 1764. № 20; 1769. № 89 и др.

15. Соловьев С. М.. История России с древнейших времен. М., 1965. Т. 26. Кн. XIII. С. 565.

16. Кампе И. Г. Отечественные советы моей дочери. СПб., 1803. Ч. 1. С. 90 - 91.

17. Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола. СПб., 1774. Т. I. С. 93 - 94.

18. ПСЗ. Т. XXП. № 16275. С. 465.

19. Фальборк Я. Г., Чарнолуский В. Народное образование в России. СПб., 1900. С. 19; Озерецкая Ф. С. Указ. соч. С. 141.

20. Чукмалин Н. М. Мои воспоминания. СПб., 1899. С. 6 - 7.

21. Об обучении детей крепостных крестьян в вотчинах Шереметевых, Голицыных, Юсуповых, Орловых, Муравьевых, Мещерских см.: Семевский В. И. Крестьяне в царствование... Т. 1. С. 282 – 286; Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция в России. Вторая половина XVIII – начало XIX в. М., 1983. С. 94 - 99, 104 - 106; Узунова Н. М. Из истории формирования крепостной интеллигенции в России: по материалам вотчинного архива Голицыных А" Ежегодник ГИМ. М., 1960. С. 114 - 124.

22. «Мать подкладывает ему (ребенку) всегда хлеба и при удобном случае под подушку на ночь кладет ломоть, чтобы ребенок поел утром, так как он просить не посмеет...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1176. Л. 12).

23. Берхгольц. С. 70.

24. Болотов. Т. I. С. 128.

25. Державин. С. 6- 11; Данилов. С. 20; Неплюев И. И. Записки. СПб., 1893. С. 4 - 9; Толченое. С. 29 - 30 и др.

26. Печерин. С. 595.

27. «Моя мать была небогата и не могла дать мне блестящего образования...» (Головина. С. 2)

28. «До 1812 года мы жили почти роскошно, воспитание всех нас стоило немало...» (Николева. № 10. С. 141).

29. Аналогичным образом поступали и с мальчиками. См. в воспоминаниях Н. П. Брусилова: «По шестому году посадили меня за букварь и часовник...» (Брусилов. С. 7).

30. Иногда матери не доверяли воспитателям и гувернерам и именно из этих соображений обучали языкам и вообще основам наук сами. Такова была ситуация с детьми ? Р. Дашковой, для которых, как она признавалась, ей «приходилось» быть гувернанткой и сиделкой» (Дашкова. С. 105); такую же ситуацию описала Б. А. Сабанеева, указавшая, что ее тетушка Марья Петровна «сама занималась уроками со своими детьми», а гувернантка утверждала, что в ней в доме нет

необходимости, так как «хозяйка дома сама живой лексикон» (Сабанеева. С. 89).

31. Лабзина. С. 17 - 18.

32. Скалой. С. 352.

33. Незатейливое воспитание. С. 493. Ср.: «Когда мне исполнилось семь лет... меня перевели от няни к сестре моей, которая, как вторая мать, занималась со мною, начав учить меня и грамоте и музыке...» (Капнист-Скалон С. В. С. 292).

34. Порошины. С. 214; Печерин. С. 595.

35. Озерская Ф. С. Указ. соч. С. 135.

36. «...началось мое и сестры Елены образование, порученное родителями нашими старшей дочери Надежде Сергеевне... Я привыкла видеть в ней вторую мать и благодетельницу (выделено мною. – Н. П.)...» (Николева. № 9. С. 118; №10. С. 142).

37. Блудова. Огб. 1221.

38. Богословский М. Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века. М., 1906. С. 21; Ростопчина. С. 52.

39. «Вместе со мной обучались всему, разумеется, кроме латыни, и сестры мои... Мы воспитывались одинаково, тем же иждивением, с таким же попечением...» (Долгорукий. С. 506).

40. Тем не менее в дневнике провинциальной помещицы за 1812 – 1833 гг. упомянуты покупки именно учебных и детских книг («Странствующих музыкантов» Лафонтена, географической карты Европы и «Землеописания России»). См.: Квашнина-Самарина. С. 33.

41. Эделинг. С. 195.

42. Бутковская. С. 601 - 602.

43. Порошины. С. 214.

44. Долгорукий. С. 489.

45. Скалон. С. 347.

46. Скалон. С. 354.

47. Мещерская С. В. Воспоминания княгини Софьи Васильевны Мещерской. Тверь, 1902. С. 6. Ср.: «...учились... у различных учителей. Большею частью это были французские эмигранты, которыми в то время была наполнена Россия после революции 1789 года, Когда целые семьи выезжали из Франции, ища средств к пропитанию...» (Николева. № 9. С. 116).

48. Белькур. Москва и ее общество в 1774 г. //Русский быт. Вып. 2. С. 29.

49. «Кому только не доверяли наших детей, лишь бы нашелся иностранец! И сколько вреда наделали в нашем Отечестве эти бродяги...» (Сабанеева. С. 89).

50. Смирнова. С. 167.

51. «...при непосредственном влиянии воспитательницы девиц

Львовых – m-me de Blair, образованной эмигрантки...» (Державин. С. 570).

52. Энгельгардт. С. 6.

53. Керн. С. 117.

54. Хрущев. С. 554; «...старшие дочери его (И. М. Муравьева-Апостола) были совершенные красавицы, образованные и с талантами, в то время они почти не знали русского языка...» (Скалой. С. 362).

55. «Бабушка моя безукоризненно говорила по-французски... но русскому их не сочли нужным выучить, и вот на этой-то почве полнейшего и постыдного незнания отечественной истории, религии и языка и зиждется причина перехода (некоторых из современниц бабушки. – Н. П.) в католичество» (Ростопчина. С. 52).

56. «Варен(ь)я посылает к тебе Николушка аміот сварігь пришлю повара отоваренным которой едит в кіев там засвидетелствуй письмо мое...» – образец женского письма, написанного по-русски, в 1806 г. Его автор – бабушка будущей декабристки М. Н. Волконской и мать декабриста Николая Раевского – кнг. Е. Н. Давыдова (Н. Н. Раевский, Е. Н. Давыдова – гр. А. Н. Самойлову. 12 ноября 1806 г. Каменка//Архив Раевских. Изд. П. М. Раевского. Ред. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1908. Т. I. С. 33. Ср. также: Кунин В. В., Подольская И. И. Е. Н. Львова. 1788 - 1864 // Русские мемуары. С. 400.

57. Дашкова. С. 41.

58. Там же. С. 46.

59. Лопухин. С. 3

60. Скалой. С. 340.

61. Смирнова. С. 166.

62. Наставление для образования воспитанниц женских учебных заведений. СПб., 1852. С. 9.'

63. Николева. № 10. С. 155.

64. Дашкова. С. 134 - 135.

6. 5 Долгорукова. С. 43.

66. Дашкова. С. 108.

67. Кавелин К. Д. Указ. соч. С. 135.

68. Сабанеева. С. 46.

69. Полилов. С. 30.

70. Дашкова. С. 41.

71. Винский. С. 139.

72. Аксаков. С. 91.

73. Керн А. П. (Маркова-Виноградская). Воспоминания о Пушкине. М., 1987. С. 362.

74. Лабзина. С. 18.

75. Данилов. С. 16. См. также: «...уметь вышивать шелками картины и образа, заменяя канву кисеей... Бисер был тогда редкостью, с ним только что познакомились в 1812 году» (Николева. № 10. С. 135). Еще большей

редкостью была в начале XIX в. шерстяная пряжа. «Английская шерсть – такая обыкновенная вещь, (но) в мое время она была редкостью, ее употребляли (для вязанья. – Я. П.) только большие барыни...» (Сабанеева. С. 44).

76. Полилов. С. 42 - 43.

77. «...молодая девушка должна была с грустью отказаться от музыки и выйти замуж за одного золотопромышленника» (Там же. С. 74). «...какой еще музыке надумала учиться! Слушай куранты – каждый час играют...» (Полилова. С. 86).

78. «– Чем фигли-мигли с мальчишками переглядываться, займись лучше делом... подсчитай. – Он дал мне расходную книгу, счета...» (Полилова. С. 90).

79. Николева. № 10. С. 156.

80. «Воспитание шести старших сыновей было домашнее, и только младший Михаил воспитывался в кадетском корпусе. Образование заключалось в русской грамоте, арифметике и геометрии...» (Муханова. С. 210).

81. Николева. № 10. С. 145.

82. «Она (гувернантка) заставляла нас ложиться на ковер на полу, чтобы спины были ровны, или приказывала ходить по комнате и кланяться на ходу» (Керн. С. 118).

83. Назимова. С. 850.

84. Николева. № 10. С. 144.

85. Янькова. С. 234.

86. Блудова. Стб. 1219.

87. Скалон. С. 346.

88. Николева. № 10. С. 145, 148.

89. Portia de Piles. Voyage de deux francais en Allemagne, Danemark, Suede, Russie et Pologne, fait en 1790 - 1792. Paris, 1796. V. IV. P. 80.

90. «Я расширила свою, и без того значительную, библиотеку...» (Дашкова. С. 216).

91. Порошины. С. 211 (о библиотеке бабушки в ее имени «близ Брест-Литовска»).

92. Дмитриев. С. 427.

93. Назимова. С. 851.

94. Керн. С. 118.

95. Квашнина-Самарина. С. 38.

96. Незатейливое воспитание. С. 51.

97. Лотман. С. 53; Сумароков А. П. Избр. произведения. Л., 1957. С. 307.

98. Одновременно в библиотеке детского чтения в России появились изданные Новиковым «Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», а также «Плутарх Херонейский о детоводстве, или Воспитании детей наставление» – жизнеописания великих людей Древней Греции и Рима (СПб., 1771). О

том, что английский перевод Плутарха очень нравился маленьким дворянкам в детстве, о том, что они с наслаждением его читали, сохранились воспоминания А. Д. Блудовой (Блудова. Стб. 1221).

99. Дмитриев. С. 442.

100. Блудова. Стб. 1217.

101. Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. С. 201; Державин Г. Р. Записки. М., 1860. С. 6– 11; Аксаков С. Т. Семейная хроника. СПб., 1856; Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях. СПб., 1830.

102. Блудова. Стб. 1218.

103. «Сочинения (французских авторов и прежде всего m-me Сталь. – Я. Я.) безбожны и безнравственны... Свет погиб именно потому, что люди думали и чувствовали так, как эта женщина...» (Переписка М. А. Волковой и В. И. Ланской. Частные письма 1812 года // РА. Год десятый. М., 1872. Стб. 2389 -2390).

104. Эделинг. С. 206.

105. Керн. С. 331.

106. Николева. № 9. С. 113.

107. Николева. № 10. С. 172.

108. Долгорукова. С. 44.

109. Янькова. С. 289, 371.

## **V. «ЛЮБЕЗНАЯ КАРТИНА ВСЕДНЕВНОГО СЧАСТЬЯ...»**

### ***Повседневный быт женщин разных социальных слоев в XVIII - начале XIX в.***

1 Тихонов Ю. А. Подмосковные имения русской аристократии во второй половине XVII – начале XVIII в. // Дворянство и крепостной строй России XVI – XIII вв. М., 1975. С. 158.

2 Толченев. С. 308.

3 Головина. С. 2. Ср. аналог: Бутковская. С. 598.

4 Квашнина-Самарина. С. 34 – 43.

5 Толченев. С. 379 - 382.

6. Скалон. С. 346.

7. «...натереться докрасна хреном, а потом мылом. Можно окунуться в настой разных трав, что я не раз делала...» (Внльмот Марта. С. 273, 348).

8. Скалой. С. 340; Керн. С. 104, 117.

9. Керн. С. 104.

10. Квашнина-Самарина. С. 35 - 37; Скалов. С. 340; Янькова. С. 366.

11. «П. И. Чичагов не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена», – вспоминал С. Т. Аксаков о соседях по имению (Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. М., 1982. С. 444).



12. Селивановский. С. 524 - 525.

13. «Мать одна... управляла всем домашним хозяйством, а впоследствии – всей деревней. Тем не менее, она находила еще время заниматься сама немецким языком, чтением, разными выписками из книг и с большим усердием лечила... бедных» (Скалой. С. 348). Ср.: Блудова. С. 1217; ср.: «управление деревней зависело от одной моей матери, то и занятия ее требовали много времени...» (Лабзина. С. 9).

14. См., например, письма родителей С. В. Скалой. Цит. по: Скалой. С. 290.

15. Это особенно ощутимо в мемуарах и дневниках выходцев из купеческой среды. Один из них – И. А. Толченое – точно фиксировал в дневнике, сколько дней он провел «в разлуке с хозяйкою», вынужденный отсутствовать «по торговым делам» («В разлуке с хозяйкою находился 51 день...» (1772 г.), «...195 дней...» (1774 г.), «...190 дней» (1776 г.) - см.: Толченое. С. 48, 58, 87).

16. Винский. С. 115-116.

17. Глинка. С. 17-18.

18. Янькова. С. 55. Русский быт. Вып. 2. С. 9.

19. Такова была, например, А. П. Кудрявцева, сумевшая – получив от отца наследственные вочины – скупить и ближайšie к родовым землям имения, доведя свою земельную собственность к 1743 г. до двадцати с лишним тысяч десятин. См.: Поливанов В. Н. Заметка // Исторический вестник. 1887. Год XXX. С. 496; Никита Алферович Кудрявцев и его потомство // Корсаков. С. 37. Ср. также о хозяйствовании в имении одной из старших сестер ? П. Яньковой (Янькова. С. 366). Аналогичную ситуацию рассказал в своих мемуарах С. Н. Глинка, который, «исполняя волю матери, отдал сестре все наследство, движимое и недвижимое» (Глинка. С. 187).

20. Бутковская. С. 618.

21. Вильмот Кэтрин. С. 371.

22. Аксаков. С. 48-49.

23. Там же. С. 351.

24. В «Журнале» И. Толченова часто упоминаются приезды родственников (отца, дяди), свояченицы, взрослого сына и его друзей. См.: Толченое. С. 369, 387, 421 и др.

25. Мещерская. С. 18.

26. Эделинг. С. 225.

27. Янькова. С. 26.

28. Винский. С. 115.

29. Керн. С. 107; Алтуфьев. С. 34.

30. Двенадцатый год в воспоминаниях современников. Сост. В. В. Каллаш. М., 1912. С. 275; ср. Глинка. С. 6.

31. «Они жили открыто, были очень гостеприимны, и гости наполняли

их дом постоянно. Стол был такой лакомый и изобильный, какой теперь трудно встретить... доходя иногда до изумительной роскоши. Их завтраки отличались изобилием и необыкновенною чопорностью. Несметное количество разных пирожков и много закусок, домашних и купленных, в особенности водки были верх изящества и разнообразия... Гостям приходилось отведывать их хотя по капельке, но пьяных я никогда не видала. Кутеж был тогда а l'ordre du jour» (Керн. С. 107). Ср.: «... всегда подавалось 10 кушаний, непременно 2 горячих. Славился у нее пирог с угрем. Мороженое подавали в хрустальной вазе... „Кушай все, непременно, хоть понемножку, но всего, – говаривала она нам..."» (Поленова М. А. Воспоминания о Державиной // Хрущев И. Указ. соч. Кн. 2. С. 573).

32. Бутковская. С. 598.

33. Вильмот Кэтрин. С. 358.

34. Вильмот Марта. С. 255, 258 - 259, 271.

35. Вильмот Кэтрин. С. 302; аналогично – мать С. Т. Аксакова. См.: Аксаков. С. 140.

36. Янькова. С. 55.

37. Вильмот Марта. С. 480.

38. Мордвинова. С. 408.

39. Керн. С. 335.

40. Чечулин Н. Русское провинциальное общество во второй половине ХУШ в. СПб., 1889.

41. Долгорукий И. М. Капище моего сердца. М., 1890. С. 112.

42. Глинка. С. 240 - 241.

43. Аксаков. С. 141 - 142, 161, 447.

44. В начале XVIII в. Корнелий де Бруин отметил, что при посещении им богатой дворянской усадьбы под Москвой хозяйка дома и приглашенные развлекались на качелях («приятное препровождение времени, весьма обыкновенное дело»), однако уже к середине XVIII в. подобное развлечение стало считаться простонародным и в городе дворянками почти не использовалось (Де Бруин К. Путешествие через Московию. М., 1873. С. 96).

45. Эделинг. С. 225.

46. «В домах появились диваны и будуары, а с ними... – истерики, мигрени и спазмы», – иронизировал над российскими горожанками один из современников, точно почувствовав связь между новыми деталями обстановки жилища и изменениями в рисунке поведения столичных жительниц (Глинка. С. 215). О строительстве и обустройстве собственного дома на Пречистенке см. также: Янькова. С. 202 - 212.

47. Ржевская. С. 39; Рондо. С. 126 - 127.

48. Янькова. С. 289.

49. Vtgee-Lebrun M. L. Souvenir de ma vie. Paris, 1869. P. 352.

50. Об этом упомянули и П. А. Болотов (сын А. Т. Болотова) в «Журнале или ежедневных записках препровожденного времени», и И. Толченев в своем дневнике. См.: Толченев. С. 308 (о Кунсткамере); Русский быт. Ч. 2. С. 234 - 235.

51. Из переписки В. Н. Головиной 1796 г. // Русский быт. Ч. 2. Вып. 2. С. 217.

52. Янькова. С. 216.

53. Виже Лебрен. В России 1795- 1801 гг. // Русский быт. Ч. 2. Вып. 1. С. 231.

54. Русский быт. Ч. 2. Вып. 1. С. 217.

55. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М., 1993. С. 73.

56. Рондо. С. 43.

57. Головина. С. 41. «Ея разговор может нравиться и принцессе, и жене торговца, и каждая из них будет удовлетворена беседою» (Рондо. С. 127).

58. Виже Лебрен. Указ. соч. // Русский быт. М., 1922. Вып. 2. С. 23; см. также: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. С. 74.

59. Леди Рондо, побывавшая в России в середине XVIII в., сохранила в своих, письмах описание эпизода из жизни столичных дворянок, немислимого в чопорной и законопослушной Англии того времени: три или четыре «красавицы здешнего северного царства», сообщала Рондо, «присудили быть высеченным» легкомысленному ловеласу, ухаживавшему сразу за всеми дамами (к тому же они были замужними), и когда «виновность была доказана, исполнили приговор в точности или поручили служанкам...» (Рондо. С. 43).

60. Болотов. Т. 2. С. 202; Русский быт. Ч. 2. Вып. 1. С. 293.

61. Янькова. С. 744- 745; Глинка. С. 240, 311; Русский быт Ч. 2. Вып. 1. С. 213 – 240 (Раздел «Быт и нравы») и 243 – 303 (Раздел «Помещики дома и в городе»).

62. Головина. Мемуары. С. 88 – 89. Е. П. Янькова, рассказывая о жизни в Москве, упоминает, что их дом в этой второй столице был «деревянный, с садом, огородом и огромным пустырем, где паслись наши коровы» – то есть домашняя жизнь в Москве весьма напоминала сельскую. См.: Янькова. С. 741 - 742.

63. Янькова. С. 114– 115, 198 («...мне было 14, когда я первый раз была в театре...» - С. 201).

64. Головина. Мемуары. С. 61 – 66.

65. Голицына А. А. Из переписки 1796 г. // Русский быт. Вып. 1. Ч. 2. С. 218 -219.

66. Вигель. С. 220-221.

67. Ржевская. С. 47-48.

68. Головина. Мемуары. С. 183 (о судьбе матери и дочери Лопухиных,

генных» вниманием Павла I).

69. «Собрания начинались с 24 ноября и 21 апреля оканчивались. Съезжались обыкновенно в 6 часов, потому что обедали рано, стало быть, 6 часов это был уже вечер, и в 12 часов все разъезжались по домам...» – описывала Е. П. Янькова куртаг для дам в доме А. Ф. Татищевой. См.: Янькова. С. 213.

70. Тем не менее сын Е. Р. Дашковой женился на купеческой дочери! См.: Дашкова. С. 200-201.

71. Вишняков. Ч. 3. С. 91 - 92.

72. Полилов. С. 25.

73. Именно в купеческой и, шире, городской среде стало принято «кушать чай» на завтрак и вообще подолгу чаевничать. См.: Толченное. С. 437; Щукин Н. С. Чай и чайная торговля в России // Журнал Министерства внутренних дел. 1850. Ч. 30. Кн. 4. С. 69 - 91; 194 - 211. 74. Винский. С. 115-116.

75. Вишняков. С. 85.

76. Авдеева Е. А. Детство в Брюсовском переулке: Воспоминания // Наше наследие. 1990. № 6. С. 110 (описан образ жизни конца XIX в.).

77. Рабинович М. Г. Русская городская семья в начале XVIII в. // СЭ. 1978. № 5. С. 34.

78. Винский. С. 115.

79. Вишняков. С. 92 - 93.

80. Русская мысль. 1883. № 2. С. 267.

81. Иногда в домах провинциального мещанства даже ставились спектакли. Об этом упомянул П. И. Мельников в одном из рассказов о событиях конца XVIII в. См.: Мельников П. И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 1. С. 108.

82. Вишняков. С. 44.

83. См.: Вишняков (Вишнеков) А. Крестьянская пирушка // Брук. С. 129 (ил. 106).

84. Толченное. С. 434 - 437.

85. См. подробнее: Семенова. С. 199–206; Лотман Ю.М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»... С. 74 – 79.

86. Ефименко А. Я. Народные юридические воззрения на брак // Знание. 1874. № 1; Ее же. Крестьянская женщина: Этнографический этюд // Дело. 1873. Год 7-й. Февраль. С. 173 - 207; Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины П. СПб., 1872. Т. I – II; Ею же. Домашний быт и права крестьян XVIII в. // Устои. СПб., 1882. № 2; Желозовский А. И. Семья по воззрениям русского народа, выраженным в пословицах и других произведениях народнопоэтического творчества. Воронеж, 1892.

87. Бояришнова З. Я. Крестьянская семья в Западной Сибири феодального периода // Вопросы истории Сибири. 1967. Томск, 1967. Вып.

3. С. 14 – 15.

88. Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975; Ее же. Мир русской деревни. М., 1991; Миненко; Александров В. А. Черты семейного строя у русского населения Енисейского края XVII - начала XVIII в. // Сибирский этнографический сборник. М.; Л., 1961. Т. Ш; Его же. Семейно-имущественные отношения по обычному праву в русской крепостной деревне XVIII – начала XIX в. // История СССР. 1979. № 6; Власова И. В. Семья и семейные отношения // На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989. С. 176 – 222 и др.

89. Подробнее о крестьянских работах, выполнявшихся женщинами в XVIII в., см.: Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1786. Ч. 2. Кн. 1. С. 283 - 284; Григоровский Н. Крестьяне-старожилы Нарымского края // Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Омск, 1879. Кн. 1. С. 18; Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1824 (далее - Фальк). Т. 6. С. 359 - 360; Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975. С. 82, 156 - 157, 190 и др.

90. Миненко. С. 111.

91. Фальк. С. 348 - 360.

92. «Опрятность соблюдается относительно. Мытье пола устраивается раз в неделю. Платье не особенно чистое...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 32 (Меленковск. у.). Л. 29 – 30; Д. 40 (Меленковск. у.). Л. 1 – 1об.); «...крестьяне крайне неопрятны... Избу моют лишь на Пасху» (РЭМ. Оп. 1. Д. 51 (Сузд. у.). Л. 11); Быт. С. 227 - 228.

93. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 8. Л. 5об. - 6; Оп. 1. Д. 71 (Шуйск. у.). Л. 13 - 14.

94. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 33 (Меленков. у.). Л. 8 - 10; Быт. С. 282.

95. Описание курных изб и антисанитарных условий в них, непригодности для проживания см. в донесении московского уездного предводителя дворянства по вотчинам Шереметевых: РГАДА. Ф. 1252 (Шереметевы). № 376 (Останкино). Л. 10 - 10об.; Щепетов К. Н. Крепостное право в вотчинах Шереметевых: 1708 - 1885. Л., 1945. С. 204 - 205; Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1872. Т. I. С. 286 - 287.

96. Изображения русских курных изб в парадной живописи XVIII в., как правило, идеализированные (см., напр.: Лепренс Ж.-Б. Внутренность русской избы ночью. Рисунок // Брук. С. 67, цв. вкл.): внутренность избы имеет на них чуть ли не зальный размах, а полуголые женщины и дети кажутся попавшими в них с картин Фрагонара. Лишь некоторые детали материального быта (люльки, печь, лавки и т. п.) действительно отличаются реальным сходством с существовавшими.

97. Крюкова С. С. Указ. соч. С. 103.

98. Ефименко А. Я. Крестьянская женщина // Дело. 1873. No 2. С. 205.
99. Семевский В. И. Домашний быт и права крестьян XVIII в. // Устои. СПбй 1882. № 2. С. 70.
100. По указу 1744 г. в случае, если кормильца забирали из семьи в рекруты, то жена его становилась «от помещика свободной», однако же дети оставались в крепостном состоянии. См.: ПСЗ. Т. XII. На 9019. С. 197.
101. Тема семейных разделов у русских крестьян прекрасно разработана американскими крестьяноведами. См., напр.: Frierson C. A. The Peasant Family Division and the Commune // Paper, presented to the Conference on the Commune and Communal Forms in Russia. University of London. 7. 11. 07. 1986 (Published: Land Commune and Pesant Community in Russia. Ed. R. Bartlett). London, 1990. P. 303- 321; Eadem. Razdel: The Peasant Family Divided // The Russian Review. Cambridge (Mass.), 1987. V. 46. P. 35 - 52.
102. Информатор фонда В. Н. Тенишева из Шуйского уезда привел поговорку: «Уж, видно, и сама-то жох, коли из пяти снох ни одной хорошей не выискала», выразившую суть дела: бмъшуха должна была уметь уживаться с молодыми (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 66 (Шуйск. у.). Л. 9).
103. Семевский В. И. Домашний быт. С. 78 – 84.
104. «...группа женщин в пять-шесть человек, переходя из дома в дом...» (РЭМ. Оп. 1. Д. 40 (Меленковск. у.). Л. 1-2).
105. «Большуха – не всегда жена большака. Ею может являться не только замужняя женщина, но и вдова или девушка или одна из снох. На большухе лежит распорядительство всеми женщинами...» (РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 32 (Меленковск. у.). Л. 3).
106. Даль 2. С. 392 - 393; РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 50 (Сузд. у. Владим. губ.). Л 2 - 6.
107. См. изображения крестьянского обеда в зарисовках сына придворного конюха И. А. Ерменева («Обед», «Крестьяне за обедом») и И. Я. Метгенлейтера («Деревенский обед». 1786 г.). См.: Брук. С. 159. Ил. 133 - 134; С. 178. Ил. 141).
108. Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Культура и быт колхозников Калининской области в прошлом и настоящем. М., 1964. С. 117.
109. Подробнее см.: Миненко. С. 155.
110. Быт. С. 233 - 234.
111. Миненко Н. А. Живая старина. Новосибирск, 1989. С. 113 - 126.
112. Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева. Л.; М., 1948.
113. Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991 (раздел «Праздник»). С. 319 - 361.
114. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 - 1769 гг. СПб., 1795. Ч. 1. С. 9.

115. Бернштам Т. А. Девушка-невеста и предбрачная обрядность в Поморье в XIX – начале XX в. // Русский народный свадебный обряд: Исследования и материалы. Л., 1978. С. 51.

## **VI. «НЕ ЛЮБ МУЖ - ДА КУДЫ ЕГО ДЕТЬ?»**

### ***Прекращение замужества, признание его недействительным и право на развод***

1. Цатурова. С. 65.
2. ОдиД. Т. VII. № 261; Т. VI. № 306; Т. LX. № 427; ПСПиР. Т. V. № 1867.
3. ПСЗ. Т. V. № 2789; Т. VI. № 3485 (Гл. IV. Ст. 8).
4. ОдиД. Т. II. Ч. I. № 31, 138; Т. III. На 67; Т. V. № 150; Т. VIII. № 107258; Т. XV. № 377; Т. XVI. № 327, 392; Т. XIX. № 26; ПСЗ Т. X. № 7761. ПСПиР. Т. X. № 3309.
5. Способин А. Д. О разводе в России. М., 1881. С. 38.
6. Павлов А. С. Курс церковного права. СПб., 1874. С. 388.
7. Загоровский А. И. О разводе по русскому праву. Харьков, 1884; Победоносцев К. П. Курс гражданского права. СПб., 1889. Ч. I – III; Завьялов А. А. К вопросу о браке и брачном разводе // Странник. 1892. № 3. С. 453.
8. ПСЗ. Т. V. № 4022 (О монахах. П. 5).
9. По документам, представленным в Синод, можно сразу же выделить группу актов, связанных с насильственным изъятием у жены приданого через ее пострижение (см., напр.: ОдиД. Т. VI. № 218. 1726 г.) или попыткой жениться на другой женщине (Там же. Т. XI. № 364. 1731 г.).
10. Вебер. Огб. 1368.
11. ОдиД. Т. I. №514. 1721- 1722 гг.; ср. аналог: ОдиД. Т. VI. 1718-1719 гг.; Стб. 378-380.
12. Например, в 1726 г. чиновник Белгородской провинции Пархомов постриг жену и вступил в брак с «вдовой Колтовской», с которой состоял ранее в «прелюбодейной связи». Синод расторг брак Пархомова и запретил ему жениться вновь. См.: ПСПиР. Т. V. С. 452.
13. ПСЗ. Т. V. № 4022 (П. 4); ПСПиР. Т. III. № 1044. П. XI; ПСЗ. Т. VII. № 4190.
14. На основании работ русских юристов XIX в. невозможно разобраться, какие обстоятельства заставляли церковные власти XVIII – XIX вв. признавать брак недействительным, а какие – разрешали развод. Авторы рассматривали поводы к разводу и причины недействительности брака неразделенно. См.: Загоровский А. И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 119-120; Розанов Н. И. История Московского епархиального управления со времени учреждения св. Синода 1721 - 1821 гг. Ч. 1. Кн. 1. С. 87 - 88.
15. Такая причина была достаточно распространенной, см., напр.: ОдиД. Т. III. № 394/360. С. 402; Т. VII. № 26/325. С. 271; ПСПиР. Т. I. № 219. С.

235; Т. V. № 1867. С. 447; и др.

16. РГИА. Ф. 796. Оп. 39. № 254, 258, 259; Оп. 43. № 287, 366; Оп. 44. № 283; Оп. 52. № 340; Оп. 53. № 331; Оп. 59. № 349; Оп. 66. № 368, 370, 371, 373 - 376, 395; Оп. 67. № 363; Оп. 78. № 461; Оп. 79. № 567, 594; Ф. 797. Оп. 1. № 11/439; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. III. № 205; Ч. VII. № 146, 280, 296; Ч. VIII. № 14, 166, 194; Ч. XIV. № 52, 67, 105; Ч. XXIII. № 269; Ч. XXIV. № 124.

17. Чаще всего - в среде крепостных. См.: РГАДА. Ф. 248. 14. Кн. 782. № 31.

18. ОдиД. Т. VII. № 302; Т. IX. № 140; Т. XI. № 269; Т. XII. № 368; Т. XX. № 290; Т. XXVI. № 223; Т. XXXI. № 269; РГИА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2931. Л. 1; Ф. 796. Оп. 26. № 325; Оп. 26. № 401.

19. ПСЗ. Т. XIX. № 14229; ПСПиР. Т. VII № 2335, 2553; РГИА. Ф. 796. Оп. 66. № 306; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. XXI. № 289.

20. ОдиД. Т. VI. № 308; РГИА. Ф. 796. Оп. 31. № 164; Оп. 43. № 223; Оп. 66. № 380, 484; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. VII. № 291.

21. Цит. по: Загоровский А. И. О разводе по русскому праву. Харьков. 1884. С. 199 - 200.

22. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1108. Л. 27 - 28.

23. Седерберг Г. Заметки о религии и нравах русского народа: 1709–1718. М., 1873. С. 22.

24. Рейтенфельс. С. 177.

25. См. подробнее: Лотман Ю. М. К вопросу об источниковедческом значении высказываний иностранцев о России // Сравнительное изучение культур. Л., 1976. С. 125.

26. ОААНл. Т. П. Огб. 397.

27. Указ 11 декабря 1730 г. // ПСЗ. Т. VIII. № 5655; Т. XVIII. № 12935.

28. ПСЗ. Т. VI. № 3963.

29. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1465. Л. 34; Д. 947. Л. 4.

30. ПСПиР. Т. III. № 1154. П. 5 - 6.

31. Такого рода ситуация сложилась в семье дворян Балакиревых, где муж подал прошение о разводе в 1735 г. «по причине важной вины – прелюбодеяния жены», однако, как сообщается в тексте постановления Синода, «прошением Балакирева вина она упразднилась и брак утвердился» (Решения Синода по делам духовно-судным. 4 окт. 1745 г. Синодальный протокол № 83//Православное обозрение. 1891. Т. 2. С. 528).

32. Сборник пословиц А. И. Богданова // Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII- XX вв. М.; Л., 1961. № 1242, 3232; Шаповалова. № 265.

33. См., напр.: Дашкова. С. 87; Янькова. С. 8, 13; Назимова. С. 844 и др.

34. «Вины разводов брачных. 1. Причины прелюбодейства и челобитье о том брачных друг на друга...» (ПСЗ. Т. VI. № 3963).

35. КК. Гл. 44, 48, 49. С. 349, 400, 494.



36. КК. Правила Василия Великого. № 21. С. 226.
37. ПСЗ. Т. VI. № 4081. С. 764; Руднев М. Церковное судопроизводство по делам о расторжении брака по причине супружеской неверности // Христианское чтение. 1902. Ч. 1. С. 116.
38. См., напр.: Прощение о расторжении брака Прасковьи Михайловны, жены генерал-майора Давида Тимофеева фон Нагана. Дело архива Тульской духовной консистории за 1800 г. // Христианское чтение. 1902. № 1 – 4; Церковное судопроизводство по делам о расторжении брака. № 30. С. 107.
39. Симони. I. № 411.
40. Сборник пословиц Библиотеки Академии наук // Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII – XX вв. М.; Л., 1961. № 943.
41. РГИА. Ф. 796. Оп. 43. № 228, 230; Оп. 54. № 347, 349; Оп. 59. № 358; п. 79. № 585, 587, 590, 592, 593; Ф. 797. Оп. 1. № 10/155, 10/203; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. VII. № 291; Ч. IX. № 37; Ч. XIV. № 134.
42. РГИА. Ф. 796. Оп. 39. № 262; Оп. 41. № 244; Оп. 52. № 349, 350; Оп. 78. № 475; Оп. 79. № 591; Ф. 1348. Оп. 51. Ч. 1. № 9/50; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. VII. № 365, 471; Ч. VIII. № 6.
43. ОдиД. Т. VI. № 197; Т. VIII. № 133, 310, 473, 631; Т. IX. № 30; Т. XVI. № 182; Т. XX. № 168; Т. XXII. № 233, 462.
44. ПСЗ. Т. XIX. № 14160. С. 654.
45. Седерберг Г. Указ. соч. С. 22 - 23.
46. ОААНл. Т. I. Стб. 711–713 (Дело петербургского мастерового А. Р. Звездочетова 1714 г.).
47. ОААНл. Т. П. Стб. 1077 - 1079 (Дело токаря Л. Косагова 1719 г.).
48. Янькова. С. 8, 13.
49. Назимова. С. 844.
50. Там же. С. 846.
51. Сегюр А-Ф. Ве. Записки//Помещичья Россия. С. 42.
52. Приведем еще раз выдержку из уже цитированного источника: «Жены начали покидать своих мужей... Иван Бутурлин, а чей сын, не знаю, имел жену Анну Семеновну, с ней слюбился Степан Федорович Ушаков, и она, отошед от мужа своего, вышла за своего любовника, и, публично содеяв любодейственный и противный сей церкви брак, жили. Потом Анна Борисовна... рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла... Еще Петр Великий... позволил князю Н. И. Репнину иметь метрессу и детей ее, под именем Репнинских, благородными признал. Также князь И. Ю. Трубецкой... имел любовницу в Стокгольме... и от нее сына, которого именовали Бецким... Выблядок князя В. В. Долгорукова Рукин наравне с дворянами был производим. Алексей Данилович Татищев, не скрывая холопку свою, отнявшую у мужа жену, в метрессах

содержал, и дети его дворянство получили. А сему подражая, толико сих выблядков дворян умножилось, что повсюдова толпами их видно. Лицины, Рапцовы...» (Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М., 1993. С. 115 – 116). Бастардов обычно записывали «в одном звании с их воспитателями, если сии последние не из дворян» (ПСЗ. СПб., 1830. Т. ХП. № 9011. (1744 г.) С. 191); для получения дворянского статуса требовалось специальное решение.

53. См. об этом, напр.: Головина. С. 77 («она пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению и говорила, что ее муж, как страус, воспитывает чужих детей...»).

---

[К титульной странице](#)

[Вперед](#)

[Назад](#)

54. Дашкова. С. 87.
55. Радищев. С. 290 - 291.
56. «Женам, мужья коих находятся в безвестной отлучке, можно позволить вступить в новый брак только тогда, когда будет установлен факт смерти первого мужа...» (ПСПиР. Т. IX. № 3095).
57. РГИА. Ф. 796. № 566; РГАДА- Ф- И83. Оп. 1. Ч. УП. № 296, 390; Ч. УШ. 124, 166, 194, 216; Ф. 248. Оп. 14. Кн. 782. NB 31.
58. Оид. Т. XXI. № 466.
59. КК. Правило шестого вселенского собора в Трулле. № 93. С. 178; Правила Василия Великого. № 31, 36, 46. С. 224 - 259.
60. РсвСпдДС. № 228. С. 539.
61. ПСЗ. Т. XII. № 9087.
62. КК. Глава 8. Грань 11. С. 260.
63. ПСПиР. Т. V. № 1841; Оид. Т. IV. № 203; РГИА. Ф. 796. Оп. 79. № 599 (удовлетворено).
64. РсвСпдДС. № 24 (10 сент. 1815 г.), № 371 (9 июня 1809 г.); № 572 и др. С. 530-531.
65. Оид. Т. VIII. № 326; ср. аналог: ПСПиР. Т. VI. № 2150.
66. См. подробнее: Семенова. С. 60.
67. РсвСпдДС. № 350. С. 530 - 531.
68. РсвСпдДС. № 96. С. 532 (1803 г.).
69. ПСЗ. Т. VI. № 3628; Т. XVII. № 10086.
70. Загоровский А. И. О разводе по русскому праву. Харьков, 1884. С. 199 –
71. Кузьмин А. Г. Татищев. М., 1981. С. 328.
72. Оид. Т. XXVI. № 278; ср. аналоги: Т. XI. № 10, 353; ПСПиР. Т. VII. № 2493.
73. Оид. Т. Стб. 532 - 536 (1712 г.).
74. Берхгольц. Ч. III. С. 23.
75. ОААНл. Т. I. Стб. 711 - 713; Т. XV. № 193, 221; ПСПиР. Т. IX. № 2924; Т. X. № 3556; Т. XX. № 14886 и др.
76. Оид. Т. П. Ч. I. № 99. С. 67 - 68. Сохранилось письмо А. Г. Салтыковой к М. И. Балк, в котором она рассказывает подруге, как была от мужа «два раз(а) бита» и «совсем (об)обрана»; приведено в исследовании В. И. Семевского. См.: Семевский В. И. Царица Екатерина Алексеевна. СПб., 1884. С. 286 - 287.
77. См., напр.: Керн. С. 331. О разъезде родителей и разделе ими детей см. также в воспоминаниях Н. И. Цылова – см.: Цылов. С. 44 – 45.
78. Дело о прошении Балакирева 4 окт. 1735 г. РсвСпдДС. С. 528.
79. Капнист-Скалон. С. 371, 373.
80. «...генерал Леонтьев, происками своей жены, был лишен седьмой

части имений и четвертой части движимости и капитала, что – по российским законам – она должна была бы получить только после его смерти...» (Дашкова. С. 87); «...детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы некоторому из них после другого седьмой части не брать...» (Янькова. С. 8).

81. Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 323.

82. Подробнее см.: Лотман. С. 122.

83. Челобитную Агафьи Васильевой 1785 г. цит. по: Миненко. С. 134.

84. Костров Н. А. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876. С. 26.

85. Ядринцев Н. М. Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях // Женский вестник. 1867. № 8. С. 116.

86. Миненко. С. 134.

87. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 32 (Меленковск. у.). Л. 65 - 66; Д. 58 (Шуйский у.). Л. 10; Д. 1885 (Шуйский у.). Л. 2.

88. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1885. С. 136; ср. также: Григоровский Н. П. Очерки Нарымского края // Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. 1882. Кн. IV. С. 9.

89. Пахман С. В. Обычное гражданское право в России. Т. II. Семейное право, наследство, опека. СПб., 1879. Т. II. С. 85 - 119.

90. Среди разводных писем XVIII в. встречаются упоминания о разных болезнях, которые мешали «брачному сожитию» («нога правая отгнила, и по всему телу великая болезнь», «заражены сущи гнилцем и канцеровой болезнью (рак)», «в большее всего тела приходит разорение и смрадное согнание» и др.), – но ни одно из прошений не удовлетворено. См.: О брачных разводах по архивным документам Харьковской и Курской духовных консисторий. Сообщил А. Лебедев. М., 1887. С. 4 (1726 г.); ОидД. Т. V (1725 г.). С. 601 - 602; Т. VI (1726 г.). С. 534 и др.

91. Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта: Общий очерк за XVII и XVIII столетия. Томск, 1898. С. 107 - 108.

92. Подробнее см.: Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, семейному и наследственному. СПб., 1877. С. 27.

93. Спасский Г. Нечто о русских в Сибири старожилах // Сибирский вестник. 1818. Ч. 1. С. 13(125).

94. РГАДА. Ф- 628. Оп. 1. Д. 42. Л. 1 - 5об (1741 г.).

95. РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Д. 911. Л. 100 - ПОоб.; Д. 320. Л. 35 - 183; Д. 914. Л. 10 - 168об. (все дела -, 1800 - 1806 гг.).

96. Потанин Г. Н. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении II Этнографический сборник. СПб., 1864. Вып. IV. С. 54.

97. Розанов Н. История Московского епархиального управления. СПб., 1889. Кн. 1. Ч. 1. Примеч. 204; Ч. 2. Примеч. 79 и др.

98. РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1465. Л. 34; Д. 947. Л. 4.

99. РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Д. 320. Л. 103; Д. 914. Л. 168об.; Д. 967. Л. 366.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией императорской Академии наук. Т. 1 - 4. СПб., 1836.

АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией Академии наук. Т. 1. СПб., 1841.

Аксаков - Аксаков С. Т. Семейная хроника. М., 1982.

Алтуфьев - Алтуфьев В. И. Памятные записки. 1785 - 1831 гг. // Щукинский сборник. Вып. 8. М., 1909.

Антидот – Антидот (противоядие). Полемическое сочинение государыни императрицы Екатерины Второй. Перевод с французского подлинника // Осьмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. М., 1869. Кн. 4.

Антология – Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства X - XVII вв. М., 1985.

Асмолов - Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990.

АСЭИ– Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. М., 1954. Т. 1; М., 1958. Т. 2; М., 1964. Т. 3.

АЮ – Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838.

Басаргин – Басаргин Н. В. Записки. Под ред. П. Е. Щеголева. СПб., 1914.

Бассевич - Бассевич Г. Ф. Записки // РА. Т. 3. М., 1865.

Березина – Березина Е. Я. Жизнь моей матери, или Судьбы провидения // Исторический вестник. 1894. Т. 58. № 12. С. 681 - 693.

Берхгольц - Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера В. Ф. Берхгольца. Т. 1 -2. М., 1902 - 1903.

Беседа - Беседа отца с сыном о женской злобе. XVII в. // ПЛДР. XVII в. М., 1988. Кн. 1.

Блудова – Блудова А. Д. Записки графини Антонины Дмитриевны Блудовой // РА. 1872. № 7/8. Стб. 1217 - 1310; 1873. Кн. 2. № И. Стб. 2049 - 2138.

Болотов – Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим. СПб., 1871.

Брук - Брук Я. В. У истоков русского жанра: XVIII век. М., 1990.

Брусилов - Брусилов Н. П. Императрица Екатерина в домашнем быту // Помещицья Россия.

Бутковская – Бутковская А, Я. Рассказы бабушки I/ Исторический вестник. 1884. Т. 18. № 12. С. 594 - 631.

Буш – Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. Пт., 1918.

Быт – Быт великорусских крестьян-землепашцев: Описание материалов этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева. Сост. Фирсов Б. М., Киселев И. Г. СПб., 1993.

Вебер – Вебер Х. Ф. Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // РА. 1872. Т. 6. Стб. 1421 - 1452.

Вечеря – Полоцкий Симеон. Вечеря душевная // Буш.

ВЗ – Великое Зерцало // Державина О. А. Великое Зерцало и его судьба на русской почве. М., 1965. Тексты.

ВИ – журнал «Вопросы истории».

ВИМОИДР – Временник императорского Московского общества истории и древностей российских.

Вигель – Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1 - 2.

Вильмот Кэтрин – Письма Кэтрин Вильмот 1803 – 1805 гг. // Записки княгини Е. Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России. Под ред. С. С. Дмитриева и Г. А. Веселой. М., 1991.

Вильмот Марта – Письма Марты Вильмот 1803 – 1805 гг. // Записки княгини Е. Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России. Под ред. С. С. Дмитриева и Г. А. Веселой. М., 1991.

Винский – Винский Г. С. Мое время. СПб., 1914.

Вишняков – Вишняков Н. Сведения о купеческом роде Вишняковых: 1762 – 1847. М., 1905.

Волконская – Волконская М. Н. Записки. СПб., 1914.

Вяземский – Вяземский П. А. Московское семейство старого быта // Русские мемуары.

ГАВО – Государственный архив Владимирской области.

Герберштейн – Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908.

ГИМ – Государственный исторический музей.

Глинка – Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895.

Головина – Записки графини Варвары Николаевны Головиной (1766 – 1819). Ред. и примеч. Е. С. Шумигорского. СПб., 1900.

Горсей – Горсей Дж. Записки о России XVI - начала XVII в. М., 1990.

Грамотки – Грамотки XVII - начала XVIII в. Под ред. С. И. Каткова. М., 1969.

Давид – Давид И. Современное состояние великой России или Московии // ВИ. 1968. № 4. С. 140 - 146.

ДАИ – Дополнения к актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией Академии наук. СПб., 1875. Т. 1.

Даль, – Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957.

Даль2 – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1 - 4.

Данилов – Данилов М. В. Записки // РА. Год 21-й. М., 1883. Кн. 2. Вып. 3. С. 1-67.

Дашкова – Записки княгини Е. Р. Дашковой и письма сестер Вильмот из России. Под ред. С. С. Дмитриева и Г. А. Веселой. М., 1991.

ДД – Кузьмина В. Д. Девгениево деяние. Приложения. Реконструкция текста. М., 1962.

Державин – Державин Г. Р. Записки из известных всем происшествий и подлинных дел//Державин Г. Р. Сочинения. М., 1871. Т. VI.

Дети – Ивановская Т. Дети в пословицах и поговорках // Вестник воспитания. М., 1908. Год XIX. С. 112 - 162.

Дмитриев – Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти // Русские мемуары: XVIII век. М., 1988.

Долгорукий – Долгорукий И. М. Записки // Долгорукий И. М. Сочинения. СПб., 1849. Т. 2.

Долгорукова – Долгорукова Н. Б. Своеручные записки // Записки.

Домострой – Домострой. Текст подготовлен Колесовым В. В., Рождественской В. В. М., 1994.

Епифаний – Епифаний Славинецкий. Гражданство обычаев детских // Буш. С. 33 - 38.

ЖДР - Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.

Житие Аввакума – Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Текст памятника подготовил В. Е. Гусев. Иркутск, 1979.

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения.

ЖСР - Житие Сергия Радонежского // ПЛДР. XIII. С. 257 - 429.

Забелин – Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1901.

Записки – Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX в. Сост. Г. Н. Моисеева. М., 1990.

ИА – Исторический архив.

ИПИРН-РЯ– Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII - начала XVIII века. Подгот. С. И. Котков, Н. П. Панкратова. М., 1964.

ИРИ – История русского искусства.

ИРЛ – История русской литературы.

Карпинская – Карпинская Ю. Н. Из семейной хроники // Исторический вестник. 1897. Т. 70. № 12. С. 853 - 870.

Карпов – Карпов В. Н. Воспоминания. Шипов Н. История моей жизни. М.; Л., 1933.

Квашнина-Самарина– Квашнина-Самарина Е. П. Дневник // Сборник Новгородского общества любителей древности. 1928. № 9. С. 34 – 43.

Керн – Керн А. П. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1974.

КК – Кормчая книга. Перепечатано с оригинала патриархом Иосифом. М., 1913.

Коллинз – Коллинз С. Нынешнее состояние России, изложенное в

письме к другу, живущему в Лондоне. М., 1846.

Комаровский – Комаровский Е. Ф. Записки. СПб., 1914.

Корсаков – Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1891.

Костомаров – Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI – XVIII столетиях. М., 1993.

Котошихин – Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.

Кузнецов1 – Кузнецов Я. О. Семейное и наследственное право в народных пословицах и поговорках. СПб., 1910.

Кузнецов2 – Кузнецов Я. О. Родители и дети по народным пословицам и поговоркам. Владимир, 1911.

л. – левая сторона листа.

Л. – лист.

Лабзина – Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной (1758– 1828). СПб., 1903.

Лечебник – Лечебник от многих мудрецов от различных врачей вещей ко здравью человеческому предстоящих // ПЛДР. XVI – XVII.

Листовский – Листовский И. Из недавней старины // РА. М., 1884. (Год 22-й). Кн. 1. № 1 - 2.

Лопухин – Лопухин И. В. Заметки некоторых обстоятельств жизни и службы //РА. 1884. Год 22-й. Кн. 1. № 1 - 2.

Лотман – Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре XVIII – начала XIX в. СПб., 1994.

Львова – Львова Е. Н. Рассказы, заметки, анекдоты // Русская старина. 1880. Т. 27. № 3. С. 635 - 650; № 6. С. 337 - 356; № 8. С. 794 - 801; № 9. С. 200 - 206.

Майерберг – Путешествие в Московию барона Августина Майерберга в 1661 г. //ЧОИДР. 1873. № 3. С. 1 - 104; 1874. № IV. С. 169 - 216.

Маржерет – Состояние Российской державы и великого княжества Московского: Сочинение капитана Маржерета. XVII в. // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Перевел Н. Устрялов. СПб., 1859. Ч. 1.

Марин - Марин С. Н. Поли. собр. соч. М., 1948. Т. 1.

МДРПД – Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины. Издание С. И. Смирнова. М., 1913. I – Особая редакция «Вопрошания Кирика»; II – «Некоторая заповедь» («Худой номоканунец»); III – Два правила монахам; IV – Написание митрополита Георгия русского и Феодоса; V – Заповеди клирикам, иереям, дьяконам; VI – Правило иереям о соблазне во сне; VII (а, б, в) – «А се грехи...»; VIII – Правило с именем Максима; IX – Изложение правил апостольским и отеческим; X – «От правил св. апостол...»; XI – Правило «Аще двоеженец...»; XIII – Правило о церковном устройении; XIV – Правило Ильи, архиепископа



новгородского и белгородского епископа; XVIII – «О поповех службы ради...»; XIX – Заповедь ко исповедающимся сыном и дочерем; XX – Правило из Схолатиковой Кормчей; XXI – Заповедь «Аще епископ...»; XXII – От апостольских заповедей; XXIV – Покаяние XIV – XV вв.; XXV – Правило о верующих в гады; XXVI – Вопрошение апостольское; XXVII – Опитемы св. богоносных отец; XXVIII – О посте; XXX – Указ епитимьям; XXXII – Правило детям духовным о первой заповеди; XXXIV – Слово божественное о покаянии; XXXVII – Чин отпущения духовного сына; XXXVIII – Уставы о постах; XXXIX – Послание Иакова черноризца к ростовскому кн. Дмитрию Борисовичу; XL – Наказание отца духовного к сыну духовному о пьянстве; XLII – Поучение детям духовным; XLIV – Поучение новобрачным детям; XLV – Четыре поучения духовника; XLVIII – Сборник Кирилло-Белозерского монастыря. Мещерская – Мещерская С. В. Воспоминания княгини Софьи Васильевны

Мещерской. Тверь, 1902.

Милена – Милена, вторая жена Державина // Русский вестник. 1903. Т. 283.

Кн. 2. С. 549 - 580. Миненко – Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII – первой половине XIX в.). Новосибирск, 1979.

Мордвинова – Мордвинова Н. Н. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о его семействе: Записки дочери // Записки. МосДиБП – Московская деловая и бытовая письменность XVII в. Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппов. М., 1968. МР – Котков С. И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974.

Муханова - Муханова М. С. Из записок //РА. 1878. Кн. 1. Вып. 2. С. 209 - 215.

Назимова – Назимова М. Г. Бабушка графиня М. Г. Разумовская // Исторический вестник. 1899. Т. 75. № 3. С. 841 - 854.

НТВ (1951) – Арциховский А. В., Тихомиров М. Н, Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1951 г. М., 1953.

НТВ (1952) – Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1952 г. М., 1954.

НГБ (1953 – 1954) – Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1953 - 1954 гг. М., 1958.

НГБ (1955) – Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1955 г. М., 1958.

НГБ (1956 – 1957) – Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1956 - 1957 гг. М., 1963.

НГБ (1958 – 1961) – Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1958 - 1961 гг. М., 1963.

НГБ (1961) – Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские

грамоты на бересте: Из раскопок 1961 г. М., 1963.

НГБ (1962 – 1976) – Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962 - 1976 гг. М., 1978.

НГБ (1977 – 1983) – Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977 - 1983 гг. М., 1986.

НГБ (1984 – 1989) – Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1984 - 1989 гг. М., 1993.

НГБ (1990 – 1993) – Янин В. Л., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990 – 1993 гг. // Вопросы языкознания. 1994. № 3.

Незатейливое воспитание – Незатейливое воспитание. Из записок А. Щ. // Агений. 1858. Ч. 5. № 10. С. 490 - 503; Ч. 6. № 11. С. 44 - 52; № 12. С. 120 - 129.

Неизвестный англичанин – Описание России неизвестного англичанина, служившего зиму 1557 – 1558 гг. при царском дворе [Известия англичан о России во второй половине XVI в. ] // ЧОИДР. 1884, № 10 - 12.

Николева – Николева М. С. Черты старинного дворянского быта: Воспоминания // ?^ 1893, Кн. 3. № 9. С. 107 - 120; № 10. С. 129-196.

Никольский – Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности // Сборник ОРЯС. СПб., 1907. Т. 82.

НПЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

НС – Нила Сорского предания и устав. Подгот. текста И. С. Боровиковой-Майковой. СПб., 1912.

ОААНл – Описание архива Александро-Невской лавры. СПб., 1903.

ОдиД – Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. Т. I. СПб., 1868 (1542- 1721 гг.); Т. II. СПб., 1878 - 1879 (1722 г.); Ч. 1 - 2. Т. III. СПб., 1878 (1723 г.); Т. IV. СПб., 1880 (1724 г.); Т. V. СПб., 1897 (1725 г.); Т. VI. СПб., 1898; Т. VII. СПб., 1885 (1727 г.); Т. VIII. СПб., 1891 (1728 г.); Т. IX. СПб., 1913 (1729 г.); Т. X. СПб., 1901 (1730 г.); Т. XI. СПб., 1903 (1731 г.); Т. XII. СПб., 1902 (1732 г.).

ОЛДП – Общество любителей древней письменности.

Олеарий – Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1905.

ОРЯС – Отделение русского языка и словесности императорской Академии наук.

Ответы митрополита Иоасафа – Канонические ответы Иоасафа, митрополита Ефесского. XV в. Текст и перевод А. И. Алмазова. Одесса, 1903.

п. – правая сторона листа

П– «Пчела» по рукописи киевских библиотек. Опыт изучения и тексты С. А. Щегловой // Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1910. Т. CLXXV.

Павел Иовий – Павел Иовий Новокомский. Книга о Московнтском посольстве. СПб., 1908.

ПВЛ – Повесть Временных лет. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. Ч. 1 - 2.

ПДП-ХVII-ВлК – Памятники деловой письменности ХVII в. Владимирский край. Под ред. С. И. Коткова. М., 1984.

ПДРЦУЛ–Памятники древнерусской церковно учительной литературы.

Под ред. А. И. Пономарева. СПб., 1895 - 1898. Вып. 1-4. Печерин – Печерин Ф.П.Записки Федора Пантелеймоновича Печерина 1737 - 1816 гг.//Русская старина. 1891. Год 22-й. № 12. С. 587 - 619.

ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси.

ПЛДР. XI – начало XII – Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 1978.

ПЛДР. XII - Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.

ПЛДР. XIII – Памятники литературы Древней Руси. X век. М., 1981.

ПЛДР. XVI – XVII – Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987.

ПЛДР. XVII (1) - Памятники литературы Древней Руси. XVII век. М., 1988.

ПоБК - Повесть о Бове Королевиче //ПЛДР. XVII (1).

ПоБЖС – Повесть о бесноватой жене Соломонии. ХVII в. // Памятники старинной русской литературы, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. III.

ПоВЗ - Повесть о Василии Златовласом. ХVII в. // ПЛДР. XVII (1).

ПоГЗ - Повесть о Горе-Злочастии // ПЛДР. XVII (1).

ПоЕЛ - Повесть о Еруслане Лазаревиче // ПЛДР. XVII (1).

ПоК – Повесть о купце, заложившемся о добродетели жены своей // ПЛДР. XVII (1).

ПоКГ - Повесть о купце Григории // ПЛДР. XVII (1).

ПоККМТ– Повесть о купце, купившем мертвое тело и ставшем царем // ПЛДР. XVII (1).

ПоПЗК - Повесть о Петре Златых Ключей // ПЛДР. XVII(I).

ПоПиФ – Повесть о Петре и Февронии. Подгот. текста и исслед. Р. П. Дмитриевой. Л., 1979.

ПоРРБ - Повесть о разорении Рязани Батыем // ПЛДР. XIII. С. 184 - 200.

ПоСМ - Повесть о семи мудрецах // ПЛДР. XVII(I).

ПоСГ - Повесть о Савве Грудцине // ПЛДР. XVII(I).

ПоТОм - Повесть о Тверском Отроче монастыре // ПЛДР. XVII(I).

ПоУО - Повесть об Ульянии Осорьиной // ПЛДР. XVII(I).

ПоФС - Повесть о Фроле Скобееве // ПЛДР. XVII(I).

ПоЦил – Повесть о царице и львице // ПЛДР. XVII(I).

Полилов – Полилов Г. Т. Из дедовской хроники // Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды-купцы. СПб., 1907.

Полилова – Полилова Ю. Е. Дневник купеческой девушки // Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды-купцы. С. 83 – 142.

Помещицья Россия – Помещицья Россия по запискам современников. М, 1911.

Порошины – Порошины: Семейные воспоминания, представленные С. С. По-рошиным//Русская старина. 1882. Год XIII. Т. XXXVI. С. 207 - 220.

ПоСМиМД – Притча о старом муже и молодой девице // Хрестоматия по древней русской литературе. М, 1952. С. 448 – 453.

Посошков – Посошков И. Т. Завещание отеческое. СПб., 1893.

Потомки – В потомках ваше племя оживет. Воспоминания о декабристах в Сибири. Иркутск, 1986.

ПП – Пространная правда (Русская Правда Пространной редакции) // Памятники русского права. Вып. I. М, 1953.

ПРГ – Письма русских государей и других особ царского семейства. М, 1861 - 1862. Т. I - IV.

Принц – Принц Д. Начало и возвышение Московии. М, 1877. ПРН-РЯ – Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (из фонда А. И. Безобразова). Изд. подгот. С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М, 1965.

ПРП – Памятники русского права. Вып. I. Памятники права Киевского государства. М, 1952; Вып. П. Памятники права феодально-раздробленной Руси. М, 1953; Вып. III. Памятники права периода образования Русского централизованного государства XIV – XV вв. М, 1955; Вып. IV. Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV – XVII вв. М, 1956; Вып. V. Памятники права периода сословно-представительной монархии: Первая половина XVII в. М, 1959. ПРП XVIII - Письма русских писателей XVIII в. Л, 1980. ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. М, 1830. ПСПиР – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. Т. I. СПб, 1869 (1721 г.); Т. II. СПб, 1878 (1722 г.); Т. III. СПб, 1875 (1723 г.); Т. IV. СПб, 1876 (1724 -1725 гг.); Т. V. СПб, 1881 (1725 - 1727 гг.); Т. VI. СПб, 1889 (1727 - 1730 гг.); Т. VII. СПб, 1890 (1730- 1732 гг.); Т. VIII. СПб, 1898 (1733- 1734 гг.); Т. IX. СПб, 1905 (1735 - 1737 гг.); Т. X. СПб, 1911 (1738 - 1741 гг.). ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.

1-е изд.: Т. I. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб, 1846; Т. П. Ипатьевская летопись. СПб, 1843; Т. III. Новгородские летописи. СПб, 1841; Т. IV. Новгородские и Псковские летописи. СПб., 1848; Т. V. Псковские и Софийские летописи. СПб, 1851; Т. VI. Софийские летописи. СПб, 1853; Т. VII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб, 1856; Т. IX, X, XII. Никоновская летопись. СПб, 1862, 1885, 1902; Т. XVI. Летопись Авраамки. СПб., 1889; Т. XXV. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л, 1949. 2-е изд.: Т. П. Ипатьевская летопись. СПб, 1908.

Пчела – Древняя русская Пчела по пергаменному списку. Труд В. Семенова. СПб, 1893.

РА – Журнал «Русский архив».

Рабинович, – Рабинович М. Г. О древней Москве. М, 1964. Рабинович 2 – Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М, 1988.

Рабинович 3 – Рабинович М. Г. Город и городской образ жизни // Очерки русской культуры XVII в. М, 1990. Ч. IV. С. 252 - 299.

Рабинович.4 – Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. М, 1974.

Радищев – Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Репринт издания: London, 1858. М, 1983.

РБС – Русский биографический словарь.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).

Рейтенфельс – Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. М, 1905.

Ржевская– Ржевская Г. И. Памятные записки // Русский архив. 1871. Кн. 1. Вып. 1. С. 1 - 52.

РИБ – Русская историческая библиотека [издаваемая Археографическою комиссиею]. СПб, 1908, Т. VI: 1 – канонические ответы митрополита Иоанна II (1080 – 1089 гг.); 2 – вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епископа новгородского, и других иерархических лиц (1130– 1156 гг.); 4 – постановление Ильи, епископа новгородского, и неизвестного белоозерского епископа по двум случаям при совершении литургии (1164 – 1168 гг.); 9 – послание владимирского епископа к местному князю; 10 – поучение духовника к исповедающимся; 11 – заповедь епископам о хранении церковных правил; 12 – ответы константинопольского патриаршего собора на вопросы саранского епископа Феогноста; 13 – правило митрополита Максима (1283 – 1305 гг.); 14 – расписание степеней родства и свойств, препятствующих браку; 18 – грамота митрополита Феогноста 1333 г.; 19 – грамота митрополита Алексея 1360 г.; 32 – ответы митрополита Киприана игумену Афанасию (1390 – 1405 гг.); 33 – послание митрополита Фотия в Новгород о соблюдении законоположений церковных; 34 – грамота митрополита Фотия во Псков о соблюдении законоположений церковных; 41 – послание митрополита Фотия псковичам о соблюдении церковных законоположений... 1419 г.; 124 – вопросы и ответы о разных случаях пастырской практики; 134 – три святительских поучения духовенству и мирянам о разных предметах церковной дисциплины.

РИО – Русское историческое общество.

РЗ - Российское законодательство X - XX вв. М, 1984. Т. 1. М, 1985; Т. 2.

РНБ – Российская национальная библиотека (Петербург).

- РО – Рукописный отдел.
- РО БАН – Отдел рукописной и редкой книги библиотеки Российской Академии наук (Санкт-Петербург).
- РО ГИМ – Рукописный отдел Государственного исторического музея (Москва).
- Романов – Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М.; Л, 1966.
- Рондо – Письма леди Рондо. Перевод с англ. С. Н. Шубинского. СПб, 1874.
- РО РНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Петербург).
- Ростовская – Ростовская М. Ф. Воспоминания о Гаврииле Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных // Семейные вечера. 1864. № 3. С. 151 – 180.
- Ростопчина – Ростопчина Л. А. Правда о моей бабушке: Отрывок из воспоминаний // Исторический вестник. 1904. Т. 95. № 1. С. 50 - 66; № 2. С. 427 -440; № 3. С. 864-881; Т. 96. № 4. С. 47 - 48.
- РсвСпДДС – Решения св. Синода по делам духовно-судным 1752 – 1810 гг. // Православное обозрение. 1891. Май – июнь.
- Русские мемуары – Русские мемуары: XVIII век. М., 1988.
- Русский быт – Русский быт по воспоминаниям современников: XVIII век. М., 1914; Вып. 1. Часть 1. От Петра до Екатерины II. М., 1918; Часть 2. М., 1919; Вып. 2. Часть 1. М., 1922; Часть 2.
- РЭМ – Российский этнографический музей. Санкт-Петербург (быв. Государственный музей этнографии). РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. – Материалы этнографического бюро князя В. Н. Тенишева в Российском этнографическом музее. СА – Журнал «Советская археология».
- Сабанеева – Сабанеева А. А. Воспоминания о былом: Из семейной хроники 1770 - 1838 гг. СПб., 1914. Салтыкова – Салтыкова А. П., П. А. Витовтов. Воспоминания его дочери Аделаиды // Русский архив. 1884. Кн. 1. № 2. С. 423 - 464; Кн. 2. № 3/4. С. 133 - 178.
- СБРИО - Сборник РИО. СПб., 1881. Т. XXXV. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. I.
- Селивановский – Селивановский Н. С. Записки // Биографические записки. 1858. № 17. С. 515-527.
- Семенова – Семенова Л. Н, Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. Л., 1982.
- Симони – Симони П. К. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII - XIX столетий. СПб., 1899. Вып. I (Сборники 1 - 2).

- Скалон – Скалон С. В. Воспоминания С. В, Скалой (урожд. Капнист) // Исторический вестник. 1891. Т. 44. № 4. С. 338 - 367.
- Словарь – Словарь русского языка XI – XVII вв.
- Смирнов – Смирнов Н. Показание-автобиография крепостного князей Голицыных//Исторический архив. 1950. № 5. С. 289 - 299.
- Смирнова – Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929.
- Снегирев – Снегирев И. Русские в своих пословицах: Рассуждение и исследование об отечественных пословицах и поговорках. М., 1831.
- СоМид – Сказание о молодце и девице // Пиксанов Н. К. Старорусская повесть. М.; Л., 1923. С. 81 - 85.
- СоУДС – Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы // ПЛДР. XVII (1).
- СП6Ф ИРИ РАН – Санкт-Петербургский филиал Института Российской истории Российской Академии наук.
- СПМП – Старинные памятники медицинской письменности. Подготовил к печати М. Ю. Лахтин. М., 1911.
- Срезневский – Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903. Т. I - III.
- СУ – Соборное Уложение.
- Статир - «Статор» 1684 г. //РО РГБ. Ф. 256 (Румянцев). № 411.
- Стрейтс – Стрейтс Я. Три путешествия. М., 1935.
- СЭ – Журнал «Советская этнография».
- Тайная исповедь – Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной церкви. Т. 3. Приложение. Русские уставы исповеди. Одесса, 1894.
- Таннер – Таннер Бернгард. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. Перев. И. Иванина. М., 1891.
- Татищев – Татищев В. Н. Духовная // Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979.
- ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР;
- Толченов – Толченов И. А. Журнал или записка жизни и приключений. М., 1974.
- Травник - Травник // ПЛДР. XVI - XVII вв.
- УВ - Устав князя Владимира Святославича. XII в. // ПРП. Вып. I. М., 1952. С. 235 - 253.
- Ульфельд – Путешествие в Россию датского посланника Якова Ульфельда в XVI в. Перев. Е. Барсова. М., 1889.
- УЯ - Устав князя Ярослава Владимировича // ПРП. Вып. I. М., 1952. С. 257 -285.
- Фацеции – Державина О. А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII в. М., 1962.

Флетчер - Флетчер Дж. О государстве русском, или Образ правления русского царя. СПб., 1906.

ХБпМ – Хождение Богородицы по мукам. Апокриф XII в. // ПЛДР. XII. С. 167-185.

Хвостова – Хвостова А. П. Мои бредни (Записки) // РА. 1907. Кн. 1. Вып. 1. С. 5 - 48.

Хомутова – Хомутова А. Г. В 1814 г. Из записок // Нева. 1914. № 10/12. С. 1537 - 1552.

Цатурова – Цатурова М. К. Русское семейное право XVI – XVIII вв. М., 1991.

Цылов – Цылов Н. И. Описание жизни Н. И. Цылова // Щукинский сборник. М., 1907. Вып. 6.

Частная переписка – Частная переписка князя Петра Ивановича Хованского, его семьи и родственников // Старина и новизна. М., 1905. Т. X.

ЧОИДР – Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете.

Чукмалдин – Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания. СПб., 1899.

Шаповалова – Шаповалова Г. Г. Псковский рукописный сборник начала XVIII века // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1959. Вып. 4.

Шереметев – Шереметев С. Д. Татьяна Васильевна Шлыкова. 1773 – 1863. СПб., 1889.

Шлейссингер – Шлейссингер Г. Полное описание России // ВИ. 1970. № 1. С. 109-116.

Эделинг – Эделинг Р. С. Из записок графини Эделинг // Русский архив. 1887. Кн. 1. №2. С. 194-228.

Энгельгардт – Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1867.

Юст Юль – Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом. М., 1900.

Янин – Янин ДЛЯ послал тебе бересту... М., 1965.

Янькова – Янькова Е. П. Рассказы бабушки: из воспоминаний пяти поколений. Записки, собранные ее внуком Д. Д. Благове. М., 1878.

НМ – Коллекция фильмокопий рукописей Хиландарского монастыря (Греция), хранящаяся в Хиландарском архиве Государственного университета штата Огайо (Ohio State University. Hillandar Archive. Hillandar Monastery Collection).

СС – Carey Claude. Les proverbes erotiques russes. The Hague, 1974 (Не изданные в России пословицы, относящиеся к собранию В. И. Даля и П. К. Симони).

Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX в.). - М.: Ладомир, 1997. – 381 с.



ISBN 5-86218-230-6

Данное исследование является первой в российской исторической науке попыткой разработки проблемы «истории частной жизни», «истории женщины», «истории повседневности», используя подходы, приемы и методы работы сторонников и последователей «школы Анналов».

---

[К титульной странице](#)

[Назад](#)



# Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало XIX )

“Ладомир”  
Москва 1997

## СОДЕРЖАНИЕ

### Очерк первый

#### ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ (X - XVII вв.)

- I. «НЕ ХОЧУ ЗА ВЛАДИМИРА, НО ЗА ЯРОПОЛКА ХОЧУ...» (Брачный аспект частной жизни женщины: «самостоятельность» или «зависимость»?)
- II. «А ПРО ЛОМ СВОЙ ИЗВОЛИШЬ ВСПОМЯНУТЬ...» (Повседневный быт в частной жизни женщины: работа и досуг)
- III. «МИЛОСТЬ СВОЮ МАТЕРИ ПОКАЖИ, НЕ ЗАБУДЬ...» (Семейный аспект частной жизни женщины: материнство и воспитание детей)
- IV. «ДОБРУЮ ЖЕНУ НЕУДОБЬ ОБРЕСТИ...» (Супружеская роль в частной жизни женщины в X – XVII вв.)
- V. «СВЕТ МОЯ, ИГНАТЬЕВНА...» (Интимные переживания в частной жизни женщины. Любовь в браке и вне его)

### Очерк второй

#### ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ (XVIII - НАЧАЛО XIX в.)

- I. «КАКИЕ НОНЧЕ БРАКИ БЫВАЮТ...» (Условия замужества и рядок заключения брака)
- II. «ДРАЖАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ МОЕ!» (Мир чувств русской женщины. Любовь в браке и вне его)
- III. «ЧЕГО НЕ ВЫНЕСЕТ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ!» (Материнство и материнское воспитание в российских семьях)
- IV. «ОНА СТАРАЛАСЬ НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ В НАУКАХ...» (Домашнее образование в конце XVIII – начале XIX в. и роль в нем женщин)
- V. «ЛЮБЕЗНАЯ КАРТИНА ВСЕДНЕВНОГО СЧАСТЬЯ...» (Повседневный быт женщин разных социальных слоев в XVIII – начале XIX в.)
- VI. «НЕ ЛЮБ МУЖ - ДА КУДЫ ЕГО ДЕТЬ?» (Прекращение замужества, признание его недействительным и право на развод)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### ПРИМЕЧАНИЯ

### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ